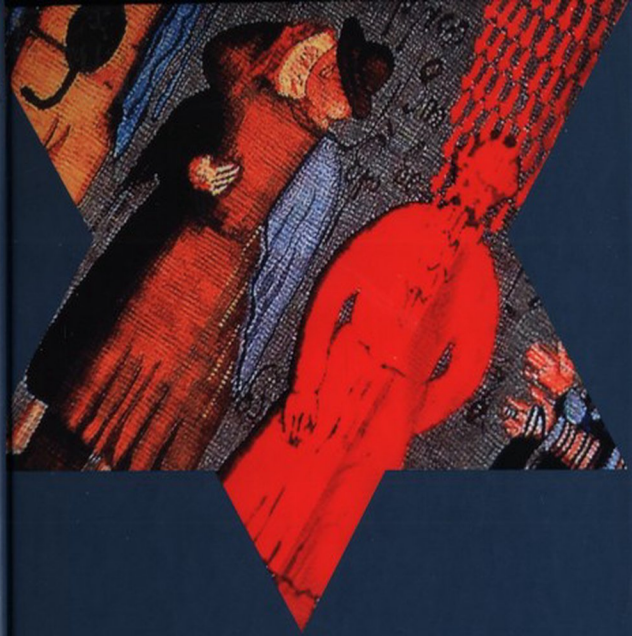


Цви Прейгерзон

В ЛЕСАХ ПАШУТОВКИ

проза еврейской жизни

Цви Прейгерзон В ЛЕСАХ ПАШУТОВКИ

В лесах Пашутовки
Цви Прейгерзон

Аннотация
Цви Прейгерзон. В лесах Пашутовки. Полное собрание рассказов
Предисловие
Цви Прейгерзон. В лесах Пашутовки
- В начале месяца ава
- Бердичев
- В лесах Пашутовки
- Дворец счастья
- Гителе
- От праздника Пурим до праздника Песах
- Бейла из рода Рапопортов
- Мой брат Мошке
- Паранойя
- Моя мама
- Машиах бен Давид
- Мой первый круг
- Бремя имени
- Бухгалтер
- Шаддай
- Вернувшийся к вере
- Дачная сага

Беженцы
Инвалиды
В южном городе
В местечке моего детства
Иврит
Двадцатка
Агония
«…Что сотворил меня гоем»
Княжна
Клятва. (из лагерных историй)
Об авторе

Аннотация

Это первое полное собрание рассказов Цви Прейгерзона (1900–1969) — писателя, жившего в СССР и творившего на иврите, языке, который был под запретом с первых лет советской власти. Уроженца Шепетовки, Прейгерзона можно смело назвать летописцем еврейского местечка в самые страшные годы — погромов Гражданской войны, Холокоста, сталинских гонений, — выпавшие на долю выходцев из удивительно оригинального мира, ушедшего на дно истории, подобно легендарной Атлантиде.

Цви Прейгерзон
В лесах Пашутовки
Полное собрание рассказов

Предисловие

Полное собрание рассказов в биографии любого писателя — событие большой важности. Это, по сути дела, и есть зеркало судьбы, ибо в рассказе, более коротком и мобильном, чем крупные жанры (повесть или роман), как правило, отражаются живые впечатления и переживания автора по следам какого-то эпизода или периода жизни. Вот и получается, что от рассказа к рассказу словно бы выстраивается линия судьбы писателя, как биографическая, так и творческая, стилевая.

Особенно писателя такой судьбы, как Цви Прейгерзон.

«…В то время я странствовал по разным местечкам и повидал немало их обитателей — тех самых простых людей, образами которых полнятся литература и история нашего народа. Видел их скудную, раздавленную жизнь, кое-как барахтающуюся в бедности и грязи. И сказал я себе в сердце своем:

— Горе тебе, Биньямин Четвертый, на чью долю выпала сомнительная честь описывать удручающую убогость еврейского местечка. Горе тебе,

о несчастнейший из всех, когда-либо бравших в руку перо!..»

Почему Биньямин и почему — Четвертый? Впрочем, в своих книгах писатель может называть себя любым именем. Но — Четвертый? В еврейской традиции это очень значимое имя. Первым Биньямином стал Биньямин Тудельский, или Биньямин из Туделы, — испанский еврей, путешественник, живший в XII веке. Посвятив значительную часть жизни странствиям по землям рассеяния евреев, он написал на иврите книгу о своих путешествиях и вошел в историю и традицию народа.

Семь столетий спустя другой Биньямин, бессарабский еврей, называвший себя Биньямином Вторым, отправился в путешествие в поисках потерянных израильских колен и проехал множество стран от Северной Африки до Китая. Он тоже написал книгу и тоже на иврите, но впервые вышла она во французском переводе.

Биньямин Третий — главный герой повести Менделе Мойхер-Сфорима (1836–1917), путешествие которого представляет собой фантастическую и подчас гротесковую вариацию на тему трагического существования еврейского народа в черте оседлости…

Цви Прейгерзон называл себя Биньямином Четвертым. Видимо, его настолько волновала легенда этого имени, что он и в прозе наделил им своего героя. И даже сына — в реальной жизни — он тоже нарек Биньямином.

Том рассказов, названный «В лесах Пашутовки», — это целый мир, трагический и смешной, жалкий в своей терпеливой забитости и величественный в своем беспредельном горе, целый мир персонажей, некогда заселявших города и местечки бывшей черты оседлости. Цви Прейгерзон воссоздает этот исчезнувший мир с поистине бабелевским экспрессионизмом.

«…И тогда я собрал все истории, записанные мною во время странствий из местечка в местечко. Что-то слышал я на лавочке возле полуразрушенной синагоги от древней морщинистой старухи, что-то — из уст молоденькой девушки, которую прибило ко мне волнами страха и безысходности…»

Книга «В лесах Пашутовки» потрясает, оглушает — как может оглушить крик огромной толпы на площади. И точно так же, как толпа всегда разнородна, так разнородны по стилю эти рассказы: то сдержанно суховатые, с оттенком даже документальности, то совершенно фантастичные, то

рвущие душу своей поистине шекспировской трагедийной высотой, то комичные, парадоксальные, почти сюрреалистические.

И все же при этой стилевой разности их объединяет одно: щемящее чувство утраты.

«…Бурные волны пятилеток смыли последние остатки тех, кто уцелел в годы погромов, и теперь звонкая пустота ходит из дома в дом по переулкам моего детства…»

Звонкая пустота осталась от целого мира, того мира еврейской истории, о котором незабываемо написал когда-то поэт Борис Слуцкий в одном из своих стихотворений:

Селёдочка — слава и гордость стола,
Селёдочка в Лету давно уплыла.

Она бередит душу читателя и сегодня, ибо утраты народа невосполнимы. Но пока народ помнит, пока его писатели на разных своих языках возрождают фрагменты утраченного мира — он существует и будет существовать, как в книге замечательного писателя Цви Прейгерзона.

Дина Рубина

Цви Прейгерзон
В лесах Пашутовки

В начале месяца ава

В третий день месяца тишрея[1], как раз на пост Гедальи[2], исполнилось Лизаньке девять лет, а в субботу праздничной недели Суккот[3] пришли в родительский дом убийцы. Местечко плавало тогда в еврейской крови, и со всех сторон слышались крики истязаемых. Убийцы пришли ночью, когда лишь луна стучалась в темные окна дома. Они сунули Лизаньке в кулачок две спички, у одной из которых была отломана желтая головка, и отдали маму с отцом на волю жребия. Обломанная спичка выпала отцу — он сам вытащил ее из сжатого кулачка дочери. Его повесили на крюке, где до того висела большая лампа. Убийцы сорвали лампу, поставили папу на стол, затянули вокруг его шеи галстук смерти, а затем выбили стол из-под ног. Мама где-то кричала странным

---

[1] Примечания: 1

Тишрей — месяц еврейского календаря, соответствующий сентябрю-октябрю. — *Здесь и далее примеч. ред.*

[2] Примечания: 2

Пост Гедальи — день траура и поста, отмечаемый на следующий день после Рош ѓа-Шана, начала Нового года.

[3] Примечания: 3

Суккот, или Праздник кущей — еврейский праздник, отмечаемый осенью в память о блуждании евреев в Синайской пустыне.

криком, отец дергался на веревке, а один из убийц подпрыгнул и, обхватив тело руками и ногами, стал раскачиваться вместе с повешенным.

После этого убийцы забили до смерти мать. Такова была суббота праздничной недели Суккот; осень шушукалась в огороде с увядшей ботвой, и тени ужаса бродили по пустым грядкам. После этого Лизанька несколько лет скиталась по большому миру, где слышны были лишь рык войны, вопли погромов и шум кровавой смуты. Гибельный страх объял тогда все дома и в один миг состарил даже юные души. В городе Бердичеве прибилась Лизанька к странной паре, которую составляли бывшая торговка рыбой по имени Песя и нищий попрошайка Мешулам. С тех пор ходили они втроем из местечка в местечко по залитым кровью дорогам. На рынках и во дворах пели Мешулам-нищий и Лизанька-сирота печальные песни, от которых сжимается сердце любого еврея. Они пели, а бывшая торговка рыбой Песя кружилась под звуки немудрящей мелодии, плакала и посыпала голову пылью и пеплом.

Так добрались они до Пашутовки, где на девочку положила глаз Голда-бакалейщица. Она взяла Лизаньку в дом и поселила ее в отдельной маленькой комнатке с окном, выходящим на

рынок. Там девочка и сидела почти безвылазно, днем и ночью читая подряд все толстые романы — хоть Дюма, хоть Майн Рида, хоть Достоевского. Вскоре в Пашутовку пришел месяц ав[4], и деревья отметили его приход, украсив желтыми пятнами ветви и стволы. В тех домах, где еще придавали значение слову стариков, перестали есть мясное. Зато молодые бунтари, читатели новых газет, для которых обычай дней скорби по разрушенному Храму не значил ровным счетом ничего, решили дополнительно подчеркнуть этот факт и, растопив на сковородке свиной жир, макали в него еврейский хлеб, демонстративно жевали и причмокивали от удовольствия — к ужасу и отвращению своих матерей. А что еще могли матери, кроме как отвернуться и сделать вид, будто ничего не замечают?

Летний ветер свистит меж редких зубов Мешулама-попрошайки. Старик поглаживает себя по коленям, чешет в бороде и начинает петь:

Говорят, жена моя — жено́чка
От меня сбежала в эту ночку.

---

[4] Примечания: 4

Ав — месяц еврейского календаря, соответствует июлю-августу. Девятое ава отмечается как день траура — в этот день были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы. Эта дата стала символом всех несчастий, выпавших на долю еврейского народа.

Не беда, найду себе другую,

Эх, такую же сварливую и злую…

Рука его вытянута вперед — просьбой о милосердной помощи. Шестой час утра — самое горячее время на пашутовском рынке. У ног крестьянок разложены принесенные на продажу продукты: куры и яйца, крынки с топленым молоком, груды огурцов, яблок, арбузов. Между ними расхаживают еврейки-покупательницы; в руках у них — объемистые плетеные корзинки. Евреи-торговцы из Пашутовки собрались в отдельном ряду — они тоже стоят возле своих прилавков и широко зевают по причине раннего времени. Мешулам решает, что пришла пора немного возвысить голос:

Говорят, сыночек мой ретивый

Ходит всюду с девушкой красивой.

Хорошо бы это было, только

Говорят, она с рожденья гойка…

Лизанька в это время еще спит в своей постели. Окно широко распахнуто, и крикливый гам сельского рынка наполняет комнату. Скрипят несмазанные колеса; крестьянин тянет под уздцы лошаденку, а та испуганно приседает и осажи-

вает назад, кося карим глазом на привязанного к телеге беспечного жеребенка. По площади солидно расхаживает ответственный милиционер Назаренко. Под мышкой у него папка, глаза смотрят сурово. Повсюду суета, движение и слитный гул голосов, как в синагоге во время последней молитвы Судного дня.

Говорят, раввин наш, рабби Сеня,
Согрешил публично перед всеми.
Говорят, сменял свою ермолку
На лихую девку-комсомолку…

Ну и ночь была у Лизаньки, ну и сон… Огромный шар луны был сначала похож на голову великана, плывущего по течению Днепра-батюшки, но потом вдруг стал раздуваться, и чудеса посыпались из его волшебных ноздрей. Волнами качались кроны деревьев, дальний лай собак врывался в сон дремлющей округи. И тут вдруг запели дикие травы, и полетел по ним отважный всадник на прекрасном коне. Соскочил у самого окна, и вот он уже в комнате, гладит по горячей голове спящую Лизаньку.

— Ох, любимый мой! — только и успела сказать Лизанька.

Подхватил ее витязь на руки… Минута — и вот

уже мчатся они вдвоем по спящей улице Пашутовки. И дальше, и дальше, по горам и долинам, над горами и над долинами — летит по небу волшебный конь, и покорная ночь целует его сияющие подковы.

Говорят, оставил служка синагогу —
Продает билеты в клубе у порога.
Говорят, что нынче Богу туго:
Не сыскать в местечке Богу друга…

Лизанька вздрогнула и очнулась от чудного сна. Глаза девочки широко раскрыты, холодный пот струится по животу. В открытое окно лезет к ней лохматая голова Мешулама-попрошайки, глаза его горят, как угольки, прожигают сумрак ночи.

— А-а! — кричит в ужасе Лизанька, вцепившись в одеяло и корчась в дальнем углу кровати. — Мама! Мамочка!..

Но мама далеко, не поможет. Мешулам всхрапывает и прижимает к себе голову девочки. Его тряпки воняют гнилью и потом. Нищий выносит Лизаньку через окно и тащит на пашутовский рынок, пустой в этот ночной час.

— Ав, ав, дедушка ав… — бормочет Мешулам, хромая под тяжестью своей ноши. — Во время месяца ава звезды падают, как капли благодати,

а дети окунаются в теплую воду реки. Во время месяца ава тихая скромность должна звенеть в каждом сердце…

И снова вздрагивает Лизанька всем телом, и снова широко распахивает смеженные сном веки. Над ее головой черное ночное небо. Капля за каплей падают благодатные звезды, ослепляя неуклюжую темноту. Девочка лежит на пустой рыночной площади, похожей на заброшенное поле. Вокруг белеют стены Пашутовки, а земля кишит скорпионами!

— Дяденька Мешулам! — снова кричит Лизанька.

Мешулам ловко выстраивает скорпионов в несколько рядов, и те танцуют, подчиняясь его дирижерской команде. Борода старого нищего свисает до колен; его огромная фигура раскачивается в темноте, ноги болтаются туда-сюда, туда-сюда… — и дробный колючий смех иголками впивается в брюхо ночи.

Был у Мошке дом и магазин,
А теперь он ползает в грязи.
Без всего остался он в момент,
Как он есть буржуйский элемент.

Мешулам взмахивает рукой, и над рыночной

площадью слышится шум крыльев — это летают херувимы. Их множество, огромная стая, они смеются, гоняются друг за другом и кувыркаются в воздухе.

— Эй, Лизка! — кричат херувимы, бабочками порхая над ее головой. — Лизка-Лейка, ну-ка, полей-ка!

И снова взмахнул рукой Мешулам, и все пространство вдруг заполнилось светом, а вместе со светом, сминая по дороге стены Пашутовки, хлынул на площадь весь народ Израиля — мужчины, женщины и дети, — хлынул и разом затопил ее, так что и места свободного не видать.

— Ах! — вдруг восклицает некая барышня Татьяна Семеновна. — Смотрите-ка, Машиах пришел!

И в самом деле, с небес спускается Машиах — прямиком на невесть откуда взявшуюся сцену. А вокруг стоят евреи всего мира, собравшиеся сюда со всех его концов, и глаза их устремлены на великого спасителя.

— Евреи! — говорит он. — Увидел я, как душат святой народ невзгоды и несчастья, как угасает он, скользя коленями в собственной крови. И, обговорив это дело с Пресвятым, да благословится Имя Его, пришли мы к согласованному

решению…

Машиах поворачивается к Мешуламу.

— Труби, Мешулам! — командует он. — Бери шофар и труби что есть мочи!

Мешулам вытаскивает из складок своих лохмотьев старый потертый шофар, подносит его ко рту и трубит громко и продолжительно — тру-ру-ра-а-а… Расступается народ возле сцены, и поднимается на нее некто Гад Фейгин, нарядный, как жених.

— Товарищ Машиах, — говорит Гад Фейгин. — Ну зачем ты решил прийти к нам именно сейчас, в эту ночь, в разгар нашего сна? Зачем ты помешал нашему отдыху, смутил наши души? Впустую пришел ты к нам, товарищ Машиах, зря отвлек нас от пашутовского рынка. Но коли уж ты все равно здесь, почтим тебя трубными звуками шофара, встретим танцами, усладим песнями…

И, повернувшись к народу, возглашает Фейгин:

— Ну-ка, споем песнь нашему гостю! Ну-ка, поприветствуем его!

И народ, помолчав, дружно повторяет его слова.

Смущен отчего-то Машиах. Но людям уже не до него. По мановению руки Мешулама появляются

на площади длинные столы, ломящиеся от еды и питья. И евреи спешат занять места получше, и пьют, и едят, и заново наполняют тарелки и стаканы. И летит над столами еврейская песенка — то ли веселая, то ли печальная.

Янкель-шманкель, как же без хлеба?
Шманкель-Янкель, спроси у неба.
Дорога селедка, наша еда…
Жизни срок короткий, одна беда.
Мать болеет, вот и конец,
Козлик блеет, плачет отец…
Томер-шмомер да Лаг ба-омер…[5]

Девочка Лизанька пробуждается наконец от тяжкого сна и открывает глаза — на сей раз действительно наяву. Время — около шести, горячая рыночная пора. Мечутся туда-сюда покупатели, важно расхаживает среди всеобщей суматохи ответственный милиционер Назаренко, и папка с неизвестными, но очень страшными бумагами угрожающе торчит у него из-под мышки. Снова и снова несется над площадью сиплый и жалобный

---

[5] Примечания: 5

Лаг ба-омер — 33-й день «омера», то есть периода семи недель между праздниками Песах (выход из Египта) и Шавуот (Дарование Торы; отмечается 6 сивана), посвящен памяти рабби Акивы и его учеников.

голос Мешулама-по-прошайки:

— Томер-шмомер да Лаг ба-омер…

Его протянутая вперед рука просит, умоляет, требует милостыни.

Начало месяца ава. Утренний ветерок гуляет меж редких зубов нищего, серебряные паутинки дрожат на плечах деревьев. Еще несколько дней — и сбежит девочка Лизка от доброй бакалейщицы Голды, уйдет из Пашутовки вместе с Мешуламом-попрошайкой и бывшей рыботорговкой Песей. Уйдет, чтобы снова скитаться в холоде, голоде и грязи по залитым кровью дорогам.

А потом придет осень. Гнилые дожди затопят долины, и прежний привычный ужас будет вскипать и пузыриться на губах безумного мира.

9 ава 1927

Бердичев

Странная звезда зацепилась за небесный фартук осеннего месяца хешвана[6]. Подобно поднятой из морских пучин жемчужине, она сияла, туманилась и ласкала людские сердца. Я бесцельно бродил по улицам Бердичева, и зрак одинокой звезды сопровождал каждый мой шаг, каждый стон потрясенной души моей.

Немало еврейских местечек объехал я в те дни, видел их унылое, безропотное умирание, и эта картина ядовитой ржавчиной разъедала мне сердце. Дети некогда многочисленного мира разъехались в дали дальние, расселились по другим землям, растворились в шуме больших городов, в месиве иных народов, погибли в мясорубке войны и погромов. Это был конец — дикий и бесповоротный конец, хотя душа моя и отказывалась мириться с печальной очевидностью смерти. И тогда отправился я в Бердичев, сказав себе в сердце своем: вот единственное место на земле, где жив еще дух настоящего еврейства!

---

[6] Примечания: 6

Хешван — месяц еврейского календаря, соответствующий октябрю-ноябрю.

Уж где-где, а в этом городе всякий может воочию убедиться, что есть еще евреи в нашей Советской стране!

Так оказался я в Бердичеве, под присмотром странной звезды, которая сияла и звенела над моей головой, как чудесная жемчужина, вынырнувшая из черной глубины моря. Я вслушивался в случайные речи прохожих и не верил своим ушам: вокруг меня не звучало ни одного еврейского слова! И где? В Бердичеве! Малые проказники — или, как сказала бы моя мама, «пипернотеры» — бегали повсюду с красными галстуками на шее и вопили во все горло по своему детскому обыкновению; парни и девушки чинно разгуливали рука об руку, шептались, перекидывались шутками и пели мелодичные песни; кто-то очкастый, схватив за пуговицу такого же очкастого собеседника, яростно спорил с ним о политике… Но все это — на языке язычников, словами другого, необрезанного народа!

Как видно, перевелись евреи в Бердичеве!

Ой-вэй, Бог Авраама! Неужели такую участь уготовил ты своему народу?

Стеная и не помня себя от горя, бродил я по городу — последний уцелевший еврей, малый обломок, щепка, крошка коры некогда мощного

древа Израилева. Так брел я из улицы в улицу, из переулка в переулок, и холодный осенний ветер пронизывал меня до мозга костей. И казалось, что вместе с ветром ополчился на мою душу весь этот враждебный, чужой мир — и лишь одинокая звезда подрагивает надо мной, как теплый утешающий материнский взгляд, как единственная надежда и отрада.

Окна светились лишь на улице Карла Маркса — некогда многолюдной, плоти от плоти и сути от сути прежнего Бердичева, — но в старых боковых улочках и переулках лежала плотная, густая, горькая тьма. Она окутывала дома и крыши, растекалась по земле, взбиралась по стенам до самого неба, а ветер, ее помощник, тщательно проверял каждую пядь, заглядывал за каждый угол, приподнимал каждую тряпку — не осталось ли где какого-нибудь светлого места… Это был всего лишь ветер, но мне казалось, будто стая дряхлых чертей бежит за мной, забегая вперед, похабно высовывая языки и охаживая меня своими грязными хвостами. И некуда было деться от их свиста и угрожающего воя… так что я ничуть не удивился, когда из чертовой этой кутерьмы вдруг возникли и подошли ко мне с двух сторон два крепких широкоплечих молодца весьма раз-

бойного вида.

— Стоп! — скомандовал один из них и продолжил на чистейшем еврейском языке: — Как зовут тебя, господин еврей?

К тому времени я уже настолько стосковался по звуку родного языка, что, услышав эти простые слова, обрадовался неимоверно. Слава богу! Еще не совсем испарилась еврейская речь из Бердичева! Еще скрипит худо-бедно колесо нашей истории!

— Биньямин! — возопил я с великим облегчением. — Биньямин из рода Исраэля-Алтера! Зовите меня так, милые вы мои братья-разбойнички!

— Еврей? — еще раз уточнили они.

— Еврей, еврей! — радостно прокричал я, трепеща от счастья и возводя очи к одинокой звезде-заступнице в небе Бердичева-папы. — Самый что ни на есть чистокровный, скромный побег древа Авраама, Исаака и Иакова…

— Хватай его, Соломон!

И молодцы, крепко подхватив с обеих сторон, повлекли меня в глухую темноту переулка, а проклятый ветер, третий разбойник, с улюлюканьем бросился им на подмогу, поспешая вослед и подталкивая нас в спины. Так неслись мы неведомо куда, и дряхлые черти гримасничали и свистели

из каждого угла и переулка.

Дорогие мои читатели! Знали бы вы, как трудно продолжать этот грустный рассказ… Вряд ли мне поверят те из вас, кто привык сомневаться во всем и воротить нос от всего необычного. История и впрямь кажется невероятной, но вряд ли кому-нибудь когда-нибудь удастся поймать на лжи меня, Биньямина Четвертого! Все рассказанное здесь — чистая правда, сколь бы невыносимой ни была она для вашего уха. Ужасная правда и ничего, кроме ужасной правды!

Какое-то время мы бежали по темным бердичевским улочкам, затем вдруг резко свернули в какую-то ничем не примечательную бердичевскую дверь обычного бердичевского дома, взлетели вверх по скрипучей лестнице, протиснулись сквозь длинный лабиринт коридоров и наконец ворвались в большую комнату, ярко освещенную десятками ламп и светильников. Света было так много, что казалось, присутствующие купаются в нем, отдыхая от царящей снаружи тьмы. Посреди комнаты стояли накрытые столы; скатерти блистали чистотой, а на скатертях был развернут истинный праздник еврейского сердца: улыбающиеся халы с золотистой корочкой, веселые бутылки вина, сверкающие стаканы, блюда со

всевозможными кушаньями, при упоминании которых потекут слюнки у каждого, кто хоть раз побывал на настоящей кошерной свадьбе.

Да-да, я попал на настоящую еврейскую свадьбу в нынешнем скромном Бердичеве, и, словно в доказательство тому, вокруг столов с характерным еврейским гамом суетились еврейки всех комплекций и возрастов, как оно и принято в такие торжественные моменты. На обочинах этого женского царства робко жались весьма немногочисленные евреи-мужчины.

Итак, мы вбежали в комнату, и один из моих похитителей громогласно возвестил:

— Возрадуйтесь! Мы добыли-таки десятого для миньяна![7]

Не успел я осмотреться, как в комнате уже водрузили свадебную хупу на четырех шестах и втолкнули туда невесту. Жених быстро пробормотал известную формулу благословения. Выглядевший очень по-еврейски бородач с красивыми пейсами зачитал вслух несколько арамейских фраз из длинного свитка. Имя у бородатого было сложное, двойное: реб Шахне-Дов, сын рабби Исраэля-Нахмана.

---

[7] Примечания: 7

Миньян — кворум из десяти взрослых мужчин, необходимый для совместной молитвы.

После того как были произнесены все благословения и на пальце невесты уже блестело обручальное колечко, реб Шахне-Дов вдруг замолчал, приостановив церемонию. Он стоял и молчал, а вместе с ним безмолвствовал миньян евреев, а также неизвестное мне, но очень большое количество женщин. Тишину нарушали лишь трубные звуки сморкающихся носов, но носам, понятное дело, не прикажешь.

— Глубокоуважаемые евреи! — сказал наконец реб Шахне-Дов. — Грустно мне от всего происходящего. Если забудете наш Бердичев… О, наш Бердичев, который для всей округи был подобен святому Иерусалиму и с незапамятных времен служил здесь символом и оправданием еврейства! А что сейчас? Разве не болит ваше сердце при виде его обезлюдевших улиц и покинутых домов? Разве не ужасно, что евреи стали отрицать принадлежность к своему народу? Разве не печалит вас, что трудно уже найти в Бердичеве достаточно людей для кошерного еврейского миньяна? Ну как тут не сжаться сердцу, как не увлажниться глазам?..

Наверно, он говорил бы еще, но в «публике» — иначе и не скажешь — вдруг послышались нетерпеливые крики: «Мазл тов!», и сразу поднялась

всеобщая суматоха. Минута — и присутствующие уже восседали за столами, бодро стуча вилками и стаканами. Хмель быстро овладел головами, глаза заблестели, каждый кричал что-то свое, и никто не слушал соседа. Моложавые сорокалетние женщины строили мне глазки и зазывно улыбались, а я топил в вине свое отвращение. Когда все уже основательно перепились, ударила музыка — какой-то популярный фокстрот, и евреи с еврейками, с некоторым трудом разбившись на пары, принялись пьяно раскачиваться слева направо, вперед и назад.

А я смотрел на эту якобы еврейскую свадьбу, и слезы вскипали в сердце моем, и дом радости казался мне домом скорбей. Знакомые дряхлые черти выглядывали из темных углов зала, хлопали в такт музыке, ухмылялись и корчили рожи.

Ой-вэй, что стряслось с тобой, дом Иакова?!

Ярость и отчаяние подбросили меня с места. Я вскочил на стол и закричал что есть силы:

— Стойте, евреи! Остановитесь! Все отменяется, как будто и не было! Хупа — не хупа, и свадьба — не свадьба! — И, сунув два пальца в рот, я безуспешно попытался вернуть хозяевам праздника впустую потраченную на меня обильную еду.

Музыка смолкла, танцующие перестали рас-

качиваться, приутих на время застольный гам-тарарам, и даже черти в углах повернули ко мне свои удивленные рыла. Все вдруг остановилось, за исключением особо мясистых задов, которые пока еще продолжали колыхаться.

— Стойте, евреи! — снова прокричал я. — Вы обмануты! Никакой я не еврей, а чистокровный гой по зачатию и по рождению! А значит, хупа — не хупа, а свадьба — не свадьба! Все отменяется, слышите?! Все! Отменяется!

— Да он пьян, — сказал кто-то. — Что вы его слушаете?

Я и в самом деле хлебнул лишнего и держался не очень твердо. Где-то в углу вспыхнул издевательский смех, и секунду спустя надо мной уже потешался весь зал. Отсмеявшись, гости вернулись к своему пакостному фокстроту, стаканам и поглощению пищи.

— Меня зовут Митрофан! — выкрикнул я, не слышный даже ближнему соседу. — Хупа — не хупа…

Но никто не обращал внимания на мои слова, даже тогда, когда, поскользнувшись, я с размаху шлепнулся спиной на свадебный стол. Подумаешь — еще один пьяный: вон их, полная комната! От нечего делать я сполз со стола и сразу попал в

круговорот танцующих. Кто-то сунул мне в руку стакан, я выпил и с тех пор мало что соображал. Помню, какие-то толстые тетки по очереди жаловали меня своими пышными прелестями — это происходило где-то в коридорах, в мерзости и грязи. Даже темнота стыдливо отворачивалась от меня; сверху шумно дышали слюнявые толстухи, и сухая, острая тоска медленно сверлила мое несчастное сердце.

Вам не верится, дорогие читатели? Мне бы тоже очень хотелось, чтобы всего этого не было, но это было. Было.

Когда рассвело, я вышел на улицу вместе с Соломоном — одним из парней, приведших меня сюда. Осеннее утро хешвана встретило нас скучным зевком; облака висели так низко, что, казалось, задевали за землю. Мимо торопливо шли на рынок евреи с кошелками и корзинами. Соломон с презрением оглядел прохожих и молвил:

— У, жидовские морды! Вечор никого не попадалось, а нонеча ты только глянь: деваться от них некуда!

Он сплюнул, дабы еще больше подчеркнуть глубину своего отвращения, но уставшие от хмеля ноги не вынесли размаха движения, и Соломон, покачнувшись, шлепнулся в топкую

грязь. Я смотрел на его несчастное лицо, слушал его ругань, а сверху, продавливая ватный покров облаков, на город Бердичев опускалась тоска. Она стекала с крыш, затопляла улицы, смешивалась с жидким глиноземом и висла на ветвях деревьев. А где-то снаружи тянулись во все стороны света линии горизонтов, и никому ни в одной из этих сторон не было дела до маленького, барахтающегося в грязи человека.

1927

В лесах Пашутовки

1

Дорогие читатели — в нашей стране и за ее пределами! Я уверен, что найдется среди вас некоторое количество отважных душ, которые не ведают страха. Вот их-то я и приглашаю отправиться со мной в густые пашутовские леса.

Ох уж эти леса в окрестностях Пашутовки! Сказочная голубая корона, улыбка красавицы! В самом-то местечке мало чего интересного: покосившиеся домишки, грязь и мусор, неряшливые псы и евреи с еврейками. Зато в лесах… В лесах небо звенит голубыми заплатами в верхушках сосен, тени спят под деревьями, а птичий щебет брызжет отовсюду, как капли драгоценных духов. Вечный праздник поселился и живет в лесах Пашутовки.

Летом собирается здесь настоящий интернационал: евреи из Пашутовки, евреи из Судилкова, евреи из Хролина, евреи с Филинки, и есть даже такие, которые приезжают из далекой Одессы!

И вот, самые бесстрашные из моих читателей, крадемся мы под покровом ночи в мертвой тени

пашутовских лесов… Струйки лесного воздуха омывают наши разгоряченные лица, стаи звезд прокладывают нам путь в просветах между деревьями, тут и там падает на спящую землю еловая шишка. Где-то позади остались освещенные оконца, чьи-то восклицания, чей-то смех, чьи-то томительные песни, звучащие на верандах летних дач…

Позвольте же мне взмахнуть волшебной палочкой — она тоже отсюда, из пашутинского леса, — и вот мы уже здесь, на укромных полянах, бок о бок со стройными стволами деревьев, на ковре прелой прошлогодней листвы, меж курчавых кустов, среди тонких стеблей и мягких лесных трав. Прохладный ночной ветерок радует наши отважные души — радует и звенит памятью былых дней, как кузнечик среди колосьев месяца сивана.

Ну а тех читателей, которые по робости не примкнули к нашему отряду, я попрошу дать волю воображению. Их удивленным глазам предстанут драмы, трагедии и комедии — целая симфония всевозможных страданий и душевных передряг. Тут вам и история Пинхаса-Петра Бука, самоотверженного борца за счастье трудящихся, и рассказ о Фанечке Кац, дочери нэпмана

Яакова-Йешаяґу, и повесть о Переце Марголисе, члене профсоюза работников просвещения, и даже несколько слов о простой шиксе[8] по имени Дашка.

2

Если бы мне удалось задать вопрос всем без исключения девушкам со вкусом: что вы, милые девушки, думаете о парне по имени Пинхас (он же Петя) Бук? Способен ли упомянутый Пинхас-Петя пленить вашу душу? Сможет ли он сплести вокруг вас сеть любовных надежд, зажечь мечтой сердце на ночном девичьем ложе, вызвать смущенную улыбку на ваших устах?

Если бы представилась мне такая возможность, то все без исключения девушки дружным хором ответили бы мне: да! Конечно, да! Несомненно, товарищ Бук обладает вышеперечисленными качествами надежного соратника и верного друга!

И вот представьте себе такую картину: лес разбросал по земле свои обманчивые тени, глубокая дремота затаилась в усыпанной хвойными иглами пыли, и девушка Фанечка Кац беспечно раскачивается на веревочных качелях, закреп-

---

[8] Примечания: 8
Шикса — незамужняя нееврейская девушка (*идиш*).

ленных между стволами двух близко стоящих сосен. Фанечка раскачивается, а рядом лежит в траве выпавшая из ее рук книжка, и любопытные полевые цветы заглядывают на испещренные черными значками страницы. А мимо всего этого великолепия совершенно случайно проходит товарищ Пинхас Бук. Он наклоняется, поднимает книжку и произносит глубоким мягким голосом:

— Пожалуйста, уважаемый товарищ, ваша книга…

Фанечка улыбается в знак товарищеской благодарности, и эта улыбка вонзается прямиком в Петино сердце, зажигая там некий огонек, упрямый и негасимый, как язычок пламени в субботнем светильнике. Петя переводит взгляд на обложку: там нарисован джентльмен в вязаных штанах, а на коленях у джентльмена — кот с замечательно пушистым хвостом.

— «Страсть мистера Марерфита», — вслух читает Петя и продолжает: — Ну да! Опять мировая буржуазия провоцирует нас своими кошечками и собачками. Видали мы в Гражданскую таких кошечек! Если желаете, я мог бы рассказать вам, товарищ, как наша рота захватывала поместье князя Оболенского…

И Петя рассказывает Фанечке, как вот этими

вот руками порвал в мелкие клочья старую княжну Оболенскую и ее рыжего кота. Рыжего! Кота! В клочья! Тогда был пасмурный осенний день, и рыжие листья, как рыжие клочья, летали по мокрому саду, и падали на землю, и стучались в окна бывшего княжеского замка.

На лес благодатным дождем в пустыне опускается вечер, растекается меж соснами, томит и радует душу. Фанечка кокетливо хохочет и соскакивает с качелей, опираясь на мужественное плечо покорителя князей и котов.

3

Ах, эти первые свидания — осторожные и волнующие! И не просто свидания — но свидания в лесах Пашутовки, на тенистых тропинках, на стволе поваленного дерева, у нежно журчащего ручья! И вот наступает канун субботы, томный пятничный вечер. Сегодня товарищ Бук приглашен для знакомства на дачу, занимаемую Фанечкиной семьей. А там — гитара, горшки с цветами, стол, скатерть и еще много чего буржуазного. Конечно, это не совсем поместье князей Оболенских, но все же… все же…

Последние лучи солнца еще цепляются за верхушки сосен, в воздухе звенят комары, смолкли

дневные птичьи голоса. За столом восседает мадам Кац и ее супруг, реб Яаков-Йешаяґу. Подает прислуга — девушка Даша, она же шикса Дашка. На белоснежной накрахмаленной скатерти — вино, субботняя хала, сияющее праздничным блеском столовое серебро. Присутствует также чья-то тетя Тамара Александровна, обладательница чрезвычайно интеллигентной внешности.

Петя Бук затравленно оглядывает всю эту картину. Вот ведь попал парень в западню! И не просто в западню, но прямиком в гнездо мировой буржуазии! В открытые окна врываются звуки вечернего леса, проникают сквозь колышущиеся занавески, ложатся у стен. Петя, слегка вспотев от волнения, ведет буржуазно-светскую беседу с мадам Кац, Фанечкиной матерью.

— Какой приятный воздух! — замечает мадам, и ее пухлые руки, праздно лежащие на скатерти, слегка вздрагивают, словно желают заграбастать лесной воздух Пашутовки в свое буржуазное владение.

Петя выражает молчаливое согласие с оценкой качества атмосферы. Фанечка зевает, смотрится в маленькое зеркальце и по ходу дела интересуется, хорошо ли отстирала Дашка ее субботнее платье. Товарищ Бук клятвенно заверяет подругу, что

платье выглядит поистине безупречно, а затем, помолчав, выражает весьма уместное желание поскорее вернуться в боевые красные отряды, дабы продолжить борьбу с мировым капиталом.

Сделав это заявление, Петя откашливается и утирает со лба пот, в то время как мадам Кац продолжает делиться с присутствующими своими наблюдениями — на сей раз не о воздухе, а о молодежи. Как ей кажется, нынешние молодые люди прямо-таки жаждут крови.

— Дашка, неси голубой бокал! — говорит нэпман Яаков-Йешаяґу Кац.

Он встает со стула, наполняет бокал портвейном и начинает торжественно произносить субботние благословения. Его громкий голос разносится далеко по окрестным дворам. После каждого упоминания святого Имени Кац делает небольшую паузу, и товарищ Петя Бук печально подтверждает:

— Благословен Он и Имя Его!

Но вот торжественная часть завершена, ее сменяет громкий перестук вилок и ножей. Интеллигентная гостья Тамара Александровна заворачивает настолько умную фразу, что мы даже не в состоянии воспроизвести ее здесь. За окнами темнеет лес, с соседней веранды слышно

бренчание мандолины. По окончании трапезы Петя просит Фанечку дать ему в руки гитару и, решительно ударив по струнам, исполняет за столом одесского нэпмана главный пролетарский гимн «Интернационал». При этом все присутствующие встают, а реб Яаков-Йешаяґу сдергивает с головы ермолку.

Вот так, едой, выпивкой и пением, отметил товарищ Бук свое посещение летней дачи гражданина Каца.

4

Ах, эти летние свидания! Гром и молния — иначе и не скажешь! Ах, леса Пашутовки, сказочная голубая корона, улыбка красавицы, обещание золотого счастья!

Певчим жаворонком слетает с небес необъяснимая радость, разжигает костер в душе, заставляет забыть скучную суету повседневности. Не раз уже случалось нам описывать эти волнующие моменты юношеской любви, благословенного чувства, связующего две молодые души! А коли так, то можно сразу перейти к появлению в лесах Пашутовки нового персонажа — Переца Марголиса, члена профсоюза работников просвещения, еврейского поэта, чьи стихи регулярно печата-

лись в авторитетном периодическом издании «Красный мир» и чей приезд начисто разрушил счастье товарища Бука, пылкого борца за права трудящихся всего мира.

Потому что Перец Марголис тоже влюбился в Фанечку Кац. У него был сильно выдающийся кадык, острый подбородок и длинный, зачесанный на затылок чуб. Для начала Перец наговорил Фанечке много приятнейших слов, а затем встал в позу и пылким громовым голосом прочитал одно из своих стихотворений. Прошло совсем немного времени, и вот уже девушка с благосклонной улыбкой взирает на прыгающий кадык вдохновенного поэта, а сердце несчастного Пети Бука сжимается от невыносимой ревности. Дошло до того, что товарищ Бук заперся дома и после долгих мучений сотворил следующие берущие за душу строки:

Фаня Яковлевна, милая Фаинка,
Ты красива, ну прямо как картинка.
Даже если плюнешь на меня,
Все равно не разлюблю я тебя!

Петя грыз карандаш и старательно подыскивал правильные слова. Рядом жужжала нахальная муха. Затем, вконец истомившись, товарищ Бук

протяжно зевнул и отправился на поиски Фанечки. Поздно! Ветреная Фанечка Кац и кадыкастый Перец Марголис уже скрылись под укромной сенью необъятного пашутинского леса. И если бы не случайно повстречавшаяся Пете шикса Дашка, красивая служанка семейства Кац, то и вовсе некому было бы излить всю горечь Петиных любовных страданий.

5

Беседа между товарищем Пинхасом-Петей Буком и отзывчивой девушкой Дашкой получилась довольно содержательной. Теплая летняя ночь наигрывала свои воздушные мелодии в концертном зале пашутинского леса. Одно за другим гасли окна в окрестных местечках от Пашутовки до Судилкова, и евреи, позевывая, ложились спать в свои удобные постели. Пинхас курил папиросу сорта 2-А и говорил, что надо бы порубать их всех до единого — всех этих интеллигентов, паразитов, сидящих на шее трудового народа.

Он поедет в Кремль к товарищу Рыкову Лексею Иванычу. «Как же так? — скажет он. — Не я ли проливал кровь за республику рабочих и крестьян? Не я ли голодал за нее, Лексей Иваныч? И что же? Отчего вновь ходят меж нами дочери бур-

жуазии, чьи тела белы и красивы, в чьих венах течет пролитая нами кровь, чьи накрашенные губки пьют нашу слезу?

Лексей Иваныч, — скажет он, — ты, верно, и знать не знаешь обо всех этих поэтах-интеллигентах, которые смеются над нами и затевают недоброе: сердца их отданы белым генералам. Давай соберемся с силами, боевой товарищ, соберемся и порубаем их всех к чертовой матери!»

И, сказав это все, товарищ Пинхас Бук скрипнул зубами и вдруг крепко обнял девушку Дашку.

— Эх, Дашка, — сказал он, жарко дыша в нежное Дашкино ухо, — ты-то ведь не такая? Ты-то хорошая. Простая дочь простого угнетенного народа. Ты-то не пишешь этих гадских стихов…

— Все вы, мужики, обманщики! — отвечала Дашка слабеющим голосом.

Она разок-другой попробовала высвободиться из сильных рук товарища Бука, но потом, как видно, передумала, закрыла глаза и тихо опустилась на землю — простая и хорошая дочь угнетенного народа.

Некоторое время спустя Петя лежал под кустом, подобно раненому зверю, и с болью в сердце наблюдал за Фанечкой Кац и Перецом Марголисом, которые, мило болтая, сидели рядышком на

толстом стволе поваленного дерева. Тут и там слышался звук упавшей шишки, меж кронами сосен тихонько звенели звездные бубенцы.

Ах, если бы сейчас выскочил из чащи страшный дикий медведь и порвал в мелкие клочья этого Переца и его проклятый кадык! Фанечка, конечно, завизжала бы в жутком испуге. И вот тут выпрыгнул бы из кустов он, Пинхас-Петр Бук, и, одним ударом свалив медведя, подхватил бы на руки упавшую в обморок девушку. Подхватил — и так и понес бы — через леса и озера, горы и поля, прямиком на остров посреди синего моря. А там — золотое солнце, бьющее через край счастье, чистые песни радости, любви и свободы.

— Фанечка, — шепчут пересохшие Петины губы, — любимая моя…

Ночной ветер качает над головой темные верхушки сосен, развеивает пустые мечты. Закипают слезы в разбитом сердце товарища Бука.

— Нет! — едва слышно шепчет он. — Нет медведей в лесах Пашутовки!

1927

Дворец счастья

Дома прятались в обманчивом, колеблющемся сумраке; звезды казались далекими и смутными. Временами было слышно, как суетливо и невпопад бьют крыльями петухи, а сразу вслед за тем врезались в ночь их неуверенные тоскливые голоса, напоминавшие трубный звук Судного дня. Предрассветный ветер набрасывал на петушиные крики свое широкое покрывало, хватал и утаскивал их в свою сокровищницу, как меняла монеты, — для того лишь, чтобы развеять потом по всем четырем сторонам света.

Вдоль серых, прорезанных влажными колеями земных дорог сеял ветер семена бледнеющих звезд. Откуда-то набежал пес, по-охотничьи осмотрелся, принюхался к придорожной траве и, приглушенно заворчав, исчез в тумане дремлющей равнины. Постепенно серело, светлело небо, тут и там проступали из темноты кроны деревьев, похожие на затаившихся чудищ.

Со стоном очнулся от своего стариковского сна реб Ицхак-Бер, проснулся, открыл глаза и долго лежал так, напряженно вглядываясь в тени, толпившиеся в дальнем углу комнаты. Один

за другим просыпались вокруг приплюснутые временем домишки — старые, просевшие, с покосившимися кривоватыми стенами. Старик снова тяжело вздохнул и стал одеваться, медленно и небрежно. А еще спустя некоторое время, сполоснув руки и посидев с наморщенным лбом над книгой с пожелтевшими страницами, заводит реб Ицхак-Бер свой печальный напев-нигун[9].

— Рабби Ишмаэль[10] говорит…

От звука его голоса просыпается Эстер и испуганно вслушивается в талмудический нигун. Только что снился ей дворец счастья, где чернобородый красавец-мужчина со смехом целовал ее грудь. И вот, пробудившись, обнаруживает себя Эстер на бедной шаткой кровати, одну-одинешеньку… Охо-хо… Она внимает тоскливой песне-молитве древних времен, и грешные мысли пробираются ей в голову, тревожат и горячат тело тридцатилетней женщины.

---

[9] Примечания: 9

Нигун — напев без слов (*ивр.*). Иногда таким образом, методом распевания и повторения, исполняются цитаты из священных писаний или классических текстов иудаизма.

[10] Примечания: 10

Рабби Ишмаэль бен Элиша, Великий коѓен — выдающийся мудрец Талмуда, жил в I в.

Рабби Ишмаэль говорит:

— По тринадцати измерениям толкуется Тора…

Эстер тесно прижимается к мужчине грудью, животом, бедрами; ее ладони лежат на его крепком затылке. Чернобородый склоняется над ее сосками, целует их, и женщина содрогается от его прикосновений.

— Любимый мой, — беззвучно шепчет она, не в силах сопротивляться, — сжалься надо мной, хоть чуть-чуть, муж мой…

Дрожащий голос старика поднимается, взбираясь все выше и выше по ступенькам нигуна, и снова спадает, слабея до полного безмолвия. И тени в углу комнаты, используя эту передышку, немедленно затевают безумную пляску, еще сильнее кружа и опьяняя разгоряченную голову Эстер.

— Муж мой… — лепечут ее воспаленные губы, — муж мой сильный… пусть исцарапают усы твои до крови мою нежную кожу. Обовью руками сапоги твои, поцелую, вдохну их грубый дегтярный запах. Молю твою руку: пусть хлестнет меня по щеке — рука мощная, поросшая темным волосом, тяжкая рука мужа моего…

Тем временем Мирьямке, младшая сестра пят-

надцати лет от роду, еще спит глубоким сном, и ее разметавшиеся по подушке черные волосы мерцают в полумраке комнаты.

За окном лежит в пыли кривая безлюдная улочка. Но стоит заглянуть туда солнцу — пусть даже одним глазком, как тут же начинается суета, беспорядочный танец теней и света, как в синематографе, когда фильм уже кончился, но проектор еще включен. А уж когда солнце приоткрывает свой второй глаз — о, тут только держись! — принимай, местечко, роды нового, весеннего дня — дня света и жизни! Вот со скрежетом проехал фургон, оставив после себя лошадиные катыши и зевки — причем зевают и возница, и лошадь. Вокруг колодца собираются женщины в замызганных передниках; кто-то сонно крутит колесо ворота. В воздухе звенят весенние комары.

Мирьямке, шустрая девчонка, разожгла самовар. Она поддувает в трубу, и красноватый отсвет углей играет на ее юном лице. Мирьямке распрямляется и подпевает гудящему самовару:

Вышла мамочка на рынок за лучком-картошечкой,

Привезла ко мне из Польши жениха хо-

рошего…

У восточной стены раскачивается реб Ицхак-Бер. Он закутан в талес[11], на лбу и на руке — тфилин[12], глаза зажмурены, молитва обращена к Отцу Небесному. Эстер только-только почистила зубы, о чем свидетельствуют белые следы, которые щеточка оставила в уголках ее рта.

Ах, какой красивый парень с жаркою улыбкой,

Вышла мамочка на рынок за лучком, за рыбкой…

Попив чаю, Эстер отправляется на работу. Она служит фельдшером в больнице — должность весьма уважаемая, отчего зовут ее там Эсфирью Борисовной. В доме воцаряется тишина, так что слышнее становится угрюмое тиканье старых настенных часов, работающих наперегонки со стрекочущей швейной машинкой в доме соседа.

---

[11] Примечания: 11
Талес — молитвенное покрывало.

[12] Примечания: 12
Тфилин — две коробочки из кожи кошерных животных, содержащие написанные на пергаменте отрывки из Торы. При помощи кожаных ремешков одна коробочка крепится на лбу, а другая — на бицепсе обнаженной левой руки.

Затем приходит Левик, шестнадцатилетний парень, чтобы поболтать с Мирьямке. А Мирьямке и не возражает: одной скучно чистить картофель.

— Что ты сегодня готовишь, Маруська?

— Свежие щи, Левик. Капусту с маслицем, фунт мяса с лучком и жареную картошечку. А что Голда?

Голда, сестра Левика, слава богу, выздоравливает. Проспала аж четырнадцать часов.

— Где ты выучилась так ловко чистить картошку, Маруся-краса?

Мирьямкины щеки вспыхивают румянцем.

Вышла мамочка на рынок за лучком-картошечкой,

Привезла ко мне из Польши жениха хорошего…

Ах, какой красивый парень с жаркою улыбкой…

Она подхватывает девственно чистый клубень и швыряет его в Левика. Картофелина попадает парню в бок, но он не теряется, а ловко перехватывает пахнущую влажными клубнями руку воительницы и целует ее.

Но сразу после этого Левик сообщает, что уезжает в Америку. Да-да, уезжает, и пусть никто

даже не пытается отговорить его от этого решения. Не помогут и слезы, пролитые в миску с клубнями. Чего ему искать в этом местечке? Если бы еще приняли в комсомол — так ведь нет, эта дорога для Левика закрыта из-за отца-торговца. Это отец-то буржуй! Человек, работающий день и ночь не покладая рук, а живущий в бедности! Короче говоря, надо решаться! Надо отправляться в Америку, пусть даже пешком!

Да-да, Маруська, не выпучивай глаза: пешком, через Сибирь и через Берингов пролив! Ты что, не учила географию? Всем известно, что Берингов пролив полностью замерзает. А коли так, Маруська, невежда ты этакая, можно легко пересечь это море по льду. Ну а там уже дальше — Аляска, эскимосы, золотые прииски… Там даже у самого бедного бедняка есть тысячи долларов. Ну, а потом… потом — телеграмма в СССР, Маруське-красавице. А в телеграмме тысячи долларов. И подпись: «Судно отплывает из Ленинграда двадцатого июня. Твой Левик».

Мирьямке, черненькая веселая девушка, заливается смехом.

Вечером приходит Голда, старшая Левикова сестра. Реб Ицхак-Бер дремлет над книгой. Эсфирь Борисовна в хорошем настроении, смеется не

переставая. Она нахлобучивает на голову Левика ермолку, набрасывает ему на плечи субботний стариковский лапсердак и пускается перед ним в пляс, задорно уперев руки в боки.

Выходи, любимый, чири-чири-бом!

Выходи к невесте, чири-чири-бом!

Она пляшет до упаду, а потом вдруг бросается на кровать и накрывает голову подушкой. Снаружи одно за другим гаснут окна в маленьких убогих домиках, с севера наползает туча. На мир опускается темнота — воздушная и полупрозрачная в начале, мрачно-непроницаемая под конец. Перед ее немой угрозой прячутся в норы, умолкают твари живые. Ползком-ползком проникает в местечко бродячий ветер, пробует на вес молчаливую пыль, гонит мусор по притихшим улочкам, крутит обрывки газет на опустевшей рыночной площади. Захлопал крыльями петух, протрубил свою хриплую весть — и тут же закукарекали его собратья в соседних дворах. Пошел дождь.

Эстер вдруг вскочила с постели, бросилась к двери, наружу, во двор.

— Левик, иди сюда!

Вышел ничего не понимающий Левик, все еще

в ермолке и лапсердаке.

— Ш-ш! — Эстер приложила палец к губам. — Сюда!

Она заводит парня в дровяной сарай и запирает дверь. В щели вместе с тусклым вечерним светом просачиваются капли дождя, падают на пол, на дрова, на копну душистого сена.

— Левик, — лихорадочно шепчет Эстер, — поклянись, что никому об этом не расскажешь! Поклянись, ты ведь уже взрослый парень… Ох, ну какой ты смешной…

Женщина издает нервный смешок и, раскинув руки, падает на сено. Глаза ее горят во мраке ярким темным огнем.

Смотри, Левик, какой ты смешной в этом еврейском лапсердаке. Иди сюда, ко мне. Ты ведь совсем не знаешь, как себя вести с женщинами? Какой ты забавный в этом черном одеянии, в этой ермолке… Сними сейчас же ермолку! Или нет, не надо — она так тебе идет, и лапсердак тоже. Ты ведь еврей, Левик, скоро будешь совсем большим. Подвинься ближе… еще, еще… вот так. Ты мой большой еврей, Левик, а в лапсердаке так и вовсе почти старик. Почему у тебя нет усов? Почему нет черной бороды? Почему твои сапоги не пахнут дегтем? Почему ты не грязен, не отвра-

тителен? Ах…

Где-то там, в иных мирах, шел дождь, стучал по щелястой крыше сарая. Кто-то стонал, шуршало сено, склонялась ночь над спящим местечком…

Восемь лет тому назад, в 1919 году, она так же лежала здесь на копне сена. Тогда трое вооруженных людей выволокли Эстер из дома, втолкнули в дровяной сарай и насиловали всю ночь, и острый запах дегтя стоял в сарае от их вонючих сапог…

Эстер вдруг разразилась безумным хохотом. В страхе отшатнулся от нее Левик, вскочил и выбежал наружу под дождь — маленький осмеянный еврейский подросток в довоенном стариковском лапсердаке.

Он бежал и бежал по пустынным улочкам местечка, и страшные призраки прошлого, как дикие звери, прыгали из тени ему на спину и рвали ужасом его мальчишечье сердце. Еще долго слышался ему позади жуткий хохот обезумевшей женщины. И он бежал, не в силах остановиться — бежал к Берингову проливу, к земле эскимосов и золотых приисков. Бежал, пока не подкосились ноги, пока не рухнул в жидкую грязь своего местечка, сам не зная, жив он или мертв. А вокруг, умытые весенним дождем, молчаливо жались друг к дружке пчелиные соты домишек.

1927

Гителе

Киевские бродячие торговцы-чулочники, случайные, как и я, постояльцы в доме синагогального служки Менахема-Бера, ужинали, разложив на тюках селедку и помидоры и приправляя трапезу вялой перебранкой. Я вышел наружу, и прохлада месяца элуля[13] омыла мои колени. Ветер шуршал позолоченными кронами деревьев. Флаг, развевающийся над крышей исполкома, тщетно пытался поймать за хвост предзакатное солнце.

Я немного прошелся по местечку. Дети хрустели яблоками, их крутобедрые матери восседали на скамейках или стояли, облокотившись на перила крылечек. В западной части городка, как и прежде, звучали их пустые речи, пыльные от старых, привычных сплетен. Зато на востоке болтовня сливалась с музыкой оркестра, играющего в городском саду, который звался теперь «парк имени Красной Звезды». Цветистая афиша на стене кинотеатра призывала зрителей на фильм

---

[13] Примечания: 13

Элуль — месяц еврейского календаря, соответствующий августу-сентябрю.

«Медвежья свадьба». Пустота отплясывала на рыночной площади, так что видны были края далекого горизонта, туманящегося за оврагами и убранными полями.

Я вернулся на постоялый двор и немного потолковал со служкой Менахемом-Бером. В соседнем штибле[14] как раз закончилась вечерняя молитва. Чулочники собрали тюки и потащились на железнодорожную станцию, чтобы успеть к утру на ярмарку в соседнем городке, и теперь Менахем-Бер перекусывал остатками их трапезы: селедочной головой и коркой хлеба.

— Ну, погулял? — спросил меня служка.

Один глаз его печально косился в сторону, второй смотрел на меня с вызовом и хитрецой.

— Как у тебя с молодой кровью, товарищ еврей? Кипит, наверно? — он покачал головой. — Ай-ай-ай, сорок лет живу я в этом местечке, но такого, как сейчас, никогда не было. Мир как с цепи сорвался — всем теперь нужна ласка…

Он отложил рыбью голову и, взяв меня за рукав, отвел к Гитл, женщине, торгующей здесь своим телом. Мы шли напрямки, через комсомольский клуб, низину и по узеньким тропинкам в обход

---

[14] Примечания: 14

Штибл («домик»; *идиш*) — небольшая синагога, которая служила хасидам для молитв, изучения Торы и собраний.

бани, пока не добрались до покосившегося домика Гитл. Женщина сидела в комнате у стола, на котором стояла миска — пустая, если не считать дымящегося в ней отчаяния.

Черные прямые волосы были уложены скромно и просто; их строгая линия подчеркивала мягкую нежность лица. Под слегка припухшими веками угадывался тот далекий, грустный, но яркий огонек, в поисках которого я сбил себе ноги на дорогах еврейского изгнания.

— Гитл, — сказал служка, перед тем как уйти восвояси, — этот еврей хочет с тобой познакомиться.

— Это так, я хочу познакомиться с тобой, Гитл, — проговорил я. — Дни моей юности прошли в другом местечке. Но уже там я писал тебе стихи, таинственная дева, дочь Израилева. И вот теперь я беру тебя на всю ночь…

— Три! — выпалила она свою цену и повела меня в другую комнату.

В нос мне ударил запах несвежего белья. Не говоря ни слова, женщина сбросила платье и легла на кровать. Я сел рядом и стал молча смотреть на ее красивые загорелые плечи.

— Пане, чего ты ждешь? — удивленно спросила Гитл.

Я снял пиджак и обнял ее за плечи. Мягкое красивое лицо поблескивало в темноте перед моими глазами.

— Гителе, — прошептал я, чувствуя, как ее босые ноги касаются моих башмаков, — я думал, что найду тебя в доме молитвы, у восточной стены, склонившейся перед ликом Владыки Небесного. А нашел в доме греха, сестра моя… В доме греха, где ты продаешь свое сердце любому прохожему по три рубля за ночь.

— Сними сапоги, пане, — сказала она. — Мне холодно.

— В дни моей юности, Гителе, в другом местечке, любил я маленькую девушку, дочь нашего народа. Она так любила смеяться… Стоило только показаться первой вечерней звезде, она тут же принималась хохотать и веселиться. А я целовал ей пальцы от полноты счастья. Потом ее раздавили, мою маленькую девушку…

Я сбросил башмаки и поцеловал женщину в губы. Гитл расстегнула мне пуговички на рубашке и прижалась щекой к моей голой груди.

— Мне холодно, — повторила она. — Обними меня поскорее, чего ты ждешь? Почему ты только мелешь языком, как какой-нибудь старикашка?

Гитл сунула руку под перину, вытащила оттуда

заплесневелую плитку шоколада, взяла немного себе и отломила кусочек для меня. Мы занялись любовью, а потом оделись и вышли во двор. Нас встретил прохладный ветер элуля; ранняя осень вползала в местечко. Издалека, то пропадая, то возвращаясь, доносились странные звуки духового оркестра. И мы, как завороженные, пошли на глухое уханье барабана — по извилистым тропкам, в обход бани, через низину. Мы шли, и ночь заботливо укрывала нас своим темным платком.

— Чудак, — покачала головой женщина. — Ты возишься со мной, как жених с невестой…

И она рассмеялась горьким невеселым смехом, который на первый взгляд мог бы показаться вызывающим. Мы прогуливались бок о бок в парке «Красная Звезда», и я не мог оторвать взгляда от темных глаз Гителе. Вокруг слышались насмешки, все смотрели на меня, как на диковинного зверя. Какая-то девица с мышиным личиком подскочила к нам и силой влезла между мною и моей спутницей.

— Все смеются над тобой, заезжий дурачок! — крикнула она и захихикала, выставив вперед остренькие зубы. — Ты что, не знаешь — это Гитл-подстилка, дочь служки Менахема-Бера!

— Она и вправду дочь служки? — удивился я,

припомнив два разнонаправленных глаза Менахема-Бера.

— Конечно! — ощерилась девица. — Весь город об этом говорит!

Я поскорее вернулся к смущенной Гителе и крепко взял ее за руку, чтобы уже никто не мог разлучить нас. Потом мы два часа просидели в кино, слушая дребезжащее пианино, и картинки «Медвежьей свадьбы» низвергались на нас с белой простыни экрана.

Когда мы вышли, луна стояла уже высоко, серебря беленые стены и крыши домов. На дорогах и тропинках лежали глубокие тени. Я взял Гителе на руки, положил на плечо и понес по безлюдным улицам. Она смеялась, и этот смех эхом отзывался в моей душе. Время от времени я брал ее руку и целовал пальцы.

Потом мы сидели на скамейке, и лунный свет, как вода, стекал по ее лицу.

— Гителе, — сказал я, — милая моя…

Женщина заплакала и положила голову мне на колени.

— Мне так грустно… — пожаловалась она, моя маленькая сестренка.

Как дорогой подарок, держал я в ладонях ее гладко причесанную голову. Где-то поблизости

собиралась с силами осень, копила дожди, наползала на улицы местечка.

После этого мы вернулись в дом, и я нашел счастье в ее объятиях. Но утром, когда рассвет просочился сквозь замызганное окно и я очнулся от неглубокого, урывками, сна, в нос мне снова ударил запах несвежих простыней. Во рту стояла горечь от заплесневелого шоколада. Гитл лежала рядом, отвернувшись к стене. Я быстро оделся и вышел наружу.

Пучеглазые лягушки встретили меня оглушительным кваканьем. По улицам спешили на рынок хозяйки с плетеными кошелками. Из молельни слышался трубный зов шофара. Я прокрался в дом служки, нащупал свой мешок и поскорее выбрался на волю. Там я снял обувь и так, босиком, двинулся по дороге, ведущей в соседнее местечко. Навстречу мне ползли тяжело груженные крестьянские телеги. Утренний туман лежал на убранных полях, окутывал пыльные шляхи. Устав, я прилег отдохнуть под кустом и незаметно для себя задремал.

Проснувшись, я обнаружил, что надо мной стоят служка Менахем-Бер и его дочь Гитл. Небо было покрыто тяжелыми облаками, горизонт дышал угрозой.

— Товарищ еврей! — проговорил Менахем-Бер, уперев в землю оба своих глаза. — Ты не заплатил этой женщине три рубля за прошлую ночь. Возможно ли такое?

— Извините меня! — воскликнул я и торопливо достал деньги. — Ради бога, извините меня, реб Менахем-Бер!

Служка молча покачал головой и пошел назад в сторону местечка. Глаза Гитл были полны слез. Она стояла передо мной в тумане пасмурного осеннего дня и плакала. Мне вдруг захотелось упасть перед ней на землю и молить о прощении, и целовать стоптанные каблуки ее туфель, но женщина, так и не промолвив ни слова, повернулась и побежала вслед за отцом. И тут же начался дождь — нудный, постоянный, смывающий с лица земли всю приязнь и отраду. Я обулся и двинулся в путь. К вечеру я уже был в соседнем городке и без труда нашел себе приют на постоялом дворе в доме вдовы реб Шайкеле Штейнберга. Там уже сидели знакомые киевские чулочники, скитающиеся, как и я, из местечка в местечко. Они ужинали, разложив на тюках нехитрую трапезу, и привычно перебрасывались ничего не значащими бранными словами.

1927

От праздника Пурим до праздника Песах

1

Дни между весенними праздниками Пурим[15] и Песах — время просушки размокших улиц местечка и тщательной уборки в его домах. Время благословенно чистого неба и приветливого солнца, время отрады для истомившихся за зиму глаз и сердец.

Первый день апреля. По дворам, топорща нарядные перья и гордо воздев гребешки, расхаживают степенные высокомерные петухи и, как и положено петухам, подбадривают весну торжествующим боевым кличем. Еврейские хозяйки, повздыхав и засучив рукава, вытаскивают из чуланов стремянки и идут на приступ собственных домашних стен — мыть, драить, белить. Тут и там уже распахнуты заклеенные на зиму окна, и шум веселой весны беспрепятственно врывается

---

[15] Примечания: 15

Пурим — праздник в память спасения евреев, живших в Персии, от истребления Аманом, приближенным персидского царя Ахашвероша. Отмечается 14 и 15 адара, месяца еврейского календаря, соответствующего февралю-марту.

с улицы в дом, а навстречу ему летит дробный стрекот швейной машинки и простая сердечная песенка:

Давай помиримся, мой милый,
Купи мне фунт конфет в кульке
И приходи в субботний вечер
Поговорить со мной в теньке…

Так поет-напевает какая-нибудь веселая девушка-красавица, дочь рода Иаковлева, и ветер радостно подхватывает немудрящий мотив. По улице, чавкая копытами в грязи, неторопливо проходит товарищ Пистон, коняга извозчика Гедальи, и этот звук возвещает местечку о возвращении из важной служебной командировки другого товарища — Ивана Семеныча Лаврова.

— Х-ха, Пистон! — с притворной строгостью восклицает Гедалья и слегка прикладывается кнутом к блестящему лошадиному крупу.

Пистон отвечает хозяину бодрым взмахом хвоста и с кокетливым ржанием удобряет творение всемилостивейшего Создателя доброй порцией конских катышей. Так следуют они по улице, и время от времени тот или иной из евреев вытягивает шею, чтобы получше рассмотреть ездока. Вытягивает — и тут же по-черепашьи возвращает

ее на место, под панцирь сгорбленной спины:

— А, мешумад[16] поехал… отребье…

Четвертый час пополудни. Местечко позевывает, окутанное свежей пылью и ласковым солнцем месяца нисана[17]. У кооперативного магазина дремлют грузовые подводы; лошади, отмахиваясь хвостами от мух, вяло жуют сено. Ответственный товарищ Лавров мысленно отмечает непорядок текущего момента: он руководит дирекцией всех здешних кооперативов и, еще даже не войдя в кабинет, а всего лишь восседая в удобной пролетке Гедальи, приступает к исполнению своих нелегких обязанностей. Так что работают все трое — и товарищ Лавров, и товарищ Пистон, и Гедалья-возчик. Последний облачен в толстый и теплый не по погоде ватный бурнус. Вот Гедалья чмокает губами, и Пистон, немедленно уловив сигнал хозяина, производит вежливую отмашку хвостом и останавливается перед крашеными деревянными воротами дома многоуважаемого товарища Лаврова. Смолкают на короткое время стук копыт, скрип упряжи и колес, и в наступив-

---

[16] Примечания: 16

Мешумад (буквально «погубленный», *ивр.*) — крестившийся еврей.

[17] Примечания: 17

Нисан — месяц еврейского календаря, соответствующий марту-апрелю.

шей тишине снова становится слышна простая девичья песенка:

Давай помиримся, мой милый,
Погладь меня по волосам,
Твои ласкающие пальцы
Мне как целительный бальзам…

Товарищ Лавров легко выпрыгивает из пролетки, сует полтинник в ладонь возчика и торопится войти в дом. Вот сейчас навстречу ему бросится жена Сусанна Моисеевна, и лицо ее будет сиять искренней радостью, а соскучившаяся по мужу грудь — колыхаться под тонкой тканью рубашки в ожидании крепкого объятия. И уж он обнимет, обнимет, как надо, можно не сомневаться, а рядом с родителями будет подпрыгивать от нетерпения восьмилетний Владимир Иванович — подпрыгивать и дергать отца за полу пиджака:

— Папка, игрушки!

Неудивительно — ведь каждая отцовская командировка приносит Володе солидный урожай подарков.

2

Володя гонял вокруг стола обруч — и в ту

сторону, и в эту, и снова в ту, — а его нянька, деревенская девушка Варька, сидела у окошка и вязала толстый носок. Настенные часы пробили четыре раза.

— Папка, папочка! — закричал мальчик и бросился навстречу вошедшему отцу.

Забытый обруч самостоятельно докатился до стула, опрокинулся и затрепетал на полу в короткой агонии. Товарищ Лавров расцеловал сына и вопросительно повернулся к Варьке. Та уже стояла рядом, протягивая ему голубой конверт. На лице девушки играла виноватая улыбка, с опущенной руки сиротливо свисал недовязанный носок.

— Вот, барыня просили передать, Иван Семеныч. Еще третьего дня уехали…

Солнце рисовало на беленой стене розовые бутоны, за окном шептались о чем-то своем ветви деревьев. Иван Семеныч вдруг почувствовал слабость в коленях; сердце сжалось тяжелым предчувствием. Он нащупал кресло, сел и распечатал конверт.

Сегодня 29 марта, — *писала Сусанна Моисеевна.* — Прощай, дорогой Ваня. Уезжаю, уезжаю навсегда. Был бы жив отец,

с его табакеркой, спутанной бородой и заплесневелыми книгами — он, наверно, хорошо посмеялся бы надо мной и над моим возвращением. Действительно, Ваня, правы были наши родители, жившие под гнетом древней традиции. Трудно еврею быть в одной корзине с иноверцем. Иногда я чувствую, что задыхаюсь, будто нет вокруг воздуха. Пойми, милый Ваня, ты ни в чем не виноват. Просто привязано мое сердце к еврейскому житью-бытью, к напеву отца и деда на рассвете дня, к мерцанию лампады над пожелтевшими страницами. «Ой, ой…» — так распевали они, и сердца их устремлялись к Всевышнему с жалобой на несправедливости мира, на все его страхи и ужасы. И вот теперь я покинула это все, и женщины-еврейки не хотят меня знать, не желают говорить со мной ни о плохом, ни о хорошем. Я теперь для них выкрест, Ваня. А ты…

Ах, Ваня, милый Ваня, был бы ты целиком язычником — насколько было бы лучше… Как-то ты рассказывал мне о своем детстве, об отце-гое и о матери-еврей-

ке. О том, как мальчишки забрасывали тебя камнями и кричали: «Жид, жид!» С раннего детства нес ты эту тяжкую ношу из-за черных еврейских глаз, унаследованных тобой от мамы. Сколько горя, Ваня, сколько страдания!

Твоя мама! Женщина с бледным лицом и горячими глазами, добрая, любящая и милосердная. Ты говорил, что однажды она привела тебя в синагогу — тайком, скрытно, печально. Как дрожал ты тогда, как плакал, забившись в темный уголок… Как боялся, что один из этих обернутых талесами жидов вдруг заметит тебя и утащит в какую-нибудь ужасную пещеру.

Да и сейчас, я знаю, ты на дух не переносишь евреев. Но знай и ты: по ночам, во сне, твои губы шепчут слова твоей еврейской матери, помнят и хранят ее память. Тяжело мне с тобой, милый Ваня. Ты иноверец — но и немножко еврей. Но зовут тебя тут не так и не этак: для евреев ты мешумад, что значит выкрест, отребье, презренное существо.

А что касается нашего Володьки…

Так писала своему мужу Сусанна Моисеевна, деликатная еврейская женщина с нежной и тугой грудью, окончившая десять лет тому назад курсы школьных учителей иврита в городе Одессе, известном еврейском месте.

3

Иван Семеныч, товарищ Лавров, отложил письмо и, простоволосый, нетвердой походкой вышел на улицу. В дрожащем воздухе звенели лучи закатного солнца. Налетевший с окрестных холмов ветерок вздымал слои и столбики пыли, трепал и передвигал их с места на место, заигрывал со всеми живыми и дышащими. И казалось в тот вечер товарищу Лаврову, что эта легкая слоистая пыль может похоронить под собой все местечко, так что и следа не останется.

Значит, ушла Сусанка. Ушла, ушла, ушла от него эта черненькая любимая женщина с тонкими руками. Как он сам говорил ей: «Сусанка, любимая моя, жидовочка моя, отрада сердца моего! Коснись усов моих своими раскрытыми в улыбке губами!» А она в ответ: «Ах, милый Ваня! Какой ты колючий сегодня…»

Или — как входила в комнату и, вертясь-крутясь перед зеркалом, говорила с капризной серьез-

ностью: «Смотри, Ваня, я надела твое любимое голубое платье с черными лентами и длинными рукавами» — и, запрокинув голову, указывала на ямочку между ключицами: «Поцелуй здесь, только один раз… Ваня, я сказала — один раз! Один! Что ты делаешь, сумасшедший… Ваня… Ваня…»

Солнце быстро садилось, а с его уходом постепенно унималась, стихала дневная суета. Все так же стрекотала швейная машинка, и все та же песенка доносилась неведомо откуда:

Тебя люблю я с прежней силой,
Ты приходи ко мне один,
Давай помиримся, мой милый,
А после кашу поедим…

Но вот стихла и песня. Густеющие сумерки опустились на мир, наполняя его тишиной и печалью. Из пыльной синагоги слышался смутный и слитный гул вечерней молитвы, и Иван Семеныч вдруг вспомнил мать — вспомнил, и странная волна щемящей тоски нахлынула в сердце ответственного работника товарища Лаврова. Он замедлил шаг и неожиданно для самого себя заглянул в темный штибл. По стенам молитвенного дома в безумном танце метались тени. Несколько пожилых евреев, сильно раска-

чиваясь, что-то бормотали на своем непонятном языке, и звуки их молитвы, сливаясь в общий нестройный гул, гудели в тесном помещении штибла.

«Ай, ай, ай… Храни нас в исходе нашем и возвращении нашем, отныне и во веки веков…»

На цыпочках, на цыпочках товарищ Лавров покинул молитвенный дом. Ноги сами несли его по темным улочкам и переулкам местечка. Вот они, евреи, отнявшие у него любимую Сусанну. Есть в них какая-то проклятая сила — в этой их видимой слабости… Вот и сам он, Иван Семеныч, в чем-то мешумад, еврейское отребье.

В непосредственной близости от ответственного работника вдруг послышался дребезжащий старческий голос. Еврейский голос.

— Товарищ Лавров, так что вы решили по поводу моего сына?

Иван Семеныч был в местечке самой важной персоной, и десятки людей ежедневно осаждали его просьбами о разрешении жить и работать.

— Мой сын… — повторил старик, сдергивая с головы картуз в знак смирения и покорности. — У него семья. Жена и двое детей. Совсем помирают, скоро пухнуть начнут от голода…

Товарищ Лавров не ответил. Он молча шагал

вперед, уставив в темноту невидящий взгляд и толкая набыченным лбом прохладный вечерний воздух. Вот и окраина; отсюда уже свободно разлеглась среди полей дремотная проселочная дорога. Над головой тут и там зажигались звезды, слабые огоньки масляных ламп перемигивались с ними из темных окон.

4

Над речкой завис старый деревянный мост. Товарищ Лавров перешел на другой берег и свернул направо, в сторону труднопроходимой местности, месива холмов и оврагов, известного под названием Дикая балка. Откуда-то издали, почти сливаясь с приглушенным собачьим лаем, посвистом грызунов, криком лягушек и прочими ночными звуками, доносилась тоскливая украинская песня о казаке, сменявшем жену на понюшку табака.

— Товарищ Лавров… — снова донесся сзади дребезжащий умоляющий голос. — Мой сын, товарищ Лавров…

И снова ничего не ответил ответственный работник товарищ Лавров Иван Семеныч, крупными шагами двигаясь вверх по склону крутого холма. Он молчал, но сердце его дрожало от гнева.

Проклятые евреи… Ну почему они не могут оставить его в покое — хоть на час, хоть на минуту? Почему не оставляют людям ни пяди свободного места, почему суют свой нос повсюду — в каждую дырку, в каждую щель?

— Товарищ Лавров… — канючил, не отставая, старик. — Вы только скажите, что вы решили по поводу моего сына…

— К черту! — не выдержав, прокричал Лавров. — Отправляйся к чертовой матери! Нет у меня работы, понял? Нету!

Багровый от гнева, он стоял над щуплым стариком и едва проталкивал слова через перехваченное злобой горло, выкрикивая их в ненавистное бородатое, носатое, морщинистое лицо:

— Нету! Пошел отсюда! Пошел к черту!

Еврей подошел поближе и вдруг рассмеялся тонким дребезжащим смешком:

— Ой-ой-ой… Они, наверно, думают, что я испугаюсь, да, товарищ Лавров? Х-х… но я ведь сказал им: у меня есть сын, и он голодает. Вы должны дать ему работу, товарищ Лавров. Вы должны…

На краю неба волочила за собой длинный шлейф полная луна, похожая на дебелую матрону, и собаки со всей округи встречали ее приветственным лаем. Ночь полнилась стреко-

том, посвистом, ржанием…

И старый еврей, так и не дождавшись ответа ответственного работника товарища Лаврова Ивана Семеныча, вдруг начал кричать тонким отчаянным голосом, вплетая его, как нить, в толстый ковер ночных звуков:

— Ах так? Нет у тебя работы? Думаешь, я не видел, как ты только что стоял вместе со всеми на вечерней молитве? С каких это пор ответственным работникам дозволено бывать в синагогах? Будь уверен, уж я сообщу об этом куда следует! На весь мир прокричу! Самому товарищу Калинину! Мешумад! Мешумад! Мешумад!

Не помня себя от ярости, Лавров подскочил к старику и схватил его за горло. Руки Ивана Семеныча скользили по еврейской бороде, дребезжащий фальцет, слабея, выплевывал ненавистное слово: «Мешумад… мешу… мад… мешу…»

Тяжело дыша и всхрапывая, как дикий голодный зверь, Лавров обеими руками сжимал хилую стариковскую шею и душил, душил, душил — не старика, нет! — душил весь этот проклятый, крикливый, никчемный народец, не дающий людям ни отдыха, ни покоя, отнявший у него жену, счастье, жизнь… Душил, с радостью ощущая, как хрустит под руками пережатое горло, как

трепещет умирающее тело, как выбивают ноги предсмертную чечетку: так-так-так… — в точности, как та швейная машинка из распахнутого окна, из окна с песенкой…

Давай помиримся, мой милый,
Не все же гоями ходить…
Купи мне светлое колечко —
Ктубу[18] *напишем, станем жить…*

Он не сразу осознал, что старик уже мертв, а осознав, широко размахнулся и зашвырнул тело в одну из расщелин, где клокотал и пенился, стремясь к близкой реке, мутный весенний поток. Зашвырнул, перевел дух и замер, не в силах сдвинуться с места. Над Дикой балкой, слегка покачиваясь в рассеянном лунном свете, плыла навстречу товарищу Лаврову его еврейская мать. Длинные пряди ее волос подрагивали в белом ореоле, а снежную чистоту платья пятнали две стекающие из глаз ярко-красные струйки. Шея матери была вывернута набок, и страшная молитва слетала с ее искаженных рыданием губ.

— Ай! Ай! — закричал ответственный товарищ Лавров и где кубарем, а где бегом скатился

---

[18] Примечания: 18
Ктуба — еврейский брачный контракт.

с холма.

Он бежал и вопил, и ветер то толкал его в спину, сбивая с ног, то подхватывал дикий его вопль, разнося по всем уголкам Дикой балки, забрасывая высоко в небо, к любопытным звездам, которые тут же пристраивали этот крик ко многим другим, составляющим вместе одну, едва слышную в дальности своей, звездную песню. Ночь отвечала собачьим лаем, и треском цикад, и множеством других шумов, которые тоже сливались в один, но уже вполне различимый напев: «Ай, ай, ай… Храни нас в исходе нашем и возвращении нашем, отныне и во веки веков…»

5

С замиранием сердца открывает товарищ Лавров дверь своего дома. Навстречу ему с радостным криком спешит восьмилетний наследник Владимир Иванович:

— Папка, папка! А мы пошутили! А ты и поверил! Первое апреля — никому не верю!

На столе, покрытом белой скатертью, шумит горячий самовар. Сусанна Моисеевна поднимается со стула и крепко обнимает мужа. Ее нежная грудь под тонким полотном рубашки прижимается к его сердцу томительным обещанием любви.

В соседней комнате белеет раскрытая кровать — колыбель семейного счастья и утешения.

— Варька! — говорит Сусанна Моисеевна. — Налей-ка Иван Семенычу стакан чая! Ваня, милый, иди умойся и будем пить чай. Боже, какой ты бледный… Гляди веселей, глупенький! Сегодня, как-никак, первое апреля, день смеха…

Володя уже прыгает рядом, дергает отца за полы пиджака:

— Папка, подарки!

За окнами мертво безмолвствует местечко.

1927

Бейла из рода Рапопортов

1

Девственница Бейла Рапопорт, в изобилии красоты и лет жизни, большую часть своего времени проводила в грусти и тоске по избраннику сердца, который все никак не появлялся. В смутные дни войны, когда громили и избивали племя Израилево, погиб первый жених Бейлы — его убили просто так, ни за что. И вот теперь Бейла просиживала дни и ночи за швейной машинкой, тоскуя по мужской ласке. Над местечком проносилась весна за весной, будоража души, услаждая мир проснувшейся радостью жизни, судорожно цепляясь на исходе за ускользающий хвост жарких летних месяцев. Лето проходило за летом — ленивое, молчаливое, потное, как разлегшееся в тенечке животное. Его сияние, его безмятежная тишина дремали в зелени лесов, в курчавой шевелюре пшеничных полей. Потом умирало и лето, изгнанное из местечка рукой педантичной осени, угрюмой, как ложе смерти старого еврея. По тропинкам начинали разгуливать гуси. Они шли, как и положено, гуськом — важные, само-

довольные, надменные, как вестники чужого нашествия. И в самом деле, за гусями следовали дожди, наполняя землю водой, а человеческую душу — печалью. И, словно отмечая конец вольных дней, девушки повязывали головы тугими платками.

А девственница Бейла Рапопорт все ждала и ждала, а избранник сердца все не появлялся и не появлялся. Бывали совсем дурные, нехорошие дни, полные смятения и душевной тоски, когда девушка лежала в постели, вцепившись зубами в подушку или кусая одеяло, а равнодушное местечковое утро смотрело на нее сквозь оконное стекло, только добавляя тоски и отчаяния.

В то время я странствовал по разным местечкам и повидал немало их обитателей — тех самых простых людей, образами которых полнятся литература и история нашего народа. Видел их скудную, раздавленную жизнь, кое-как копошащуюся в бедности и грязи. И сказал я себе в сердце своем: «Горе тебе, Биньямин Четвертый, на чью долю выпала сомнительная честь описывать удручающую убогость еврейского местечка. Горе тебе, о несчастнейший из всех, когда-либо бравших в руку перо!»

И тогда я собрал все истории, записанные мною

во время странствий из местечка в местечко. Что-то слышал я на лавочке возле полуразрушенной синагоги от древней морщинистой старухи, что-то — из уст молоденькой девушки, которую прибило ко мне волнами страха и безысходности. Или вот этот рассказ о старой деве Бейле Рапопорт, которая гналась за своей мечтой, за главным смыслом своего жизненного предназначения. Бейлой Рапопорт, которая царапала по утрам спинку своей кровати, в то время как в окошко глазела на нее застывшая в тщетной пустоте жизнь, а горе победно праздновало вокруг свой черный, свой беспросветный праздник.

2

Весна танцевала во дворе, струилась радостью с шелковых небес, и в каждом уголке слышалась ее торжествующая песня. Суетились, чирикали птицы, перелетая с дерева на дерево. В пыли с фанатичным упорством сражались друг с другом два петуха из двух поколений — старшего, пока еще царствующего, и среднего, идущего на смену. Неподалеку, демонстрируя поразительное безразличие к исходу схватки, разгребал дворовый мусор многочисленный куриный гарем. Подростковая петушиная поросль, еще не созревшая для

подобных сражений, вынужденно следовала за мамашами, но краем глаза наблюдала за драчунами и время от времени издавала тоненькие, но очень воинственные кличи. Тут же с воплями бегали соседские дети, Маня и Берл. Их мать Голда трудилась на кухне, успевая одновременно драить кастрюлю, раздувать угли, чистить картофель, носить воду и пробовать суп.

Время от времени женщина выходила во двор с горшком помоев, и весеннее солнце тут же принималось сочувственно целовать ее потное усталое лицо. Помои выплескивались под забор и немедленно принимались играть всеми цветами радуги, добавляя искр и света и без того сияющему миру. А вся куриная рать — и старые, и молодые — громко квохча, устремлялась к этому радужному источнику, дабы успеть поживиться картофельными очистками, остатками еды, отсеянной при готовке крупой и прочими деликатесами. Голда же, утирая с лица пот на обратной дороге в кухню, приостанавливалась на секунду, чтобы слегка одернуть разыгравшихся детей. Этим сорванцам только волю дай — весь мир перевернут…

Муж Голды, Ноах Поркин, стоял тем временем на рынке возле своего прилавка и отчаянно

торговался с крестьянами и крестьянками по поводу качества и цены своего товара. Сам товар — всякого рода одежда — был развешен тут же на распялках, еще издали демонстрируя всем серьезным покупателям образец прочности и красоты.

— Эй! Штаны! Какие штаны! — что есть силы выкрикивал продавец. — Эй, земляк, ты только посмотри, какие штаны!

Так, в постоянных базарных криках и спорах, проходили дни этого маленького еврея. В четвертом часу пополудни раздавалась трель начальственной свирели милиционера Липенко, и рынок сворачивал торговлю. Продавцы расходились, лавки запирались на замок, и Ноах Поркин возвращался к жене и детям, погружаясь в нервную суету семейного дома. Все усаживались за стол, Голда накрывала, ловко управляясь с мисками и тарелками, Маня и Берл проказничали, а Ноах выговаривал им, не переставая жевать.

После обеда Поркин ложился на старую кушетку, разворачивал газету и, преодолевая дремоту, читал о том, что произошло в большом мире со времени выхода предыдущей газеты. Сообщение о революции в Китае встречалось затяжным зевком, полностью соответствующим масшта-

бу события. Так… что там дальше?.. ага, речь товарища Бухарина на конференции… — Газета выпадала из рук Ноаха, и он погружался в глубокий часовой сон, которому не мешали ни шалящие дети, ни Голда, гремящая горшками и кастрюлями.

Потом наступает вечер, сумерки вползают в покосившиеся стены. Заводит свою трескучую песню непременный сверчок. Ноах Поркин пробуждается, зевает напоследок и усаживается за швейную машинку, чтобы не вставать уже до самой поздней ночи. Тьма опускается на местечко, недобрым глазом смотрит в освещенное окно на неустанную работу маленького человека. Спят в другой комнате уставшие от проказ дети, спит намаявшаяся за день Голда. Щелкают ножницы, разрезая грубую домотканую ткань, мелькает иголка, гремит на весь дом старая швейная машинка. Вот уже готовы штаны, и еще штаны, и еще, и еще — целое море штанов…

3

Такова она была, жизнь простых евреев из простых местечек — жизнь простая и однообразная. Вы уже немножко знакомы с девственницей Бейлой из рода Рапопортов и с маленьким портным

Ноахом Поркиным, а также с его женой Голдой и с их пока еще двумя малыми птенцами. А сейчас, вопреки смущению, уязвляющему мое сердце и тормозящему мое перо, я должен рассказать вам историю любви, которая случилась между этими двумя очень простыми людьми, Ноахом Поркиным и Бейлой Рапопорт, любви странной, нелепой, но крепкой, как гранитный утес, любви, исполненной жгучей ревности и подлинных страстей.

Итак, ночь. Ноах, сидя за швейной машинкой, борется с дремотой и мурлычет себе под нос песенку о святом ребе, да продлятся дни праведника, и о бездетной женщине. А песенка эта, должен заметить, довольно нахальная, даже очень неуважительная песенка, которую имеют обыкновение напевать только потерявшие всякий стыд еврейские портняжки, да и то тогда лишь, когда никто их не слышит.

— Ой, закрыл, — поет Ноах, — ой, закрыл тут ребе двери крепко, да задрал, да задрал…

К счастью для благонравных ушей, продолжение теряется в оглушительном стуке швейной машинки — и хорошо, что так. В этот-то момент и вошла в комнату соседка Поркиных Бейла Рапопорт, вошла и села рядом с портным, бледная и

решительная. И вот сидит она так, как будто нет у нее своей комнаты, и заводит с Ноахом такую вот оживленную беседу.

— Ну что, Ноах, — говорит она с улыбкой, — спит уже твоя кобыла?

— Та-та-та!.. — отвечает швейная машинка.

Машинка умолкает, а Ноах все поет:

Ой была, ой была бездетна наша Рива,
Ой была, ой была и статна, и красива,
Ой тогда, ой тогда поехала к раввину,
Чтоб помог, чтоб помог ей дочкой или сыном…

И снова заглушает машинка эту, прямо скажем, непристойную песню. Бейла встает, открывает окно, а там — летняя ночь месяца сивана[19], пока еще не слишком жаркого, бережно хранящего юную свежесть весны. В темных кронах деревьев танцует прохладный ветерок, болтает со звездами, остужает выступивший на щеках румянец. Щемящее чувство одиночества накатывает на Бейлу, затрудняет дыхание, туманит взор.

— Ой, закрыл, — поет Ноах, — ой, закрыл тут ребе двери крепко. Да задрал, да задрал ей юбку

---

[19] Примечания: 19

Сиван — месяц еврейского календаря, соответствующий маю-июню.

и жакетку…

— Та-та-та! — вступает бдительная машинка, избавляя нас от излишних подробностей.

Бейла отходит от окна, чтобы не видеть, не слышать болтовню звезд. Лучше уж смотреть на маленького еврея, сгорбившегося над швейной машинкой. Штаны, еще штаны, и еще, и еще…

— Ноах, — говорит она хрипловатым голосом, — не хочешь ли зайти ко мне на минутку? Есть у меня новый фасон для рубашки…

Девушка делает шаг вперед и оказывается близко-близко, так что грудь ее вздымается перед самым носом изумленного Ноаха. Затем она хватает портного за рукав и почти силой поднимает его со стула.

— Ой, Бейленю, — бормочет, шагая за девушкой, маленький мужчина, — ну что такое тебе взбрело в голову… Да черт-то с ними, с этими модами и фасонами. Край наш деревенский — не Киев и не Париж.

Они заходят в светелку Бейлы, и тут она вдруг резко оборачивается и, обняв Ноаха, прижимается к нему всем телом. Тут уже портной совсем теряется: крепки объятия, просто так не высвободишься. Ноах бестолково тычется носом в горячую девичью шею, не знает, что делать и как

поступить.

— Ой, Бейленю-миленю, что же ты делаешь? У меня ведь, слава богу, жена и двое детей, чтоб они были здоровы…

— Ноах, — твердо говорит девушка, не ослабляя хватки, — любимый мой и единственный! Люблю тебя больше жизни, все ради тебя отдам, что хочешь для тебя сделаю. Знал бы ты, как я мечтаю тут о тебе, когда лежу в этой вот кровати. Лежу и жду, когда же ты придешь…

Портной высвобождается наконец из ее объятий. Смущенный и пораженный до глубины души, стоит он перед Бейлой, и голос его печален.

— Бейленю, девочка, — говорит он, — ну что ты изображаешь мне актерку на сцене? Разве в любви ко мне дело? Тебе просто позарез нужен мужчина.

И Ноах закрывает дверь — крепко, как ребе из похабной песенки, и вплотную подходит к дрожащей девушке. А песенка… а что песенка? Подождала минутку-другую, поискала внезапно исчезнувшего певца, потыкалась из угла в угол, посидела на опустевшем стуле перед праздной швейной машинкой, да и вылетела в окно к звездам, удивленным не меньше нее.

4

Ночи конца весны — начала лета… Дуновение ветра, набросившего свое покрывало на землю, красивую, как невеста. Дуновение ветра, танцующего меж людьми, тревожащего тысячи темных окон, уносящего убогого, забитого, потерявшего всякую надежду человека в страну торопливого счастья. Ох уж эти ночи, праздник и отдохновение души…

Что ни ночь, пробирался маленький еврей Ноах Поркин в чистенькую комнатку девушки Бейлы из рода Рапопортов, и там, на широкой кровати, безвозвратно запутались жизни этой женщины и этого мужчины.

— Нохале, — сказала как-то Бейла. — Семь каторжных лет провел ты со своей кобылой. Теперь пришла моя очередь насладиться жизнью. Ужасно провести все свои годы в одиночестве.

— Бейленю, — отвечал ей на это Ноах, — дай-ка мне свой рот для поцелуя. Ох, Бейленю, глаза твои, как две яркие звездочки… Надо поторопиться, милая, ждут меня еще штаны…

— Когда ты касаешься моего тела, я вся дрожу и мне хочется плакать, — со стоном говорила ему женщина. — Сам Бог послал мне тебя, во рту

твоем сила небесная… Ах, Нохале, сердце мое, душа моя, жизнь моя!

Вот таким примерно образом все больше и больше запутывалась эта история. А ведь я еще ни слова не сказал о других двух сестричках-девственницах, которых звали Фрейдл и Малка. Их комната располагалась через стенку от комнаты Бейлы. Фрейдл и Малка были намного старше нее и совали свои длинные носы всюду, где только возможно. Поскольку их собственная жизнь давно уже утратила какие-либо проблески интереса, сестры черпали его в чужих радостях, скандалах и проблемах. Они знали решительно все обо всех, и даже немножко больше.

Как-то ночью пробрались Фрейдл и Малка к постели похрапывающей Голды и с превеликим трудом растолкали ее.

— Что случилось? — испуганно спросила Голда. — Что-то с детьми?!

— Встань, проснись, — прошептали сестры. — Встань, проснись, Голденю, сердце наше. Встань и взгляни на эту нахальную цацу, позор нашего народа!

И так, шепотком да толчками, привели они встревоженную Голду к двери чистенькой комнатушки бывшей девственницы Бейлы Рапопорт.

Дорогие мои читатели! Вы, наверно, полагаете, что этот рассказ находится в самом разгаре, что перед вами вот-вот развернется длинная цепь скандалов, бед и ударов, градом сыплющихся на головы наших героев? Конечно, были и беды, были и удары, а уж о скандалах и говорить не приходится. Но позвольте мне все же воздержаться от их подробного описания. Ведь даже самому бесстыжему перу было бы стыдно описывать сцену, которая разыгралась той ночью в комнате Бейлы из рода Рапопортов. Трудно повторить те слова, которые выкрикивала потрясенная Голда, внезапно осознавшая степень свалившегося на нее несчастья: слово «шлюха» было, пожалуй, самым мягким из них.

Не стану отвлекаться и на описание двух новых героинь — хозяйки дома Василисы Николаевны и ее дочери-комсомолки Маруси: разбуженные шумом скандала, они тоже примчались на место происшествия. Ну разве что отмечу — если уж они прибежали, — что описанная в начале рассказа куриная армия со всеми ее петухами, несушками и цыплятами принадлежит именно Николаевне, а вовсе не Голде, как вы, возможно, подумали. Еще стоит упомянуть пламенную речь комсомолки Маруси, которая, собственно, и положила

конец скандалу. Маруся описала бедственное положение женщины в темные годы царизма — в противоположность ее нынешнему свободному статусу. «Наша Советская власть, — сказала Маруся, — освободила женщин от проклятого ярма!»

Все это, без сомнения, очень важно, но, в общем и целом, то, что происходило в комнате, можно определить всего лишь двумя словами: «стыд» и «позор». А потому, произнеся их, я умолкаю, и пусть толстая завеса молчания опустится до поры до времени на героев нашего рассказа.

5

Ах да! Необходимо затронуть здесь и историю о справке, пусть и очень коротко. Через неделю после того, как случившееся стало известно всем жителям не только этого местечка, но и всех окрестных городов и сел, к Бейле приехала ее младшая сестренка Берта, тоже из рода Рапопортов. Сестры шептались всю ночь в поисках выхода из неприятной ситуации: попавшая под серьезное сомнение репутация девственницы Бейлы нуждалась в срочной поправке. На следующее утро Берта Рапопорт отправилась к врачу, специалисту по женским болезням, и после тщательного обследования получила от него

официальную справку, заверенную подписью и печатью. «Данная справка, — гласил документ, — выдана гражданке Б. Рапопорт в том, что она…» — далее следовали несколько научных латинских терминов, которые неопровержимо удостоверяли наличие у гражданки телесных признаков, каковые могут наличествовать только и исключительно у девственниц.

Эту справку Бейла присоединила к пространному письму, отправленному в местные органы законности и правопорядка. Письмо в деталях сообщало о тех ужасающих издевательствах, которым подвергается ее автор со стороны гражданки Голды Поркиной, ослепленной чувством темной и безрассудной ревности, для которой нет и не было никаких реальных оснований, — и это в то время, когда рабочие и крестьяне, взяв власть в свои руки, свергли проклятый режим помещиков и капиталистов! Означенная гражданка Голда Поркина, говорилось в письме, является женой некого Н. Поркина — торговца, нагло сосущего кровь честных тружеников, то есть несомненного врага советского строя, находящегося целиком и полностью под каблуком у своей чудовищной жены и, как слепая лошадь, следующего всем ее указаниям и даже публично

целующего ее на публике, на глазах у всех! А мерзкое клеветническое слово «шлюха», которым означенная гражданка обзывает честную девушку, то есть автора письма, никоим образом не может стоять на одной платформе с прилагаемой справкой, выданной уважаемым советским врачом в официальном советском учреждении. Исходя из вышесказанного, она, честная гражданка Бейла Рапопорт, обращается за защитой в наш красный советский суд, дабы тот твердой рукой покончил с буржуазными издевательствами и исторической несправедливостью, чинимой в ее отношении наймитами мирового капитала в лице Г. Поркиной и ее мужа. Потому как есть она круглая сирота, живущая трудом рук своих, и больше некому защитить ее в этом мире, некому взять ее под крыло или хотя бы просто сказать теплое слово, которое хоть немного скрасило бы трудную ее жизнь.

6

Я слышал этот рассказ непосредственно из уст Бейлы Рапопорт в ее просторной и чистенькой комнатке. При этом я лежал на широкой постели девственницы, и безмятежное спокойствие комнаты убаюкивало мое усталое натруженное

сердце. Древние ходики методично рубили минуты, пожелтевшие фотографии старых евреев оживляли однообразие чисто выбеленной стены. С тумбочки смотрела статуэтка безрукой Венеры, богини любви — она-то и притянула сюда мою душу, уставшую от бесконечных разъездов. Бейла сидела в моих ногах, и крыло ночи осеняло нас из темного двора.

Она рассказала мне всю свою жизнь, и боль ее взгляда, отчаяние ее одиночества оставили еще один шрам на моем сердце — шрам, который не раз потом отзовется строчками и стихами. А за нашей дверью, затаившись и едва дыша, стояла Фрейдл — старшая и наиболее безобразная из двух сестер-сплетниц. Ее бледное лицо было напряжено, уши навострены, а кончик длинного носа сиротливо покачивался возле замочной скважины.

1928

Мой брат Мошке

Мы сидели и молчали.

Однорукий Мошке лениво жевал длинную стрелку зеленого лука, и летний ветерок беспрепятственно трепал его спутанную бороду. Рядом с нами, утомленно кряхтя, подобно усталому путнику, опустился на землю вечер. Всполохи заката по-отечески увещевали расшалившиеся звезды, но те не слушали ни увещеваний, ни угроз, и вскоре темная портьера ночи развернулась перед нами во всем своем тоскливом великолепии…

— Биньямин! — обращается ко мне однорукий Мошке, и его трескучий голос на короткое время вспугивает пикирующую на нас ватагу комаров. — Завтра на рассвете ты уезжаешь от нас, так что я должен еще поговорить с тобой кое о чем.

— Что ж, давай поговорим кое о чем, Мошке, — тихо соглашаюсь я, провожая взглядом упавшую звезду.

Мимо нас, сильно покачиваясь, проходит пьяный мужчина и грубым тоскующим голосом запевает песню про сидящего за решеткой молодого орла.

Затем он спотыкается и падает, и встает, и

падает снова, и все бормочет, бормочет себе под нос какую-то бессмыслицу. Вокруг расстилается бескрайняя ночь. Окутанное туманом безмолвие наигрывает нам свой первобытный мотив.

Мы сидим и молчим.

Махновцы отрубили мне руку, и я до сих пор слышу плеск хлынувшей крови. Она залила все пространство под кроватью, куда я заполз, полумертвый от страха, — заполз уже одноруким инвалидом. Они ворвались в мою комнату пятнадцатого числа месяца швата[20]. Серый день звенел на оконных стеклах ледяной бахромой, где-то в садах стояли деревья, подрагивая воздетыми к небу тяжелыми руками. Тут и там лежал снег — чистый на обочинах дорог, грязный в колеях, и казалось, что горько-черная нота псалма звенит над притихшим городом.

Тогда-то и отрубили махновцы мою левую руку, а заодно уже покрошили всю мебель и выбили стекла. Я заполз под кровать и лежал там, припав губами к холодной половице. Мне казалось счастьем целовать эти пыльные доски — ведь я был жив, а на полу, на расстоянии нескольких шагов

---

[20] Примечания: 20

Шват — месяц еврейского календаря, соответствующий январю-февралю.

от меня, валялась моя окровавленная, бывшая, мертвая рука.

— Рука моя! — шептал я, как в бреду. — Подруга десницы моей! Сестра моя!

Так лежал я, бормоча горячечным ртом те сильные слова, которые мужчина обычно говорит своей возлюбленной. В мозгу качался красный туман, а сквозь разбитое окно угрюмо глядел серенький денек, и комковатое мертвое небо равнодушно зевало прямо мне в лицо.

А потом я зарычал, и этот рык был страшен мне самому. Застывшая кровь покрывала меня с головы до пят и лишала меня сил. По комнате летал пух от вспоротых подушек и перин, а я все лежал под кроватью, однорукий, ни на что не годный инвалид.

— Бог мой! — прошептал я. — Бог Авраама, страх Исаака!

Я выбрался из-под кровати и вновь наткнулся взглядом на свою левую руку, которая валялась на полу, покрытая слоем пуха и перьев. Собрав все свое мужество, я поднял ее и вынес на свет, чтобы небеса видели тоже.

— Страх Исаака, — шептали мои губы. — Воитель Иакова…

Я высунулся из разбитого окна и помахал небу

своей отрубленной рукой.

— При реках Вавилона! — крикнул я. — При реках Вавилона, там сидели мы!

Так стоял я, размахивая мертвой рукой и повторяя в адрес мертвого неба слова сто тридцать шестого псалма. Меня била лихорадочная дрожь, страх мертвой хваткой сжимал мою отчаявшуюся душу, и тут… тут я вдруг узрел Царя Небесного. Царь Небесный высунул голову в просвет между облаками и показал мне язык.

Лишь тогда я пришел в себя, перевязал рану грязным полотенцем и отправился в город. Отовсюду неслись ужасающие крики, вопли, стоны дочерей Израиля. Отовсюду слышался торжествующий рев махновцев — рев воинов древнего креста, сынов демона Велиала, людей чужой святости. А вокруг лежал снег — точно так же, как вчера, и внезапная, беспричинная радость набросилась на меня неизвестно почему и откуда. Эта странная языческая первобытная радость защищала меня лучше шапки-невидимки, и, наверно, поэтому никому не пришло в голову убить меня, хотя смерть встречалась на каждом шагу. Долго слонялся я так по улицам местечка, баюкая у груди отрубленную руку. Но когда стало темнеть и ночной ветер взревел в воздухе, как

табун израненных коней, я повернул в сторону окраины. На выходе из города повстречался мне Архип Соловейко. Он явно торопился не опоздать к празднику, и из сапога его торчала рукоятка большого ножа.

— Эй, земляк, айда со мной! — крикнул Архип. — Там наши режут жидов!

И я повернулся и побежал вместе с ним, и убийца-вечер поспешал рядом, обжигая наши лица могильным холодом. Западный край неба еще светился серым, но никто уже не обращал внимания на небо. Мы бежали по улице вместе с Архипом Соловейко — бежали, пока не наткнулись на какую-то еврейскую женщину. Она стояла, прислонившись к обледеневшей водосточной трубе, выла во весь голос, и в ее широко распахнутом рту поблескивали несколько золотых зубов. А сверху, над нею, на краю крыши, сверкали словно бы в такт ледяные зубья сосулек.

— Глянь-ка, баба! — воскликнул Архип. — А зубы-то, зубы-то золотые!

Он выхватил нож и воткнул его женщине в живот, а потом ударами каблука выбил из трупа желанную добычу. Только тут силы наконец оставили меня. Я лег и задремал, и встала надо

мной дочь Сиона, еврейская женщина с прекрасными глазами, и бесконечная любовь светилась в ее улыбке.

— Мама, — сказал я и облегченно вздохнул. — Моя мамочка…

И дорога, долгая и красивая, легла перед нами, а над дорогой — круглое блюдце солнца, и виноградники, и чудные цветы, смеющиеся от полноты счастья.

— И вот завтра ты уезжаешь от нас, Биньямин… — заканчивает свой рассказ однорукий Мошке, мой друг и брат.

Он надолго замолкает. С неба падают крупные звезды и теряются где-то в далеких полях. Ночь месяца ава жарко целует нас в губы.

— Я хотел бы сойти с ума, Биньямин! — полушепчет, полустонет однорукий Мошке и теперь уже умолкает окончательно.

Из ночных оврагов поднимается туман, слышен собачий лай. Тихо лежит перед нами почти уже опустевшее местечко. И кажется мне вдруг, будто ужасное чудовище мягкими прыжками прыгает там с крыши на крышу.

1928

Паранойя

Вместе с грустью о тихом еврейском детстве, вместе с памятью о невинных приключениях и шалостях, вместе с тоской по пропавшему, родному, нескладному местечку — вместе с этим со всем приглушенным эхом звучит в моем сердце странная история маленькой девушки Рут и юноши Йекутиэля Левицкого. Из далеких земель, поверх гор высоких и лет ушедших, долетает до меня светлое воспоминание о моей еврейской бабушке. Она приходит ко мне в образе скорбной заплаканной женщины, чья печаль кажется неутолимой. Синий вечер смотрит в мое окно, а из-за его спины выглядывает ночь во всеоружии сияющего месяца и множества звезд. Призраки прошлого толпятся в моей голове, и вытеснить их оттуда не может даже оглушительный шум, доносящийся из соседней комнаты, где что-то празднуют комсомольцы, молодая поросль нашей железной партии. Среди прочего они во весь голос распевают веселую песенку про любимую тетю Изабеллу.

Тетя, тетя Изабелла!

Лишь с тобою все мечты,
Мы — твои душой и телом,
Потому что, тетя, ты —
Тетя, тетя Изабелла!
Наш товарищ дорогой,
Мы — твои душой и телом,
Не найти такой другой!

Так они поют, эти молодые шутники — поют, и бьют в ладоши, и притопывают в такт, и грохот этой песни способен обрушить крышу и распугать любых призраков.

Любых — только не чистый образ моей бабушки. Она по-прежнему стоит рядом; светлой мудростью и неизбывным милосердием веет от ее благословения.

— Единственный мой… — шепчут ее бескровные губы.

Дети моей бабушки разлетелись на все четыре стороны света, и теперь она навещает их по очереди, как призрак нелепой деревенской гостьи среди модного городского застолья. Чистые крылья ее выломаны из плеч еще во времена погромов — с тех самых пор просит она у судьбы лишь скорой и безболезненной смерти. Она стоит у моего изголовья, старая еврейская женщина, и

горький плач — плач моего полузабытого детства — сотрясает ее плечи, вынесшие на себе столько всего…

Сквозь тонкую перегородку рвется ко мне «Тетя, тетя Изабелла!», гремит и оглушает.

По улицам ходит ночь, дергая за ниточки снов, а я словно заново слышу тихий задыхающийся голос бабушки, вспоминаю историю, которую знаем мы оба. Историю о девушке малышке Рут и Йекутиэле Левицком.

— Единственный мой! — молит меня бабушка. — Ну, пожалуйста…

Наверно, и впрямь пришло время поведать миру об этих простых людях, чтобы не исчезли они вовсе из памяти человеческой. Так, понуждаемый горящим в темноте взглядом моей упрямой бабушки, сажусь я, покорный раб, к столу и беру в руку перо. Беру неохотно, потому что в длинной череде призраков, о чьих несчастных судьбах мне следовало бы рассказать читателю, эти двое, пожалуй, несчастнее всех. Но кто я такой, чтобы отказываться? Кто я такой, чтобы брать на себя смелость жить своим разумением, — я, воспитанник моей еврейской бабушки? Могу ли я отвернуться от этого синекрылого вечера — свидетеля печального прошлого, вестника

смущенного будущего?

1

Неутомимый, пришел рассвет, просочился сквозь щели, перелез через плетень, заковылял по улицам, хромая и посмеиваясь тоскливым смешком осеннего месяца тишрея. Боязливые тени заплясали на стенах опустевших, наглухо запертых скорчившихся в страхе домов. Их жители прятались теперь на дальних задворках, хоронились в чердачном хламе, во влажной темноте погребов — вздыхали, жались друг к другу, вздрагивали от укусов насекомых и от утренней свежести, старались не шуметь — не приведи Господь чихнуть или кашлянуть, — а снаружи, над заборами и чердаками, нависало небо, туго натянутое на рамку горизонта, и дороги прорезали землю, как тоскливые морщины осени.

Йекутиэль Левицкий прижал рот к щели и втянул в себя глоток прохладного воздуха. Он сидел на чердаке; рядом в беспокойном забытье дремали сосед-резник[21] и его семья: малые дети и беременная жена с бородавкой на подбородке. Хорошо пахло свежим сеном, из сараев, хлопая

---

[21] Примечания: 21
Резник — человек, совершающий кошерный забой животных.

крыльями, возглашали свою утреннюю весть петухи, и где-то поблизости злобно топотал глухой пушечный гром, проникая в каждый уголок и наполняя страхом каждую душу.

Кто-то из маленьких вскрикивает во сне. Ципа, жена резника, испуганно открывает глаза и поспешно успокаивает ребенка, поглаживая по животику и шепча волшебные материнские увещевания, а заодно уже и вытирает девочке сопливый нос. Отец тоже встревожен: он мотает из стороны в сторону спутанной бородой и грозит пальцем:

— Тихо, а то придет губитель!

На что крошка Мирьямке возражает:

— А мама говорит, что у нас уже есть один…

Ципа прыскает в кулак, лицо ее краснеет и напрягается от сдерживаемого смеха. Умна эта Мирьямке, ничего не скажешь. А ведь всего четыре годика девчонке, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить…

Спустя некоторое время упомянутый девочкой «губитель», подросток Бенци, старший сын резника, посылается к соседям-гоям за едой и вскоре возвращается с краюшкой хлеба и свежими кабачками. Из высящейся в углу копны сена выползает Рут — взрослая уже шестнадцатилетняя

девушка — и присоединяется к трапезе. Ее лицо раскраснелось от сна, руки грязные, в волосах сухие травинки.

— Касильчик! — обращается она к юноше. — Садись и ты с нами! Видишь ведь — завтракаем.

Йекутиэль Левицкий поворачивает к девушке бледное лицо; в глазах — немая горечь. Ципа тоже приглашающе машет рукой — поторопись, мол, парень! Кабачки уж больно хороши…

Но вот завтрак закончен. На чердаке вновь воцаряется неподвижная тишина; лишь Йекутиэль и Рут, взрослые дети, неслышно перешептываются в уголке. Узенький луч осеннего солнца скользит по толстой балке, ощупывает каждую трещину и выбоинку, упирается в копну. В луче беззвучно вытанцовывают пойманные пылинки. Резник реб Авраам вздыхает. Ох, Владыка Небесный… Ципа аккуратно собирает кабачковую кожуру и складывает в сторонке. Потом обнимает Мирьямке и укладывает девочку рядом с собой.

— А-а-а… — почти беззвучно напевает мать. — Спи, мой птенчик, спи, котеночек, душа моя… а-а-а…

Она прижимает дочку к груди, целует в теплый затылок. Мирьямке умная девочка, Мирьямке будет спать. Нет-нет-нет… не придет большой

дядька, не засунет Мирьямке в золотой мешок… нет-нет-нет…

Мать нашептывает засыпающей девочке песенку о чистенькой козочке, которая стоит себе у младенческой колыбели. Но тут начинает вдруг ныть Бенци: ему надоело сидеть на чердаке и хочется наружу. Что он, не как другие? Вот Изя, сын портного, и Мошке Гац бегают себе по улицам в полное свое удовольствие. Известно, что душегубы не трогают подростков. У парней-подростков нет ни денег, ни имущества — ничего, чем можно попользоваться. Да и поди издали опознай в них жидов! Говорят, что в городском саду повесили тринадцать большевиков, и что по местечку теперь ездят целых три автомобиля, и что убили Моше Пинеса с матерью, и всю семью рабби Якеля из Меджибожа, и шляпника Ицхака-Бера, и еще зачем-то его корову. А еще ходят слухи, что завтра придут красные. И он, Бенци, просто обязан посмотреть на все это. Таких, как он, не трогают.

Бенци шмыгает носом, из глаз его катятся слезы, капают на грязные рукава.

Реб Авраам сердито, насколько позволяет сдавленный, едва слышный голос, выговаривает сыну:

— Когда ты уже замолчишь, губитель? Откуда взялся такой сын на мою голову, о Бог Авраама? Как будто мало бед без твоего нытья! Замолчи сейчас же! Ну?! Замолчи!

Положение заставляет резника ограничиться этими несколькими словами, но можно не сомневаться, что в обычное время парень схлопотал бы оплеуху, а то и не одну.

— Сдались тебе эти твои Гац-сатаненок и сын портного! — вступает в разговор Ципа. — Бегают, как бездомные… Что они, семья тебе? Ты ведь домашний мальчик, у тебя родители…

Но мальчик не уступает — всхлипывает, вздыхает, утирает нос замызганным рукавом. Тут уже реб Авраам окончательно выходит из себя. Если уговоры не помогают, нужны более серьезные меры. Но какие? Повышать голос никак нельзя, оплеуха тоже исключена — что же осталось в арсенале воспитательных средств? Недолго думая, резник сильно щиплет сына за бок. Ох! Бенци вскрикивает от боли. Теперь уже пугается сам реб Авраам — он быстро озирается и, схватив подростка за плечи, смотрит на него круглыми от страха глазами.

— Оставь парня в покое! — шипит на мужа Ципа. — Вы только взгляните на него! Нашел время

и место… Ох, Владыка Небесный… А-а-а…

Наступает тишина.

— Ну, Йекутиэль, ну, Касильчик… — шепотом уговаривает девушка в дальнем углу. — Давай почитаем дальше…

Она знает, кого просит: парень просто-таки болен чтением. Рут глядит на Йекутиэля блестящими глазами, глядит и слегка посмеивается, и в свете этих смешков можно разобрать даже самые мелкие буковки. Они лежат рядом на копне. Задремала наконец маленькая Мирьямке, тихо на чердаке. Горячая щека девушки прижимается к руке Йекутиэля.

Мертвая тишина вползает в местечко, окутывает дворы и дома, приглушает квохтанье кур в сараях, поглощает суету мира со всеми его бедами и невзгодами. Смилуйся, Господи!

— Устина! — раздается вдруг совсем близко веселый и громкий женский голос.

И, заслышав этот обыденный и простой звук, люди, прячущиеся в норах и укрытиях, разом перестают перешептываться, кряхтеть, стонать и жаловаться — и все как один застывают, парализованные страхом.

Смилуйся, Всемогущий!

2

Ночь омывает деревья серебряным ливнем, тени прячутся по углам. В маленькой дощатой будке на краю двора стоит юноша Йекутиэль Левицкий и дрожит всем своим существом. По двору расхаживают трое вооруженных людей. Они стучат в двери, запертые на два больших висячих замка, заглядывают в заколоченные окна и громко ругают проклятых жидов.

Кажется, эта ночь никогда не кончится… Как они, должно быть, испуганы там, на чердаке: боятся проронить звук, боятся дышать, и лишь выпученные от ужаса глаза напряженно всматриваются в кромешную темноту ночи.

Но надо же такому случиться: внезапно с чердака доносится слабый, но отчетливый звук. Это вскрикнула маленькая Мирьямке. Пусть и умна девочка, но много ли понимает четырехлетний ребенок? Лучше бы она промолчала, лучше бы припасла для другого случая звонкий свой голосок…

Проходит немного времени, и вот уже бьют приклады трех винтовок по голове резника Авраама. Под яркой чистой луной лежит он в пыли своего двора, похожий на сломанную куклу с

вывернутыми конечностями, хрипит и молит убийц о пощаде.

— Господа милосердные! — выкрикивает реб Авраам слабым задыхающимся голосом. — За что, господа? Что я вам сделал, господа, родные мои? Чем провинился?..

Потом он умолкает, но это еще больше распаляет убийц, и они принимаются колоть штыками уже бездыханное тело.

Затем выволакивают во двор беременную Ципу с Мирьямке на руках. Возможно, ослепла она и не видела еще тела своего мужа, возможно, оглохла и не слышала предсмертных его криков, но думает теперь вдова резника только о своей четырехлетней любимице. Крепко прижимает она к себе маленькую девочку.

— Ну, говори — куда спрятали деньги? Скажешь — отпустим!

Вот ведь проклятые жиды! Сколько страданий от них простому народу! На фронте все они были предателями, по тайным телефонам сообщали врагу наши секреты. И проклятый Троцкий — тоже из этих. Сидят на шее у крестьянина, сосут кровь, никак не насосутся… Ну ничего, заплатят чертовы жиды за наши слезы! Сполна заплатят!

Ципа дрожит всем телом, дрожит, но улыбается.

Она бы и рада отдать, только вот нет у них ничего. Муж — простой резник, откуда у него деньги? Есть у нее припрятанная в кармашке банкнота — двадцатипятирублевая «николаевка»… Скопили детям на одежду к зиме… вот, берите, господа…

Она протягивает убийцам бумажку и улыбается изо всех сил — такая политика, последний расчет — авось поможет. Солдат берет деньги и требует еще. Признавайся, куда спрятали чертову кубышку? Деньги! Где деньги?! Мы за вас, жидов, кровь проливаем, а вам денег жалко?! Он рычит на женщину, и страшен его рык, кровью налиты зеленые волчьи глаза, лунный свет играет тенями на звериной роже. Ципа крепче прижимает к себе Мирьямке. Удар ружейного приклада обрушивается на ее голову. Женщина падает, прикрывая дочку. Но один из убийц силой вырывает ребенка у матери и, ухватив девочку за ногу, с размаху бьет ее головой о косяк двери, запертой на два больших висячих замка.

— Отдайте мне Мирьямке, — говорит Ципа, привставая с земли. — Это ведь моя доченька. Мирьямке!

Русские слова в ее речи искажены почти до неузнаваемости — этот язык не слишком хорошо ей знаком… Неприятно смотреть на чертову жи-

довку, но слушать еще неприятней.

И вот уже три трупа лежат во дворе резника Авраама — три, если не считать ребенка в утробе. Пораженный столбняком ужаса, едва дыша в дощатой дворовой будке, смотрит на эту сцену юноша Йекутиэль Левицкий.

— Ладно, Митька, пошли, — говорит один из убийц. — Наши отступают. Хрен с ними, с жидами.

Два солдата выходят на улицу, но третий остается — он явно задумал еще что-то. Рут! Рут, видевшая и слышавшая все, что произошло во дворе, выходит из своего укрытия и неверным шагами приближается к изувеченному тельцу младшей сестренки. Она склоняется над Мирьямке и издает глухой стон.

— Мемочка… — отчаянные рыдания рвутся из ее груди.

Убийца подскакивает к девушке и грубо дергает ее к себе. Малышка Рут бессильно повисает в его руках. Солдат отбрасывает мешающую винтовку, швыряет девушку наземь и, рыча, наваливается сверху.

И тогда из дощатой будки выходит Йекутиэль Левицкий. Он приближается осторожными шагами, и в руке его зажат маленький перочинный

ножик — единственное оружие, с которым более-менее знаком этот еврейский юноша.

— Эй, кто тут? — убийца замечает движение и поднимает голову.

Йекутиэль не вдается в объяснения. Кошкой прыгает он на спину мужчине и начинает наносить удары ножом в шею. Раз, другой, третий… — Йекутиэль яростно работает ножом, дикое выражение застыло на его лице. Ноги солдата начинают дрожать. Он мелко-мелко колотит по земле сапогами, и сильная струя крови бьет из рваной раны на пыль двора, на лицо лежащей в глубоком обмороке девушки. Снаружи слышны выстрелы и звуки команд — деникинцы отступают из местечка. Йекутиэль сталкивает мертвеца в сторону, берет Рут на руки и несет назад, на чердак. Там он осторожно укладывает ее на сено. Платье на Рут разорвано, лицо залито кровью. Йекутиэль приносит ведро воды, расстегивает на девушке платье и начинает осторожными движениями омывать красные от солдатской крови грудь и лицо. Он старается не думать ни о чем — просто не думать ни о чем, чтобы не сойти с ума.

— Рут! Маленькая моя Рут… — шепчет он, склоняясь к ее уху.

Йекутиэль приподнимает голову подруги и

касается губами нежного лба, щеки, губ. Рут открывает глаза, видит лицо юноши и с силой притягивает его к себе, прижимая к перехваченной судорогой шее, к голой мокрой груди…

С главной улицы доносится строевая песня вступающих в городок красных частей: «Как родная меня мать провожала-а-а…»

Новый прохладный рассвет вступает в местечко плечом к плечу с красными ротами, просачивается в щели, посмеивается тонким тоскливым смехом — смехом осеннего месяца тишрея.

3

И вот проходит несколько лет — то ли три, то ли четыре года. Страшными чудовищами ползли по стране эти годы, полные нужды, войны и непосильного труда. Дневное солнце ласкало грязь на улицах местечка, ночная тьма тосковала в тени заборов, звенели беспричинной радостью быстрые на ногу рассветы — одно сменялось другим, и лишь еврейские стоны не умолкали в моем родном городке. О Йекутиэле Левицком рассказывали, что он служил в Красной армии, а затем будто бы поступил в какой-то институт. Однажды приехал он в местечко — не насовсем, а на время,

на три-четыре недели. Стояли дни Песаха, и по земле пружинистой походкой молодого голодного зверя разгуливала весна с ее особенно веселым сиянием небес, с легким, полным юношеской радости ветерком, нахально задирающим женские юбки и полы тяжелых лапсердаков. Сгорбленные евреи, сложив руки за спиной, длинной черной чередой брели из синагоги, и солнце безуспешно пыталось выпутаться из их нечесаных бород.

Вечером молодежь устроила небольшое праздничное сборище в доме Абы Гавриэлова. Парни и девушки столпились в двух небольших комнатах, выходящих окнами в сад. На длинном столе меж мисок, тарелок и стаканов стояло скромное угощение: пирожки, сладости, селедка, крупно нарезанные помидоры. Аба Гавриэлов — тридцатилетний мужчина с непропорционально тяжелым затылком и тоненьким писклявым голоском, курсистка из Самары Шошана Гранат, две сестры Люба и Зина, дочь покойного резника Рут, городской скрипач Семен Коган, Йекутиэль Левицкий, Исаак Диамант и другие молодые люди, студенты, трудящиеся и просто бездельники — все они пили, закусывали, ходили из комнаты в комнату и при этом безостановочно болтали, смеялись, кричали и вообще производили ужас-

но много шума. Как далекая материнская ласка, как чудо милосердия, лежит в тайниках моего сердца память о тех днях моей жизни, днях юности и надежд.

— Ну, Шошаночка, ну… — с этими весьма содержательными словами приступал к курсистке из Самары хозяин, Аба Гавриэлов, суетливый, писклявый и обильно потеющий в духоте комнаты.

— Ой, Абенью, отстань! — смеется Шошана. — Давайте лучше споем что-нибудь волжское…

Она смотрит на Йекутиэля Левицкого, и румянец играет на ее щеках. Говорят, у парня прекрасный голос… Йекутиэль пожимает плечами: какие волжские песни? Он отродясь не бывал на Волге.

Но вот все уже выпили достаточно, чтобы перейти к художественной программе. Один из парней берет слово, обнаруживая при этом не столько красноречие, сколько отсутствие передних зубов. Ему непременно хочется еще раз произнести вслух известные истины о значении Песаха — праздника весны и свободы. Парень еще не закончил речь, как раздается всеобщий восторженный крик: это Аба Гавриэлов вносит и ставит на стол большую бутыль самогона. Хмельная жидкость снова льется в стаканы — где

чуть-чуть, а где и до краев, и одна из сестер хрипловатым голосом декламирует стихотворение Семена Фруга[22]. Затем начинаются танцы. Коган берет скрипку, звучит вальс «Майская ночь», и в комнатах становится еще тесней от танцующих пар.

Вальс сменяет падеспань, затем следуют украинские танцы. Бутыль на столе мало-помалу пустеет. Пьют просто так и за чье-то здоровье, пьют на брудершафт и в память о ком-то, пьют за праздник весны и за молодость. Иными словами, пьют…

Йекутиэль Левицкий и Шошана Гранат оживленно перешептываются и хохочут в уголке. Шошана красива, хотя и не блещет умом. Она в деталях рассказывает парню об ужасно смешном случае, который произошел с маленьким Максом, сыном ее старшей сестры, тоже живущей в Самаре, славном городе на берегах реки Волги. Тем временем, устав наконец от танцев, девушки падают на скамьи и просят Рут, дочь покойного резника, спеть что-нибудь из еврейских песен. И Рут поет колыбельную, а Коган аккомпанирует ей на скрипке. Голос девушки силен и низок,

---

[22] Примечания: 22

Семен Фруг (1860–1916) — русский и еврейский поэт и публицист, писал на русском, идише и иврите.

он разом перекрывает шум и шушуканье. Все умолкают, лишь резкие звуки скрипки царапают тишину.

— А-а-а… — поет маленькая девушка Рут.

А-а-а-а…

Ушел папа в деревню,

Под колыбелькой нашей Мирьямке

Стоит чистенькая-пречистенькая козочка…

— Представляешь? — продолжает шептать Шошана Гранат на ухо Йекутиэлю. — Я ему кричу: Максик, ты с ума сошел! Сейчас придет мама и убьет тебя!

Папа принесет чашку молока,

Мячик и семь штук слив.

Под колыбелькой нашей Мирьямке

Стоит миленькая-премиленькая козочка…

Да-да, это песня покойной Ципы, жены резника Авраама. Сиживали ли вы когда-нибудь, дорогие друзья, у себя на берегах Волги-матушки… сиживали ли вы, затаившись на чердаке с маленьким неразумным ребенком на руках? Задувает в

щели угрюмый ветер, завывает, похохатывает злобным хохотком, мечется по пустому двору. Эй, губитель! Нет-нет, не бойтесь: это всего лишь зовут паренька Бенци — не криком зовут, а едва слышным шепотом, движением губ. Где-то рядом слышен звон ведер, замирает уставшее бояться сердце.

Устина!..

Папа принесет чудесный подарок,
Много радости и много сказок.
Под колыбелькой нашей МирьямкеС
тоит маленькая-премаленькая козочка…

Глаза певицы наполняются слезами, она склоняется над столом и принимается переставлять с места на место миски и стаканы. Все хлопают в ладоши и переходят к забавным играм. Аба Гавриэлов пускается в пляс — он исполняет веселый хасидский танец, время от времени прищелкивая пальцами и приподнимая полы рубахи.

Ах, вы, папы-папы-папочки с папунями!
Ах, ну что же это деется с девунями?
Были молоды и гладки, как вода,
Ну а нынче не годятся никуда!

— Браво, Аба! — восторженно кричат парни. — Давай еще!

А с парнями, что с парнями, Боже мой!
Были крепкими, как ледостав зимой.
Ну а нынче, что ни парень, то в очках,
Ну а нынче норовят на шармачка!

Было раньше — покупали шоколад
А цветов-то, а цветов-то — целый сад!
Было раньше — обнимали горячо,
А теперь у парня хилое плечо…

— Браво! — кричат девушки, хлопая в ладоши. — Молодец, Аба!

Маленькая девушка Рут и юноша Йекутиэль Левицкий сидят в саду на скамейке. Тысячи звезд смотрят на них из глубины ночи. За плетнем дремлет пустынная улочка, и лунные тени скачут с крыши на крышу. Разгуливает в темноте безымянное и безысходное счастье — или это чья-то чудная песня, зацелованная звездами, заласканная тенями, цепляет и тревожит человеческую душу? Йекутиэль Левицкий говорит, и говорит, и говорит, и слова его пусты и нелепы. Молчит маленькая девушка Рут. Молчит ночь, вздымая над садом черное крыло с отсветом далекой мол-

чаливой тоски.

4

Теперь Рут и Йекутиэль встречались по вечерам — каждый вечер. Временами в сумерках слышался колокольный звон, быстро теряющийся в просторе полей и путанице оврагов. Следуя железнодорожному расписанию, тишину прорезали гудки паровозов, доносившиеся с близлежащей станции. Иногда молодые люди шли прогуляться за окраину, минуя пустую рыночную площадь. Безлюдный рынок усеян мусором и коровьими лепешками, настороженно смотрят запертые лавки и киоски, ветер гоняет с места на место обрывки газет и клочки сена. По площади бродят гуси, не обращая никакого внимания на старого сторожа в темной накидке. Гудят провода на телеграфных столбах, колонной по одному марширующих от местечковой почты в направлении большого мира.

Рут и Йекутиэль, держась за руки, шагают по темной дороге и болтают о том о сем.

— Девушка, — говорит Йекутиэль Левицкий, — не позволите ли заново измерить ваш уважаемый рост? Похоже, вы подросли за ночь на несколько миллиметров…

Рут смеется. Нет, сегодня она такая же, как вчера. Девушка прижимается к сильной руке парня и вдруг начинает говорить, быстро и горячо.

— Касильчик! — говорит она. — Я так тебе благодарна за все это, так благодарна! Каждое утро я открываю глаза и думаю: вот солнце стучится ко мне в окно, вот ветер шумит в кронах деревьев, вот небо над моей головой, и вот она, я, лежу с открытыми глазами — живая и счастливая… А иногда мой младший брат Бенци просыпается ночью и видит, что я плачу. И он бормочет, такой смешной и полусонный: «Ты что, с ума сошла? Ночь-полночь, спать надо!» — и снова засыпает, а я лежу и плачу от счастья.

Они доходят до места, где дорогу пересекает весенний ручей, и Йекутиэль берет подругу на руки. Рут дрожит всем телом, крепко обнимает шею любимого.

— Мне кажется, — говорит она некоторое время спустя, — что мы уже миновали ручей…

— Нет еще, — уверенно возражает подруге Йекутиэль.

Он несет ее вдоль берега реки, поднимается на небольшой откос и по пути целует, целует, целует девушку в сомкнутые веки.

— Это же удивительно, Рут, — шепчет парень, —

до чего ты у меня маленькая. Прямо смешно…

Рут высвобождается и спрыгивает на землю, чтобы осмотреться. Перед ними лежит спящее местечко в прискорбном беспорядке домиков, дворов, подслеповатых окошек, пыльных кривых улочек и немногочисленных плодовых деревьев. Кое-где в окнах светится огонек масляной лампы — колеблющийся, малый, дрожащий. Лают собаки — одна за другой, от двора к двору, тут и там вонзаются в сумеречное тело небес кресты на колокольнях церквей.

— Касильчик, — говорит Рут умоляющим голосом, — пойдем отсюда. Каждый раз, когда мы стоим здесь и смотрим на наш городок, мне кажется, что перед нами кладбище…

И, взявшись за руки, они пускаются бегом, будто спасаясь от надвигающейся угрозы. Наконец, огоньки местечка теряются, скрытые холмами, и прохладный вечер весеннего месяца ияра обнимает молодых людей, остужает их разгоряченные щеки. Подставив лбы свежему ветру, шагают они по тропинкам. Равнина дружески принимает их в свои складки, стелет под ноги травянистые откосы, хвалится туманным, постепенно исчезающим горизонтом. Где-то на хуторе кричит одинокий петух.

— Я забыла рассказать тебе кое-что, — шепчет Рут. — Мне часто кажется, что нас подстерегает беда, страшное несчастье…

— Пожалуйста, Рут, — со смешком перебивает девушку Йекутиэль, — оставь эти глупости…

— Страшное несчастье… — продолжает она, не слушая своего спутника. — Я была обычной девочкой из местечка, такой же, как все. И вот теперь у меня есть ты, ты целуешь мои глаза и гладишь мои волосы, и вечер такой чудесный, и все вокруг будто ложится нам под ноги. Мне сейчас хочется петь… или играть на скрипке. Мне кажется, что сейчас я играла бы не хуже, чем великие музыканты.

И вновь навстречу им выныривает из-за холма спящее местечко. Серое облачное небо нависло над убогими домишками, как воронье крыло. Тут и там мерцают в окнах крошечные огоньки. Тьма и безмолвие наползают на улицы и дворы.

Брызгами зеленоватого дождя скатывается со склона туман и топит маленький городок без остатка. Там, где только что лежало местечко, нет теперь ничего, кроме влажной зеленоватой ваты — ни домиков, ни улочек, ни огоньков, даже собак не слышно. Ничего, кроме тумана…

Рут хватает Йекутиэля за руку.

— Касильчик, — шепчет она, — мы с тобой теперь одни во всем мире…

Молчит юноша. Тесно прижавшись друг к другу, стоят они вдвоем на склоне холма, стоят и смотрят на огромную зеленоватую могилу.

5

Расскажу вам теперь о смерти старой Рухамы, матери Йекутиэля Левицкого. Она приехала в местечко спустя два месяца после свадьбы сына и малышки Рут. А умерла еще через столько же, в слепой вечер месяца хешвана. Йекутиэль лежал тогда в тифозной горячке.

Рухама была очень странной старухой. В местечке рассказывали, что ее привезли в дом Рут и Йекутиэля из губернской больницы для душевнобольных. Другие утверждали, что Рухама приехала с Волыни. Так или иначе, но она проводила все дни и вечера в подозрительной праздности. А рядом в двух крошечных комнатках радовались своему счастью маленькая Рут и Йекутиэль Левицкий.

— Любимый мой! — говорила Рут. — Мне кажется, что чудесный цветок цветет в моем сердце. Уж больно часто распеваю я теперь песни без смысла и без причины…

И действительно, выполняя обычную женскую работу, Рут не ходила, а летала по дому, а уж песни… Песни слышались в двух комнатках постоянно — веселые, насмешливые, шутливые. Утром Йекутиэль уходил на службу и возвращался домой в четвертом часу пополудни. Маленькая жена встречала его крепким объятием и сияющими глазами. Зато Рухама не реагировала никак. Впрочем, она вообще ни на что не реагировала — просто сидела и молчала все дни напролет.

Затем пришла осень, затопила долину, обернула мокрой тряпкой редеющие кроны деревьев. В начале хешвана Йекутиэль заболел тифом. В те дни по стране разгуливала эпидемия сыпняка и, подобно острозубому хищнику-людоеду, хватала людей одного за другим. Рут перестала петь: теперь на ней висела не только домашняя работа, но и беготня по врачам и аптекам. Рухама все так же молча сидела у постели сына. Сидела, сидела и вдруг умерла. Произошло это так.

В тот вечер Рут ждала приема у городского врача — маленькая женщина места себе не находила от страха за жизнь мужа и добывала лекарства всеми возможными способами. Рухама же дежурила возле Йекутиэля, слушая бессвязный бред, который срывался с губ сына, мечущегося в

тифозной горячке.

— Глупец! — громко заявлял Йекутиэль, поворачивая голову к воображаемому собеседнику. — Глупец, тупой, как каштановый орех! Лицемер ты этакий, сколько разных личин ты можешь напялить на свою подлую физиономию! Вот сейчас ты сидишь здесь, как гость на поминках, хмуришь брови, морщишь лоб складками якобы мудрой старости своей. Обувь твоя стоптана до дыр, а пыльная одежда поет песни долгих и трудных дорог. А на самом деле? На самом деле все ложь, чистое вранье! Все это ты купил за гроши у случайного прохожего у моего порога! Ах ты глупец, нелепый горбун! Теперь ты представляешься желанной красавицей, и глаза твои полны туманной печалью. Ты склонялась надо мной, обманщица, ты улыбалась мне самой грустной из всех твоих фальшивых улыбок, ты принесла мне самый жгучий подарок, какой только бывает у дочерей Евы… о глупец, голый бесстыдник!

Так кричал Йекутиэль, обращаясь неведомо к кому, — кричал, пока не впал в беспамятство, и тогда уже воцарилась в комнате тишина. Слепой вечер, безрадостный и безнадежный, переглядывался с тенями сырой комнаты, подмигивала у изголовья тусклая масляная лампа, а в углах,

свернувшись клубком, лежала осенняя тьма.

И тут поднялась вдруг старая Рухама со стула и принялась ходить по комнате из конца в конец. Это выглядело странно и даже пугающе, ведь до этого старуха только сидела и молчала. Потом она уселась на постель сына и зевнула, широко и судорожно. Взгляд ее был дик и безумен, и женщина казалась сильно взволнованной. Но самое странное — она вдруг стала напевать древнюю колыбельную песенку, которую пела когда-то и сама, и ее мать, и мать ее матери в веселой Волыни, в славном местечке под названием Шепетовка.

— Поклянемся, Йекутиэль Левицкий! — сказала затем старая мать. — Если оправишься ты от этой тяжелой болезни и признаешь Отца нашего Небесного, то отправлюсь я сама, Рухама, дочь Йекутиэля, по безвозвратной дороге, и пусть еще сегодня вечный туман окутает свечу усталой души моей.

Поклянемся, Йекутиэль Левицкий! — воскликнула она, повысив голос и переходя на крик. — И встанешь ты с ложа болезни своей, и будешь верным сыном Отцу нашему Небесному. Отец наш Небесный полон заботы о каждом сердце, которое тянется к Нему. Страдает Он от всех наших

бедствий, и ярче семи солнц свет Его милости.

— Клянусь! — проговорил в беспамятстве Йекутиэль и испуганно задрожал. — Ой, что это?! Кто-то стучится в окно!

— Ох… — вздохнула старая Рухама. — Ох…

И она снова запела слабым угасающим голосом все тот же колыбельный напев, принесенный ею с волынской земли.

— Владей я целым царством, — пела Рухама, — я бы все его отдала за то, чтобы родить красивого сыночка и чтобы был он честным и верующим человеком. И тогда скажут в мире, который весь хорош: «Дайте дорогу матери праведника!»

Дайте дорогу матери… — повторила она почти неслышно, и последний вздох покинул ее уста.

Тихо стало в комнате, лишь в окошко все стучалась и стучалась Паранойя, зеленая королева, богиня умалишенных. Раскачиваясь на хвосте клятвы, впрыгнула она в комнату и пробралась в пылающий мозг Йекутиэля.

— Кажется мне, что я видел сейчас самого Господа, — пробормотал больной сквозь сонную пелену.

Неподвижно сидит Рухама на сыновней постели. Слепой вечер месяца хешвана ползает по комнате, забирается под кровать, перемигива-

ется с тьмой, дремлющей в сырых углах. Едва теплится огонек масляной лампы. Высоко-высоко над толстым облачным покровом мерцают одинокие звезды.

6

Паранойя. Как любимая невеста, завладевает она сердцем, как самая желанная девушка, которой посвящает человек всю свою жизнь. Во многих важных книгах и святых фолиантах отплясывают тени ее призрачных иллюзий. В днях древнего детства, в печальных пейсах раввина, в огне дедовских напевов на рассвете, в пыли пустых молитвенных домов — повсюду разбросан яд Паранойи. Тебе кажется, будто получил ты счастливый подарок; мышцы наливаются силой, и чьи-то любимые глаза освещают каждый твой шаг… Берегись! Это пришла и поразила тебя Паранойя, зеленая королева, богиня умалишенных, поймала тебя на крючок обещанием своего маленького счастья. И вот ты уже очарован, околдован, одурачен, и, подобно стае хищных зверей, набрасываются на тебя дряхлые дни и пыльные буквы…

— Был в городе Зенькове и его окрестностях учитель наш и господин наш рабби Ицхак-Меир,

да будет благословенна память о праведнике, и правил он нами твердой рукой. И был в городе Зенькове и его окрестностях некий злодей и мосер[23], и навлек он множество бед и несчастий на жителей города и на простых торговцев, и люди не могли уже вынести тяжести испытаний…

Ночь зимнего месяца тевета[24] кружится за окном в снежном ветреном танце, прыгают по стенам штибла смутные тени, подрагивает огонек свечи, выхватывая из темноты лица сгорбленных людей, сбившихся в кучку вокруг маленькой печки. Едва различима в сумраке, колышется в глубине комнаты скромная парохет[25], а рядом, скорбная, как лицо мертвеца, застыла пыльная подставка для свитков.

— …не могли уже вынести тяжести испытаний… — повторяет рассказчик, рабби Лемех Кац, и сгрудившиеся вокруг люди принимаются горестно охать, тревожа вздохами пламя единственной свечки. — И пришли люди общины,

---

[23] Примечания: 23

Мосер — предатель (*идиш*, *иврит*).

[24] Примечания: 24

Тевет — месяц еврейского календаря, соответствующий декабрю-январю.

[25] Примечания: 25

Парохет — завеса, закрывающая Святая святых, где хранятся свитки Торы.

простые торговцы, к рабби Ицхаку-Меиру Зеньковскому, и воззвали к нему в мольбе и просьбе своей, чтобы обратился учитель наш, господин наш, праведник поколения нашего к Отцу Небесному с заступной молитвой. Чтобы пала на голову того злодея и мосера скорая смерть, и болезни тяжкие, и беды неотвратимые, чтобы поразил его свет небесный, чтобы исчезли с лица земли и он сам, и сама память о нем — ныне, и присно, и во веки веков!

Кружится ночь за подслеповатыми оконцами штибла, залепляет их хлопьями снега, заметает белой поземкой. Снежная ночь тевета танцует на улицах местечка, громоздит сугробы, стелет свой толстый ватный покров на крыши покосившихся домиков, ровняет с дорогой низенькие плетни.

— И тогда возвел рабби Ицхак-Меир очи к Небесам, и рассмеялся тихим своим смехом, светлым и счастливым, а потом замолк, и долгим было его молчание. И люди общины стояли вокруг и терпеливо ждали ответа, боясь упустить слово или даже просто знак. Они ждали, а праведник все молчал и молчал. И вот наконец посмотрел он на людей и сказал им так: «Дети мои! К Пресвятому, да благословен будет, взяли меня, и благословил я Его благословением!»

— Ой, ой, Отец наш Небесный… — снова слышатся в штибле вздохи и восклицания.

Рабби Лемех опускает глаза и умолкает. Неверный свет свечи играет на его большом носу, в серебряных нитях бороды, в складках глубоких морщин.

— И вот, — продолжает рабби, — как-то зимним морозным утром отправился злодей к приставу, дом которого находился за городом, там, где жили гои, и в кармане у мосера, как всегда, шуршали бумажки с доносами — длинными, подробными, губительными для людей зеньковской общины. И вот, когда проходил он мимо последнего дома местечка, вдруг услыхал злодей голос, зовущий на помощь, — голос молящий и рвущий душу, даже самую злодейскую. Вошел он в дом и увидел женщину — вдову на сносях, да такую, что, кажется, вот-вот начнет рожать. А в доме — лютый мороз, и бегают босые сопливые ребятишки, трое числом, и кричат: «Хлеба! Хлеба!» Тогда снял мосер свою теплую шубу и набросил ее на плечи вдовы, а сам побежал в город за дровами…

Дверь штибла тихонько приоткрывается, и зима радостно влетает в комнату, взметая к потолку парохет и разгоняя по стенам задремавшие было тени — влетает и разом задувает бедную свечку.

Тьма поглощает штибл. На пороге — Рут, верная жена. Туго затянут на ней теплый шерстяной платок, на лице сверкают тающие снежинки. Рут смущенно переступает с ноги на ногу и напряженно всматривается в темноту.

— Йекутиэль! — робко зовет она, и нотка отчаяния слышна в ее голосе. — Йекутиэль, Касильчик!

Каждый вечер сидит теперь ее муж Йекутиэль Левицкий с этими людьми. И каждый вечер Рут приходит за ним сюда, впуская в штибл зимнюю вьюгу и морозный ветер тевета. Как завороженный, слушает Йекутиэль странные истории и странные басни, которые, наподобие речной осоки, произрастают вдоль стен-берегов древнего штибла. Смутные образы теснятся в его голове: мудрецы прежних времен и праведники недавнего прошлого, люди в меховых шапках-штраймлах и длинных шелковых одеяниях, славные цадики из славных городов и местечек — от Зенькова и Вильны до Коцка и Черновиц, Тальне и Брацлава. А рядом — горы записочек и амулетиков, цветов надежд и мечтаний, которые росли и расцветали в убогости покосившихся домиков, на пыльных улочках, в боли и нищете забитых поколений. Вино каббалы, крепкое и выдержанное, пьянило

тогда отчаявшиеся сердца…

— Евреи, спичку! — говорит рабби Лемех Кац.

Минута — и воскресает в штибле неверный огонек свечи, вновь дрожит, колеблется свет на странных морщинистых лицах — то кивают они, то вздыхают, то растягиваются в судорожном зевке. Как прокаженная, сидит маленькая Рут в сторонке на краешке скамьи, смотрит на мужа, на его отрешенные, устремленные в неведомые выси глаза.

Но вот собрание подходит к концу. Евреи желают друг другу доброй ночи и, поцеловав мезузу на дверном косяке, растворяются в темноте, исчезают в круговерти танцующих снежных хлопьев. Рабби Лемех Кац, опираясь на палку и сгибаясь под тяжестью теплого лапсердака довоенных времен, медленно торит себе дорогу домой на улицу Розы Люксембург. Там поджидает его жена, Йохевед — низенькая женщина с большим животом. Она стоит на кухне, внимательно наблюдая за закипающим самоваром, чтобы угли не оставались без присмотра, чтобы вовремя подкинуть щепок в случае нужды. Самовар благодарно пыхтит, поет песни на разные голоса, и красноватый отсвет его распаленной топки подрагивает на полу и на стенах.

Но вот на плечах самовара начинают клубиться белые столбики пара. Госпожа Йохевед Кац снимает трубу и затыкает отверстие. Дело сделано. Женщина зевает и пробует затычку пальцем.

— Хоп! — командует она самой себе и привычным движением водружает тяжеленный самовар на маленький кухонный столик.

7

Я всегда с тяжелым чувством вспоминаю свою встречу с Йекутиэлем Левицким, черным праведником-спасителем. На пыльных и трудных дорогах моих странствий из местечка в местечко повстречался мне этот неприкаянный скиталец. Как-то летом завернул я в свой родной городок, чтобы вспомнить дни детства и повидаться с девочкой, в которую был влюблен в те незапамятные времена. Я думал найти там людей, которые вздохнули наконец свободно, полной грудью. Но, к несчастью, нашел лишь очень много могил и очень мало радости.

Там-то я и встретил черного праведника Йекутиэля Левицкого — встретил и примкнул к нему на несколько дней. Вместе брели мы по горячим дорогам, и распухшее от жары солнце равнодушно связывало в один шов отпечатки наших шагов.

Вместе присаживались мы отдохнуть, когда крона случайного придорожного дерева предлагала нам свою тень. Шли мы очень неторопливо и время от времени переговаривались о том, о сем.

— Куда мы идем, Йекутиэль? — спрашивал я, хотя должен был прекрасно знать, что дорога ведет из Староконстантинова в Красилов и никуда больше.

— К Богу! — совершенно не к месту отвечал он, и глаза его загорались неизъяснимым пылом.

Навстречу нам, поднимая столбы пыли, катились деревенские телеги, и мы шли потом сквозь эту пыль, как сквозь туман, угадывая дорогу по какой-нибудь зеленой кроне, подпирающей вдали небо многими своими руками.

Так скитались мы вдвоем, я и Йекутиэль, разыскивая неведомо что неведомо где. Рядом с ним я почему-то ощущал себя торопливым и легкомысленным подростком. Над нами ползло по небу летнее солнце, в придорожной траве стрекотали кузнечики, неяркие полевые цветы удивленно поглядывали на нас с некошеных откосов. На горизонте голубым венком лежали леса — они таили в себе безмолвие, подобное зачарованной царевне, которую злой волшебник упрятал в недвижный хрустальный ларец.

Иногда Йекутиэль вдруг ложился на траву, устремлял глаза в небо и погружался в молитву, длинную и скучную. Я валился рядом с ним и молчал или, чтобы немного развлечься, мурлыкал себе под нос какую-нибудь песенку повеселее из репертуара Акивы Краца — большущего жизнелюба, шутника, охальника и моего доброго приятеля. Он обожал переделывать популярные русские романсы на еврейский лад, исполняя их с таким комическим выражением лица, что слушатели просто покатывались со смеху. Воспоминания об Акиве сильно скрашивали мне необходимость ждать, пока Йекутиэль не сочтет наконец, что на сегодня небо услышало от него достаточно молитв и славословий.

Когда начинало темнеть, мы с Йекутиэлем останавливались в одной из попутных деревень. Летними вечерами там кипела молодая жизнь. Девушки водили хороводы, парубки играли на гармошке, пели хором красивые протяжные песни. Ветер осторожно подхватывал их и уносил в поля, в сгущающийся сумрак наступающей ночи.

Случалось, мы входили в деревню вместе с возвращающимся с выгона стадом — тяжело ступающими дойными коровами и тесным гур-

том жмущихся друг к дружке овец. За ними, волоча за спиной кнут, шел старик пастух и его помощницы собаки. И, конечно, вместе со стадом, неотступно сопровождая его, следовало огромное облако пыли, из которого слышался другой хор, уверенно заглушающий пение под гармошку: мычание, блеянье, лай и нестройный перезвон бубенцов и колокольчиков.

Затем Йекутиэль находил какое-нибудь открытое окно, вставал напротив и принимался громко читать какой-нибудь псалом. Он читал и раскачивался, и полы его пиджака порхали вокруг него, как крылья. Он читал со страстью и пафосом, адресуя потрясенному окну всю горечь и боль библейских страданий.

Не удаляйся от меня; ибо скорбь близка,

а помощника нет…

Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались;

сердце мое сделалось, как воск,

растаяло посреди внутренности моей…[26]

---

[26] Примечания: 26
Псалом 21:12,15.

Он дочитывал весь псалом до конца, и к тому времени из дома обычно выходила какая-нибудь старушка крестьянка с крынкой холодного молока. Иногда даже предлагали ночлег на копне сена во дворе. Мы лежали рядом, вслушиваясь в песни ночи. Вокруг трещали цикады, тут и там, припомнив сквозь сон о своей сторожевой должности, лениво взлаивал дворовый пес, с ночного выпаса доносилось лошадиное ржание.

В один из таких вечеров нас нашла маленькая Рут. Сначала мы услышали из-за плетня ее взволнованный девчоночий голос:

— Нет ли тут черного праведника? Не видали ли его здесь?

Кто-то, видимо, указал ей на двор, где мы остановились.

— Йекутиэль! Касильчик! — прошептала она, подойдя. — Вот я и нашла тебя, Касильчик мой…

— Ну вот, опять ты пришел ко мне в образе моей желанной! — закричал Йекутиэль Левицкий, пряча лицо в ладонях. — Ох, глупец ты, глупец, нелепый горбун! Теперь ты напялил платье дщери израильской и смотришь на меня томными глазами, завлекая и обещая! Ты разбиваешь мою ничтожную жизнь, ты давишь меня… Прочь, прочь от меня! — воскликнул он и больше уже не

произносил ни слова.

А Рут… Рут прилегла возле него и стала молча целовать ему лицо. Мне показалось — возможно, по ошибке, — что она всхлипнула разок-другой, но никакого другого звука не довелось еще услышать от этих двоих ни ночи, ни мне.

Потом прокричали петухи, прогоняя короткую летнюю темноту. Луна отпрянула испуганной лошадью, поднялся над землей сонный рассвет, побежал по дремотным дорогам к постепенно светлеющему горизонту.

— Паранойя! — вдруг сказала маленькая Рут. — Ты забрала у меня моего мужа Йекутиэля Левицкого. Паранойя, самая страшная из бед…

И тут я, Биньямин Четвертый, легкомысленный и нелепый юнец, услышал самую странную молитву из всех, какие только приходилось мне слышать когда-либо до и после этого.

— Паранойя! — проговорила женщина. — Вот спешит к нам новый день, уходят шорохи ночи, свежий ветер гуляет в полях, треплет траву и сметает за горизонт мертвые звезды. — Слезы ручьем полились из ее глаз, беспрепятственно скатываясь по щекам и пропадая в сухости сена. — Паранойя, пожалуйста… — всхлипывая, молила Рут. — Я так хочу быть со своим мужем.

Нет в моей жизни ничего и никого, кроме него. Пожалуйста, возьми к себе и меня тоже! Я очень прошу… возьми и меня тоже! Клянусь, я буду верна тебе, как раба. Только сделай так, чтобы мы снова были вместе — я и Йекутиэль…

И тогда я увидел ее, Паранойю, зеленую королеву, богиню умалишенных. Она возникла из ниоткуда и по-хозяйски уселась на нашей копне сена. На ней красовалась корона из петушиных криков, щеки горели румянцем утреннего ветра, а платье было украшено нитью алеющего горизонта.

— Кажется мне, что я видела сейчас самого Господа, — пробормотала маленькая Рут и смолкла.

Я вскочил и выбежал со двора, и бежал, и бежал, и бежал, пока не осознал достаточно твердо, что нахожусь на дороге, ведущей в Красилов из Староконстантинова. Там, в Красилове, родился мой отец, и отец моего отца, и отец отца моего отца. Туда пришли мои предки более века тому назад — пришли из святой общины города Праги, известного еврейского места.

1929

Моя мама

Женщины-торговки стояли возле корзин и громко расхваливали свой товар. Рынок почти опустел, но вечер все медлил и медлил. На западном краю неба горела воспаленная рана заката, облака неопрятным тряпьем висели над миром, из труб стекали тонкие струйки воды. Начисто отмытые прошедшим дождем, застыли дома вдоль улиц моего родного местечка. На неровных, словно обкусанных грызунами, краях крыш молчаливо копили силу прозрачные капли, срывались вниз, и на их месте тут же зарождались новые. С неба медленно опускалась на землю прозрачная печаль субботнего вечера.

С рынка уходили последние покупатели, но часть женщин продолжала торговлю, при этом переругиваясь и честя друг дружку последними словами. Ругань летела в лицо подошедшему вечеру, и он отряхивался, как деревья, проливающие серебряную капель от каждого порыва ветра.

— Ой, люди милостивые! — кричала одна из торговок. — Чтоб она лопнула, эта дура! Чтоб утроба ее наполнилась дохлыми тараканами,

чтоб взяла ее черная холера! Ой, милые мои!

«Эта дура» — очень пожилая морщинистая женщина — что-то отвечала едва слышным умоляющим голосом. Как видно, по незнанию или по неосторожности она поставила свою корзину с яблоками и семечками на чье-то «законное» место, и это восстановило против нее других торговок. Пальцы «нарушительницы» судорожно и упрямо сжимали плетеную ручку корзины, а на голову сыпался град проклятий и угроз. Я всмотрелся и вдруг узнал ее.

Это была моя мать. С бешено колотящимся сердцем я подошел и попросил семечек. Мать поспешно наполнила стаканчик из той половины корзины, где были насыпаны семечки, — вторую занимали яблоки, — и еще поспешней опорожнила его в карман моего пиджака. Затем она подняла на меня испуганные глаза.

— Мама, — прошептал я. — Мамочка моя…

— Ой, Биньямин! — воскликнула мама и зачем-то принялась старательно подтыкать головной платок.

Торговки смолкли как по команде, и на рынке воцарилась тишина, нарушаемая лишь криками босоногих еврейских детей, месивших грязь на близлежащих улицах. На местечко плотной ста-

ей летучих мышей опускались вечерние сумерки — они гасили дневные звуки и шорохи, беспечный смех и пустопорожнюю суету; заглядывали в каждую щель, в каждый уголок, проверяя, не осталось ли где незаконных следов ушедшего дня. Несмотря на все перемены и мировые революции, в местечке чувствовался еще запах наступающей субботы. Светильники горели далеко не во всех окнах, но кое-где можно было разглядеть робкие признаки праздника — в сияющих радостью черных глазах, в белом платьице прошедшей девочки, в блеске свежевымытых полов и дразнящем запахе еды, собранной от общей скудости на торжественный субботний стол.

— Вот ты и приехал, Биньямин, вот и приехал… — проговорила мама, и слезы послышались в ее голосе.

Она подхватила корзину и повела меня за собой, удивительно ловко лавируя между лужами и топкими грязевыми болотцами. Десять лет не был я в родном местечке, и нынешняя картина запустения тяжело отзывалась в моей душе. Мама торопливо шагала впереди. Корзина раскачивалась на сгибе ее локтя, так что черное полчище семечек угрожающе сдвигалось то к одному, то к другому краю — ни разу, впрочем,

не просыпавшись.

— Все-таки есть Он, Владыка Небесный… — вдруг сказала мама с коротким смешком и добавила: — Наверно, есть…

На лице ее застыло выражение какой-то странной, умоляющей и в то же время покорной радости.

— Мир сильно постарел, а, мама? — попробовал пошутить я, подхватывая ее под локоть.

Но шутка не получилась: постарел не мир, постарела она, моя бедная мать. Старость напрыгнула на нее диким зверем, напрыгнула и проглотила. Я осознал это вдруг, одним мигом, и сердце мое сжалось от боли. Машинально я сунул руку в карман пиджака, наткнулся на семечки и стал лузгать их, сдерживая таким образом слезы. Осторожно и тихо, чтобы, не дай бог, никого не потревожить, я щелкал семечки, поочередно поднося их ко рту, и черно-белая шелуха пунктиром отмечала мой путь, падая в грязь и пропадая в ней на веки вечные.

— Сейчас увидишь, как выросла наша Голда, — бормотала мама словно бы в полусне. — Такая большая стала, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Читает без передыху. Только она теперь и читает…

Так мы добрались до комнаты моего детства

на верхнем этаже дома портного Азриэля. Как и прежде, смотрели со стен бледные лица в черных рамках: Перец Смоленскин, Шолом Аш[27], Хаим-Нахман Бялик… На нижней полочке хромой этажерки, как и прежде, выстроились шесть томов Мишны, сочинения Ивана Никитина и сборник отдельных глав из Талмуда. На других полках стояли подшивки альманаха «Шилоах», книги еврейских писателей, учебники и пособия.

Дома мать наконец сбросила с себя то странное выражение молящей покорности судьбе, которое так угнетало меня по дороге с рынка. Его сменила радостная, почти лихорадочная суетливость.

— Ой, Голденю, ты только глянь, какой гость у нас сегодня! — преувеличенно пылко возвестила она с порога. — Скорее ставь самовар!

Мать принялась за уборку, хотя надобности в этом не было никакой. В явном смятении она бегала по комнате, переставляя вещи с места на место. Голда возилась с самоваром, а я, стараясь заглушить тяжелое чувство, подшучивал над сестрой:

---

[27] Примечания: 27

Перец Смоленскин (1842–1885) — еврейский писатель и публицист, писал на иврите; Шолом Аш (1880–1957) — еврейский писатель, писал на иврите и главным образом на идише.

— Голденю, ты ли это? Нет, конечно, нет. Не может быть, чтобы эта барышня с блестящими глазами была той малюткой Голдой, которую я помню! Тебе, наверно, прохода нет от кавалеров?

Моя бедная сестренка, раскрасневшись от смущения, дула в самовар с такой силой, что жилки едва не выскакивали из ее тонкой шеи. Мать вышла из комнаты и по прошествии некоторого времени вернулась с двумя куриными яйцами с надтреснутой скорлупой. Руки ее подрагивали.

— Ну вот и нашлось тебе поесть, Биньямин, — ласково сказала она.

Потом мама долго рылась в корзине, отыскивая среди хороших яблок подгнившие — субботний ужин для себя и для Голды. Мы сели за стол. Яйца, как уже сказано, предназначались мне, дорогому гостю. Я с отвращением жевал хлеб, косясь на пыльные фотографии Бялика, Аша и Смоленскина. Мать и сестра ели яблоки. В комнате стояла давящая напряженная тишина, вынести которую не смог бы и самый терпеливый. Не выдержал в итоге и я.

— Пойду немножко пройдусь, — смущенно сказал я, поднимаясь со стула, и поспешил выйти, сопровождаемый удивленными взглядами матери и сестры.

Я шел по улице, и влажные ладони ночи гладили меня по лицу. Далеко в вышине застыли в строю звезды, торжественные и неподвижные, как полки чужих душ на параде. Тень сиротливой субботы слепым нищим брела от лачуги к лачуге, робко стуча в запертые двери.

На улице Советов ярко светились окна «Клуба кустарей». Что-то потянуло меня туда — на свет, к людям. В одном из помещений шла репетиция: молодежь готовила постановку по драме Гордина «Безумец»[28]. В другой комнате несколько евреев слушали рассказ местного фотографа Шмуэля-Нахмана Петровича.

— И вот мы едем, и едем, и едем… — говорил фотограф, прикуривая папиросу. — Поезд еле дышит, прямо как раненая кляча. Повсюду люди, мешки, узлы, махорочный дым, гул голосов. И когда я говорю «повсюду», это именно повсюду: не только в вагоне, но и на вагоне, и под вагоном, и за вагоном, и перед вагоном, на буферах. И все в один голос клянут евреев. Тогда Петлюра много наших побил в городах и местечках…

И вот, стало быть, лежу я в вагоне, прячу ли-

---

[28] Примечания: 28

Яков Гордин (1853–1909) — известный в свое время драматург, пьесы которого ставились в еврейских театрах России и США, куда он эмигрировал в 1880 году. Писал на идише.

цо… — Шмуэль-Нахман выпустил длинную струю табачного дыма. — И слышу, как один необрезанный рассказывает ужасную историю. Он рассказывает, а остальные кивают. Кивают и нас ругают.

Приходим мы, слышь-ты, в Галиции в одно село, — говорит этот гой. — И подзывает меня унтер. Мол, так и так, Тарасов, сейчас мы идем на мельницу. А хозяин этой мельницы — жид, а жиды все до одного — предатели, иудино семя! Ну ладно, пошли мы на мельницу. А там, слышь-ты, сидит этот еврей-хозяин, в руке у него телефонная трубка, и лопочет он в нее что-то австрийское, на австрийском, слышь-ты, языке. Доносит то есть. Взял я его за грудки и говорю ему так: «Ты, тварь жидовская, непотребная, богопротивная, проклят будь вместе со всем отродьем твоим, в бога душу мать! Я, русский солдат Тарасов, и вся наша русская армия зябнем в холодных окопах, голодаем, газом травимся, кровь проливаем за царя и отечество! А ты, жидовская сволочь, мало что в тепле и сытости, так еще и шпионишь-предаешь святое православное воинство!» Так вот сказал я ему. Ну, а он, само собой, лопочет что-то по-своему, по-жидовски, и коленки у него дрожат от страха, и зуб на зуб не попадает. Снял я тогда

с плеча винтовку и заколол жида-предателя. Штыком заколол, прямо в горло его жидовское, чтоб не лопотал больше. Будь проклят и он, и все племя его, и мельница его жидовская!

— Мельницу-то за что? — недоуменно спросил кто-то из присутствующих.

Вопрос повис в воздухе и остался незамеченным. Но, скорее всего, спросивший не слишком нуждался в ответе.

— И вот мы едем, и едем, и едем… — продолжил свой рассказ фотограф Шмуэль-Нахман Петрович. — И я лежу себе ни жив ни мертв, прячу лицо, боюсь слово сказать, чтобы не опознали во мне еврея, а поезд то ползет, то встанет, то снова ползет. У паровоза одышка, вагоны скрипят, колеса лениво так перестукивают. За окнами светает, пасмурно, поля стоят мокрые. Когда доехали до Хролина, уже совсем рассвело. Вот и станция. Слез я с полки, стал пробираться к выходу. Ага, попробуй пробейся! Куда ни глянь — руки, ноги, головы, тела, люди, мешки, узлы, корзины. Кто спит, кто храпит, кто ругается, кто цигаркой дымит — сплошное месиво. Налево — никак, направо — никак, ни вперед, ни назад. Надо как-то пролезть, а я рта боюсь раскрыть, чтобы себя не выдать! Надо попросить, подвинуть, прикрик-

нуть… — а я молчу!

Фотограф обвел слушателей значительным взглядом и хлопнул себя по коленям:

— А я молчу! Знаю: скажу хоть слово — сразу отличат еврея по говору! И вот стою я, дергаюсь туда-сюда, как зарезанная курица. Время идет, а я ни с места! Снаружи утро, в вагоне совсем светло, Хролин ждет меня за окном, а я, понимаете ли, застрял! И плохо мне, ох, как плохо!

— Плохо? — переспросил тот же голос, что и прежде.

И ведь не лень кому-то задавать такие дурацкие вопросы… Фотограф не удостоил глупца ответом, лишь качнул головой и длинным плевком отправил в угол догоревшую и изжеванную папиросу.

— Ну вот… Звенит, стало быть, второй звонок. Второй! А я все там же. И тут вдруг такое отчаяние меня взяло, что забыл я обо всем на свете. И заорало это отчаяние моим еврейским голосом: «Станция Хролин! Станция Хролин! Дайте выйти!» И конечно, тут же распознали во мне меня — еврея то есть. Что тут началось! Повскакали с мест, кто-то кричит: «Жид!», кто-то грозит кулаком, кто-то материт во всю глотку. Всюду злоба, глаза горящие, локти и пинки. Плохо, думаю, вот теперь совсем плохо. Время-то петлюровское,

страшное для еврейского народа. Сами помните, что тогда творилось…

Слушатели замерли в ожидании. Они давно уже смотрели на Шмуэля-Нахмана как на выходца с того света и искренне недоумевали, почему он выглядит настолько живым. Должен сказать, что и я, знавший много подобных историй, никогда не встречал ничего подобного тому, что довелось мне услышать в тот субботний вечер в местечковом «Клубе кустарей». Фотограф снова покачал головой и потер лоб ладонью.

— И тут вдруг пробивается ко мне тот самый Тарасов, — тихо сказал он. — Пробивается, расталкивая людей локтями, раздавая тумаки направо-налево и ни на секунду не упуская из виду мою обреченную личность. Он смотрит прямо мне в лоб, и страшные глаза его горят, как два фонаря смерти. «Братцы! — хрипит он, и пена ярости пузырится на его посиневших губах. — Отдайте мне этого жида, братцы!» И пока я прощаюсь с жизнью, он вытаскивает наган, щелкает курком, и непроходимое месиво гоев и мешков вдруг расступается, как море под жезлом Моисея. «Выходи!» — командует он, хватает меня за шиворот, выбрасывает из вагона вместе с моим мешком и соскакивает вслед на влажную землю

Хролина. «Вперед!» — в спину мне тычется ствол нагана. И вот шагаю я вперед к своей неминуемой смерти и по нашей еврейской привычке надеюсь до последнего, то есть прошу этого Тарасова о пощаде. Я молю, я прошу, а он молчит и лишь подталкивает меня в спину своим проклятым наганом. И тут я понял, что вижу свой последний рассвет, и заплакал от жалости жизни…

— Заплакал? — эхом отозвался знакомый голос.

— Заплакал, — так же тихо подтвердил фотограф. — Мы пересекли железнодорожные пути и спустились в ров на краю поля. И все это время я не переставал умолять его. Я говорил о своей жене, о трех своих детях, о своей горькой и безрадостной доле. Я отчаянно лопотал что-то уже вовсе неразборчивое, пока он не скомандовал мне повернуться. Я повернулся. На меня смотрели глаза Тарасова, но это не были глаза Тарасова! Не те страшные фонари смерти, которые еще несколько минут назад освещали мне путь в преисподнюю. «Иди домой, господин еврей, — сказал мне Тарасов на языке моей матери. — Иди домой и впредь не будь идиотом. Там полвагона евреев, и все молчат, а вот именно этому умнику понадобилось-таки открыть рот!» Со станции

послышался третий звонок. Тарасов выстрелил в воздух и побежал к эшелону. Он бежал, а я стоял в канаве на краю железнодорожной станции Хролина, и в ушах моих продолжали звучать его слова. Слова, сказанные на милом моему сердцу языке, с интонацией, какая могла быть только у настоящего еврея, такого же, как я да вы. «Иди домой, господин еврей, и впредь...» И тут меня вдруг разобрал смех. Я смеялся и плакал, плакал и смеялся. К чему были эти слезы, к чему смех? Я остался в живых, и, значит, не о чем было плакать, но и смешного в этой истории было не так уж много.

Вот такой рассказ услышал я в тот субботний вечер — рассказ о солдате Тарасове, великом притворщике и шутнике. Кстати, впоследствии я познакомился и с ним самим во время своих бесконечных скитаний из местечка в местечко — познакомился, и мы провели вместе немало по-дружески добрых часов. Конечно, в тот момент его звали уже совершенно иначе — Акива Крац, но я уверен, что с любым именем он оставался бы таким же неисправимым жизнелюбом, весельчаком, любимцем женщин и детей.

В другой комнате «Клуба кустарей» шла репетиция пьесы Якова Гордина «Безумец». Тут

же висела стенгазета «Дер ройтер штерн» — «Красная звезда», и одно из ее стихотворений, озаглавленное «21.1.1928», начиналось следующими строками:

Вождь, идущий сквозь пламя борьбы,
Сердце — сталь, и железо — рука…

Стих был посвящен памяти Владимира Ильича Ленина. Режиссер ходил вдоль стены из угла в угол и говорил, говорил, говорил. Безумца играл смуглый парень с добрыми глазами и громким голосом. Говорливый режиссер был одновременно и исполнителем второстепенной роли старика-часовщика.

Я еще немного покрутился в «Клубе кустарей» и отправился восвояси. Уже на выходе, возле шаткого крылечка, донесся до моих ушей тихий, не предназначенный им разговор.

— Странно! — произнес сдавленный мужской голос. — Не объяснишь ли ты мне свое поведение? Почему ты весь вечер не обращала на меня внимания? Почему ты улыбалась Файнбергу, заставляя меня страдать?

— Глупенький… — отвечал ласковый женский шепот, сопровождаемый звуком поцелуя и совсем уже неразборчивым утешительным

бормотанием.

Я вышел на улицу, к влажным ладоням ночи, и выстроившиеся, как на парад, армии чужих звездных душ отметили мое возвращение холодным равнодушным молчанием.

— О Владыка мира! — воскликнул я, обращаясь к ним. — О Господь мой Небесный…

Потом я вернулся к материнскому гнезду на втором этаже дома портного Азриэля. В комнате стоял запах жареных семечек, сестричка Голда посапывала во сне, на стене белели лица Переца Смоленскина, Шолома Аша и Хаима-Нахмана Бялика. В мерцающем свете тусклой масляной лампады едва различим был на столе оставленный мне ужин: два яйца и яблоко. На кушетке белела расстеленная для меня постель.

— Мама, я ухожу, — пробормотал я, наклонившись к кровати.

Ответом было все то же равномерное сопение Голды. Запах семечек буравил мне ноздри. Мамина голова — морщинистая, старческая — неподвижно лежала на подушке. Я вышел наружу и быстро зашагал на станцию — в тот момент она казалась убежищем, укрытием для подобных мне беглецов. Железнодорожные рельсы блестели вдали, как манящая цель, как путеводный огонь.

В полях и на дорогах лежала густая туманная мгла. Я машинально сунул руку в карман, вынул горсть семечек и принялся лузгать их осторожно и тщательно. Я щелкал их одну за другой, пока вдруг не осознал, как невыносим мне этот запах. Нервно вывернув наизнанку карман, я вывалил семечки на дорогу и для верности втоптал их сапогом поглубже.

В местечке вдруг подала голос собака, разодрав молчание ночи — глухой отрывистый лай, подобный ударам в крепко запертые ворота. А я, смешав с дорожной грязью последний материнский подарок, бежал к станции, чтобы успеть на ближайший проходящий поезд.

1928

Машиах бен Давид

Известное дело: в нашей стране, именуемой еще Страной Советов, к которой устремляются сейчас все силы и помыслы любого просвещенного человека, уходит в безвозвратное прошлое мир еврейского местечка. Бурные волны пятилеток смыли последние остатки тех, кто уцелел в годы погромов, и теперь звонкая пустота ходит из дома в дом по переулкам моего детства. Кое-где там еще зеленеет листва, лишь усугубляя картину запустения и утраты.

Первыми уехали молодые — десятки тысяч комсомольцев с горящими глазами хлынули на просторы огромной страны, чтобы встать в ряды строителей нового мира. А уже затем, последним обломком, снялись с места и старики — тогда-то и легла пыль на колени покинутых местечек. Едва-едва теплилась в окрестностях Харькова и Москвы угасающая лампада традиций и обычаев нашего народа.

Подхватил этот поток и меня — щепку от срубленного ствола моего любимого городка. Губы мои дрожали, когда я прощался с местом, где прошли мои детские и юношеские годы. А вид

зеленых заплат — садов родного переулка — еще долго преследовал меня, беглеца, затянувшись в итоге на моей шее узлом, развязать который не дано ни судьбе, ни годам.

Видел я тогда брошенные субботние светильники, молитвенные покрывала и принадлежности, видел святые книги, выдернутые из привычных мест, сваленные в ящики и коробки переселенцев. Притихшие лавчонки и синагоги, робко выстроившись в ряд, провожали нас, шагавших в направлении железнодорожной станции. На местечко наползала осень; запах тления окутывал поля, и пока еще теплый ветерок равнодушно трепал листы в книге истории наших предков.

А вот большой город встречал нас хмуро, почти враждебно. Все тогда стремились в столицу; ее улицы и рынки были затоплены потоками бывших жителей деревень и местечек, а на окраинах быстро росли слободские районы, которые тоже не могли вместить всех желающих. Я нашел себе жилье в Гавриловке, дачном поселке в тридцати километрах от Москвы. Кроме меня, в тесной комнатке ютились еще два странных еврея: реб Исер Пинкес и Шлеймеле Малкиэль.

Время, как уже сказано, было осеннее, да и северная зима давала о себе знать, по утрам на-

крывая поселок одеялом серебристого инея. Я выхожу наружу, сажусь на пень и смотрю себе по сторонам. Передо мной лежит дачный поселок Гавриловка, весь закутанный в морось прохладного октября. Холодный ветер шевелит кроны сосен, и груда низких облаков мрачно теснится в пространстве мира, спокойного и отстраненного.

Вот выходит из дома на молитву реб Исер Пинкес. Он держится очень прямо, палочка часто-часто стучит по земле, шаги выверены и осторожны. Щеки реб Исера выбриты до шелковой гладкости, а его браво расправленные плечи заставляют стороннего наблюдателя скинуть по меньшей мере десяток лет из его пятидесяти.

Реб Исер Пинкес слеп. Толстые корни деревьев, тут и там выползающие на тропинку, задерживают его продвижение вперед. Наконечник палки чутко ощупывает бугристый маршрут, проходя сквозь хитросплетение корней, как сквозь несложный кроссворд.

Издалека доносится трубный сигнал паровоза и стук вагонных колес. В тумане холодным огнем горит зеленый зрак семафора. В роще, уткнув нос в землю, бродит облезлый пес. Природа угрюма и молчалива, и лишь большая стая ворон, разрывая криками воздух, носится над Гавриловкой.

Я возвращаюсь в нашу тесную комнатушку. Шлеймеле Малкиэль сидит у стола, что-то пишет и при этом дрожит крупной дрожью, как будто его хватил удар. Лицо моего соседа бледнее смерти, зато лихорадочный блеск глаз сверху донизу озаряет исписанную бумагу. Он молча протягивает мне листок, и в скудном утреннем свете я читаю его безумные строчки.

Машиах бен Давид

Со времен шести дней Творенья ограничено общее количество жизненной силы. Оно сохраняется в мире вечно, ни прибавить к нему, ни убавить.

Человеческий разум — высшая ступень этой силы. Он распределен между населяющими землю народами, но не в одинаковой степени. Сорок восемь процентов человеческого разума даны Богом народу Израиля. Ибо сказано: «И избрал нас из всех народов». Нет ничего важнее и нет ничего святее, чем семя Иакова, и горе тому еврею, который станет отрицать это. Ибо тогда приду к нему я, Шлеймеле Малкиэль, Машиах бен Давид!

Я приду, я спасу народ Израиля!

— Я приду, я спасу народ Израиля! — восклицает Шлеймеле и выбегает из комнаты.

Я смотрю в окно и вижу, как он устремляется в осенний лес. Что ждет его там, кроме бесконечного одиночества осени? Ленивые размокшие грибы и бесчисленные стебли сиротливых трав даже не взглянут на бегущего безумца. Входит хозяйская дочь Катя, бледная статная девушка с веником в руке. Она спрашивает об Исере Пинкесе. Есть какая-то странная симпатия между этими двумя — слепым евреем и чахоточной деревенской девочкой. Покашливая, Катя принимается мести комнату, а я собираюсь и иду на станцию — пора ехать в город.

Я устроился в строительный трест в Сокольниках и всю зиму проработал в бригаде бетонщиков Вани Окунева — мы возводили гигантский автозавод, самый большой в Европе. По окончании строительства Ваня получил орден Красного Знамени за ударный труд. В Гавриловку я возвращался уже за полночь и без сил валился на постель. Реб Исер Пинкес по-ребячьи всхлипывал во сне, зато второй мой сосед, Шлеймеле Малкиэль, лежал молча, пронзая тьму лихорадочным блеском глаз. Смутные звуки ночного леса стучались в стекла наших наглухо запертых

окошек. В комнату просачивался голубоватый отсвет лежавшего снаружи снега. Безмолвствовала ленточка замерзшего ручья, и лишь трубные сигналы паровозов, подобно выстрелам пушек, падали на спящую Гавриловку, разрывая плотную завесу тишины.

В соседней комнате тяжким кашлем мучается Катя. Вот поднимает голову Исер Пинкес, со стоном встает с постели. От его высокой фигуры, сразу заполняющей тесное пространство комнатушки, веет чем-то далеким, отцовским. Ступая на цыпочках, он несет Кате стакан воды.

— Попей, Катя, может, полегчает… — шепчет слепой.

Кашель прекращается. Голубоглазая зимняя ночь равнодушно глядит в замерзшее оконное стекло. Сквозь тяжелую дремоту я слышу горячечный шепот Кати:

— Посидите со мной, Исер Матвеич! Какая у вас большая рука! Смотрите, я вся вспотела…

Я погружаюсь в сон под сухой задыхающийся лепет девушки.

Утром меня будит звук приглушенной беседы. Шлеймеле Малкиэль стоит над постелью слепого, его волосы сбиты в колтун, а глаза сочатся горем и угрозой.

— Исер, сын Тувии, старый черт, — произносит Шлеймеле замогильным голосом, — ты еврей или нет?

— Еврей, — со стоном отвечает Исер Пинкес из сумрачного состояния полусна-полузабытья.

— Исер, сын Тувии, побег древа Израилева, блудный сын… Что ответишь ты Машиаху бен Давиду, когда предстанет перед тобой?! — Лицо Шлеймеле искажается, веки судорожно трепещут. — Старый черт, слепой греховодник…

В ужасе отшатывается Шлеймеле от постели слепого, как будто и в самом деле узрел черта или даже ангела смерти. Он отступает к двери, распахивает ее и исчезает в предрассветном сумраке. Зато реб Исер Пинкес поворачивается к стенке и погружается в глубокий сон. Заснеженный рассвет гуляет снаружи, разбрасывает вокруг себя полные горсти тишины. Я слышу, как возвращается Шлеймеле Малкиэль, падает на свою кровать и натягивает на голову одеяло. В окошке напротив зажигают свет, и еврей-сосед принимается раскачиваться над книгой, а тень его качается вместе с ним. Я быстро одеваюсь и тороплюсь на поезд, в славную окуневскую бригаду. В вагоне тесно от сонных молочниц и дремлющих рабочих…

В самом конце зимы я заболел воспалением легких и три недели провалялся в больнице имени Семашко. К моменту моего возвращения в Гавриловку весна уже вовсю пела свой торжественный гимн, и в каждом уголке, в каждом сердце пылала веселая жажда жизни. Знакомый пень во дворе встретил меня, как брата. Снова садился я там поутру — слушать полные свежести песни весны. Ручей был еще укрыт почерневшей ледяной коркой, но в мокром саду уже выглядывали из-под земли нахальные сорняки. В лесу распоряжалось солнце, похожее на молодую мать. Вот тропинка, а по тропинке идут двое — реб Исер Пинкес и девушка Катя. Она провожает его в молитвенный дом, поддерживает под руку и тщательно следит, чтобы слепой не споткнулся о какой-нибудь выпирающий корень. Катя сильно исхудала лицом, на щеках ее горит болезненный румянец. Весна — трудное время для чахоточных больных.

Зато всем остальным легкий ветерок дарит только радость — самый дорогой подарок. Рядом со мной, самозабвенно квохча, разгуливает молоденькая курочка, уроженка прошлого лета. В окне белеет лицо Шлеймеле Малкиэля. Горящие глаза безумца с ненавистью следят за Исером Пинкесом и его провожатой.

Несколько дней спустя реб Исер перешел жить в комнату Кати, расписавшись с ней в качестве законного мужа. Вечером из города приехала дочь слепого, Рахиль Пинкес, студентка Коммунистической академии. Федоровна, хозяйка, накрыла стол, и гости вволю напились вина, закусывая пирожками с рубленым мясом.

Рахиль, смуглая девушка с усталыми глазами, произнесла поздравительную речь.

— Товарищи! — сказала она. — Вот они сидят перед вами — мой слепой отец и его молодая жена Екатерина. Деникинцы отняли у моего папы зрение в брянских лесах. Они пытали его, эти белогвардейские твари, забыв о том, что есть у нас Советская страна и есть у нас Красная армия, всегда готовая пролить кровь во имя трудового народа. И вот теперь они сидят перед вами — мой слепой отец и его молодая жена Екатерина!

Так говорила она, эта девушка, и слезинки поблескивали всеми цветами радуги в ее усталых глазах. А реб Исер Пинкес, пьяный от вина и радости, вдруг поднялся во весь свой немалый рост и затянул песню еврейского местечка, которую пели наши матери тридцать лет тому назад:

Ах, что было в нашей Каменице —

Полюбил парнишечка девицу.
Яков встал у Ривки под дверями —
В сердце парня полыхает пламя.
Если, Рива, ты не дашь согласья,
Он сгорит, как пук соломы, в одночасье...

Катя слушала песню, и лицо ее светилось счастьем. Налетел легкий кашель, потряс грудь новобрачной, оставил на поднесенном к губам платочке капельку крови. И тут вдруг диким зверем вскочил со своего места Шлеймеле Малкиэль и принялся ругать жениха последними словами. Хорошо, что Варвара Федоровна, толстая и добросердечная мать невесты, вовремя выставила на стол еще три бутылки вина. В итоге все основательно перепились, а хозяйка висла у меня на шее и требовала плясать.

Вскоре наступил Песах, речка вздулась, вышла из берегов, и грязные льдины, сталкиваясь и громоздясь друг на дружку, устремились вниз по течению. В канун праздника мы втроем отправились в молитвенный дом — реб Исер Пинкес, Шлеймеле Малкиэль и я. И вновь увидел я там обломки былой жизни исчезнувшего местечка, праздничные светильники, кучку печальных

стариков. Один из присутствующих одолжил мне свой молитвенник. Когда дошло до молитвы Ґалель[29], все очень воодушевились. Старики раскачивались с удвоенным усердием, а Шлеймеле Малкиэль так и вовсе обезумел. Казалось, его бледное, устремленное к Богу лицо было скроено из того же материала, из которого делались великие пророки — Исайя, Иезекииль и Шабтай Цви[30]. Из темных углов комнаты, от ковчега со свитками, от морщинистых шей, напрягшихся в громкой молитве, — отовсюду слышались мне отголоски моего ушедшего детства. Я вышел наружу, и ночная прохлада бросилась мне на грудь и обняла, как стосковавшаяся подруга. Со стороны железной дороги слышался стук колес проходящего поезда, а в нем — дыхание всей огромной страны.

Но вот поезд прошел, и глубокая тишина опустилась на Гавриловку. Я решил пройтись по берегу бурлящей речушки; отчего-то волшебство ночи наполняло меня непонятной тоской. В ка-

---

[29] Примечания: 29

Ґалель — праздничная молитва, возносящая славу и благодарение Господу.

[30] Примечания: 30

Шабтай Цви (1626–1676) — каббалист, один из самых известных лжемессий, возглавивший массовое мессианское движение в еврейских общинах.

кой-то момент я услышал голоса Исера Пинкеса и Шлеймеле Малкиэля, моих странных соседей.

— С чужой женщиной делишь ты ложе свое, реб Исер, предатель, старый ты черт, — лихорадочно твердил Шлеймеле. — Что скажешь Господу, когда предстанешь перед Его лицом?

— Скажу: оба глаза Ты забрал у меня, Господи, оттого не видать мне Твоего лица, — отвечал на это реб Исер Пинкес. — Отведи меня домой, Шлёма. Ты болен. Ты сумасшедший ешиботник, нищий, больной и грязный…

— Домой?! Нет у тебя дома в этом мире! — закричал Шлеймеле.

В следующий миг он подтащил слепого к краю обрыва и со всей силы толкнул его вниз, в воду. Я услышал сильный плеск от падения большого тела и бегом бросился спасать тонущего. К счастью, слепой оказался хорошим пловцом и выбрался на сушу еще до того, как подоспела моя помощь. Он дрожал всем телом и молчал.

— Видывал ли свет такого безумца? — проговорил я, поддерживая соседа под локоть. — Пойдемте, реб Исер, я отведу вас домой. Вам нужно срочно переодеться в сухое.

— Бог мести Адонай! — послышался из тьмы голос Шлеймеле Малкиэля.

Как лунатик, как одержимый, шел этот человек сквозь ночь. Куда, зачем? А рядом, на небе и в лесу, расхаживали тысячи звезд, и прохладный весенний ветер трепал и раскачивал кроны деревьев.

— Бог мести пришел! — снова прокричал Шлеймеле Малкиэль, Машиах бен Давид, бледный человек с горящими глазами.

Речка бурлила, выламывая и громоздя куски черного ноздреватого льда. Их тоже несло вниз по течению, по заранее назначенной дороге, все вперед и вперед, до самого последнего конца.

1934

Мой первый круг

1

Первые дни моей жизни прошли в уродливом сгорбленном местечке, в бесконечном круговороте пыли, снега и грязи. Там я и ползал — в грязи, снегу и пыли — ползал и видел в том свое предназначение.

Душа народа теплилась тогда в синагогах, в почитании субботы, в ежедневных молитвах: утренняя шахарит, дневная минха, вечерняя маарив, и снова шахарит, и снова минха, и снова маарив… С тремя ежедневными трапезами впитал я трепет иудейства, навсегда отравивший мою детскую душу. Помню хасидов, которые, сидя в кружке, распевали печальные мелодичные песни. Помню детскую свою уверенность, что именно они, эти песни, эти сердечные искренние молитвы, летят сквозь парохет прямиком в уши Всемилостивейшего Создателя. Вечер вползал в дом, в низенькие закопченные окна, мелкими шажками продвигался по комнате, прятался в темных углах. Там, в углах, пустопорожняя будничная суета превращалась в глубокую

вечернюю тоску, накрывающую мир своими перепончатыми крыльями. Но тут вдруг вставал со скамьи портной реб Азриэль, смуглый еврей с седой бородой, — вставал и, хлопая в ладоши, пускался в пляс. А за ним — реб Пинхасл, а за тем — реб Шмельке Топ… — и вот уже все они топчутся в круге, и поют, и хлопают, и танцуют.

Как раненое животное в преддверии смерти защищает своего детеныша, так пестовало меня это уходящее поколение, с ревностным вниманием отслеживая каждый мой шаг. Культура древних традиций, праздников, постов, поминовений жила бок о бок со мной, готовясь поглотить меня без остатка. Какие только иудейские формы и ритуалы не оставили отпечатка в моей душе… В хедере я заучивал жгучие слова Торы, резник Хаим показал мне, малому мальчику, тропы и дороги Талмуда, в доме реб Пинхасла ждали меня подшивки альманаха «Шилоах». От своего отца, от длинной цепочки предков и поколений унаследовал я неистребимую тягу к письменному слову.

Книги поселили в моей детской голове воспоминания о древних временах; образы дальних стран и великих событий полностью захватили мое воображение. Перед моим мысленным

взором простирались песчаные пустыни; полы белых шатров колыхались на ветру, как крылья диковинных птиц; в жилах моих вскипала кровь диких племен, вышедших на завоевание Ханаана. Этот удивительный мост между покорителями Ханаана и скромным евреем из убогого местечка выстроила тогда новая ивритская литература. Именно она смогла связать мой крохотный местечковый мирок с мощным, уходящим корнями в глубину веков, древом поколений — умерших, но продолжающих жить в слове. Литература открыла мне новый огромный мир — мир, по праву принадлежащий мне и таким, как я, — и мне оставалось лишь радостно броситься туда, погрузиться в книги всем своим существом. Я был счастлив представить себя малым звеном великой цепи, ощутить на себе ее неимоверную тяжесть. Я смотрел на тех, кто отказывался подставить плечи под ту же ношу, как на предателей, отступников, отщепенцев-мешумадов. Я видел в них отребье мира, позор поколения, мерзость сточных канав.

Многие силы были мобилизованы для того, чтобы сделать из меня мечтателя, живущего в стране фантазий. Часто на мир опускались серые гнетущие дни, невыносимые, как равно-

душие Творца, — бесконечные дни, уже с утра напоминавшие вечер. По вечерам я выходил со сверстниками на улицу. В те годы местечко еще не умерло, еще билось в нем сердце, еще текла по жилам горячая кровь.

С двенадцати лет я начал рифмовать свои первые строчки. Я пел о камнях и о деревьях. Это были юношеские стихи, сами собой возникающие из ночной тишины, из осенней грусти, из шелеста сосен. Ряды звонких слов наполняли мою тетрадь. Наивный отец вложил тетрадку в конверт, отослал в Одессу Хаиму-Нахману Бялику, и Бялик совершенно неожиданно поддержал меня.

Он поддержал меня, этот дорогой человек! Неудивительно, что с тех пор моя тяга к словам росла день ото дня, окутывая окружающий мир плотной завесой тайны, понятной лишь посвященным. Слова все сильней и сильней звенели в моей голове, узелок к узелку творя странное, сказочное будущее. Я еще и понятия не имел о своей собственной маленькой жизни, но уже готов был подставить спину под неимоверную тяжесть Истории — ни больше ни меньше. Подросток с нетвердыми коленями, я ощущал в себе силы спасителя, утешителя, вождя. Невероятные мечты и фантазии свистящим ураганом проноси-

лись в моем воспаленном мозгу.

В 1915 году я выучил наконец язык страны, в которой жил, и он открыл мне двери в мир новых неизведанных кладов. Теперь мое воображение занимали Пушкин и Гоголь, Толстой и Гамсун; я жадно знакомился с новыми словами, цветами, страстями, знаками и обычаями чужой культуры. Ее широко распахнутые горизонты казались мне неизмеримо шире, чем узкие рамки иудейства, которые сковывали годы моего отрочества. Как выяснилось, помимо правды моего народа, жизнь полнилась многими другими правдами и неправдами. Я увидел дальние города, страны, племена и народности; перед моими глазами проходили судьбы разных, не похожих друг на друга людей, и у каждого — свои мечты, свои страсти, свои победы и поражения…

Ежегодно в начале весны городок навещал большой барин — граф Потоцкий. По главной улице, именуемой пышным словом «шоссе», прокатывалась его богатая коляска, сопровождаемая густыми столбами пыли. В коляске на кожаных сиденьях восседали двое: сам граф — седой важный старик и его дочь Ядвига — кудрявая красавица с голубыми глазами. Подростки не упускали случая пробежаться вслед; бежал вме-

сте со всеми и я. Образ молодой панны Ядвиги мучил меня по ночам.

Стоило мне смежить веки, как она приходила и ложилась рядом на мое горячее ложе. Скромная и улыбающаяся, она склонялась надо мной, и сердце вздрагивало от ее прикосновений. Я зажмуривался еще крепче и сдавался на милость своих распаленных фантазий.

Что за крик, что за шум на большой дороге? Почему так суетятся испуганные люди, и каждый хватается за голову? Ага, понятно: по шоссе несется коляска, запряженная парой обезумевших лошадей! А в коляске… кто это там в коляске? Ах, да это же золотоволосая Ядвига! Красавица в крайнем испуге заламывает руки и молит о спасении. И тут я, не мешкая ни секунды, бросаюсь под копыта, чтобы остановить коней ценой своей жизни! И они останавливаются, тяжело дыша, и пена капает с их крутых боков. И тут из коляски выходит панна Ядвига. «Ядвига, — говорю я, — тебе, лишь тебе отдал я свою жизнь в этой пыли. Я — пыль у ног твоих, красавица Ядвига!»

В воскресенье граф устраивал игры для своего и народного развлечения. По такому случаю во дворе поместья, огороженного металлической оградой с остроконечными прутьями, устанав-

ливался высокий столб, густо намыленный для скользкости. На верхушке прикрепляли дорогие призы: карманные часы, губную гармошку, кошелек с серебряными монетами. Граф и его гости усаживались на веранде перед накрытым столом. Конечно, Ядвига присутствовала тоже. Претенденты на приз один за другим карабкались на столб. Обычно в их число входили слуги из поместья, городские пожарные и другой люд.

Секрет успеха не только в ловкости, но и в терпении. Вот за дело берется молодой лакей. Он поднимается не торопясь, переводя дух после каждого движения. Глаза зрителей прикованы к парню — ему осталось совсем немного. Смотрим и мы, молодежь местечка, столпившаяся за оградой. Неужели смельчаку достанутся призы и аплодисменты? Нет! Всего за локоть до цели силы покидают юношу, и он беспомощно соскальзывает вниз. Всеобщий вздох разочарования сопровождает его бесславное падение.

В местечке торжествовали в тот год веселая весна, яркое солнце и не менее сиятельная панна Ядвига. Да-да, графская дочка казалась мне, еврейскому подростку, существом того же порядка, что и солнце, весна, звезды… Вцепившись в железные прутья, стоял я за оградой, и послушная

мечта уносила меня туда, где возможно даже самое невозможное. Вот из толпы выходит еврейский юноша. Это, конечно, я. Я подхожу к графской веранде и отвешиваю учтивый поклон. «Не позволит ли панна Ядвига попытать свои силы и мне, ее покорнейшему рабу?»

Ядвига улыбается, граф Потоцкий кивает, и я небрежной походкой иду к намыленному столбу. Я поднимаюсь до самого верха с легкостью истинного героя, ни разу не передохнув. У моих ног лежит весеннее местечко. К призам я даже не прикасаюсь — пусть остаются лакеям! Все, что я делаю, делается только ради нее, моей Ядвиги!

Эта фантазия остается со мной надолго — вплоть до следующего утра. Крепко сомкнув веки, лежу я на скомканной простыне. В окно сочится голубоватый свет наступающего утра, легкомысленный ветерок разгуливает по переулку…

Я слышу шепот из родительского угла.

— Парень бездельничает, даже стихи перестал писать… — вздыхает отец.

Его вздохи глубоки и горьки, тяжелы заботы. Зато мама молчит. Она молчит, моя мамочка, простая и добрая еврейская женщина, родившая меня в муках. Наверно, она хорошо понимает, что со мной происходит, чувствует мою душу. А что

касается стихов, то отец ошибается: я пишу больше прежнего, но скрываю от всех свою заветную тетрадку. Теперь в строчках сверкает и пенится новый мир — он голубоглаз, золотоволос и каждым своим звуком посвящен панне Ядвиге…

Так, в мечтах и иллюзиях, в странной игре фантастических теней и убогой реальности местечка прошли годы моего отрочества. Это были годы, когда я впервые столкнулся с пропастью, которая отделяла окружающую меня жизнь от веков иудейской тоски — отделяла и в то же время связывала с ними прочным мостом еврейской традиции. Эти годы окутывали меня тишиной закатных часов, звенели над ухом осенними дождями, проникали в ноздри запахом синагог и пожелтевших от времени страниц, томили беспричинной тоской и, конечно, Ядвигой, Ядвигой, Ядвигой…

2

Где-то рядом, неподалеку, расхаживала по земле война. Сотни пеших и конных солдат, пушки, тачанки, раненые и пленные едва ли не ежедневно проходили через местечко. Крепкий и рослый юноша, я выглядел старше своих шестнадцати лет, и мать вздыхала, печалилась: «Ох, сыночек,

не дай бог, скоро придет и твоя пора…» Но в конце зимы прибежал к нам в дом сосед Ханан Фишер с громкой вестью о революции. Николая сбросили с трона, теперь наступит свобода!

И в самом деле, наступили свобода, равенство и братство. Наш городок забурлил, стали образовываться политические партии — что ни человек, то партия. Сейчас-то я понимаю, что именно в те дни смерть впервые повернула к местечку свое пустоглазое лицо. 1917 год, перекресток истории, год партий, фракций и митингов! Сионисты, бундовцы, Поалей-Цион, Народная партия… И у каждой такой группы — свои кружки, листки, вожди, ораторы! Собрания, аплодисменты, песни, знамена!

Вот поднимается на трибуну представитель Бунда Ицхак Мельцер, и в устах его — пламенная речь в защиту пролетариата и еврейской автономии. Мельцера сменяет лидер Народной партии аптекарь Исраэль Хейфец — он высказывается в пользу осторожной умеренности. Народ Израиля, говорит Хейфец, это вам не народ сионистов, и не народ бундовцев, это просто народ Израиля!

А в моем сердце продолжала бушевать золотоволосая Ядвига. Что, впрочем, не мешало моей дружбе с черненькой Гитой, да будет благосло-

венна ее память. Тем летом я довольно близко сошелся с Озером, сыном реб Пинхасла. Реб Пинхасл получал по подписке альманах «Ґа-Ткуфа», издаваемый в то время в Москве под редакцией Фришмана. Я часами просиживал в его доме, читая подшивку альманаха и слушая звуки старого пианино.

На пианино бренчала Гита, сестра Озера, молодая женщина лет двадцати пяти. Ее муж, толстый неповоротливый выпускник ешивы, проводил много времени в разъездах по торговым делам. Как-то, улучив момент, Гита прижалась ко мне словно бы невзначай. Я почувствовал упругую мягкость ее груди и сильно смутился.

— Надо же, какой стеснительный паренек, — усмехнулась она и по-матерински взъерошила мне волосы.

Я действительно был сам не свой: на щеках выступили красные пятна, на лбу — пот, а сердце зашлось в бешеной скачке. Такое происходило со мной впервые.

После этого случая я в течение нескольких дней боялся навещать своего друга Озера. Внезапно открывшееся знание лишило меня сна, потрясло до глубины души. Я вдруг почувствовал себя мужчиной и не знал, как к этому отнестись.

Однажды вечером я набрался смелости и переступил-таки порог дома реб Пинхасла. Смертельная бледность покрывала мое лицо, а в сердце бушевали желания, о которых я не мог говорить даже с самим собой. Увы, на сей раз неповоротливый муж Гиты сидел за столом, а черненькая виновница моего смятения возилась с самоваром, даря блеск своих глаз не мне, а чайным стаканам. Никто даже не обратил внимания на мое появление. Скорее обрадованный, чем огорченный таким поворотом дела, я позвал Озера, мы собрались и вышли.

Покорное и тихое, лежало у наших ног местечко; летняя ночь, спутница тайн и чудес, ласково склонялась над ним. Теплая тишина пришла неведомо откуда. Не слышно было даже комаров, лишь дальний собачий лай робко вспыхивал и гас в темноте, подобно бедной лампаде. В низеньких окошках тут и там мелькали огоньки.

Мы с Озером вошли в клуб, размещавшийся тогда в доме стекольщика Мойше. Над столом, с головой уйдя в свои записи, горбилась библиотекарша Ханна. В смежной комнате учитель Шломович читал нескольким слушателям лекцию по истории народа Израиля. Перед лектором лежала кипа мятых листов, и он то и дело нервно

теребил их, вглядываясь в неровные строчки. На стене висел большой портрет вождя и провозвестника[31]; на завитках его пышной бороды красовались несколько абзацев из книги «Еврейское государство».

Озер и я вступили в этот клуб относительно недавно. В мои обязанности входила поддержка культурной программы и две еженедельные лекции по географии на основе учебника Гразовского: «На севере Страны находится Галилейское нагорье, на юге — пустыня. А вот здесь — Средиземное море…»

Иногда мы устраивали вечеринки. По этому случаю девушки облачались в субботние платья, и мы танцевали до упаду, шутили, устраивали веселые игры и очень много пели — песни изгнания и песни Сиона. Мой друг Озер руководил хором, а кроме того, вел клубную бухгалтерию.

Озер вообще был сугубо практическим человеком — в отличие от других членов его семьи, в которых буквально клокотала горячая кровь. Взять хоть Гиту, старшую сестру… ну зачем, зачем ей вдруг вздумалось ни с того ни с сего прижиматься ко мне?.. Я сидел в клубе и думал о Гите,

[31] Примечания: 31

Имеется в виду Теодор Герцль (1860–1904), основоположник политического сионизма, автор книги «Еврейское государство».

о прикосновении ее груди, и огненная дрожь пробегала по моему телу.

Из клуба мы отправились в городской сад. Вот я и подошел к описанию момента своего грехопадения — момента, который каждый мужчина помнит до последнего вздоха. В тот летний вечер я заговорил с Озером о женщинах. Не знаю, что навело меня на эту тему — возможно, мысли о Гите. Помню, мы шли тогда через пустую рыночную площадь. Я был немало смущен, но Озер охотно поддержал разговор. Не прошло и минуты, как он уже рассказывал мне о Дуне, служанке холостяка Финкельштейна. Рассказывал, удивляясь тому, что я ничего не слышал о ней прежде. Судя по словам Озера, эта любвеобильная девушка дарила свои ласки любому желающему, чем регулярно пользовались многие парни из местечка.

Озер прибавил к рассказу несколько своих личных впечатлений, чем еще больше смутил меня. Хорошо, что темнота скрыла краску, обильно выступившую на моем лице. Вдруг Озер хлопнул себя по лбу.

— А ну-ка, пошли! — скомандовал он и потащил меня за собой.

Я не сразу понял, что мы направляемся к дому адвоката Финкельштейна. Адвокат жил на самом

краю города. Его сад был полон зелени и рослых плодовых деревьев. Мы пробрались к окну, которое светилось сквозь тяжелые ветви яблонь. Озер тихонько постучал. Выглянула девушка, всмотрелась в наши лица, сделала знак подождать и исчезла. Я успел разглядеть остренький носик, смеющиеся глаза и общий довольно приятный облик.

— Придется подождать, — объявил мне Озер. — Финкельштейн еще дома.

Оказалось, что по вечерам старик отправлялся в городской клуб сыграть партию-другую в карты. С тех пор прошло немало лет, но я помню каждую минуту того напряженного ожидания. В саду сгущалась темнота, на небе не было видно ни звездочки, ветер шуршал кронами деревьев, то приближаясь, то отдаляясь от нас.

— Уходит! — вдруг шепнул Озер.

Мы услышали звук открывшейся двери. Ни жив ни мертв, стоял я в густой тени, глядя, как тяжелая фигура адвоката спускается с крыльца и движется к выходу из сада. Финкельштейн останавливается, чиркает спичкой, прикуривает папиросу, и неяркий огонек на секунду выхватывает из ночной тьмы зеленый кусочек мира. Но вот погасла спичка. Шаги адвоката удаляются,

тонут в уличной пыли. Проходит еще минута-другая, и дверь открывается снова — теперь уже для нас. Гостеприимная Дуня готова впустить нас в дом и в свои горячие объятия.

Первым с девушкой уединяется Озер. Я сижу в гостиной на краешке стула и машинально вслушиваюсь в звуки, идущие из соседней комнаты.

— Это его первый раз… — шепчет Озер.

Затем слышится сдавленный смех, вздохи, восклицания. В гостиной царит полумрак. Со стены на меня укоризненно смотрят две парные фотографии пожилого мужчины и пожилой женщины — родителей адвоката Финкельштейна.

Я нахожусь в какой-то нервной полудреме и не сразу различаю стоящего передо мной Озера. На лице его довольная улыбка, глаза блестят.

— Ну, давай, иди! — говорит он и тянет меня за плечо.

Я почти вслепую вхожу к Дуне. Я не чувствую ничего, кроме страха, мне хочется просить прощения неизвестно за что. Навстречу мне поднимается с кровати обнаженная девушка и встает прямо передо мной.

3

Так рухнул первый из двух моих главных юношеских идолов — я утратил рыцарское преклонение перед женщиной. Вскорости та же судьба постигла и второй идеал. Вообще-то моя вера в Бога — лучшее прибежище для детей и стариков — пошатнулась уже года за два до описываемых событий. К бар мицве мне подарили тфилин в красном плюшевом футляре. Помню, как я гордился этим подарком: религиозные молитвенные принадлежности были в моих глазах неотъемлемым признаком взрослого еврея. Резник реб Хаим научил меня правильно наматывать на руку ремешки. «Натягивай сильнее! Еще сильней!» — требовал он, и ремешки все крепче и крепче привязывали меня к судьбе моего народа.

Но два года спустя, в пятнадцатилетием возрасте, настигла и меня пора подросткового скепсиса. Воздух того времени полнился новыми ветрами. Где-то под спудом накапливались и рвались наружу пока еще неизвестные мне молодые дерзкие силы. Прежние ценности выглядели безнадежно устаревшими и обветшалыми. Самые отважные из нас вели непривычные, пугающие и оттого чертовски притягательные разговоры.

Тогда-то и появилась первая трещинка в моих отношениях с Богом; быстро расширяясь, она вскоре превратилась в настоящую пропасть, надолго отделившую меня от Него. Красный плюшевый футляр был отложен и забыт.

Мало-помалу я сбросил с себя покровы невинности и так, нагишом, вступил в статус взрослого человека. Но разве проживешь в холодном мире вовсе без одежды? Как и многие в моем поколении, я выбрал плащ сионизма. Таково было тогда последнее прибежище для нашего народа. Некогда ту же спасительную роль сыграл хасидизм — движение детей Машиаха, зародившееся в еврейских местечках Польши и Украины. А теперь в доме стекольщика Мойше собирались парни и девушки, с раннего детства ходившие в хедер, выросшие в глухом городке, затерянном в осенней грязи и зимних снегах. Собирались — и спорили до хрипоты, взрывали застоявшийся воздух местечка лозунгами и песнями, танцами до упада, страстными любовными романами.

Был среди них и я.

В ту пору мне очень нравились лихорадочные строчки Ури-Нисона Гнесина[32]. Сочинил

---

[32] Примечания: 32

Ури-Нисон Гнесин (1881–1913) — еврейский писатель и переводчик, писал на иврите.

и я несколько подобных рассказов, и не только сочинил, но и набрался смелости послать их в редакцию альманаха «Ґа-Ткуфа». Некоторое время спустя пришел ответ. Секретарь издательства Давид Шимонович извещал молодого автора, что альманах не заинтересован в подражательских текстах. Как жаждущий в безводной пустыне, зачитывался я тогда сборником «Эйн-Яаков», томами Вавилонского и Иерусалимского Талмуда, книгами толкований и комментариев. Ночи напролет просиживал я над раскрытыми страницами. Под утро моих ушей достигали материнские вздохи. Мать происходила из прославленного рода раввинов и учителей, именно она главенствовала в нашей семье. Отец занимался мыловарением и был добрым, простым человеком. В подвале дома стоял огромный чан, в котором варилось мыло; остывало оно здесь же на столе в специальных формах. Затем отец вынимал остывшие глыбы и разрезал их на куски товарных размеров. Для производства требовалась сода, которую трудно было достать в те непростые времена. Отец покупал ее у мужа черненькой Гиты.

С приходом весны я снова стал частенько навещать своего приятеля Озера. В местечке стояли

тогда немцы. Они установили строгие порядки и вывозили все товары, какие только могли — продовольственные, промышленные, ремесленные. По воскресеньям в саду играл военный оркестр. Один из музыкантов, обладатель роскошных черных усов с заостренными кончиками, давал Гите уроки игры на пианино. Однажды, улучив момент, когда Гита музицировала в одиночестве, я подкрался к ней сзади и запечатлел страстный поцелуй на черных волосах женщины. Она обернулась ко мне с нежной улыбкой, но при этом как-то странно передернула плечами, что было расценено мною как несогласие и, возможно даже, некоторое возмущение. Муж Гиты снова был в отъезде; по вечерам мы собирались втроем — я, Гита и Озер — и хором пели грустные песни нашего народа. Чем больше я узнавал Гиту, тем больше удивлялся силе чувств и красоте души этой черненькой женщины.

— Биньямин, — как-то сказала она, — ты должен учиться игре на пианино. Я покажу тебе ноты.

Под руководством Гиты я освоил премудрости скрипичного ключа, диезов и бемолей, и это приоткрыло мне дверь в чудесный мир музыки — мир счастья и гармонии.

В погожие весенние дни мы с Гитой выбирались на прогулку. Доходили до старого кладбища, садились там на скамью и болтали без остановки. На цыпочках подкрадывался вечер. Скованные неподвижностью смерти, взирали на цветущий мир надгробья недавнего времени. В один из таких вечеров нас обоих сразила весенняя лихорадка. Как безумный, я гладил и целовал тонкие черты лица своей черненькой подруги. Сначала Гита казалась серьезной, даже печальной, но потом вдруг выдохнула: «Мальчик мой...» — и прильнула ко мне, обхватив мою шею обеими руками. Всю силу и страсть своей молодости выплеснул я тогда в ее горячих объятиях. Над нашими головами тихо посмеивались старые деревья. Они благословляли нас своим шорохом, осыпали цветами нашу грешную дорожку. Закутанная в покрывало ночи, лежала у наших ног страна мертвых. Но именно там, в стране мертвых, пела нам жизнь свою торжествующую песню. Мое сердце было переполнено любовью, я целовал Гиту и бормотал, бормотал, бормотал что-то бессмысленное и бессвязное.

Затем все снова пошло своим чередом. Мы собирались втроем по вечерам, Гита садилась на пианино и пела чудные сердечные песни.

Уж вечер… Облаков померкнули края,
Последний луч зари на башнях умирает…

Я подпевал; оперный дуэт Лизы и Полины звучал в еврейском доме реб Пинхасла с какой-то особенной интонацией. В тот год мой голос окреп и стал ниже. Когда, исполняя песню «Блоха», я включал всю мощь своего баса, стены комнаты дрожали. Усатый музыкант военного оркестра, который по-прежнему давал Гите уроки, не уставал нахваливать мои исполнительские способности. По-видимому, он тоже пользовался благорасположением моей черненькой подружки. Но я старался не думать об этом, опьяненный счастьем наших кладбищенских прогулок.

— Ты сильно осунулся в последнее время… — шептала мне Гита во время свиданий. — Это я пью из тебя все соки.

— Что ты, что ты, — протестовал я.

Но мы и в самом деле впивались друг в друга со страстью ненасытных любовников. На четырех высоких деревьях висело над нами ночное небо — наша темная свадебная хупа. Мы были зачарованы своим счастьем, своим сном и не желали пробуждаться.

Жизнь между тем продолжалась. Помимо лекций по географии Земли Израиля, я вел в клубе литературные занятия, рассказывал о творчестве Гнесина и Мапу[33] — в то время моих любимых писателей. Озер руководил хором, по-прежнему устраивались вечеринки и празднества. Пели старые народные напевы, пели колыбельные, хорошо знакомые всем и каждому с раннего детства. Пели шуточные легкомысленные песенки, полные юмора и беззлобной насмешки, как, например, про еврея, который всюду сует свой нос:

Станешь нюхать табак — тут же подскочит и он,

Быстро нюхнет и скривится — горько!

Станешь пробовать мед — сунет и он язык,

Сунет язык и тоже скривится — сладко!

Думаю, что на мне лежит обязанность поименно назвать всех тех, кому я составлял тогда компанию в сионистском клубе нашего местечка. Иных уж нет с нами, а те, как говорится, далече…

---

[33] Примечания: 33

Авраам бен Йекутиель Мапу (1807–1867) — еврейский писатель, основоположник еврейского романа, писал на иврите.

Ханна Шапира, наш библиотекарь, некрасивая очкастая девушка, всегда преисполненная желанием помочь и поделиться своей любовью к литературе. Сейчас, как я слышал, она работает в детском саду.

Исаак Полкин, секретарь клуба. Умер в расцвете молодости от брюшного тифа. Мир праху его.

Кальман Фишман, душа компании, курчавый парень с блестящими глазами. Он был председателем клуба, нашим непререкаемым вожаком. В 1930 году Кальман женился на русской девушке, взял себе ее фамилию и с тех пор зовется Константином Соломоновичем Павловым. Работает этот Константин Соломоныч главным бухгалтером одного из столичных трестов, являясь к тому же еще и членом тамошнего месткома.

Семен Фрумкин, самый скромный из всех, сын владельца городской типографии. Семен совсем не умел пить, быстро пьянел и принимался выделывать ногами замысловатые кренделя, громко требуя, чтобы все танцевали вместе с ним: «Евреи, фрейлехс!» В 1925 году он уехал в Землю Израиля вместе со своей невестой Зиной Шалит. Там родились у них мальчик и девочка.

Авраам Штейнберг — единственный из нас, кто до двадцатилетнего возраста сохранял пейсы и

привычку молиться три раза в день. Сейчас он инженер-строитель и мой добрый друг.

Люба Фейгина, дочь богатого торговца зерном, скромная, хорошо воспитанная девушка. Была втайне влюблена в Исаака Полкина и долго оплакивала его смерть. Потом уехала на Дальний Восток и пропала там среди чужих людей и народов.

Володя Бродский, юноша с сутулой спиной и прямым характером. Он рано осиротел, был бледен, серьезен и постоянно сохранял сосредоточенное выражение лица. Володя старался больше слушать и меньше высказываться, но если уж открывал рот, то всегда говорил дело. В 1923 году он записался в коммунисты и теперь возглавляет окружной суд где-то на юге.

Цви Шапира, брат Ханны, рыжий вертлявый паренек. Он имел репутацию лучшего танцора: мог выдать и «цыганочку», и украинский, и, конечно, хасидские танцы. Цви погиб во время погромов.

Были и другие, чьи имена, к несчастью, выпали из моей памяти с течением лет. Каждое имя — человек, во плоти и крови, в радостях и бедах своей личной судьбы. Но ничего не поделаешь, надо продолжать рассказ, пока жива еще память, пока

не заросла она сорной травой, пробивающейся из-под разбитых могильных плит. Надо продолжать, чтобы хоть ненадолго запечатлеть в этих строках исчезающие следы моего поколения.

4

Потом пришли страшные дни. В ужасном 1919 году я был всего лишь семнадцатилетним юнцом, хотя и отягощенным печальным опытом несчастий своего народа. Кроме этого, у меня не было ничего, если, конечно, не считать любви моей черненькой подружки Гиты.

В то время евреи повсюду прятались в погребах и на чердаках. Сидели, едва дыша, ловя доносившиеся снаружи звуки, стараясь истолковать их значение, одергивая детей, грозя дрожащим пальцем: «Тихо! Убийцы идут!» А убийцы вольготно разгуливали по улицам, горланя пьяные песни и гремя сапогами. То и дело слышался громовый стук прикладов в запертые двери, хриплая брань: «Жиды, открывайте!»

Длинной была цепочка событий и поколений, приведшая нас сюда, в эти украинские местечки, в этот жуткий 1919 год, полный смертной муки и смертного ужаса. Глубоко было материнское чрево. Необъяснима была судьба, забросившая наш

народ через моря и страны в этот чудовищный ад на гибель и растерзание.

Медленно ступая, как будто тоже опасаясь убийц, пришла зима. Снег покрыл оцепеневшие дворы. Тут и там на воротах виднелись нарисованные мелом кресты: мол, тут живут православные, душегубам просьба не беспокоиться. Морозный ветер стучал обледеневшими ветвями деревьев. Холодно смотрело равнодушное небо.

Молчал и снег.

Как мыши, затаились евреи местечка в сараях и в подвалах, в тайниках чердаков и в домах немногочисленных праведников-соседей. Окна заколочены, ворота и двери глухо заперты на амбарные замки, еле слышный шепот шелестит в щелях и укрытиях. Опустели улицы местечка, лишь дровни Захарии-водовоза скрипят из конца в конец, от одной окраины до другой. Теперь Захария возит мертвецов на кладбище. Каждый день выезжает он в скорбный свой путь. Сухо лицо возчика, медленно ковыляет он рядом с худой лошаденкой, кричит, обращаясь к запертым ставням и заколоченным окнам:

— Подаяние! Подаяние спасает от смерти!

И, услышав его хриплый голос, вздрагивают люди в погребах и на чердаках, вздрагивают и

еще крепче прижимают к себе истомившихся детей. Лишь Захария, молчаливый морщинистый еврей, ходит в открытую по местечку, не прячется ни днем ни ночью. И, поди знай почему, не трогают его пьяные душегубы, не вредят ни словом, ни делом. Он и сейчас еще жив — работает сторожем в пригородном колхозе…

Печальную весть о гибели Гиты принес нам сосед, Ханан Фишер — толстенький желтолицый еврей. Узнав об этом, я незаметно для матери выбрался из нашего подвала и задами да огородами пробрался к дому Озера. Тело моей возлюбленной лежало на полу, обернутое в погребальные покровы. Холодно, ох, как холодно и пусто было в доме. Знакомое пианино молча пылилось у стены. Молча — хотя создано было для музыки, для песен, трогающих человеческое сердце, для стонов тоскующей души. Уцелевшие обитатели дома сидели на полу и среди них — Авигдор, неуклюжий муж моей черненькой подруги, ныне безутешный вдовец. Горькие слезы блестели у него на глазах. Отец покойной, реб Пинхасл, читал книгу Иова, губы его едва шевелились. Озер сидел белый как снег. Он-то и рассказал мне, как это случилось.

Гиту насиловали восьмером. Сначала она кре-

пилась и молчала, но потом не выдержала и стала стонать. Стоны все усиливались, и под конец она уже кричала страшным криком, пока не убили.

— Только тогда и замолчала, — промолвил Озер.

— Замолчала… — зачем-то повторил я.

— Да, — отрешенно кивнул он. — Кричала-кричала… и твое имя тоже, несколько раз. А потом выстрел — и все…

Так закончила свои дни моя первая любимая женщина. Потом распахнулись ворота, и во двор въехали дровни старого Захарии. Старые дровни старого Захарии, влекомые старой гнедой лошаденкой с выпирающими во все стороны костями. Страшно сказать, но было в этой картине что-то утешительное, успокаивающее. Озер и Авигдор сняли с саней погребальные носилки, внесли в дом и уложили на них мертвое тело Гиты. Уже на дровнях ее укрыли от холода куском темной ткани с вышитым на нем щитом Давида. Сотрясаемые беззвучным плачем, мы вышли во двор и встали вокруг саней.

И тут вдруг пошел снег — чистый, сильный, падающий большими крупными хлопьями, как прощальный привет от моей мертвой любимой. Как будто она хотела, чтобы мы запомнили это

утро именно таким: тихим, девственно чистым, с мягкими округлыми колеями дорог и белоснежными шапками на садовых деревьях…

Захария взялся за вожжи, чмокнул, и сани тронулись с места. И в этот момент откуда-то неподалёку послышался отчаянный вопль загнанной, пойманной, убиваемой жертвы — вопль почти нечеловеческий, так что невозможно было определить, кто кричит — мужчина или женщина. И сразу за ним — уже вполне человеческие возгласы охотников: «Держи ее! Держи!»

— Евреи, идите в дом, — спокойно проговорил Захария и, отворив ворота, стал выводить лошаденку и сани наружу.

В створ открытых ворот виднелась улица, бегущая по ней еврейская девушка и двое убийц, поспешающих вслед. Реб Пинхасл запер ворота, повернулся к нам и прошептал свистящим шепотом:

— Авигдор, Озер, Биньямин! Скорее в дом!

Я перелез через забор и догнал сани возчика Захарии, чтобы проводить в последний путь мою первую любимую женщину, мою подружку, сестру мою Гиту. Это была небольшая процессия. Первым шел снег. За ним, увязая по колено, тащилась гнедая лошаденка. Захария, держа вожжи,

шел следом и время от времени, не останавливаясь, кричал:

— Евреи! Подаяние! Подаяние спасает от смерти!

Далее скользили по снегу сани, а на санях — моя Гита, покрытая черной тканью с вышитым магендовидом. Последним шел я, низко опустив голову, как принято у нас сопровождать умерших. Как безмолвны были улицы местечка, как холодны, как пусты! Запаршивевший пес с поджатым хвостом, слепые окна, запертые лавки, дальняя пушечная канонада… Женщина-украинка с ведрами на коромысле… Мимо проходит шумная компания солдат; один из них, рябой парень с льняными волосами, кричит мне:

— Стой! Что везешь?

Он приподнимает край погребальной ткани.

— Жену, — отвечаю я.

Секундное смущение мелькает на рябой физиономии гоя. Пока он думает, мы с Захарией продолжаем свой путь. Но проходит еще несколько мгновений, и я слышу за спиной быстрые шаги. Это все тот же рябой солдат, и смущения его как не бывало.

— Коли так, жид, то ложись со своей жинкой! — кричит он и с размаху бьет меня по голове

прикладом винтовки.

Я упал на дорогу. Последнее, что я видел, перед тем как потерять сознание, были кружащие надо мной хлопья снега. Что ж, пожелание рябого сбылось: придя в себя, я обнаружил, что лежу в санях бок о бок с телом моей Гиты, укрытый вместе с нею одним погребальным покрывалом. Тьма объяла меня в этом тесном скрипучем укрытии. Снаружи доносился лишь голос старого Захарии. Он то и дело понукал свою конягу — как видно, дорога шла в гору. Не знаю почему, но эти звуки совершенно некстати воскресили в моей голове память о детстве. Я был в полубессознательном состоянии — снова соскользнуть в беспамятство мне мешала лишь резкая боль в суставах. Перед моими глазами покачивался сияющий хрустальный дворец, у высоких перил которого сидела красивая еврейская девушка в венке из кроваво-красных цветов. И там же, в черных ее волосах, отчего-то горели поминальные свечи…

— Подаяние спасает от смерти! — хрипло возопил Захария, и этот крик вернул меня к действительности.

Мертвое спеленатое тело Гиты прижималось ко мне, и, казалось, покойница стонет, тихо и горестно.

— Захария, — бормотал я, не надеясь, что меня услышат, — мне плохо, Захария… Слышишь, брат? Мне очень, очень плохо…

Но даже самому страшному кошмару приходит конец. Дровни остановились. Меня и Гиту вынули из нашего тесного укрытия под черным погребальным покровом. Снова открылся мне мир живых — темный, зимний, наполненный резким карканьем ворон. Сверху нависали низкие облака, внизу зияла свежая могильная яма. Мы были на кладбище. Два гоя, нанятые общиной, каждую ночь копали здесь новые могилы. Еще весной я вместе с Гитой гулял по этому кладбищу, сидел на этих скамейках, и все вокруг дышало чудным, острым, радостным счастьем. Над нашими головами переговаривались деревья, рядом шуршали травы, ласковая темнота кутала нас в свадебное покрывало. И вот мы снова здесь — я и она…

Мертвое тело моей любимой опустили в яму, и Захария, как принято в народе, попросил у Гиты прощения от имени близких — мужа, отца, брата.

— Прости и меня, Захарию, сына Зелига, — добавил возчик. — Прости меня, и всех сынов Израиля. Всех нас прости, до единого…

Два кладбищенских гоя, поплевав на ладони,

взялись за лопаты, и яма до краев наполнилась мерзлой землей вперемешку со снегом. Затем Захария прочитал погребальные молитвы — «К полному милости» и кадиш. Он стоял у края могилы и старательно раскачивался в такт произносимым словам — законный представитель всех поколений еврейского народа, всей многовековой истории, которая привела Гиту и нас к этой мерзлой яме. Возчик мертвых Захария, бывший водовоз, будущий колхозный сторож, маленький морщинистый еврей, из тех, которые не горят в огне и в воде не тонут.

А еще некоторое время спустя он привез меня домой, к заботливым материнским рукам.

5

И опять черной стаей налетели на меня прежние мысли, традиции, книги, молитвы. В дни болезни, которая продолжалась долгие недели, медленно отходя от жестоких побоев, я снова и снова думал о своем месте в жизни. Кровь изнасилованных, зарезанных, замученных взывала ко мне из мерзлых могил. Все они, чьи имена забыты и чьи имена известны, сгинули в смертельной пропасти, оставив на земле мое поколение. Сквозь годы и расстояния слышался мне

их тонкий, замирающий, настойчивый голос.

Неужели таков удел народа Израиля, неужели и нам, молодым, назначено нести эту ужасную ношу? Я отказывался принять это. Надо бежать, думал я, надо спасаться, пока не поздно. Но куда? Куда?

Снова и снова всплывали в моей памяти картины земли наших предков. Многие поколения давно уже ушедших братьев сохранили для меня эту мечту. Ласковой матерью казалась она — страна голубого неба, святости и цветов. Оттуда приходили мне яркие почтовые открытки с замечательными, влекущими картинками. Вот окруженное песками еврейское поселение Тель-Авив, вот гимназия «Герцлия», а вот — морской порт Яффо… Во сне и наяву приходила ко мне Страна Израиля, склонялась к моему изголовью. Я видел ее в образе тоненькой девушки, дочери Сиона с печальными глазами.

— Мой ли ты, еврейский парень? — спрашивала она и ласково ерошила волосы на моей голове.

— Твой! — с жаром отвечал я. — Твой я всем сердцем, о моя далекая мать!

Другим моим прибежищем были книги. С головой погружался я в странную смесь Гамсу-

на, Ауэрбаха[34] и талмудических толкований. Дни напролет лежал я на чердаке с открытой книгой в руках, ловя скудный свет крошечного окошка-отдушины. Эта отдушина была мне в те дни единственным другом, даривším и свет, и воздух, и узенькую картину мира — больного, равнодушного, но в то же время желанного и прекрасного до слез.

Выздоровел я уже весной — она-то и встретила меня как доброго старого знакомого, когда мне позволили наконец спуститься во двор. Еще не вылезли из земли свежие травинки, но ветерок уже беспечно болтал с первой клейкой листвой, и повсюду весело куролесили птицы. Солнце вступало в свои права, властно разгоняя редкие кучки облаков. Все вокруг радовало меня — особенно незначительные мелочи. Я мог часами наблюдать, как копается в песке соседский мальчишка Зузик, сын Ханана Фишера, как бегает вокруг него курица, знакомая мне еще с прошлого лета. В кухне хлопочет мама, гремит горшками, чистит картошку — все как обычно. Откуда-то доносится

---

[34] Примечания: 34

Бертольд Ауэрбах (1812–1882) — немецкий писатель и поэт еврейского происхождения. Писал по-немецки, но еврейская тематика занимала видное место в его творчестве. Одним из друзей и почитателей Ауэрбаха был И. С. Тургенев.

плач младенца, из печных труб поднимается дым, и над всем этим — чистое небо, чистое солнце, чистые безопасные облака…

Местечко было захвачено весной — весной и красными. На стенах домов появились цветные плакаты, зовущие на борьбу с польскими панами, помещиками, буржуазией и приспешниками мирового капитала. По воскресеньям в городском саду созывался массовый митинг, на котором с пламенными речами выступали председатель исполкома Бондаренко и чекист Фейгин. «Товарищи, отечество в опасности! На нас наступает мировая буржуазия! Белые генералы!»

Публика встречала речи восторженными криками; люди били в ладоши, размахивали сорванными с голов шапками. Тут же скудный оркестр играл «Интернационал». Оркестром дирижировал выпускник Петербургской консерватории Семен Воловик, совершенно лысый человек, отчаянно раскачивающийся в такт музыке. Как-то он пришел ко мне с предложением присоединиться к его музыкальному коллективу.

— Мне очень нужен хоть какой-нибудь второй бас, — уныло сказал он, поглаживая лысину ладонью. — Зарплата тридцать тысяч рублей в месяц

и пуд муки.

Посовещавшись с мамой, я согласился. Воловик тут же устроил мне экзамен: я должен был вслед за ним брать те или иные ноты. Затем я вполголоса напел несколько хасидских мелодий. Не найдя изъяна в моем голосе и слухе, дирижер похлопал меня по плечу и пригласил сегодня же прибыть в городской сад.

В течение нескольких недель я играл в этом оркестре, едва удерживая на плечах «второй бас» — огромную медную трубу, осеняющую весь сад своим гордым сиянием. Труба сблизила меня не только с музыкой, но и с прежде не знакомыми мне людьми. Лысый дирижер Воловик властной рукой правил нашим небольшим, но храбрым коллективом.

Примерно тогда же я начал вести дневник. Лето этого года запомнилось в основном тяжестью басовой трубы, звуками маршей, танцевальными вальсами и поездками по округе в составе оркестра. Мы грузили инструменты на несколько телег, садились туда же сами и ехали гастролировать по близлежащим деревням. Дорога пылила вдоль молчаливых полей; в воздухе стоял звон комаров, трещали кузнечики, легкий ветерок трепал гриву колосьев, гонял по небу кудрявые облака. Меж

зарослей надменного прямого тростника пробирался куда-то ручей, радуя глаз сочной зеленью осоки. Шлях тоже замечал речушку и вовремя перебрасывал через нее шаткий деревянный мост; телеги въезжали на него, гремя колесами, и звонкий стук лошадиных копыт на минуту вторгался в плавную мелодию летнего дня.

Наши деревенские выступления начинались опять же с непременного митинга и «Интернационала», исполняемого после каждой речи. Затем музыкантов по одному, по два распределяли столоваться в богатых домах. Там нас ждало угощение: хлеб и миска сметаны или жареное мясо, крынка холодного молока. Вечером устраивался деревенский бал — танцы, речи и снова танцы. Отработав, мы устраивались на ночлег где-нибудь на сеновале. Обычно я долго лежал без сна на копне душистого сена, уставив глаза в небо и думая о своем. Вокруг осторожно двигались, шептались ночные тени, изредка доносился дальний собачий лай. Случалось, меня жаловала белозубой улыбкой одна из местных красавиц, а иногда дело не ограничивалось улыбкой, и тогда в копне рядом со мной находилось место для еще одного жаркого тела.

Устраивались балы и в местечке, в «Клубе

красноармейцев». Тут уже оркестр давал жару, демонстрируя весь свой репертуар. Начинали мы обычно с увертюры к опере «Кармен», имевшей безотказный успех. Затем следовало сольное выступление Максима Майбороды, секретаря кооператива — он развлекал публику украинскими шутками и анекдотами. Голос у Максима был вполне подходящий: высокий, дребезжащий, так что слушатели начинали смеяться еще до развязки анекдота. Майбороду сменял наш дирижер Семен Воловик, исполнявший скрипичную пьесу Брамса и «Коль нидрей»[35] Михаэля Арденко. Скрипач-виртуоз творил чудеса, его смычок порхал, как бабочка, стряхивая с себя белые пылинки. Пыль искусства взлетала над сценой и садилась на блестящую грудь скрипки. Софья Андреевна, бледная женщина с бледной улыбкой, аккомпанировала Воловику на пианино.

Слушатели без устали дымили самокрутками, так что в зале постоянно стоял густой махорочный дым, в котором при желании можно было разглядеть волшебные дворцы и города. После перерыва на сцену снова поднимался полный состав оркестра, и начинались танцы. Девушки

[35] Примечания: 35

«Коль нидрей» («Все обеты», *ивр.*) — молитва, читаемая в начале вечерней службы на Йом Кипур.

танцевали с солдатами, а публика, сидевшая по краям помещения, таращила глаза и лузгала семечки. Время от времени вспыхивали романы, ссоры, сцены ревности и любви. В дымном от махорки зале стоял гул голосов, звенел вызывающий девичий смех.

Наш клуб переехал от стекольщика Мойше в другой дом, но мы продолжали довольно часто встречаться, спорить, обсуждать, петь хоровые песни. В мои обязанности по-прежнему входила культурная программа. Что до остального, то мы не очень-то представляли, как заинтересовать людей тем, что так интересовало нас. Вокруг бушевало яростное море митингов, стрельбы, погромов, борьбы всех со всеми, и в этой ситуации никто не стал бы слушать о диаспоре и национальном возрождении. Наши речи попросту тонули в оглушительном шуме страшного времени. Хуже того — молодежь встречала наши разговоры издевательским смехом. А старшее поколение… оно все так же не вылезало из синагог и молитвенных домов.

Я перелистываю дневник, и картины тех дней снова встают перед глазами. Вот Соня Левит — маленькая пятнадцатилетняя девушка с высокомерным взглядом, в которую я был тогда

влюблен. Она напоминала мне яркий и в то же время сиротливый цветок на солнечном летнем склоне. Немало вечеров и ночей провели мы вдвоем на скамейке за городской почтой — дом Сони стоял по соседству. Воспоминания об этих ночах по сей день звучат во мне чудной, берущей за душу песней.

Потом я забыл Соню — примерно так же, как забыл золотоволосую Ядвигу. Мы случайно встретились много-много лет спустя, в Гаграх на берегу Черного моря и проговорили два часа без перерыва. Мы говорили, и вокруг нас бродили тени наших общих знакомых, в южной морской пене мерещилась нам пыль родного местечка, и отголоски ушедшего детства слышались в криках чаек. Под конец разговора я отважился напомнить собеседнице еще кое о чем:

— А помнишь, Соня, как я был тогда влюблен в тебя?

Она шутливо ударила меня по руке серебристым набалдашником своей тросточки и замолчала, глядя на море, катящее к нашим ногам свои древние волны.

6

Конец лета. К городку приближаются «Белые орлы» — отряды армии Деникина, а впереди них летят дурные угрожающие слухи, вести о погромах и насилии. Но еще до деникинцев в местечко вступает осень. Кроны деревьев покрылись желтыми кудрями, земля усыпана палой листвой. Осень, время тления и упадка. Солнце еще греет узенькие переулки, но утром с полей уже поднимается туман, вползает на рыночную площадь вместе с крестьянскими телегами, не рассеивается даже с петушиными криками.

Деникинцы надвигаются с юга, гоня перед собой волну забитых, перепуганных беженцев. Страшные угрозы звучат в их паническом шепотке, страшные тени мелькают в лихорадочном блеске глаз. На воротах снова появляются меловые и картонные кресты; кто-то ходит по домам, организует самооборону.

Самооборону сменяет эвакуация. Возле учреждений советской власти стоят телеги, туда под руководством людей в галифе поспешно грузят коробки с бумагами и документами. За бумагами выносят пишущие машинки, не забыты также бутылки с чернилами и конторские счеты. Счеты

растерянно щелкают костяшками. В число эвакуируемых ценностей включены и музыкальные инструменты нашего оркестра.

В разгар эвакуации начинается дождь — нудный, долгий, осенний. Проходит всего несколько часов, и вот уже улочки местечка покрыты непролазной грязью. Сквозь дождь и грязь эвакуационные телеги тащатся к железнодорожной станции. Затем пролетают на рысях несколько конных, и воцаряется тишина, нарушаемая лишь дальней канонадой.

Захария-водовоз качает головой, проверяет упряжь на своей лошаденке: как видно, настало время снова возить мертвецов на кладбище. Захватив городок, деникинцы в первый же день убили семерых евреев. На второй день они пришли в наш дом и убили моего отца.

К тому времени у нас в горнице уже был устроен тайник за дощатой перегородкой; когда в дверь стали стучать прикладами и сапогами, мама запихнула меня туда и пошла открывать. Так и получилось, что я стал безмолвным свидетелем всего, что произошло потом. Вошли трое солдат и сразу стали орать и угрожать маме и отцу, требуя денег, золота, драгоценностей. Затем они перерыли шкафы и комоды, увязав в узел все,

что показалось им заслуживающим внимания. Затем они повесили моего отца.

Мой папа родился в городе Красилове, на Волыни. Его детство было тихим и бедным, а хлеб — скуден и груб. Он учил Тору, любил стихи Йеґуды-Лейба Гордона[36], женился, зарабатывал на жизнь мыловарением. Я помню его склоняющимся к моей колыбели, где я лежу в одной рубашонке, помню его жесткую руку, которая осторожно касается моей щеки. Помню его печальные глаза…

Он был всего лишь евреем — типичным евреем из украинского местечка. Убийцы поставили его на табурет, а табурет — на стол, надели на шею веревочную петлю и выбили из-под ног табуретку. И сразу послышался в нашей комнате хрип смерти, задушенный, страшный хрип. Ноги отца судорожно задергались, лицо исказилось, и тогда один из убийц обхватил его и потянул вниз всей своей тяжестью. Он обнимал трепещущее тело моего отца обеими руками — в одной из них была зажата папина табакерка.

Из-за окна доносился лай собак — там разгуливала обычная осенняя ночь. Мать заломила руки

---

[36] Примечания: 36

Йеґуда-Лейб Гордон (1830–1892) — еврейский поэт, прозаик, публицист. Писал на иврите, русском и идише.

и зарыдала в голос, как рыдают только в стране невыносимых мук.

— Не шуми, старуха! — прикрикнул на нее убийца и вышел.

За ним, таща на плечах узлы с награбленным, вышли и двое других.

В комнате воцарилась жуткая тишина, нарушаемая лишь сдавленными рыданиями мамы и мерным стуком капель, стекающих на пол где-то на кухне. Я выскочил из своего укрытия и влез на стол. Передо мной покачивалось искаженное до неузнаваемости лицо моего отца с высунутым наружу языком и мертвенной желтизной щек.

— Мама, нож!

Помню, мама сорвалась с места, как ужаленная змеей, — внезапно вспыхнувшая надежда словно подбросила ее в воздух. Она не сразу нашла нож, а суетилась какое-то время в нелепой панике, бегая по кухне и кровью сердца отсчитывая каждую секунду. Вот только спешить было уже некуда.

Потом я мучительно долго пилил толстую веревку. Этот звук до сих пор скрежещет у меня в голове.

— Помоги мне… поддержи его…

Мы вдвоем положили тело отца на стол.

— Тате… — шептал я, высвобождая его голову

из петли. — Тате…

— Беги за доктором Ґиршлом! — вдруг скомандовала мне мать, возвращаясь в привычную роль домоправительницы.

Во дворе меня встретил нудный скучающий дождь и вой, несущийся сквозь глухо запертые окна нашего соседа Ханана Фишера. Смерть продолжала свое ночное дело, и никто не мог защитить никого. Как высоки, как далеки были звезды над низким облачным покровом! Где-то невдалеке продолжала грохотать канонада. И вдруг словно слетела пелена ужаса с моих глаз — и на короткий миг перед ними предстала благословенная Страна Сиона, виноградные гроздья на узловатых лозах, белые домики, прилепившиеся на склоне горы, крик задумчивого осла, летящий в голубую высь…

И вот я крадусь задами и огородами к дому врача Ґиршла. Крадусь быстро, но осторожно, стараясь не шуметь и не выдать себя. Возле самого его дома я вдруг натыкаюсь в темноте на что-то непонятное, чего здесь быть никак не должно. Я всматриваюсь — это мертвое тело! Не сразу приходит ко мне понимание, что под моими ногами распростерся изувеченный труп самого врача Ґиршла…

Подавив рвущийся из груди крик, я бросился бежать вниз по темной безлюдной улице. Я мчался, чувствуя за собой топот преследователей, каждую секунду ожидая пулю в свою беззащитную, открытую убийцам спину. И многие тысячи моих гонимых, убитых, замученных предков бежали рядом, позади, сбоку от меня, прикрывая очередного еврея-беглеца своими телами как плотной завесой бессмертия. Я мчался, скрежеща зубами и выкрикивая бессвязные слова в кружащуюся передо мной кутерьму ночи, дождя и смерти.

— Беги, беги, беги! — кричал я. — Будьте вы прокляты, мои дни и мои ночи, мои вечера и рассветы! Будьте вы прокляты, мои надежды, мечты моей жизни! Пусть постигнет вас гибель, удушье, убийство! Сдохните в болезнях, в проказе, в мерзости разложения! Пусть вас похоронят живьем!

Но кого интересовали мои проклятия? Они тонули в болоте осенней ночи, падали на землю в двух шагах от меня, и дождь тут же смешивал их с топкой чавкающей грязью. Разве могли услышать меня холодные звезды, спящие далеко-далеко в вышине?

Я бежал долго, пока не обнаружил себя за окраиной городка, среди мокрых пустых полей. Дождь перестал, вокруг меня царило безмолвие. На краю

горизонта уже серела рассветная полоска; утро приближалось легкими, постепенно расширяющимися шагами. Я выбрал пару гостеприимных кустов на краю дороги, забрался в гущу ветвей, на влажную перину прелых листьев и мягкой земли, закрыл глаза и погрузился в глубокий сон.

По-видимому, был он коротким — снова оторвала меня от земли болезненная мания бегства. Не помню, как долго и куда несли меня ноги, но некоторое время спустя я оказался возле какого-то покосившегося забора. Я стоял там, неведомо где, и мотал головой из стороны в сторону, как заплутавшаяся лошадь. С другой стороны забора послышался выстрел.

— Стой!

Два солдата приблизились ко мне и, подхватив под локти, привели в деревню. Во дворе одного из крестьянских дворов была привязана лошадь — она стояла смирно и слегка мотала головой, как это только что делал я. В доме, прислонив к стене ружья, вповалку спали на полу солдаты. А в соседней комнате расхаживал из угла в угол вооруженный человек с длинными усами и совсем не страшным взглядом.

— Еще один, товарищ командир! — сказал солдат, подталкивая меня вперед.

Это был отряд Красной армии и его длинноусый командир Степаныч, заменивший мне на ближайшие месяцы отца. В этом отряде я прошел полями Гражданской войны — от родного местечка до конца, до самого Черного моря.

1936

Бремя имени

1

У моего приятеля и коллеги Соломона Ефимовича, преподающего студентам техникума премудрости математики и механики, родился сын. Что ж, в добрый час! Да здравствует наследник престола!

Этот мой друг долго не заводил детей — аж до тридцати шести лет. И не то чтобы ему сильно мешали неотложные дела и жизненные обстоятельства… Нет, при другом характере у Соломона уже сейчас имелся бы целый выводок потомков, мал мала меньше. Просто он был, что называется, закоренелым холостяком — знаете таких? Многие представительницы прекрасного пола попадали под очарование его серых глаз и хорошо подвешенного языка, да и сам Соломон вовсе не отталкивал женщин. Напротив! Он с радостью шел им навстречу. Если девушка выражала желание погулять вдвоем при луне и вместе полюбоваться на красоты природы, трудно было сыскать более подходящего спутника, чем наш Соломон. Не плошал он и в тех случаях, когда

дело заходило существенно дальше прогулки…

И все же, несмотря на эти несомненные достоинства, Соломон Ефимович упорно не желал отказываться от холостяцкой свободы, и это немало огорчало нас, его женатых и семейных друзей. Давно замечено, что вид холостяка нервирует и раздражает тех, кто уже познал радости семейного счастья. Поэтому, объединив наши поиски и приложив немало стараний, мы нашли-таки Соломону молодую невесту, предмет всеобщего восхищения. Звали эту необыкновенную красавицу Шейной-Серафимой. И если наши усилия не увенчались успехом уже тогда, в 1941 году, то только потому, что разразилась война. Соломон ушел в армию, да и вся наша компания разлетелась на четыре стороны света. Война нарушила все планы, перевернув и сломав мирный порядок жизни.

Но мы не отказались от своего коварного замысла, а лишь отложили его до Победы. И вот настал 1945 год, а с ним сдался на волю победителей и наш закоренелый холостяк. Шейна и Соломон сыграли шумную и радостную свадьбу, а уже несколько месяцев спустя на свет появился вышеупомянутый наследник. Тут-то мы и подошли к главной теме нашего рассказа.

Техникум, место работы Соломона, находится на довольно значительном удалении от дома: нужно сначала ехать на трамвае, затем на метро, затем снова на трамвае. Отчего же мы видим нашего героя преодолевающим это нешуточное расстояние пешком? Начало ноября, четвертый час пополудни. Прохладно. Серое небо полно облаков, редкая снежная крупа кружится в воздухе. Поверх синего костюма молодого отца накинут длинный кожаный плащ. Соломон высоко держит голову, смотрит прямо, шагает уверенно. Но мысли его далеко; тяжкие сомнения раздирают душу уважаемого преподавателя.

Как назвать новорожденного первенца?

Сам Соломон записан по паспорту как Шлёма Хаимович. Сколько неудобств претерпел он из-за этого несуразного имени! Коллеги и студенты зовут его Соломоном Ефимовичем, что звучит весьма достойно и солидно. Но с официальной точки зрения он остается Шлёмой Хаимовичем, и это вопиющее противоречие не может не раздирать надвое человеческую душу!

Соломон твердо намерен избавить сына от подобных страданий. Никакого Шлёмы, Хаима или Ицика — мальчика назовут нормально, по-человечески! Пора положить конец этим нелепым

ситуациям. Нужно дать человеку такое имя, с которым он сможет спокойно и уверенно идти по жизни!

Тверды шаги Соломона, серые глаза смотрят решительно и непреклонно. Конечно, нужно найти что-нибудь уважаемое. Николай Соломонович… Георгий Соломонович… Пожалуй, второй вариант подойдет наилучшим образом — Георгий Соломонович. Да, пусть так и будет.

Но это — с одной стороны. С другой — все эти витиеватые языческие прозвища не больно-то хороши. Скажем, отца нашего Шлёмы звали просто и красиво, хотя и троекратно: Хаим-Нафтали-Ґирш. А если уж быть совсем точным, то четырехкратно: Хаим-Нафтали-Цви-Ґирш.

Если смотреть широко, с международной точки зрения, то такое умножение имен не имеет достаточных оснований: никто не станет ломать себе язык произнесением четырех слов, когда можно воспользоваться одним. Но если обратиться к конкретным примерам великих мира сего, то вырисовывается несколько иная картина. Взять хоть знаменитого философа Георга-Вильгельма-Фридриха Гегеля, основоположника современной диалектики. Если был такой Георг-Вильгельм-Фридрих, то отчего бы не

быть и Хаиму-Нафтали-Цви-Ґиршу?

Но это опять же с одной стороны. С другой — живем-то мы в России, где не принято давать детям восемь имен. У нас здесь имена простые, понятные: Иван Иваныч, Соломон Ефимыч. Слыхано ли такое — Хаим-Нафтали-Цви-Ґирш Соломонович?!

И все же, все же, все же… Все же он просто обязан назвать сына Хаимом-Нафтали-Цви-Ґиршем, и пусть хоть весь мир разлетится на мелкие кусочки! Потому что речь тут идет о памяти отца! Отца, убитого немцами в октябре 1941 года! Хаим-Нафтали-Цви-Ґирш был расстрелян в числе первых семнадцати евреев — жителей родного для Соломона украинского местечка. Соломон знает подробности отцовской казни из письма русской соседки. И вот сейчас, шагая по московской мостовой, он вспоминает эти подробности и весь дрожит от горя и обиды. Может ли сын забыть такое, может ли позволить отцовскому имени кануть в пропасть небытия? Неужели он совсем утратил понятие о чести и сыновней благодарности?

Ссутулившись, шагает Соломон по городским улицам. Тяжкие сомнения раздирают ему сердце, тревожат душу. Вот уже совсем сгустились сумер-

ки, зажглись фонари. Снежная крупа сменяется хлопьями, они кружатся в воздухе, белой простыней ложатся на тротуары и мостовые.

2

Ну что вам сказать… Только что вернулся я с празднования церемонии брит милы[37], устроенного Соломоном для нас, его друзей и близких. Признаюсь, всей душой люблю я такие еврейские праздники. Что касается конкретно брит милы, это был второй случай, когда мне выпало присутствовать на подобном радостном событии. Первый имел место сорок с лишним лет тому назад, когда вашему покорному слуге исполнилось восемь дней от роду. В тот момент я представлял собой страдающую сторону — в отличие от всех остальных присутствующих, которые дружно поздравляли моих родителей и пили за здоровье новорожденного. Зато уж теперь я в полной мере отыгрался за былые страдания: не счесть стаканчиков вина, которые промочили мое горло. Другие гости тоже не отставали. Все тут любили Соломона, его прекрасную жену Шейну и его

[37] Примечания: 37

Брит мила, или обрезание — удаление крайней плоти согласно заповеди Торы.

замечательного наследника. Их радость была нашей радостью, их брит — нашим бритом.

Моэлем[38] был приятный старик семидесяти шести лет по фамилии Шифман, большой знаток Торы и народных обычаев. Он надел сияющий белизной халат, а затем долго готовил и раскладывал в нужном порядке необходимые инструменты. По сигналу моэля ребенка положили на колени сандаку[39], и старик приступил к делу. Дело оказалось секундным — Шифман явно знал свое ремесло. Мы и вздохнуть не успели, как сын Соломона приобщился к бриту — завету праотца нашего Авраама. Старик моэль привел с собой двух помощников. Первый, немолодой еврей лет шестидесяти, был тощ, как сушеный урюк; второй подвизался главным служкой в московской синагоге. Этот обер-служка держал в руках раскрытый молитвенник и торжественным кивком сопровождал каждое сказанное слово. Не знаю, как кому, но мне он напоминал театрального суфлера.

Приятным голосом Шифман прочитал по-

---

[38] Примечания: 38

Моэль — человек, совершающий обрезание.

[39] Примечания: 39

Сандак — аналог крестного отца в иудаизме. Сандак держит ребенка на руках во время церемонии обрезания.

ложенную молитву — по памяти, ни разу не воспользовавшись ни книгой, ни суфлером. Не запнулся он и во время оглашения имени.

— И наречется он именем в народе Израиля: Хаим-Нафтали-Цви-Ґирш!

Я стоял в эту минуту рядом с обер-служкой, скользя, как и он, глазами по строчкам молитвенника.

По окончании официальной части моэль снял халат и сел вместе со всеми за праздничный стол. Конечно, мы не сразу приступили к выпивке. Для начала была подана фаршированная рыба. Разложив ее по тарелкам, гости подняли первый тост за здоровье Хаима-Нафтали-Цви-Ґирша Соломоновича. Затем зазвенели вилки и ножи. Я сидел слева от счастливого отца. Он вынул из кармана пиджака свидетельство о рождении и показал мне. В графе «имя» стояло «Григорий». Григорий Соломонович! На несколько мгновений лицо моего друга приобрело виноватое выражение. Что поделать? Он очень хотел записать сына Хаимом-Нафтали-Цви-Ґиршем, но это не принято у русских. Даже сам Александр Македонский, живи он в России, стал бы тут Александром Филипповичем, а праотец наш Авраам, да не будет помянут рядом с язычником, был бы за-

писан каким-нибудь Абрамом Тераховичем… Хаим-Нафтали-Цви-Ґирш Соломонович! Полно позориться, гражданин!

Следующий стакан выпили за родителей. За длинным столом сидело много гостей, и каждый работал в меру возможностей, отведенных ему природой. В соседней комнате молодая мать Серафима Яковлевна утешала, баюкала и кормила свежеобрезанного царевича. Царевич кричал и заливался горькими слезами — как каждый из нас, прошедших через эту болезненную процедуру. Во главе пиршества восседал моэль Шифман, а по обе стороны от него возвышались, как кедры, два бородатых еврея. Эта троица тоже сильно налегала на рыбу, причем обер-служка старался за десятерых.

— Это ж не рыба, а просто какой-то медовый пряник! — приговаривал он, усердно работая вилкой, и торчащий из бокового кармана молитвенник кивал в такт каждого его движения.

Тост за родителей выпало поднимать мне, и я произнес краткую речь во славу нашего друга Соломона и его прекрасной жены Шейны. Затем пели хором — многие здесь любили хорошие еврейские песни, веселые и печальные, шуточные и торжественные. Шифман и два его кедра ис-

полнили старый хасидский напев, берущий свое начало от Старого Ребе из Ляд, ушедшего в мир иной во время войны с Наполеоном. Ныне ребе покоится на еврейском кладбище города Гадяч в Полтавской области. Бывал там и я, не раз навещая при этом гробницу великого праведника на высоком берегу реки Псёл. Но это уже совсем другая история.

Третий и четвертый стаканы обошлись без общих тостов и здравиц. Кто-то наливал побольше, кто-то поменьше… — мой сердечный приятель Соломон был в числе первых. Затем начались танцы. Почти все здесь, за исключением старого моэля и его помощников, были ровесники друг другу и веку — от тридцати до сорока с хвостиком. Кто-то начал, кто-то присоединился, и вот уже кружится, притопывает по комнате веселый хасидский круг, хлопая в ладоши, подпевая и раскачиваясь в такт. И, конечно, во главе танцующих — Соломон Ефимович, мой друг и коллега. Герой и виновник праздника, хозяин торжества, он делал все, чтобы порадовать сердце гостей. Нужно сказать, что и к вопросу имени этот уважаемый преподаватель техникума подошел с поистине математической изобретательностью. Григорий по советскому паспорту, в анналах

народа Израиля этот мальчик будет записан без каких-либо хитростей и компромиссов: Хаим-Нафтали-Цви-Ґирш!

А впрочем, зачем мелочиться! Известно, что у нас нередко присоединяют к имени мальчика еще и «Алтер», дабы продлились дни его до самого преклонного возраста. Не случится ничего дурного, если подарить новорожденному наследнику еще и эту добавку. Масло каши не испортит!

И Соломон возбужденно подступает к старому моэлю Шифману, который притопывает и хлопает в ладоши в такт веселому хасидскому танцу:

— Товарищ моэль! Прочти, пожалуйста, еще раз свою молитву! Я меняю имя! И наречется он именем Алтер-Хаим-Нафтали-Цви-Ґирш!

О да, сегодня он особенно храбр, мой славный друг Соломон, язык его развязался, а ноги выделывают замысловатые кренделя. Старик моэль печально смотрит на молодого отца, преподавателя техникума. Много повидал этот Шифман в своей длинной и нелегкой жизни. Родился, и был обрезан, и мать кормила его грудью, и воспитывался он в уважении к Торе и добрым делам, и был резником, и был моэлем, и следил за кашрутом, и занимался многими и сложными делами еврейской общины. И вот сейчас сидит

он во главе стола бок о бок с двумя бородатыми кедрами, а вокруг отплясывают сорокалетние, и мой друг Соломон подступает к нему со своей не слишком своевременной просьбой.

Я и сейчас, выводя на листе бумаги эти самые строки, вижу перед собой печальные глаза старого моэля…

1945

Бухгалтер

Вот вам история о бухгалтере Шапиро и его галошах.

Это случилось вскоре после того, как в местечко вошли немцы. В первые два месяца они не трогали евреев, но в воздухе витали страшные слухи, и страх перед будущим черной занозой сидел в каждом еврейском сердце. Говорили, что у военного коменданта и бургомистра нет полномочий на проведение акций. Говорили, что для этой цели должна прибыть специальная команда СС. Из ближних окрестностей в городок добирались те немногие, кому повезло уцелеть после массовых убийств. Их жуткие рассказы передавались из уст уста, из дома в дом.

Мелкими шажками приблизилась осень, позолотила кроны вязов и лип, укрыла землю пятипалыми ладонями кленов. Вскоре деревья и вовсе облысели; ветер гонял по улицам мертвую листву, обрывал те немногие уцелевшие листки, которые еще держались, цеплялись за материнскую ветку. Затем пошли дожди, и грязевые болотца установились во дворах и на рыночной площади.

Дни были полны скорби — ни лучика надежды, ни крупицы радости. Евреи затаились в домах, ждали, стараясь как можно меньше показываться снаружи. На улицы выходили лишь по крайней нужде — за продуктами, в лавку, на рынок. Но и там торговля шла тайком, будто из-под полы. Израиль Исаевич Шапиро тоже почти безвылазно сидел в своей квартире на улице Шевченко. Пожалуй, об этом человеке стоит рассказать несколько поподробней.

Был он пятидесяти пяти лет от роду, невысок ростом, всегда аккуратно подстрижен и чисто выбрит, на носу — очки, в зубах — трубка… — словом, типичный бухгалтер. Всю свою жизнь, начиная с молодых лет, он сидел над счетами и конторскими книгами, морщил лоб и вписывал цифры в клетки всевозможных таблиц. После установления советской власти Шапиро работал главбухом в городском отделе торговли. Каждый день ровно в одно и то же время он выходил из дома ради того, чтобы, как оно и полагается ученому человеку, усесться на деревянный стул, прикрытый во избежание излишних геморройных страданий плоской цветастой подушечкой. Усесться — и писать, вычеркивать, считать, проверять, пересчитывать — то есть делать все то,

чем занимаются бухгалтеры везде и повсюду.

В этом, собственно говоря, и заключалось жизненное предназначение Израиля Исаевича Шапиро. Впрочем, не чуждался он и общественной нагрузки: усердно собирал профсоюзные взносы, составлявшие один процент от зарплаты. Эту работу Шапиро исполнял столь же ответственно и безотказно, сколь и любую другую. Взяв деньги, он аккуратно наклеивал в соответствующую графу марку и припечатывал ее идеально точной печатью.

И вот все это вдруг кончилось, прошло, как не бывало. Война одним махом выбила Израиля Исаевича из повседневного рабочего расписания жизни. И вот ходит он, совершенно непривычный к безделью, из угла в угол своей аккуратной комнаты, ходит и обдумывает гуляющие по местечку слухи. Но сами посудите: сколько может ходить такой человек из угла в угол, не сходя при этом с ума?

— Пойду, пожалуй, пройдусь, — говорит Шапиро своей жене Саре, которая возится в это время на кухне, как возилась там ежедневно, без какой-либо связи с тем, что происходит за стенами дома. Ей, Саре, не понять, каково это — одним махом лишиться привычного дела.

— Ты либо свихнулся, либо одурел! — возражает она мужу.

И действительно, можно ли выходить из дому в такое смертельно опасное время?! Да еще и без крайней надобности — «пройтись»?! Слыханное ли дело — прогуляться ему захотелось! Но упрямца не переубедить — не помогают ни крики, ни слезы, ни доводы разума. Шапиро надевает пальто, натягивает на ноги новые галоши и выходит в топкое болото уличной грязи.

Ноги сами несут его к двухэтажному зданию на улице Фрунзе, где в советские времена размещалась контора городского отдела торговли. Правда, на сей раз Шапиро не идет, как обычно, напрямик, а выбирает кружную дорогу, обходя стороной центр городка. Там, в центре, теперь находятся немецкая комендатура и резиденция бургомистра. Там можно наткнуться на полицая или солдата, а такая встреча вряд ли сулит добро прохожему еврею.

В контору входят со двора — по крайней мере, это осталось по-прежнему. Дверь в помещение распахнута, в комнатах беспорядок. Осторожно обойдя разбросанные по полу бумаги, Шапиро пробирается к своему месту, садится и застывает с закрытыми глазами. Подушечка куда-то

запропастилась, и стул непривычно жесток. О чем он сейчас думает, этот безработный главбух? Просидев так несколько минут, Шапиро встает и прислушивается. Повсюду царит странная тишина, тишина запустения. Ничего не осталось — ничего и никого.

Но нет: выйдя в коридор, Израиль Исаевич натыкается на сторожа Трофима. Только он и остался от прежней власти, этот неуклюжий сторож.

— Здравствуй, Трофим, — приветливо говорит Шапиро, — что нового слышно?

Трофим сидит на корточках у открытого зева печки и заталкивает туда топливо — пачки бумаги, исписанной с обеих сторон. На лице сторожа играет красноватый отсвет от пляшущих в печи языков пламени. С равнодушным видом он сует в печь бухгалтерские блокноты, канцелярские дела, папки.

Было время — по этим листам гуляло аккуратное перо Израиля Исаевича, сводя кредит с дебетом, помечая сальдо и производя прочие хитроумные бухгалтерские операции. Сюда, в эти бумаги, вложены мысль, и опыт, и ответственность, и работоспособность главбуха Шапиро и его коллег. И вот — вы только поглядите! — какой-

то угрюмый сторож рвет плоды этого немалого труда и, даже не глядя, бросает их в топку…

— Что слышно, дружище Трофим? — с некоторой, не совсем свойственной ему, игривостью повторяет Израиль Исаевич.

Эта игривость одолжена им из прежних счастливых дней. Как будто Шапиро только-только вернулся из удачной командировки в областной центр, куда ездил сдавать годовой финансовый отчет. Как будто вот прямо сейчас он энергичной походкой войдет в свою комнату, пожмет руки товарищам по работе и, поправив галстук, постучится в дверь к «хозяину» — начальнику отдела товарищу Яковенко. А потом, после короткой беседы с начальником, вернется к себе, раскурит трубку, водрузит на нос очки и, глянув в счетные таблицы, впишет нужное число в нужную графу. И снова: таблицы — число — графа, таблицы — число — графа… Все как положено, все как заведено в правильном распорядке бухгалтерской жизни.

Но, похоже, сейчас эта игривость вовсе неуместна. Сторож Трофим поворачивает к бухгалтеру свое плоское равнодушное лицо. Маленькие глазки оглядывают бывшего главбуха с ног до головы — от новых поблескивающих галош до шляпы с

широкими полями. Раньше в ответ на подобный вопрос Трофим вскакивал со своей скамьи и, вытянувшись во фрунт, радостно рапортовал: «Никак нет ничего нового, товарищ Азриил Ясаевич!» Но это — раньше; сейчас сторож угрюмо отворачивается и, не меняя позы, бурчит себе под нос всего лишь одно слово:

— Ничего.

Бурчит и продолжает загружать в печь бухгалтерские книги и блокноты. Сторож топит печь не просто так, а с целью. Над языками пламени установлен мятый солдатский котелок с нечищеными клубнями картошки. Вода в котелке булькает и пузырится, кое-где кожура на клубнях треснула от жара, обнажив нежную желтоватую сердцевину. Израиль Исаевич тоже присаживается к печке и вытягивает к огню короткопалые руки — погреться. Руки у бухгалтера морщинистые, сквозь тонкую кожу видна сеточка сосудов, на тыльной стороне ладоней — седоватая поросль. Он все никак не хочет расстаться с Трофимом, с единственным оставшимся свидетелем прежней жизни.

— Сварилась твоя картошка, — говорит Шапиро, потирая ладони.

Трофим бурчит в ответ что-то и вовсе нераз-

борчивое. Зато огонь вспыхивает с новой силой, жадно пожирая плоды бухгалтерского труда. Сторожу не о чем разговаривать с этим евреем. Все они удрали от немца. Все разбежались, как зайцы, — и начальники, и помощники, и секретарши. Только он и остался, сторож Трофим, с зарплатой в сто двадцать рубликов. А как прожить на сто двадцать рубликов, когда одна поллитровка стоит шесть? Взять хоть этого еврея Азриила Ясаевича — он-то, небось, не на такой зарплате сидел! Он-то, небось, шесть сотен заколачивал, а то и восемь. Ну, ничего, заколачивал и буде. Нынче, говорят, вырежут их всех к чертовой матери. И пусть вырежут — уж он-то, Трофим, не заплачет.

— Они сюда не приходили, Трофим? — спрашивает Шапиро.

Пока нет, не приходили. Вход со двора — вот тебе и все объяснение. Сразу не заметили, да и сейчас еще руки не дошли. Израиль Исаевич распрямляется и возвращается в рабочие помещения. Боже, какой ужасающий беспорядок! Обрывки бумаг валяются на полу, на столах. Зато на стене висит еще стенгазета с заметками довоенного времени. Экономист Коваленко позволила себе опоздать на целых двадцать пять

минут! Этому вопиющему случаю посвящены карикатура и разгромная статья. «Доколе лентяи и дармоеды будут сидеть на шее советского государства?! Почему начальник отдела товарищ Яковенко не отдал гражданку Ольгу Коваленко под суд, как того требует закон от тридцатого июня? И до каких пор общественность торгового отдела будет терпеть это безобразие?»

А вот и карикатура: большие настенные часы показывают двадцать пять минут десятого, а под часами безобразная фигура с непропорционально большим черепом и тоненькими ножками. Фигура обозначает опоздавшую Ольгу Коваленко, которая пытается незаметно проникнуть в контору, где вот уже двадцать пять минут кипит работа!

Господи Боже, как давно это было! Какими нелепыми кажутся сейчас эти проблемы! В комнату заглядывает из коридора сторож Трофим. Он стоит на пороге, угрюмо смотрит в пол и молчит.

— Что ты хочешь, Трофим?

Трофим указывает на галоши главбуха. Начались дожди, нужна подходящая обувь, а он ходит едва ли не босой.

— Снимай галоши, Азриил Ясаевич!

Бухгалтер Шапиро теряет дар речи. Лихорадоч-

ные мысли роятся в его голове. Что он несет, этот гой? Отдать ему галоши — видали?! А как сам Израиль Исаевич доберется домой без галош по грязи и по лужам? Не он ли всю жизнь берегся от влажности, простуды, подагры, кашля, насморка? И потом, грязь может испортить ботинки. Хорошо же он будет выглядеть, вернувшись домой! Можно представить, какой концерт устроит ему Сара! Старые галоши совсем стоптались, уже не годятся. Отнести их, что ли, к Ицику-сапожнику, авось залатает…

— Они малы тебе, Трофим, — говорит он вслух слабеющим голосом.

— В самый раз, — отвечает сторож. — Тринадцатый размер.

— Вот видишь! У меня одиннадцатый! — с надеждой сообщает Шапиро.

— В самый раз, — с угрюмой угрозой повторяет гой. — Снимай галоши!

А что, если он не ограничится галошами? Этот вопрос молнией вспыхивает в голове Израиля Исаевича. Что, если гой вот прямо сейчас потребует пальто, шляпу… да мало ли что? Что, если гой разденет его донага — ведь может! Может!

Шапиро поспешно стягивает с ног галоши, оставляет их на полу, как кость для голодного

пса-людоеда, — пусть отвлечется хотя бы на время — и быстро идет к выходу.

— Прощай, Трофим! — машинально говорит он и выскакивает во двор, на улицу.

Серое утро хмурится навстречу главбуху. Что за дурацкая идея была с этой прогулкой! Зачем? Права оказалась Сара… На что он надеялся, чего искал? Неужели рассчитывал, что кто-то здесь встретит его с распростертыми объятиями: «Заходите, дорогой Израиль Исаевич, добро пожаловать! Вот ваш стул, вот ваше перо, вот ваши блокноты…»? Что за глупость? Все теперь иначе, все! Даже Трофим изменился, и перемена эта, прямо скажем, не к лучшему. Дурная перемена, вовсе не в пользу главного бухгалтера Шапиро! Трофим теперь наверху, в хозяевах жизни, в вершителях судеб. А он, еврей Шапиро, — внизу, на самом дне, близко-близко от смерти.

Поминутно оглядываясь, маленький бухгалтер Шапиро шагает по пустынным улицам местечка. Идет, прижимаясь к заборам, кузнечиком перепрыгивая через лужи, обходя заболоченные места. Делая большой крюк, обходит опасный район центра, где можно наткнуться на полицая, на немецкого солдата, на пулю, на штык, на побои. И кажется Израилю Исаевичу, что чей-то

страшный взгляд упирается ему в спину, взгляд чьи-то хищных, опасных, безжалостных глаз, от которых не скрыться, не спрятаться.

Сгорбившись и став оттого еще меньше, семенит по лужам маленький обреченный еврей. Сейчас забрали галоши… но что будет, когда придут за жизнью? Что будет, что будет?

1945

Шаддай

1

В тот горький ускользающий день уединился Гершон Моисеевич Лурье в своей спальне. Мы видим его у окна, выходящего в сад. За окном белеет холодное заснеженное утро. По саду на мягких рысьих лапах расхаживает зимний месяц кислев[40], укрывает белой пеленой весь видимый мир. Хлопья снега медленно кружат в воздухе, заполняя пространство между землей и небом.

Через два часа Гершону Лурье, его жене, дочери и маленькой внучке вместе с другими евреями местечка приказано прибыть к зданию полиции. Оттуда их отправят в соседний город, в еврейское гетто.

Те, кто не подчинятся этому указанию, будут расстреляны. Об этом предупредил вчера полицай — немолодой дядька, зачитывавший приказ властей с выражением некоторой отстраненности на лице: мол, это всё немцы и бургомистр, а

---

[40] Примечания: 40

Кислев — месяц еврейского календаря, соответствующий ноябрю-декабрю.

он, полицай, тут вовсе ни при чем.

Лурье прекрасно понял значение приказа. Все эти разговоры о гетто — для отвода глаз. Евреев отправят прямиком на смерть, как это было в Прилуках, Ромнах, Полтаве и Конотопе. Согласно рассказам беженцев, там немцы тоже действовали обманом, не раскрывая своих намерений до самого последнего момента.

Тем не менее весь вчерашний день люди собирались в дорогу, увязывали вещи. Поди знай — а вдруг и вправду что-то понадобится… Потому что надежда жива, пока сам человек жив, пока не поставили его на краю рва перед пулеметами. И вот все собрано, прошла и бессонная ночь, мрачное утро позевывает за окном.

— Пойду посижу в спальне, — с бледной усмешкой говорит Лурье.

— Ну иди, — разрешает Бася.

Даже в эти последние минуты она не перестает хлопотать по хозяйству. На кухне горит огонь в русской печи, булькают варевом три больших чугуна. Хозяйка — она хозяйка и есть.

В горнице сидит дочь Мира, читает Тургенева. С приходом немцев она не отрывается от книжек. Из дома давно выброшена всякая подозрительная литература, осталась лишь хорошо проверенная

классика. Вот Мира и сидит в горнице у окошка, читает «Записки охотника» вот уже третий день подряд. И все эти дни книжка раскрыта на одном и том же месте, на рассказе «Певцы». Что и говорить, странное чтение… Как видно, трудные мысли одолевают женщину, мешают переворачивать страницы.

Мира приехала сюда на летний отдых с дочерью Ниночкой. А так-то она живет в Киеве, муж работает там инженером в строительном тресте. После того как разразилась война, она какое-то время колебалась, переписывалась с мужем, решала, как поступить: вернуться в город?.. остаться в местечке? Но переписка быстро оборвалась, потому что мужа забрали в армию. Это определило выбор женщины — остаться с пожилыми родителями, тем более что Лурье намеревался эвакуировать семью на восток. Но немцы наступали быстрее, чем велись приготовления к отъезду. Когда Бася объявила наконец о готовности, пришли известия о том, что враг перекрыл единственную дорогу.

Что теперь остается Мире Григорьевне? Остается сидеть в горнице и читать Тургенева — «Записки охотника», рассказ «Певцы».

Вокруг Гершона Моисеевича мертвая тишина.

Ниночка сейчас у Натальи Гавриловны, которой принадлежит дом. Эта немолодая вдова бездетна, ее муж погиб еще в Первую мировую, двадцать пять лет назад, и вот теперь маленькая девочка-болтушка пришлась ей по сердцу. Скучно жить, когда в твоей жизни есть только дом, и сад, и церковь по праздникам. А тут — бегает рядом такое забавное существо, безумолчно звенит тонким голосом-колокольчиком.

Больше двадцати лет снимает семья Лурье квартиру в доме Натальи Гавриловны, и обе стороны довольны. Если и были какие-то трения, то исключительно из-за Ивана Гавриловича, брата хозяйки, горького пропойцы. К тому же, напившись, Иван Гаврилович обычно лез в драку. Жил он неподалеку и, случалось, заявлялся к сестре, чтобы поскандалить. С приходом немцев пьяница и вовсе обнаглел. Да и многие другие христиане, включая хороших знакомых, словно перестали замечать евреев, будто те и не люди вовсе.

— Гершон, обедать! — кричит из кухни старая Бася.

Кричит своим обычным голосом, как кричала ежедневно в течение долгих лет. Лурье проводит ладонью по лбу, еще раз припомнив то, что

занимает его мысли с утра. Во сне явился ему в сияющем ореоле праведника покойный отец, рабби Моше бен Арье Лурия. Печальны были отцовские глаза, белая борода серебрилась во тьме, как лунная дорожка.

— Пришло твое время, сынок, — грустно сказал старик, — время уходить.

— Куда? — только и смог вымолвить Гершон Моисеевич.

Рабби молча возвел глаза к небу.

— Слаб я, отец, нет мне помощи ниоткуда, — взмолился Лурье-младший. — Взгляни — женщины на мне, на кого им еще опереться? Что с ними будет?

— Вспомни о талисмане! — ответил праведник Моше бен Арье Лурия и растаял в ночной темноте.

Вспомнить о талисмане! Похоже, это последний отцовский завет, который остался ему в преддверии неминуемой гибели. Не бог весть что, но другого не будет. Этот талисман с незапамятных времен переходит в семье из поколения в поколение. Семейная легенда гласит, что он изготовлен руками великого раввина Ицхака Лурии, именуемого еще Святым Ари. Что прежде, чем взять в руки перо и пергамент, Святой Ари многие дни

постился, и вчитывался в старинные свитки, и вставал на молитву, и размышлял о значении букв, претворяя их в числа, и высчитывал значение чисел, возвращая их в буквы. И лишь потом, спустя несколько месяцев, великий рав Ицхак Лурия начертал эти буквы на клочке пергамента, вдохнув в них неизбывную силу Святого имени, искру Его немеркнущего огня.

Лурье поднимается с табуретки и открывает нижний ящик комода. Там, в ящике, хранится все еврейство Гершона Моисеевича: аккуратно сложенный талес, молитвенные принадлежности, молитвенник-сидур и Танах в черном переплете. Здесь же и упомянутый отцом талисман.

Лурье вынимает святую вещь из ящика, разворачивает тряпицу, в которую она завернута, и кладет перед собой. Вот он, пожелтевший кусочек пергамента, вложенный в позолоченную ладанку с тонкой цепочкой, чтобы можно было повесить на шею. На пергаменте — короткое слово «Ш-д-й», Шаддай, обозначающее одно из Имен Всевышнего, и еще четыре отдельно стоящие буквы: йуд, алеф, вав и снова алеф. И каждую букву венчает корона, а вокруг рассыпаны неведомые значки, линии и стрелки, также начертанные рукой великого знатока и учителя каббалы, свя-

того раввина Ицхака Лурии. Здесь, видимо, и заключена та самая искра того самого огня…

Гершон Моисеевич, казначей местного кооператива, с сомнением глядит на талисман. Он уже давно отошел от религии. Ест трефное, работает по субботам и праздникам, не чтит пост Судного дня. Что ему в этом клочке пергамента? Лурье и не вспомнил бы о нем, если бы не странное ночное явление отца. В жизни советского ответственного работника нет места талисманам и амулетам. Эта вещица всплыла из глубин прошлого лишь сейчас, перед лицом войны и погибели. Лишь тогда, когда текут слезы по щекам сирот, когда растоптана жизнь и попрана справедливость, когда смерть отплясывает свои сатанинские пляски — лишь тогда возникает нужда в талисмане, лишь тогда ищут его в дальних углах нижнего ящика комода…

— Ну, Гершон, иди же к столу! — нетерпеливо зовет Бася из горницы.

Он выходит в горницу и садится во главе стола. Здесь его постоянное место. Семья собирается на последнюю трапезу. Бася, как обычно, хлопочет с горшками и тарелками. Наварила как на праздник: на столе и рыба, и суп, и тушеное мясо, и фрукты.

— Давайте-ка выпьем немножко, — говорит Лурье и наполняет три стопки.

— Я тоже хочу! — требует маленькая Ниночка.

Взрослые пьют до дна — Мира Григорьевна тоже. Но водка не действует на нее. Мира сидит, низко опустив голову и часто моргая одним глазом, словно в него попала соринка. На женщине — синее зимнее пальто с меховым воротником, вокруг шеи повязан голубой шерстяной платок.

Гершон Моисеевич снова наполняет стаканы — для поднятия настроения. Но это мало помогает: дочь и жена проглатывают водку, как воду, проглатывают и молчат. Ниночка вовсю болтает ногами. Обычно в таких случаях ее одергивают, но сейчас мать занята своими невеселыми мыслями и не обращает на ребенка никакого внимания. Расшалившись, девочка случайно выплескивает суп из ложки на платье.

— Нина! — страшным голосом кричит Мира Григорьевна. — Как ты себя ведешь?!

У Лурье перехватывает горло, он поднимается и снова уходит в спальню, чтобы тихо поплакать перед окном, выходящим в сад, в белое безмолвие мира.

— Гершон! — кричит из горницы Бася. — Еда стынет!

Гершон Моисеевич возвращается за стол, на свое законное привычное место главы семьи, надежды и опоры. Пока он, не чувствуя вкуса, жует тушеное мясо, в комнату входит владелица дома Наталья Гавриловна. Лурье наливает и ей. Гавриловна выпивает одним глотком.

— Мне так жаль, что вы уезжаете, — говорит она. — Только не надо отчаиваться, все будет хорошо.

— Да мы-то не отчаиваемся, — усмехается Бася, убирая со стола. — Это миру мы надоели.

Такая она, Бася, жена Гершона Лурье, — никогда не теряет душевного равновесия.

— Немец тоже не вечен, — продолжает Наталья Гавриловна. — Бог даст, поубиваем их всех. Тогда и вернетесь.

— Оттуда, куда мы идем, не возвращаются, — тихо возражает Мира.

Гавриловна протестующе машет обеими руками.

— Не греши, дочка, накликаешь беду! — Она умолкает на секунду-другую и затем шепчет: — Я вот к чему веду: Ниночку оставьте мне.

— Что?!

— Да, — твердо кивает хозяйка, — оставьте ее здесь. Как дочка мне будет. Вдвоем будем ждать

вашего возвращения.

Какое-то время они обсуждают практические детали. Девочка сидит здесь же, но что она понимает? Взрослые говорят о чем-то своем, взрослом, а Ниночке остается болтать ногами и радоваться, что мама больше не ругает ее за испачканное платье.

Наконец Гершон Моисеевич смотрит на свои часы швейцарской фирмы «Мозер».

— Пора выходить, — говорит он и закуривает папиросу.

— Подожди, — останавливает его жена, — сначала десерт.

Она подает на стол лакомство — печеные яблоки. Ах, Бася, Бася, мать семейства, верная подруга… Лурье еще раз наполняет стаканы. К десерту не прикасается никто, кроме Ниночки. Мира Григорьевна смотрит на дочь, и ее веко вновь начинает подергиваться в нервном тике.

— Похоже, что так, — произносит она сдавленным голосом. — Похоже, что лучше нам расстаться, доченька.

Она берет Ниночку на руки и крепко прижимает ее к сердцу. Теперь девочка наконец осознает: происходит что-то непонятное, угрожающее, плохое. Ей не очень ясно, что именно, но на всякий

случай Ниночка ударяется в рев.

— Решено, — подводит итог Гершон Моисеевич, — оставляем Ниночку у Натальи Гавриловны. Бог даст, выживет…

Бася качает головой: насколько она помнит, глава семейства уже много лет обходится без упоминания Бога. А тут вдруг — «Бог даст»…

— Правильно, — говорит она. — Оставляем.

Лурье снова вытаскивает из жилетного кармашка свой «Мозер»:

— Нужно идти.

Он подходит к хозяйке дома, прощаться. На тарелке перед Натальей Гавриловной — большое желтое антоновское яблоко, печеное лакомство. Гавриловна поспешно поднимается с места, обнимает Лурье и целует его — троекратно, по русскому обычаю.

— Ну, прощай, Моисеич, не поминай лихом!

Старики натягивают пальто, берут вещи. Каждому разрешено взять по одному заплечному мешку и одному чемодану.

— Погодите! — вдруг вспоминает Лурье и поспешно направляется в спальню.

Нужно торопиться — они и так уже опаздывают на пять, а то и на целых десять минут… Гершон Моисеевич возвращается в горницу, в руке его

талисман Святого Ари. Старик наклоняется к Ниночке и вешает ладанку ей на шею.

— Вот, Наталья Гавриловна, — говорит он с горькой улыбкой, — оставляем тебе нашу внучку. Пусть эта ладанка всегда будет при ней, пусть хранит ее от несчастья. От предков моих эта ладанка, Наталья Гавриловна…

Они в последний раз обнимаются на прощанье. Теперь плачут уже все, даже Бася. Плачет старая Бася, оплакивает покинутый Господом мир.

Вот они идут через двор по вытоптанной в снегу тропинке, мешок за спиной, чемодан в руке. Из дома доносится рев Ниночки, торопливые утешения-уговоры Натальи Гавриловны.

— Я сейчас! — Мира бросает в снег вещи и бежит к двери.

Проходит минута-другая, плач смолкает, молодая мать, глотая слезы, возвращается к старикам-родителям. Глаза ее распухли и покраснели, Мира кутает лицо в голубой шерстяной платок, молча подбирает мешок и чемодан. Втроем выходят они со двора, аккуратно закрывают на щеколду калитку, идут по знакомой каждым своим метром улице — улице Коцюбинского. Тут и там выходят из домов другие евреи, у каждого — свой мешок и свой чемодан. Свой мешок, свой

чемодан, одна улица, один народ, одна судьба.

Медленно ковыляют евреи по заснеженным улицам местечка. Небо плотно укрыто облаками. Мрачный сумрак висит над застывшим в холоде миром. Нет спасения ниоткуда — один-одинешенек, влачит человек по враждебной земле свою беду, свою жизнь, свою душу.

2

Наталья Гавриловна заранее продумала, где спрячет Ниночку. Ширмой она разгородила большую комнату на две неравные части и выделила девочке самый дальний, скрытый от чужих глаз угол. Затем женщина провела с Ниночкой беседу.

— Ты должна очень хорошо спрятаться, Ниночка, — сказала она. — Спрятаться и молчать изо всех сил. Иначе придут злые дяди и заберут тебя в черный мешок.

— А когда придет мама Мира? — спросила девочка.

— Не скоро.

— Ее забрали в черный мешок? — прошептала Ниночка, округлив глаза.

— Да, ее забрали в мешок… — отвечает немолодая бездетная женщина Наталья Гавриловна, и

голос ее прерывается, и слезы текут по доброму лицу. — Очень злые дяди забрали ее в мешок, и отнесли на остров посреди моря, и бросили там на скалы. И теперь вокруг мамы Миры бушуют страшные волны. Они вот-вот сорвут ее со скалы и унесут в морскую пучину. Сатанинская сила! Адское пламя! Проклятый черт Вельзевул бесится по всему миру! Но ничего, Ниночка, не бойся. Нужно только немного потерпеть, и придет добрый Иисус Христос, придет и всех спасет — и маму Миру, и дедушку с бабушкой, и нас с тобой. Придет сам и пошлет своих добрых ангелов. Но это потом, а пока… пока надо прятаться и молчать…

Ниночка испуганно слушает страшную сказку. И тут, как нельзя кстати, слышится сильный стук в дверь.

— Я пойду открывать, — шепчет Наталья Гавриловна, — а ты прячься и лежи тихо-тихо, как мертвая. Хорошо?

— Может, мне залезть под кровать, тетя?

Снова стучат — на сей раз сапогами. Чей-то громкий и грубый голос выкрикивает страшные слова на чужом языке.

— Хорошо, залезай под кровать, Ниночка. Только, ради бога, не шуми…

Наталья Гавриловна осеняет себя троекрат-

ным крестом и идет к двери, а Ниночка быстро заползает под широкую деревянную кровать и сворачивается калачиком в самом дальнем углу. Маленькими ладошками она прикрывает свое бешено колотящееся сердечко: оно бьется так сильно, так громко — вдруг услышат дядьки с мешком? Глаза мало-помалу привыкают к темноте. Третий час дня, снаружи еще льется свет сквозь прихваченные морозным узором стекла. Малая, скудная его часть проникает под большую кровать, где сжалась в комок перепуганная еврейская девочка. На что она смотрит, что видит? Прямо перед ней лежит на боку грубый домашний башмак… комочек глины прилип к подошве… Ниночка осторожно отдирает комок. Теперь можно размять его пальцами и слепить что-нибудь, например, ежика. Она прячется в скорлупку своего маленького мира, только бы не видеть, не слышать, не знать, что происходит снаружи.

А снаружи бродят хищные звери, высматривают, вынюхивают жертву, грохочут тяжелыми сапогами. Три эсэсовца и пожилой полицай — тот самый, который накануне принес и огласил приказ коменданта, ходят по домам, проверяют, не осталось ли кого. Для начала они переворачива-

ют вверх дном ту половину дома, где жили евреи. На полу расстилаются простыни и туда выбрасывают вещи из шкафов и комодов: посуду, одежду, столовые приборы — все, что представляет хоть какую-то ценность. Затем эсэсовец обнаруживает в буфете бутылку водки, и четверо с радостным гоготом усаживаются за стол глушить дармовую выпивку.

Наталья Гавриловна стоит рядом и молчит, скрестив руки на животе. Один из немцев обращается к ней. Полицай переводит:

— Принеси что-нибудь закусить. А еще он спрашивает, почему ты прячешь евреев и партизан?

— Я не прячу. Они тут снимали квартиру…

Немец мотает головой и грозно бухает кулаком по столу. В глазах его гуляют под ручку хмель со смертью. Наталья Гавриловна возвращается на свою половину и заглядывает под кровать.

— Нина, ты там?

Молчание. Наверно, заснул ребенок.

Тихо подходит вечер. Во дворе и в саду лежит снег, лежит и молчит. Едва слышный шепот шелестит из-под кровати:

— Тетя, черти уже ушли?

Нет, не заснула Ниночка — она по-прежнему прячется в самом темном уголке, не шевелится,

не шумит, только глаза блестят испуганным блеском.

— Ниночка, лапушка, еще не ушли. Здесь они, проклятые. Лежи тихонечко, не шуми, а то заберут тебя в черный мешок…

— Хорошо, — шепчет ребенок, — я не буду шуметь. Изо всех сил не буду.

Наталья Гавриловна смахивает слезы, бросает в миску несколько вареных картофелин, помидоры, хлеб и несет немцам. Те уже почали вторую бутылку — как выяснилось, у Гершона Моисеевича был неплохой запас спиртного. Двое сидят за столом, другая пара разместилась на узлах с награбленным добром. Сытый гогот, смех, лающая, каркающая, чужая речь…

Прикончив вторую бутылку, они выходят во двор и, покачиваясь, долго мочатся в снег. На очереди — квартира Натальи Гавриловны. Ее осматривают небрежно — проверяют комнаты, заглядывают в шкафы.

— Давай деньги, старая! — требует полицай.

Хозяйка выносит несколько бумажек. За окном уже почти стемнело. Когда же это кончится, Господи? Спаси, Господи, и помилуй. Помилуй-Господи-помилуй-Господи-помилуй-Господи…

Наконец эсэсовцы вскидывают на плечи узлы

и выбираются за калитку. Неужели пронесло? Наталья Гавриловна запирает дверь, задергивает занавески и вздыхает с облегчением. Теперь можно и лампу засветить.

— Ниночка, выходи!

Женщина и ребенок садятся ужинать. На столе свекольный борщ, картошка и яблоки. Нет, у Ниночки совсем нет аппетита. Чтобы немного подсластить ей этот страшный день, Наталья Гавриловна достает из буфета банку с медом. Ломоть хлеба с медом — какой же ребенок откажется от такого лакомства?

Ниночка жует и разговаривает со своими куклами. Их у нее две — Маруся и Катя. Маруся чуть больше размером и потому считается старшей сестрой. А еще у Ниночки есть губная гармошка и кукольная двухколесная коляска. Вот только обе эти вещи шумят, а шуметь нельзя. Поэтому гармошку и коляску пришлось на время отдать тете Наташе. Ниночка должна теперь сидеть тихо и не говорить, а шептать. Злые дядьки с черными мешками ходят-бродят вокруг дома.

Только успела подумать о дядьках — и снова стучат в дверь!

— Кто там?

— Это я, Наталка, открывай!

Ну да, это он, Иван Гаврилович, брат хозяйки.

— Погоди!

Наталья Гавриловна делает Ниночке знак спрятаться. Та серьезно кивает и, прихватив с собой ломоть хлеба с медом, снова лезет под кровать. Сейчас там темно, хоть глаз выколи, и совсем нечем себя занять. Девочка тихонько жует сладкий ломоть. Потом облизывает пальцы. Потом делать становится совсем нечего, и, зевнув, Ниночка засыпает.

А за ширмой идет беседа между братом и сестрой. Они живут по соседству, но Иван — пьяница и драчун — никогда не был здесь желанным гостем. Правильней будет сказать, что они недолюбливают друг друга — уж больно несхожи характерами.

— Ну что, были у тебя немцы? — спрашивает Иван.

— Были, — односложно отвечает Наталья Гавриловна.

На столе все та же оставшаяся от ужина еда — борщ, картофель, яблоки. Вдобавок хозяйка наливает брату водки в граненый стакан: чем скорее выпьет, тем раньше уйдет.

— И что делали? Жидов искали?

Не дожидаясь ответа, Иван Гаврилович опро-

кидывает в себя половину стакана.

— Что тебе сделали евреи, что ты так злобствуешь? — спрашивает Наталья Гавриловна с досадой. — Чем обидели?

Иван Гаврилович посылает вторую половину стакана вслед за первой и выдыхает:

— Эх-ма, хорошо пошла!

И тут вдруг слышится отчаянный крик девочки. Ниночке снится страшный сон — неудивительно после такого дня.

— Осторожно! — кричит она. — Я падаю! Падаю!

Иван Гаврилович отодвигает стакан и поворачивается к сестре:

— Кто это у тебя?

— Никого… — испуганно отвечает Наталья Гавриловна.

Увы, Ниночка кричит снова, и Иван Гаврилович, взяв со стола лампу, отправляется на голос. Его, огромная горбатая тень движется вместе с ним по горнице, и испуганный лепет мечущегося в кошмаре ребенка ведет их — мужчину и его тень — в нужном направлении.

Наталья Гавриловна прячет лицо в ладонях. Наконец из-за ширмы доносится радостный пьяный голос брата:

— А-а! Теперь понятно! Ты прячешь у себя маленькую жидовочку! Дура! Знаешь, что за это бывает? Надо сейчас же сдать ее немцам!

Лампа стоит на полу и светит под кровать, прямо в лицо спящей Ниночке. Но та даже не думает просыпаться. Брат и сестра, стоя на четвереньках, смотрят на маленькую еврейскую девочку.

— Это не твое дело, Иван! — говорит Наталья Гавриловна.

— Нет, мое! — возражает он. — Вывести под корень проклятое семя!

— Девочка ни в чем не виновата!

Наталья Гавриловна берет лампу и возвращается в горницу. За ней топает брат. Они снова садятся за стол, и Иван Гаврилович принимается жрать. Он сжирает целую миску картофеля, подбирает хлебной коркой остатки и встает.

— Дура ты, Наталка. Губишь себя почем зря.

— Девочка не виновата, — упавшим голосом повторяет Наталья Гавриловна.

Иван Гаврилович качает головой:

— Эх-ма, ну и дура! Повесят ведь…

Он вываливается из дома во двор и, скрипя по снегу сапогами, идет к калитке. Наталья Гавриловна запирает за братом дверь и лезет под кровать — вытаскивать Ниночку. Девочка сно-

ва что-то бормочет во сне. Женщина снимает с нее ботиночки, платьице. Глаза ребенка плотно закрыты, сон глубок, не разбудишь и криком. Вокруг детской шеи вьется цепочка, на цепочке — ладанка, в ладанке — талисман. Нет, не спасет, не сохранит девочку эта еврейская вещица во время беды. Наталья Гавриловна долго стоит над спящей Ниночкой и смотрит на нее, и крестит, крестит ребенка быстрыми движениями правой руки.

— Смилуйся над нею, Спаситель, смилуйся! Сохрани ребенка от гибели, спаси и сохрани!

Молитва обращена к Иисусу Христу, православному Спасителю. И, возможно, где-то рядом, невидимый Наталье Гавриловне, стоял в изголовье постели Святой Ари — стоял и печально покачивал седой головой.

3

Воскресенье. Как обычно в эти дни, Наталья Гавриловна запирает дом на висячий замок и отправляется в церковь. Сегодня ей есть о чем поразмыслить по дороге.

Нужно безотлагательно переправить ребенка в деревню, к Агриппине Семеновне, родственнице со стороны мужа. Она добрая женщина. Наталья

Гавриловна не сомневается, что Агриппина и ее муж не откажутся спрятать у себя Ниночку на короткое время.

Только следует поторопиться: опасность действительно велика. В пьяном виде брат Иван не слишком разбирает, где право, где лево. Но и в трезвом состоянии он ничуть не лучше.

Начало зимы 1941 года, месяц кислев, благословенная Украина. Утро выдалось прекрасное. Высоко натянуто голубое небо, ярко сияет зимнее солнышко. Снег сверкает под его лучами, кое-где подтаивает, капает с крыш.

Выйти бы Ниночке во двор, но нельзя, никак нельзя. Приходится сидеть взаперти за ширмой. Хорошо хоть, куклы Маруся и Катя не оставляют ее, а то было бы совсем скучно. Маруся посадила Катю на колени и поет ей колыбельную песенку. «Баю-баю-баю-бай, спи, Катюша, засыпай! Спят котята и ужи, спят лисята и моржи. Баю-бай, баю-бай…»

Печальна колыбельная песенка, печальна и тиха. Ниночка уже большая девочка, ей целых четыре года. Она знает, что нельзя повышать голоса, нельзя петь веселые громкие песни. Иначе услышат злые дядьки, придут и заберут Ниночку, Марусю и Катю в черный мешок. Так что ты,

Маруся, пой, пожалуйста, потише. А ты, Катя, не вздумай плакать и кричать.

Со светом за ширмой тоже не очень богато. Приходится сидеть в полумраке. Оконце здесь совсем крохотное, да и оно вдруг будто бы заслонилось чем-то. Ниночка поднимает глаза к окну и замирает в ужасе: из выходящего в сад окна смотрит на нее страшная рожа злого дядьки! Он прижался носом к стеклу, в глазах — злая радость. Из-за заклеенного на зиму окна слышен грубый торжествующий голос:

— Вот ты где, красавица! Сейчас я тебя вытащу за ушко да на солнышко. От Ивана Довгаленко не уйдешь!

Иван Гаврилович уже успел опохмелиться с утра пораньше; пьяная сила играет в его руках. Лицо гоя исчезает из окна, и Ниночка слышит, как он, ругаясь и гремя железом, разбирается с замком на входной двери. Это продолжается недолго. Брат хозяйки с корнем выдирает скобы накладной щеколды и входит в дом. Сжавшись в своем уголке и крепко обняв куклу Марусю, вслушивается еврейская девочка в грохот его шагов. Для начала Иван Гаврилович роется в буфете в поисках спиртного, находит бутыль с самогоном и хорошенько подкрепляется прямо

из горлышка. Затем он отодвигает ширму и смотрит на перепуганного ребенка. В глазах у злого дядьки — ни тени жалости.

— Ну что, жидовочка, пойдем!

Он хватает девочку за руку и вытаскивает во двор. Зимний мороз обжигает Ниночку: Иван Гаврилович и не подумал одеть ее перед выходом. Зачем? Все равно ведь… Снаружи светлое небо, хрустит сияющий на солнце снег, сосульки переливаются всеми цветами радуги. Одна рука ребенка зажата в жесткой лапе злого дядьки, другая прижимает куклу Марусю. Маруся и ладанка на шее — вот и все, что осталось у Ниночки.

Она начинает плакать. Иван Гаврилович минуту-другую чертыхается, прилаживая на место щеколду с замком, затем плюет и оставляет свои попытки. Сестра так или иначе заметит, что дверь взломана. Ерунда, сойдет и так! Таща за собой ребенка, он выходит на улицу. Помня наставления тети Натальи, Ниночка не ревет в голос, а плачет потихоньку. Теплые слезы скатываются по ее щекам, оставляя после себя холодные дорожки. Хорошо хоть, мешка нет…

— Дядя, а где твой мешок?

Иван Гаврилович выхватывает у ребенка куклу Марусю и зашвыривает ее далеко в сугробы.

Маруся тонет вниз головой в глубоком снегу — торчат только растопыренные ноги. Злой дядька волочит Ниночку вниз по улице Коцюбинского в сторону городского сада, к немецкой комендатуре. Слезы текут по лицу девочки. Ей очень холодно и очень страшно. Мало-помалу она переходит на рев, и это привлекает внимание редких прохожих.

— Куда ты ее тащишь, Иван? — спрашивает знакомая женщина, припозднившаяся на воскресную службу.

— Куда-куда… в комендатуру, куда же еще. Не видишь — жидовку поймал! — объясняет ситуацию Иван Гаврилович.

Он хохочет; что-то в глазах женщины доставляет ему неловкость, и эта неловкость еще больше распаляет гоя. Его жесткая лапа еще крепче сжимает мягкую детскую ручонку. Следом, довольные неожиданным развлечением, бегут невесть откуда взявшиеся мальчишки, затем присоединяются несколько взрослых зевак. Вскоре к комендатуре уже движется толпа в двадцать-тридцать человек.

— Что такое?

— Да вот, девочку ведут… Евреечка, похоже.

Все они смотрят на Ниночку, разглядывают, как

диковинного зверька. Громко хрустит снег под ногами людей. Какая-то женщина стаскивает с головы голубой платок с желто-красными цветами, подбегает, на ходу кутает замерзшую девочку.

— Степка! — звонко кричит один из подростков. — Беги сюда! Жидовку поймали!

Слух бежит по местечку, передается из уст в уста, доносится до церкви.

— Довгаленко поймал еврейскую девочку… Ведет ее в комендатуру…

Прервав молитву, люди выходят посмотреть. Выскакивает наружу и Наталья Гавриловна — выскакивает с тяжелым сердцем, с нехорошим предчувствием. Тем временем процессия входит в городской сад. С другой его стороны высится желтое здание комендатуры. У входа скучают несколько немецких солдат и полицай. Последний замечает толпящихся в саду людей и, проявляя служебное рвение, идет разбираться. Он подходит к толпе одновременно с бегущей от церкви Натальей Гавриловной. Люди послушно расступаются перед представителем власти.

— Жидовка? — спрашивает полицай, указывая пальцем на девочку.

Но Ниночка даже не смотрит на него — ее глаза устремлены на подбежавшую добрую тетю Ната-

лью. Помощь если и придет, то только оттуда… И тетя Наталья не разочаровывает: она подскакивает к брату и, оттолкнув его, подхватывает ребенка на руки. Девочка крепко обнимает Наталью Гавриловну за шею, руки ее холодны как лед. Столпившийся вокруг народ молча взирает на происходящее.

Зима на Украине. Яркий воскресный день. Бескрайняя голубизна растянулась над городским садом. В ней, как в море, купается солнце, дарующее тепло и жизнь всему сущему. Нет ни ветерка, ни дуновения — лишь сияние белого наста, блеск сосулек, хруст снега под ногами.

— Жидовка? — повторяет свой вопрос полицай.

Ивана Гавриловича поддерживают под руки с обеих сторон. Он плохо держится на ногах — человека развезло от выпитого.

— Брось, Ваня! — советует ему один из постоянных собутыльников. — Лучше пойдем, добавим. Зачем тебе эти хлопоты?..

— Так что? — напоминает о своем вопросе представитель власти.

Пока он не сердится, только слегка повышает голос.

— Да какая она жидовка? — поспешно, но твер-

до отвечает Наталья Гавриловна. — Глупости все это…

Она не кричит, не выдает своего волнения, старается говорить спокойно и уверенно.

— Родственница она мне, господин полицай. Наша, православная.

— Православная, говоришь? — щурится полицай. — Ладно, давай в комендатуру, там разберутся.

— Да что тут разбираться, и так все ясно! — стоит на своем Наталья Гавриловна.

Полицай молча вытаскивает из кобуры револьвер. Зачем тратить слова, когда есть такой аргумент? В комендатуру!

На сей раз за девочкой не следует никто из зевак. От этого желтого здания лучше держаться подальше — и от обоих его этажей, и особенно от подвала. Когда-то здесь была резиденция главного городского богача Элияґу Хейфеца, торговца лесом. После революции дом отвели под горком партии, а теперь его занимают немецкая комендатура и гестапо. Толсты стены здания, глубок подвал — почти не слышны снаружи крики истязаемых людей.

Еврейским вопросом в местечке ведает заместитель коменданта Фогель — к нему-то и

приводит ретивый полицай немолодую бездетную женщину Наталью Гавриловну с Ниночкой на руках. Фогель говорит по-русски с сильным акцентом, но, в общем, понятно.

— Как тебя зовут, девочка?

— Нина.

Этого дядю Ниночка, пожалуй, не боится. Он совсем не выглядит страшным: на носу у него очки, как у папы, который в Киеве. Наталья Гавриловна хочет вмешаться, но немец останавливает ее властным жестом.

— А фамилия?

Ниночка молчит — это слишком сложный вопрос.

— Подойди ко мне поближе.

После некоторого колебания девочка подходит и доверчиво смотрит на Фогеля снизу вверх. Теперь становятся видны глаза за стеклами очков — недобрые, холодные, изучающие. У папы глаза не такие. Ниночка делает шаг назад, к спасительным рукам тети Натальи. «Несомненно, еврейка, — думает Фогель. — Глаза совершенно еврейские». Но тут вступает в разговор Наталья Гавриловна. У ее мужа есть сестра, и сестра эта замужем за армянином по фамилии Акопян. Так что эта девочка никакая не еврейка, а православ-

ная армянка, Нина Газаровна Акопян.

Фогель слушает эту басню и продолжает молча разглядывать маленькую еврейку. На детской шее поблескивает цепочка. Ну-ка, ну-ка… Немец берет в руки маленькую ладанку. В ладанке — пожелтевший клочок пергамента с непонятными значками. Амулет. С какими дикими глупостями приходится иметь дело цивилизованному человеку… Фогель зевает.

— Так ты настаиваешь на том, что она армянка?

— Да-да, господин офицер, армянка, Бог свидетель!

— Что ж, сейчас выясним…

Он снова зевает и нажимает на кнопку звонка. Проходит несколько томительных минут, и солдат вводит в комнату избитого мужчину лет сорока с седой бородой и еврейским носом.

— Скажи-ка, юде, — обращается к нему заместитель коменданта, — ты ведь читаешь на своем еврейском языке?

— Читаю.

— Ну, если так, то прочти мне вот это.

Еврей кладет на ладонь пергамент — перед ним знакомое слово — шин, далет, йуд… и еще четыре буквы… короны, и стрелки, и значки, и частица

огня посередке. Шаддай! Всемогущий Создатель, Властелин мира… Он хочет так и ответить немцу, но губы его сами собой, помимо воли, произносят совершенно другие слова.

— Я бы прочитал, но это не иврит, господин офицер, — говорит еврей по фамилии Йоффе. — Похоже на армянский, этот язык мне немного знаком.

Фогель наклоняется и снова внимательно всматривается в глаза стоящей перед ним девочки. В их непроницаемой глубине виден прежде всего испуг, но и еще что-то… то ли тень, то ли огонек… Черт ее знает. Возможно, он ошибся. Возможно, она действительно армянка. Не слишком приятно убивать малых детей. Немец жмет на кнопку звонка.

— На что вы тратите мое время? — сердито выговаривает он вошедшему помощнику. — Она армянка! Гоните эту старую дуру домой вместе с девчонкой!

И вот уже Наталья Гавриловна шагает по улицам местечка, и на руках у нее драгоценная ноша — спасенный еврейский ребенок. Солнце еще сияет вовсю, но поднявшийся ветерок уже гонит из-за горизонта первые клочки облаков. С крыш течет — снег за утро заметно подтаял.

— Тебе холодно, дочка?

Голос женщины звучит ровно, как всегда, но сердце разрывается от материнской жалости.

— Да… — шепчет Ниночка.

Впрочем, ее одолевает не столько холод, сколько безмерная усталость. Но дома Наталья Гавриловна и отогреет ее, и накормит, и спать уложит…

Девочка не проснулась даже к вечеру — так и проспала до следующего утра. Зато у Натальи Гавриловны хлопот полон рот. Во-первых, починить взломанную братом дверь. Во-вторых, собраться в дорогу. И наконец, в-третьих, сбегать к хорошим знакомым, договориться о санях с лошадью на завтрашнюю поездку. Путь предстоит неблизкий — двадцать пять верст до деревни Моятино. Откладывать никак нельзя, смерти подобно…

И в самом деле, в предрассветных сумерках въезжают во двор сани, запряженные парой бойких лошадок. Лошади дожевывают свой лошадиный завтрак, сыто всхрапывают, и густой пар поднимается от их заиндевелых морд. Наталья Гавриловна и Ниночка выходят на крыльцо — обе одеты очень по-зимнему, только нос и торчит. Глаза девочки блестят. Еще бы: предстоит захватывающее путешествие — на санях да на

лошадках! Как красиво вокруг! Сколько снега навалило за ночь! Как чуден мир, как интересно жить! Наталья Гавриловна кладет в сани два туго увязанных узла с Ниночкиными вещами. Кто знает, сколько времени придется ей провести в Моятино…

Осторожно, чтобы не тревожить чужие уши скрежетом петель, закрываются ворота. Наталья Гавриловна запирает их на висячий замок. Дом тоже заперт, ставни глухо задраены. Женщина осеняет себя троекратным крестным знамением и садится в сани рядом с девочкой. Можно трогать. Она берет вожжи, чмокает, трогает кнутом лошадиные спины — пошли, родимые! Лошадки неторопливым шагом проходят по улице Коцюбинского, минуют рыночную площадь и выбираются в заснеженное пространство полей. Мир постепенно наполняется утренним светом — есть в нем сегодня немного больше смысла, немного больше порядка. Немолодая бездетная женщина и ее четырехлетняя спутница держат путь к намеченной цели.

4

Тут мы их и покинем: ведь рассказ этот не о Ниночке и ее семье и не о Наталье Гавриловне

и ее брате. Рассказ — о талисмане, сотворенном рукой Святого Ари, великого рабби Ицхака Лурии, знатока и учителя каббалы. И поскольку остался этот кусочек пергамента в руке, а затем в кармане еврея по имени Авраам бен Шауль Йоффе, то к нему и обратим мы сейчас свои взгляды. Да-да, в кармане, куда Йоффе положил талисман после того, как ответил на вопрос заместителя коменданта Фогеля.

Йоффе находился в местечке вот уже две недели, а до этого жил в городе Прилуки. Пятнадцатого ноября, в день большой ликвидации, он стоял вместе с другими сынами и дочерями своего народа на краю расстрельного рва. Пуля попала ему в правое плечо, и Йоффе упал в общую могилу, в месиво кровавой грязи, земли и мертвых тел. Под утро ему удалось выбраться наружу. Истекая кровью и не испытывая особых надежд, он наугад постучался в один из крайних домов. Там жил школьный учитель по фамилии Иванчук, который впустил еврея к себе. В доме Иванчука ему перевязали рану, позволили переночевать. Три дня спустя Йоффе покинул дом своего спасителя. Он намеревался найти в лесу партизан и примкнуть к их отряду. Но получилось иначе: недалеко от нашего местечка беглеца замети-

ли полицаи и после недолгой погони привезли в желтое здание комендатуры. Там, в подвале гестапо, и дожидался Авраам бен Шауль Йоффе своей второй ликвидации.

Как уже сказано, еврейским вопросом здесь ведал заместитель коменданта Фогель. Отпустив женщину с девочкой, он закурил и еще раз допросил Йоффе. Дымя хорошей сигаретой и поигрывая плетью, Фогель сидел в кресле и пронизывающим взглядом смотрел из-под очков на полумертвого от побоев еврея. Тот избегал встречаться с ним глазами. Да и чего хорошего мог ожидать еврей Йоффе от встречи с очкастым немецким нацистом, повелителем мира, представителем высшей расы с узеньким затылком и жидкими волосиками?

— Откуда ты знаешь армянский? — спросил Фогель.

По-армянски Йоффе не знал ни слова.

— Когда-то ухаживал за девушкой-армянкой, — не моргнув глазом соврал он.

— Значит, можешь разговаривать?

Йоффе уклончиво пожал плечами. Не завраться бы, не попасть в безвыходный тупик… Что, если немец сейчас прикажет сказать хотя бы несколько слов?

— Разговаривать — нет, — сокрушенно признал он. — Так, одно-два выражения. Да и то нетвердо.

— Одно-два выражения? — не отставал немец. — Например? Ну, давай. Хотя бы несколько слов.

Сердце еврея упало. Сейчас он погубит не только себя, но и ту еврейскую девочку и ее украинскую защитницу в придачу. Фогель, улыбаясь, смотрел на него из своего кресла.

— Яс кас сиримам, — вдруг неожиданно для себя самого произнес Йоффе.

— Что это значит?

— Я люблю тебя… — удивленно ответил еврей.

Кто-то говорил вместо него — его устами, его языком, его голосом… но вместо него, недоубитого сорокалетнего человека с седой не по возрасту бородой и ярко выраженным еврейским носом! Как тут было не удивиться…

Фогель пыхнул сигареткой. Похоже, не врет еврей…

— «Люблю тебя»… — передразнил он, утрируя еврейский акцент подследственного. — Зато себя ты не любишь! Почему ты не хочешь облегчить свою участь, юде?

— Хочу! Очень хочу! — горячо заверил его Йоффе.

— Тогда говори. Все как было.

— Так ведь я и так все рассказал, господин офицер! Ничего не скрыл!

Фогель раздраженно раздавил в пепельнице окурок и воззрился на еврея.

— Не скрыл? А кто скрыл тебя после акции? Ну?! Куда ты пошел после того, как выбрался из могилы, живучая тварь?

— Никто не скрыл, господин офицер, клянусь вам…

Йоффе опускает голову еще ниже, не в силах вынести взгляда своего мучителя. Если бы можно было, он вовсе провалился бы сейчас под землю.

— Кто перевязал твою руку?

— Я пришел в себя ночью, — бормочет в ответ Йоффе. — Рука кровоточила, но я был еще жив, господин офицер. Выбрался наверх, уполз в лес и сидел там три дня. Все так и было, господин офицер…

— Кто перевязал твою руку?

— Сам и перевязал…

Плетка заместителя коменданта хлестко ударяет по столу.

— Врешь! — тонким фальцетом выкрикивает Фогель.

Авраама Йоффе передергивает от этого устра-

шающего визга. Фогель кажется ему жутким чудовищем, людоедом, способным разжевать и проглотить весь этот мир. Нет надежды. Творец покинул свое Творение, бросил Свой народ на произвол фогелей.

— Я говорю правду, господин офицер…

Йоффе смотрит в пол, но в душе его вздымается высокая волна гнева. Хрупкий затылок фашиста покачивается в каких-то полутора метрах от него. Если бы можно было сейчас прыгнуть на Фогеля, вцепиться в горло и душить, душить, душить… Но они не одни в комнате — за спиной Йоффе стоит солдат с автоматом. Схватить-то можно, а вот задушить не получится. Даже хорошенько сжать не успеешь… Нет надежды. Нет выхода. Надо смириться с судьбой. Он умрет вместе с братьями и сестрами на краю расстрельного рва, умрет со второй попытки.

— Партизаны перевязали тебя, юде!

— Я не видел никаких партизан, господин офицер!

— Врешь!

Опять этот режущий душу, жуткий фальцет, визг повелителя мира. Надо смотреть в пол, надо подавить в себе этот гнев, это отвращение, иначе будет еще хуже. Йоффе стоит бледный как

смерть, тяжелое дыхание со свистом вырывается из груди.

— Смотри на меня!

Они наконец встречаются взглядами. В глазах арийца презрение, но и в глазах жертвы горит стойкий упрямый огонек, который окончательно выводит из себя заместителя коменданта. Фогель привстает с кресла и жмет на кнопку звонка.

— Я нарежу тебя на кусочки, слышишь, тварь? — визжит он. — На мелкие кусочки, юде! В подвал его!

Они выжгли ему щит Давида на спине. Два пересеченных треугольника, три стороны у каждого, всего шесть. Шесть раз раскаленный прут ложился плашмя на живое человеческое тело. Запах паленого мяса стоял в пыточном подвале. Фогель сидел на стуле в сторонке, курил сигаретку.

— Скажешь?

Йоффе корчится от боли, кусает губы, крик рвется из груди, эхом отражается от стен, сознание тускнеет и возвращается снова.

— Скажешь?.. Скажешь?.. Говори, где партизаны?

— Не видел я никаких партизан! — кричит Йоффе. — Не видел!

Он совершенно беспомощен здесь, нет надежды, нет выхода, остается только вопить, вопить что есть мочи… Надо собрать все силы, надо терпеть. Снова ложится на его спину раскаленный прут, снова отчаянный вопль разрезает воздух комнаты. Вонь и дым от паленого человеческого мяса мешаются с дымком первосортной сигареты заместителя коменданта Фогеля.

Он прятался в доме учителя Иванчука, а рану обработала дочь учителя Таня, сестра милосердия. Она утешила его, отвлекла от жутких воспоминаний и даже сыграла на пианино мелодичную украинскую думку. Три дня, рискуя жизнью, держали его эти люди в своем доме. И что же теперь — выдать их фашистам на пытку и смерть?

Шесть раз ложился прут на спину истязаемого, пока сознание не сжалилось над человеком, покинув его, оставив во тьме бесчувствия. Йоффе пришел в себя в тесной камере, где ждали расстрела другие обреченные люди. Пришел в себя — и пожалел об этом. Жуткая боль от ожогов сопровождала каждое его движение, каждый вдох, каждый выдох. Кроме Йоффе, в подвале сидели еще тридцать семь человек. На следующий день всех их повезли на расстрел.

Четырехлетняя Ниночка в это время была уже в Моятино, в деревенской избе. Сидела на лавке и играла с куклами — Катей и Марусей, которую тоже спасла сердобольная тетя Наталья, вытащив из сугроба. Здесь же была и губная гармошка — на сей раз девочке дозволили немного пошуметь.

Тридцать семь человек встали в один ряд у края открытой могилы, вырытой загодя за окраиной местечка. Но сначала всем приказали раздеться и снять обувь. Дрожь холода и дрожь смертного страха объяла людей. Мало хорошего видели они от жизни в последние недели, но уходить все равно не хотелось. Вместе с другими обреченными стоял там и Авраам Йоффе. Раздеваясь, он случайно нащупал в кармане кусочек пергамента и зажал его в кулаке. Потом послышался гром автоматных очередей, и Йоффе упал в ров. Он упал первым, на долю секунды раньше, чем прилетели предназначенные для него пули. Честно говоря, непонятно, как это получилось. А может, и понятно — в конце концов, Йоффе уже не был новичком в профессии казнимого.

Как две недели тому назад, лежал он на мерзлой земле, придавленный мертвыми телами. Когда автоматы смолкли, какое-то время слышались в могиле предсмертные стоны, затем стихли и они.

Потом посыпалась земля, и стало темно. Потом наступила тишина, и в тишине — звук стекающей на дно ямы человеческой крови.

Йоффе лежал лицом вверх. Спину жгли немыслимые ожоги, тело было залито кровью соседей, но он снова остался жив. Он дышал, он слышал стук своего сердца. Полицаи засыпали его землей, похоронили заживо, но сделали это небрежно. Профессия убийц — убивать, работа могильщиков — не для них. Вот и теперь он не задыхался от нехватки воздуха. Йоффе лежал в могиле лицом вверх, дышал и сжимал в кулаке клочок пергамента, талисман Святого Ари.

Когда Йоффе решил, что прошло достаточно времени, он собрался с силами и стал выбираться из ямы, разгребая вокруг себя землю, медленно продвигаясь вверх к воздуху, к небу, к жизни. И вот он уже стоит на мертвых телах своих братьев и сестер, стоит живой, с кровавым знаком могендовида на спине и с зажатым в кулаке талисманом. Ночь месяца кислев белой простыней укрывает кое-как засыпанную могилу. Он жив, пока дышит. И, пока жив, будет мстить проклятым убийцам. Таковы теперь цель его жизни, смысл его бытия. Да здравствует святая месть! Придет день, когда и нацистских палачей настиг-

нут смертные муки!

Война между нами, война миров, война жизни и смерти! С молоком матери впитаем мы нашу ненависть, с первым осмысленным взглядом, с каждым лучиком света, проникающим в наши глаза. Смерть ждет тебя, чванливый нацист! Черная смерть точит свои ножи в непроглядной ночи, крадется под покровом тьмы, несет страшные казни в карающей деснице. Беды и несчастья постигнут тебя, болезни поразят тебя, удары судьбы размозжат твой правильный арийский череп. Голод, вонь, блевотина и экскременты — таким будет твой мир.

И никакой жалости! Мы отплатим тебе той же монетой, заглушим в себе лживый голос милосердия. Мы пройдем по твоему дому безжалостным ураганом, убивая, сокрушая, стирая с лица земли все, что попадется нам на пути! Смерть фашистам! Муки и пытки проклятым убийцам! Месть! Месть! Месть!

О Шаддай, Шаддай, Шаддай!

Так говорил он, Авраам Йоффе, стоя на телах своих убитых нацистами братьев и сестер. Так клялся и так говорил он, дважды расстрелянный и дважды выживший еврей с кровавой раной выжженного на спине могендовида, с пергаментом

Святого Ари в грозящем кулаке.

Потом стал падать снег — сильный, крупный, чистый. Его хлопья кружились в воздухе и ложились на землю, толстым одеялом укрывая свежую братскую могилу.

— Клянусь! Я клянусь! — повторял Йоффе, поднимая к небу кулак с зажатым в нем талисманом.

Он шел сквозь ночь и сквозь снег, сквозь боль и стоны, сквозь обиду и плач, и каждый шаг стоил ему слез и страданий. Сорокалетний избитый и измученный человек, он всхлипывал, увязая в сугробах, плакал, падая лицом в грязь размокшей дороги, ложился, исчерпав последние силы, и снова вставал, и снова шел, почти теряя сознание от невыносимой муки. И когда он кричал, то крик его летел над землей и морями, отражался от гор и, многократно усиливаясь в раструбах долин и ущелий, поднимался вверх, к высокому престолу Царя — и тогда сам Царь начинал кричать, а Его ангелы — лить слезы, падающие на землю вот этим крупным, чистым и сильным снегом.

И снова открыли ему дверь в доме школьного учителя Иванчука, и снова он упал без сил на пороге, и снова врачевала его раны Таня, дочь учителя, сестра милосердия — врачевала и уте-

шала мягким украинским говором. Она смазала целительной мазью страшные ожоги на спине, дала беглецу отцовскую одежду, и уже на вторую ночь девушка-связная Глаша отвела его в лесной лагерь партизанской бригады в окрестностях Веприка.

В то время бригада только создавалась, и у партизан не было надежной связи с фронтовыми штабами. Но уже две недели спустя это положение удалось исправить, так что вскоре отряд получил первые оперативные приказы, а также рацию, оружие, медикаменты и прочие необходимые вещи.

Прошло четыре года с того дня, и вот Авраам бен Шауль Йоффе сидит в моей комнате, рядом с письменным столом. На груди его блестят два боевых ордена — Красной Звезды и Богдана Хмельницкого.

— А какова судьба талисмана, Абрам Шаулович? — спрашиваю я.

Он молча отвинчивает с пиджака орден Богдана Хмельницкого и кладет его на стол передо мной. И я вижу, что в лунке с тыльной стороны впаяна маленькая жестяная пластинка, и догадываюсь: талисман там, за ней!

Рабби Ицхак бен Шломо Ашкенази Лурия, про-

званный еще Святым Ари по первым буквам слов «Ашкенази рабби Ицхак», почти всю свою жизнь прожил в Египте. За два года до смерти он переехал в Землю Израиля, в святой город Цфат в Северной Галилее и там четыреста лет тому назад сотворил этот талисман. Истинный праведник и мудрец, он своими глазами видел Божественную благодать, провидел День Суда и глубоко понимал человеческую душу. А потом кусочек пергамента с начертанными на нем буквами и знаками был заключен в ладанку-медальон и передавался в семье из поколения в поколение, пока не попал в руки Авраама бен Шауля Йоффе, советского партизана. И вот теперь он лежит с обратной стороны ордена Богдана Хмельницкого — того самого вояки-казака Богдана Хмельницкого, который был для евреев безжалостным убийцей и палачом, мучил и косил их направо-налево…

Возможно, и в его дни три столетия тому назад точно так же стоял какой-нибудь Авраам бен Шауль на могилах людей, замученных и растерзанных страшным этим душегубом, — стоял и призывал на его голову такие же ужасные беды и проклятия.

Как все-таки странен этот мир! Как сложен, запутан, обманчив! И как в этом чудовищном

лабиринте отыскать свою дорогу маленькому человеку?

О Шаддай, Шаддай, Шаддай!

1945

Вернувшийся к вере

1

Не секрет, что чем больше валится на наш народ бед и несчастий, тем больше появляется в нем раскаявшихся грешников и желающих вернуться к религии. Потому-то после Катастрофы, устроенной Гитлером нашему поколению, все чаще сталкиваемся мы с такими раскаявшимися и вернувшимися к вере, которые, вместо того чтобы, как прежде, посещать концерты и оперы Чайковского и Верди, идут в еврейский театр на «Тевье-молочника» или «Фрейлехс». А те, у кого вышеупомянутое чувство особенно сильно, в дни еврейских праздников не ограничиваются театром, а отправляются, страшно сказать, в синагогу — слушать молитвы.

В годы царизма еврейская жизнь текла плавно, без резких перемен. Один день походил на другой как две капли воды. Еврей с самого рождения, хотел того или нет, включался в раз и навсегда заведенный порядок. В три года он отправлялся в хедер знакомиться с книгой, чтением и розгой, в тринадцать — входил в мир молитв и заповедей,

в восемнадцать — вставал под хупу и принимался рожать собственных детей, при этом отчаянно стараясь прокормить их. Так или примерно так проводил отведенные ему годы каждый еврей, пока смерть не закрывала ему глаза.

Но сегодня все обстоит совершенно иначе. Трудно не заметить те перемены, которые произошли в жизни евреев — ровесников этого века. В годы их юности, как раз между тринадцатью и восемнадцатью, опрокинулся старый уклад, канул в небытие вместе с царем. Революция вручила им рабочие инструменты — циркули, топоры и лопаты. Молодые евреи устремились в школы и училища, академии и институты. Место Талмуда и толкований заняли учебники высшей школы.

Жизнь в Одессе превратилась в настоящий рай для молодого еврея — не жизнь, а малина. Все пути открыты, все ворота распахнуты — хватай за хвост удачу, лови успех! И евреи хватали удачу, евреи ловили успех: становились врачами, инженерами, учеными, а по ходу дела начисто забывали, кто они и откуда вышли.

Зато сейчас, как пораженные эпидемией покаяния, тянутся профессора, доктора и специалисты в синагоги. Кто-то кутается в талес, раскачивается, кланяется и более-менее правильно

воспроизводит набор принятых в молитвенном доме действий. Другие приходят почти тайком, подобно испанским маранам[41] во времена инквизиции, поминутно оглядываются — не видит ли кто? — тщательно скрывают лицо и вообще помалкивают.

Ох этот мир возвращения к религии, мир ущемленной, испуганной души! Мне тоже приходится иногда встречать в синагогах таких евреев — бледных, молчащих, стоящих в сторонке с плотно сжатыми губами и плачущим сердцем.

2

Летнее солнце медленно движется по небу, а на земле все кипит, горит и потеет. Однако даже уличный зной не сравнится с накалом еврейского энтузиазма в тесноте помещения столичной синагоги. Первый день праздника Шавуот. Московские евреи собрались в своем молитвенном доме. Службу сегодня ведет знаменитый кантор Кусевицкий — он и его помощники.

Я стою возле колонны слева от входа и слушаю,

---

[41] Примечания: 41

Мараны — евреи, насильно обращенные в христианство в Испании и Португалии в конце XIV–XV в. и частично продолжавшие втайне исповедовать веру отцов.

как разливается по залу голос необыкновенной чистоты. Он взмывает вверх, опускается до нижних нот, закручивается спиралью, опадает почти до шепота и вновь взлетает ввысь. Иногда кажется, что выше уже невозможно, что певец сорвется или вовсе погибнет, если отважится добавить еще чуть-чуть, совсем немного, на хвост ящерки. Но он добавляет — так, что у слушателей захватывает дух, — добавляет и остается жив, а затем переходит еще выше. Я открываю глаза и вижу множество своих братьев, вижу, как радость играет в морщинах их потных от духоты лиц.

Среди них и герой моего рассказа — один из «вернувшихся». Он стоит, опершись плечом на колонну как раз напротив меня. Это человек лет сорока — сорока пяти. Нельзя сказать, что он принадлежит к старшему поколению собравшихся здесь. Большая часть членов нашей общины могли назвать себя молодыми лет эдак пятьдесят тому назад. Меж этими стариками мой герой выглядит если не юношей, то вполне крепким молодцом. Настоящих юношей в этом истекающем потом зале, увы, нет вообще. Настоящие юноши находятся снаружи.

Кантор выдает особенно удачный отрывок, и мы с моим героем реагируем почти одинаково,

одновременно открывая глаза от полноты чувств. Он явно не принадлежит к миру религиозной общины… или, говоря точнее, трудно определить, к какому миру он вообще принадлежит. Одет не по моде, небрежно и, мягко говоря, не слишком аккуратно. На дворе месяц сиван, начало июня, но погода выдалась на удивление жаркая. Тем не менее на голове у этого чудака мятая старая шляпа, рваная настолько, что какой-то грязный лоскут свешивается сзади подобно лисьему хвосту. Шляпа сдвинута на затылок, открывая моему взгляду чистый белый лоб и раскрасневшееся лицо с ранними морщинами. Между ними поблескивают капельки пота. Они скатываются по долинам щек, задерживаются в морщинах, как в складках овражистой местности, и падают на пол.

Но шляпа — не единственно замечательная часть его облика. Костюм… Что ж, лет двадцать пять — тридцать назад он, видимо, мог считаться приличным. Сейчас же… Оставим в стороне тот факт, что мода успела смениться как минимум десять раз. Допустим даже, что у нас заложен насморком нос и мы не чувствуем острый запах нафталина, идущий от пиджака и от брюк. Нет, проблема этого костюма заключается не в запахе

и не в моде, а в том, что, невзирая на нафталин, он успел накормить собой не просто несколько поколений, но целую цивилизацию моли.

Обувь не уступает костюму: вряд ли человек в такой обуви может с уверенностью смотреть в будущее. Один из башмаков вовсе без каблука, зато второй демонстрирует рваную рану по всей длине фасада или, что называется, всем своим видом «просит каши». Трудно представить, как можно передвигаться в такой обуви, не хромая на одну ногу и не загребая дорожный мусор другой. Все это вместе — шляпа, костюм и башмаки — выглядит более чем странно. Откуда он такой взялся, хотел бы я знать…

«Благословенно имя Властелина мира!» — слышится голос кантора. Уважаемые люди общины стоят на биме[42], и в руках у них свитки Торы. Все присутствующие смолкают, объединенные общим торжественным настроем. Да откроется мое сердце для радости Торы, да исполнятся все мои пожелания и сердечные мечты всего народа Израиля, да свершится все к лучшему, к счастливой жизни, к мирному миру! Боль и слезы звенят в голосе поющего. Трижды произносит он

[42] Примечания: 42

Бима — возвышение в синагоге, где стоит стол или пюпитр для чтения свитка Торы.

древнюю арамейскую молитву; берущий за душу напев разливается по залу — подарок от человека Небесному Отцу его.

Да свершится воля Твоя, и распахнется сердце мое…
Да исполнятся наши мечты…

Слезы выступают на глазах у мужчин, с женской половины слышится плач. Обернутые в молитвенные покрывала, неподвижно стоят старики на биме синагоги. Бережно, как младенцев, держат они на руках святые свитки Торы.

И снова попадается мне на глаза мой герой. Бледный как смерть, стоит он у колонны, и взгляд его устремлен в пол. Голос кантора взбирается все выше и выше, завершая молитву на совсем уже немыслимой ноте. В зале слышится общий глубокий вздох; люди какое-то время потрясенно молчат, затем качают головами.

— Артист! — восхищенно бормочет мой сосед.

— Нет другого такого, — подтверждает другой.

Эти очень пожилые люди знают, о чем говорят. Не раз приходилось им слышать и великого Сироту, и не менее знаменитых Ройтмана и Минковского, но сегодня им кажется, что такого великолепного исполнения еще ни разу не зву-

чало в стенах наших синагог.

— Он уезжает в Америку… — по секрету шепчет третий старик.

Зато четвертый решительно не согласен с предыдущими мнениями и в подтверждение принимается подробно рассказывать о необыкновенном происшествии, которое некогда имело место в славном городе Кременчуге. Да-да, это было сорок лет назад… Так вот, один знаменитый кантор…

На биме готовятся к чтению главы из Торы. Не слушая соседей-стариков, я снова наблюдаю за странным чудаком у колонны. Он стоит неподвижно. Капельки пота и слез блестят на бледном лице. И вдруг, словно вспомнив о чем-то, он оборачивается к большим настенным часам, которые висят над дверью синагоги. В глазах моего героя появляется выражение тревоги, и он начинает быстро пробираться к выходу.

3

Я выхожу за ним и вижу, как чудак поспешно торит себе дорогу в уличной толпе. Город залит светом, люди торопятся по делам. Середина недели, обычный рабочий день. Похоже, что глубокое волнение, которое только что сотрясало сердце

моего героя, бесследно рассеялось в суетливой городской толкотне, в многоголосом городском шуме. Не отрывая глаз от мятой шляпы и изъеденного молью пиджака, я следую за ним. Вот он ныряет в метро — что же, нам по пути. Чудак выходит на станции «Красные Ворота» — там же выхожу и я. Вот мы снова наверху, на большой шумной площади. Куда теперь?

Ага — я вижу, что он свернул в один из дворов. Все, конец пути? Но я не тороплюсь уходить. Ничего не случится, если постоять здесь с четверть часика. Уйти всегда можно. Острое чувство любопытства заставляет меня остановиться напротив подворотни и сделать вид, будто я разглядываю витрину. Кто он такой, этот человек? Откуда взялся? Чем занимается?

Ждать приходится недолго. Минут десять спустя на улицу выходит вроде бы тот же самый человек. Тот — да не тот! За это короткое время с нашим героем произошла поистине волшебная перемена. Теперь ему ни за что не дашь больше тридцати пяти. Исчезла мятая шляпа, испарился изъеденный молью пиджак, остались в прошлом чудовищные башмаки — один без каблука, другой — любитель каши. Перед нами — высокий, уверенный в себе мужчина в элегантном ко-

стюме и новых дорогих туфлях. Пружинистым шагом он движется по улице к той же станции метро, из которой мы только что вышли. Нечего и говорить, что я тоже не отстаю.

На сей раз мы выходим на станции «Библиотека имени Ленина». Ага, похоже, цель нашего путешествия — университет. Так и есть! Элегантный мужчина взбегает по лестнице учебного корпуса. Здесь как раз закончился лекционный час — нас встречает звонок, студенты выходят на перерыв. Мужчина поднимается на третий этаж, поворачивает влево и привычным движением открывает дверь аудитории. Выждав минуту-другую, вхожу за ним и я.

Большая, на сто — сто двадцать человек, аудитория кажется переполненной. Где же мой герой? Да вот же он — стоит на кафедре! Сто пар глаз устремлены на него, ловят каждое его движение. Как опытный дирижер, мой бывший чудак из синагоги поднимает руку, сигнализируя о начале лекции, и студенты дружно встают, приветствуя уважаемого профессора.

— Товарищи, — произносит он звучным голосом, — сегодня мы продолжим тему комплексных чисел…

— Кто этот лектор? — шепотом спрашиваю я,

склоняясь к уху своего соседа.

Студент смотрит на меня, как на глупца. Весь его вид говорит: «Как?! Вы не знаете этого человека?! Как можно не знать этого человека? Такого человека!»

— Профессор Зистерман, доктор физико-математических наук!

Я благодарю и на цыпочках покидаю аудиторию. В отличие от удивленного студента, я теперь точно знаю, что, помимо вышеупомянутых университетских титулов, есть у нашего героя еще один. Он — один из «вернувшихся». Один из «вернувшихся» тайно, «вернувшихся» скрытно, подобно испанским евреям-маранам четыре века назад.

Вспоминаю и не раз читанные мною описания событий столетней давности — период Ѓаскалы, период просвещения в жизни еврейских местечек. Тогда появилась у нас бунтующая молодежь, юные пророки, ищущие истину за рамками священных книг. Они звали людей выбраться из древнего, веками освященного мира, за темные горы и туманные долины — к светской науке и светскому знанию. Против них велась в то время непримиримая война не на жизнь, а на смерть.

Воевали и хасиды, и литваки-митнагдим[43] — все силы и течения иудейской традиции. Мощная волна шумных скандалов, девятый вал яростных споров прокатились тогда через наши местечки.

Прокатились и схлынули — жизнь взяла свое. С тех пор минули десятилетия, рассеялась прежняя тьма, и многое прояснилось. Пришли новые дни — противостоять этим переменам трудно даже самым фанатичным обладателям длинных пейсов и серебристых бород. Ушли в мир иной первые борцы с Ґаскалой, за ними последовали еще несколько поколений отчаянных спорщиков, приверженцев обеих воюющих сторон. А затем явилась метла Октября и несколькими взмахами решила неразрешимые споры, внесла в жизнь новый порядок и новый быт.

Ныне лишь немногие сыны Израиля вспоминают о том, что существовали некогда на этой земле ермолки, синагоги и свитки Торы. Их место заняли профессора, инженеры и доктора наук — а теперь вот еще и современные мараны, скрытые евреи, «вернувшиеся».

---

[43] Примечания: 43

Митнагдим («оппоненты», *ивр.*) — название, которое приверженцы хасидизма дали своим идейным противникам — сторонникам традиционного раввинского иудаизма. Центром этого оппозиционного хасидизму движения стала Литва.

На следующее утро, во второй день Шавуот, я снова поехал в синагогу — послушать великого Кусевицкого и помолиться в память миллионов, злодейски замученных Гитлером. И что же? В метро я вновь увидел своего вчерашнего «марана» — его сжатые губы, сосредоточенный взгляд, печальное выражение бледного лица. Он стоял в переполненном вагоне, держась за никелированный поручень, и явно направлялся туда же, куда и я. На голове его красовалась мятая рваная шляпа, изъеденный молью костюм издавал резкий запах нафталина, правый башмак все так же отчаянно молил о каше, а на левом все так же недоставало каблука. Такого человека не счел бы достойным внимания даже самый бедный старьевщик…

Теперь я частенько встречаю его в нашей синагоге, этого скрытого еврея. Возможно, мы живем по соседству. Возможно, на одной улице. А то и в одном доме. Или даже в одной коммунальной квартире… А иногда меня посещает странная мысль, что, возможно, это я сам.

1946

Дачная сага

1

Так уж заведено в этом мире, что, достигнув возраста мудрости, человек начинает вспоминать прошлое, подводить предварительные, а случается, и окончательные итоги. Отсюда недалеко и до признания печального факта: приближается старость. Кто-то пытается восстать против природы, подыскивая себе подружку помоложе и погорячее, кто-то начинает безрассудно растрачивать немногие оставшиеся силы и тем лишь приближает неизбежный конец. А кто-то принимается за строительство дачи.

Именно эта странная идея втемяшилась в голову героя нашего рассказа Давида Александровича Фридмана. Опыта в данной области у него не было никакого. Он совершенно не брал в расчет, что в наши дни строительство дачи сравнимо с форсированием библейского Чермного моря. Но даже если предположить, что все пройдет идеально и дача получится на загляденье — даже если принять на веру подобное маловероятное допущение, то все равно возникает вопрос: до-

ставит ли результат желанное удовлетворение хозяину дома?

Во-первых, недвижимость накрепко привязывает его к северному городу, к знакомым пригородным лесам и прохладным озерам. Владельцы дач редко выезжают на курорты, к благодатному морю, чистому горному воздуху и голубым небесам юга. Они обрекают себя на непрерывный труд, возню с землей, поливом, грядками клубники и на борьбу с вредителями, нагло претендующими на любовно выращенные огурцы. Во-вторых, дачное хозяйство требует постоянной заботы и беготни. Нужно где-то достать и привезти навоз. Нужно добиться починки вышедшей из строя электросети. Ой! Начал проседать фундамент! Ох! Затопило погреб! Батюшки-светы! Покосился и упал забор!

Отпуск пролетает как одно мгновение, до отказа заполненный трудами и неусыпными заботами. По сути, человек еще и не отдыхал, и вот — пожалуйте снова на завод, в контору, за рабочий стол — к надоевшим расчетам и зевкам, к привычной усталости и все тому же неумолимому старению. Когда там следующий отпуск? Ох, не скоро…

Поэтому нельзя не удивиться, узнав, что Давид Александрович Фридман, умный, практического

склада человек, отважился на подобную авантюру — строительство дачи!

Давайте познакомимся с ним поближе. По профессии Давид Александрович — инженер, вот уже многие годы работающий в одном из столичных трестов. У него еврейская внешность, дородная фигура, усы, сапоги и густой начальственный бас. Выпив сухого или сладкого вина, а то и водочки, он не прочь послушать и рассказать веселый анекдот. В такие моменты Давид Александрович любит спеть с друзьями хорошую еврейскую песню. Фридман женат, у него два взрослых сына, Мишенька и Алешенька, оба студенты университета имени Ломоносова. Но о них мы еще расскажем, а пока вернемся к даче.

Нет, как хотите, но я просто не в состоянии понять, что заставило такого разумного и совершенно вменяемого человека по собственной воле влезть в эту ловушку. Неужели он забыл о вышеперечисленных — и многих других! — проблемах и препятствиях?

Взять хоть самое начало — дачный участок. Вы полагаете, его так легко приобрести? Нет, это дело требует сложных расчетов, длительного обдумывания, тщательной проверки. Скажем, далеко ли от воды? Ведь само понятие «дача» неотделимо

от речки, купания и катания на лодке. Грош цена такой даче, где нельзя окунуться, смыть с себя пыль трудов и городских проблем.

Следующий вопрос — далеко ли до города, удобно ли добираться? Лучше всего, если дача отстоит от окраины на несколько километров и до нее можно доехать электричкой. Поезда ходят каждые десять минут, так что проблемы в этом случае никакой. Но горе дачнику, который зависит от паровоза! Эти старые гробы на колесах еле едут, пыхтят, скрипят и действуют на нервы. К тому же они отправляются с вокзала только четыре раза в сутки! Чувствуете разницу?

Далее — расстояния, которые придется преодолевать пешком. От дачи до станции, от дачи до магазина, от дачи до рынка и, конечно, обратно. Дача — не для узкоплечих слабаков. Владелец дачи просто обязан накачать себе мощные плечи и бицепсы, а также сильные ноги и крепкую спину. А иначе как он будет таскать в свои владения стройматериалы, инструменты, рюкзаки с вещами и корзины с продуктами? Но даже если ты очень силен, лучше позаботиться о том, чтобы и станция, и рынок находились в относительной близости.

Наверно, я утомил вас этими подробностями,

а ведь это, как уже сказано, только начало… А может, напротив, эти соображения покажутся полезными тем, кого интересует вопрос приобретения дачного участка. Я лично — не из числа подобных безумцев. Я скорее соглашусь глотать кипящую лапшу.

2

Случилось так, что помер в одночасье некий профессор, дальний родственник и шапочный знакомый Фридмана — помер и оставил после себя молодую вдову, а также дачный участок в Шатово, в кооперативе научных работников. Видимо, далеко не все молодые вдовы заинтересованы в дачных участках. Долго ли, коротко, но участок был предложен Давиду Александровичу, и тот, не мешкая ни минуты, отправился туда с женой Розалией Семеновной, дабы лично ознакомиться со всеми необходимыми деталями.

До Шатово — сорок минут на электричке. Профессорский участок находился на улице Фрунзе, в двадцати минутах ходьбы от станции. А еще в пятнадцати минутах от делянки научных работников протекал ручей, образующий в этом месте небольшое озерцо, вполне пригодное для купания. И не просто пригодное: если уж быть

совсем точным, то здешняя вода пользовалась репутацией целебной — заслуженно или нет, неизвестно. Говорили, что купание в озерце помогает от подагры и ревматизма.

И вот представьте себе солнечный день в середине апреля. В небе легкой походкой гуляет весеннее солнышко. Нахальный ветер подкрадывается к старым деревьям, треплет и убегает, а те снисходительно взирают на его шалости. Много всякого повидали эти толстые, испещренные шрамами стволы и ветви, но в апреле и они подвластны легкомысленному настроению, радуются солнцу, небу, весеннему молодому буйству. Кивают кронами в ответ на каждую выходку ветерка, шелестят одобрительно: «Шали, шали, шалунишка…»

Размер участка — тридцать соток, три тысячи квадратных метров, и весь он порос соснами. Как минимум три сотни сильных, высоких деревьев. Фридман внимательно обходит свое предполагаемое владение, знакомится с каждым деревом, пробует пальцем усыпанную сосновыми иглами землю и даже задирает голову, словно хочет оценить качество небесного квадрата, натянутого над данными тридцатью сотками.

Небеса выглядят вполне приемлемо. Давид

Александрович садится на пенек и вслушивается в тишину этого прекрасного, нового для него мира. Городские дороги шумны и грязны, а тут еще не сошел снег, и этот снег на удивление чист. Да, зима уже побеждена, и мир полон весеннего сияния, но этот снег так бел, так невинен… Каким далеким кажется отсюда город с его трестами, бумагами, летучками и планерками!

— Ну, что скажешь, Розочка?

Розалия Семеновна — большая любительница поговорить. Я познакомился с ней задолго до войны, когда начал бывать у Фридманов в трехкомнатной квартире на улице Кирова. Отец семейства большую часть времени проводил в тресте, так что домом руководила Розалия Семеновна. Главной ее задачей было удерживать в приемлемых рамках веселую кутерьму, которую вносили в квартиру сыновья Фридманов Миша и Алеша — те еще сорванцы.

В доме постоянно вертелись молодые парни и девушки, гости и друзья сыновей. В их числе оказался и я, когда подружился со старшим братом Мишей. В то время на лице хозяйки, приятной и доброй женщины, уже виднелись признаки увядания, хотя Розалия Семеновна добросовестно сопротивлялась им, отказываясь сдаваться на

милость старости. Она была в числе постоянных посетительниц косметического салона и вела непримиримую войну с каждым седым волоском, каждой новой морщинкой. Можно сказать, что в этом вопросе жена Давида Александровича съела не одну собаку, а целый собачий питомник.

Но сейчас ей предлагается высказать мнение по совершенно незнакомому предмету. Что ж, пожалуйста. С одной стороны, участок выглядит вполне удовлетворительно. Хороший воздух. Просто кусок здоровья, а не воздух. Что касается сосен, то она уверена, что среди них найдется удобная пара — повесить веревочные качели. Скорее всего, есть тут место и для цветочной клумбы, а также для овощных грядок. С этим, кажется, порядок. Но это — только с одной стороны. Есть и другая: участок находится далековато от станции. Кому придется таскать продукты за целый километр?

Так совершенно резонно рассуждает Розалия Семеновна. Но действительно ли слушает ее муж? Нет, он молча сидит на пеньке, и в душе его вскипает неизлечимая дачная горячка. Да-да, на самом деле Давид Александрович уже принял решение. Он смотрит на белые пятна снега, вслушивается в звуки весеннего леса, в шелест

высоких сосен, видит полные пригоршни света, бросаемые сюда из небесной голубизны. На земле лежат косые тени деревьев, ветерок шевелит прошлогоднюю прелую листву.

Решено. У него будет здесь дача.

3

После приобретения участка Фридману осталось всего ничего: построить дом. Тут следует добавить, что Давид Александрович не располагал большими денежными средствами — напротив, доступный ему бюджет был довольно скуден и требовал максимальной экономии.

Невзирая на свою инженерную квалификацию, Фридман мало что понимал в строительстве. Тем не менее, следуя известной пословице «В нужде и селедка — рыба», он решил спроектировать дом самостоятельно.

Для начала нужно было определиться с основными требованиями к плану. Будет ли это сугубо летняя дача или дом для круглогодичного проживания? Понятно, что такой вопрос нельзя решить без участия жены. Само собой, у Розалии Семеновны есть готовое мнение на этот счет. Как всегда, оно двустороннее и обоюдоострое.

Розалия Семеновна начинает с решительного

выбора в пользу зимнего дома, а затем столь же твердо отвергает этот вариант.

— Ты с ума сошел! — восклицает она. — Как ты можешь даже думать о летней дачке? У нас, чтоб они были здоровы, большие сыновья! Кто знает, как обернется жизнь?

Имеется в виду, что Мише и Алеше недолго ходить холостыми. Материнское сердце подсказывает, что первым падет младшенький: не зря же к ним едва ли не ежедневно приходит эта девица… как ее?.. — Ольга! Ох, они буквально поедают друг друга глазами! А однажды Розалия Семеновна своими глазами видела, как они целуются за портьерой. Миша другой — он серьезней и глубже, но, с другой стороны, в этом заключена его слабость. Стоит по-настоящему хваткой девице захомутать такого парня — и все, пиши пропало. Да и вообще, в последнее время у Мишеньки тоже поубавилось серьезности…

К чему она ведет? Ведь известно, что молодые парни приударяют за девушками — в этом нет ничего нового. А ведет Розалия Семеновна все к тому же вопросу о даче. Допустим, мальчики женятся и создадут семьи. Где они будут жить? Вполне вероятно, что у одного из них или даже у обоих возникнут проблемы с квартирой. Ведь мо-

лодые часто не думают о серьезных вещах, когда влюбляются. Попала вожжа под хвост — и все, понеслось, мчатся, не видя, где лево, где право!

При чем тут, спрашивается, дача? А при том, что если не выгорит у парней с нормальными квартирами, то придется им, старикам, потесниться. В этом случае пригодный для жилья зимний дом как минимум не помешает.

Но это — только с одной стороны. Есть и другая. С тем же пылом, с каким только что защищалась идея зимнего дома, Розалия Семеновна приводит столь же сочные доводы прямо противоположной направленности.

Что ни говори, а женитьба парней относится пока к области фантазий, в то время как жизнь должна определяться соображениями практического характера. У каждого еврея есть много родственников, и в условиях квартирного кризиса далеко не все они устроены так, как хотелось бы. Сможем ли мы, имея в своем распоряжении трехкомнатную квартиру и вдобавок пустующий зимний дом, смотреть в глаза, к примеру, дяде Менахему? Или племяннику Саше и его жене Анне Гавриловне? Ладно, предположим, что мы пустим их туда зимой. Но каково будет потом выгонять из этого дома вышеупомянутого Сашу,

и его жену Анну Гавриловну, и целый выводок их потомков — настоящих и будущих, — когда нам захочется пожить летом на даче? Что получается? Получается, что, если мы не хотим, чтобы дача превратилась в убежище для наших бездомных родственников и друзей, она должна подходить только для теплого летнего сезона. Только лето — и дело с концом!

Что ж, решено. После длительного обсуждения, сомнений, колебаний и прений о бюджете Фридманы останавливаются на варианте летней дачи.

4

Мазл тов! В добрый час! Готов план будущей дачи! Вот он лежит перед нами на большом листе ватмана, летний домик семейства Фридманов, прекрасный, как цветок! В студенческие годы чертежи Давида Александровича славились аккуратностью, точностью и красотой.

Конечно, план получает высочайшее одобрение Розалии Семеновны — как же без этого. Правда, в процессе утверждения автору проекта приходится выслушать длинный список соображений «за» и «против». С одной стороны… но есть и другая… — впрочем, вы уже имеете некоторое

представление о том, как высказывает свое мнение почтеннейшая Розалия Семеновна.

План предусматривает три комнаты и две веранды. По сути, это две квартирки с отдельными входами. Передняя веранда и две прилегающие к ней комнаты представляют собой одну квартиру; третья комната и задняя веранда — другую. Предусмотрена также комната на чердаке, чтобы место не пропадало.

Материал для стройки — круглые сосновые бревна, фундамент — вкопанные в землю столбы. Помимо жилого дома, проект предусматривает служебные постройки: летнюю кухню, туалет, погреб.

Теперь нужно решить проблему строительных материалов. Это один из самых ответственных этапов. Согласно строительной смете, понадобится пятьдесят кубов одних только древесных стройматериалов. Вы только вдумайтесь: пятьдесят кубов! Легко вписать такое число — бумага все стерпит, но поди-ка достань! Тут уже не до улыбок…

Но не зря говорится, что нет такого препятствия, которое устоит против удачи. Случилось так, что именно в том году, о котором идет речь, трест Давида Александровича перевыполнил

свой план настолько, что было решено премировать всех ответственных работников. И директор треста в качестве особой меры поощрения выделил своему инженеру-механику Д. А. Фридману роскошные круглые бревна длиной в шесть с половиной метров каждое! Причем совершенно даром! Даром! И после некоторой беготни Давиду Александровичу удалось в целости и сохранности переправить бревна на участок в поселке Шатово!

Каково, а? Теперь можно было приступать к строительству — вернее, к расчистке участка под фундамент. По площади дом занимал пятьдесят квадратных метров. Получалось, что нужно спилить и выкорчевать как минимум десяток сосен. Они тоже должны были потом пойти в дело.

И вот снова наступила весна — время начала великой стройки. Весна 1941 года. Давид Александрович не хотел терять впустую ни одного дня. При этом он не без основания рассчитывал на помощь от дирекции дачного кооператива, чей секретарь Надежда Сергеевна благоволила к Фридману. Неизвестно, какими правдами и неправдами ему удалось найти путь к сердцу старой девы, но она связала Давида Александровича с плотницкой бригадой Гаврилова, которая

специализировалась на дачах. Сговорились на пяти тысячах — за эту сумму Гаврилов брался построить спроектированный Фридманом дом.

Работы начались в апреле. Давид Александрович лично контролировал их ход, ежедневно наезжая после службы в Шатово. Стройка — непростое занятие. Не все идет как надо, по плану. То и дело приходится спорить с подрядчиком, менять проект, идти на уступки. Фридман осунулся, потерял сон. Он попробовал было привлечь к делу сыновей, но потерпел решительную неудачу. Розалия Семеновна наложила категорический запрет на участие Миши и Алеши. Она не позволит эксплуатировать детей! Не позволит лишать их счастливого детства! Ни за что! Дача дачей, а у мальчиков своя жизнь: учеба, общественная нагрузка, компания. Тебя, Додя, уже лишил разума и сна этот неизлечимый дачный вирус, так теперь ты хочешь заразить им еще и детей?! Наших детей, Додя! О чем ты думаешь, Додя?! У них сессия на носу!

Иными словами, в некогда дружном доме на улице Кирова возникли первые серьезные разногласия, переходящие время от времени в небольшие ссоры и даже скандалы. И я не могу не отметить, что первопричиной этих совершенно

ненужных конфликтов стала она, дача. Стоит ли удивляться, что вскоре кое-кто заговорил о ней далеко не столь дружелюбным тоном, как раньше, иногда не удерживаясь — страшно сказать! — от ругательств…

5

Два брата, Миша и Алеша, сильно отличались друг от друга по характеру. Миша умел работать с книгами и был довольно усидчивым студентом. Возможно, причиной этой усидчивости стали очки, которые он носил, — единственный из всей семьи Фридманов. А может, наоборот — испортил глаза от излишнего сидения над книгами. Так или иначе, очки придавали Мише весьма интеллигентный вид, и это, конечно, сказывалось на отношении к нему окружающих. Мне хорошо знакома эта странная зависимость судьбы человека от простого оптического прибора, сидящего у него на носу. Я ведь и сам очкарик.

Зато Алеша не был очкариком ни в каком смысле — ни внешне, ни внутренне. Широкоплечий красавец, к учебе он относился весьма прохладно, а потому и оценки получал несравнимо худшие, чем брат. Мишка учился на «отлично», в то время как Алеша нисколько не расстраивался от «тро-

ечек». Так обстояли дела в средней школе, так же продолжилось и в университете. От сессии до сессии Алеша не утруждал себя почти никакими занятиями: если экзамены начнутся только в конце весны, то зачем портить себе зиму? Успеется! За пару дней до экзамена можно вызубрить все, что необходимо. Даже если случится провал — не беда! Всегда можно назначить переэкзаменовку. Да и повторный экзамен — отнюдь не конец света. В случае неудачи студент идет в деканат и выпрашивает себе третью попытку. На то он и студент, не так ли?

Какой из этого следует вывод? Учеба может подождать, а пока Алеша займется совсем другими делами. Например, беспечной девушкой Ольгой, которая учится в том же университете имени Ломоносова и чьи взгляды на учебный процесс ничем не отличаются от Алешиных. Олечкин папа, слава богу, не инженер и не ученый. Он заведует складом большого универмага на улице Горького, и Ольга — его единственная дочь. Эта девушка знает толк в радостях жизни, в модной одежде, украшениях и красивых парнях.

Но мне ли, очкарику, осуждать девушку за девичьи слабости? Да, Оля любит походить по роскошным магазинам. Да, ее обшивает целый

полк портных. Да, брови Олечки подведены, ресницы накрашены, губы сверкают помадой, и ее неизменно сопровождает аромат дорогих французских духов. Ну и что? Ничто из вышеперечисленного не запрещено законом.

Вот какую девицу отхватил себе Алеша Фридман! Впрочем, он и сам был вполне ничего себе: высокий, плечистый красавиц, всем женщинам на загляденье. Но за все приходится платить. Отношения с такой девушкой, как Ольга, требуют уйму времени и сил. Тут уже не до учебы. Требуют они и денег. Нужно добывать билеты в кино и театр, водить подругу в приличные рестораны, постоянно дарить цветы и подарки — небольшие, но чувствительные для студенческого кармана.

Розалия Семеновна в равной степени обожала обоих своих сыновей. Вот только младшенькому приходилось помогать больше, чем старшему. Мише с избытком хватало университетской стипендии, чего никак нельзя было сказать об Алеше. И мать время от времени отстегивала сыну от материнских щедрот. Да и почему бы не отстегнуть: Давид Александрович получал весьма неплохую зарплату — тысячу двести рублей в месяц.

Так обстояло дело в недавнем прошлом. Но

теперь ситуация иная, пусть и временно. Додя с головой ушел в строительство дачи и уделяет этому предприятию не только все свободное время, но и все свободные деньги. Понятно, что Розалию Семеновну не устраивает подобный подход. Уж она-то не собирается подчинять свою жизнь какой-то там даче! А дети — это просто святое. Хоть голову о стену расшиби, но сыновей не тронь! Чем они-то виноваты, Додя? Ах, у тебя нет денег…

Нет денег — не берись за строительство дачи!

6

На участке в Шатово работали три плотника во главе с Гавриловым. Сначала подготовили площадку: свалили деревья, выкорчевали пни. Затем занялись рытьем ям для фундамента и столбов ограды. И лишь потом, уже поставив забор, приступили к строительству дома. Стены росли быстро, день ото дня.

Это поднимало настроение, да и весна хорошо влияет на человеческую душу. Так или иначе, но семейные трения по вопросу дачи пошли на убыль. Как назло, именно в этот период на работе у Давида Александровича случился очередной аврал, и он уже не мог ежедневно наведываться

в Шатово. Кто же будет следить за ходом работ? Снова вспыхнули ссоры за обеденным столом Фридманов. Наконец Алеше надоело слушать, как препираются родители, и он по собственной инициативе отправился в Шатово. И что же? Совершенно неожиданно парню понравилось! Он вернулся домой веселый и голодный — к вящей радости Розалии Семеновны. С той поры Алеша еще не раз ездил на участок, иногда вместе с Ольгой, так что проблема наблюдения за строительством решилась сама собой. Нечего и говорить, что Миша, с головой ушедший в учебники, воспринимал дачу как нечто бесконечно далекое, туманное, не от мира сего.

Весна выдалась теплой и солнечной. Меж соснами разгуливал ветерок, перемахивал через заборы, заглядывал в окна. Москвичи потянулись за город — подыскивать дачи на съем, на лето. В этом году среди желающих снять дачу нет Фридманов. У Фридманов теперь своя недвижимость, пока еще не законченная, но растущая с каждым днем. Отношения в семье тоже поправились — просто праздник весны, а не отношения!

Розалия Семеновна — преданная мать и верная жена. Не в этом ли заключается смысл ее жизни? Хорошо семье — хорошо и ей. По утрам шепчется

чета Фридманов в супружеской постели. Коротки ночи в конце весны. Открываешь глаза в пять утра, и лавина света обрушивается на тебя из окна. Возможно ли вернуться ко сну в таких обстоятельствах?

— Додя, ты спишь? — шепотом спрашивает Розалия Семеновна.

Шепотом — чтобы не разбудить сыновей, спящих в соседней комнате. Материнский слух навсегда соединен с дыханием детей незримой пуповиной. Мишка спит тихо, как птенчик. Зато Алешенька дрыхнет со вкусом, не стесняясь огласить мир раскатистым храпом.

Нет, Додя не спит. Да и как уснуть при таком обилии света? Розалия Семеновна нашептывает мужу последние известия. Миша вчера опять получил «пятерку». Профессора на него не нахвалятся. Трижды в неделю ему приходится вставать в семь утра, чтобы успеть к началу занятий. Жаль только, старшенький не может отказать себе в удовольствии поваляться в постели еще с четверть часа: потом приходится убегать второпях, не позавтракав. Розалия Семеновна решила теперь оставлять Мишеньке еду с вечера.

Она вздыхает и переходит к менее приятной теме. Эта накрашенная мадемуазель, Ольга, кото-

рая подходит нашему Алеше как корове седло… Ясно, что Ольга дурно влияет на парня. Он совсем не учится, пропускает занятия, бездельничает, думает только о своей фифе.

Давид Александрович широко зевает. Что и говорить, он тоже не одобряет этой нездоровой связи. Но таковы молодые парни, ничего не попишешь. Алеше надо слегка повзрослеть, и тогда он, конечно, станет серьезней. Если давить на сына сейчас, положение может только ухудшиться.

Теперь обсуждение переходит к даче. Если Розалия Семеновна все еще собирается устроить грядки и что-то посеять, то нужно заняться этим прямо сейчас, в конце мая. Потом будет поздно.

Грядки — душевная слабость Розалии Семеновны. Эта москвичка, мать вполне современного городского семейства, родилась в деревне Тартаковичи, недалеко от Бобруйска. Там прошли первые двенадцать лет ее жизни. Там бегала она босыми ногами по земле семейного огорода, между грядками с картофелем, капустными кочанами, свеклой. Это потом уже жизнь повернулась так, что девочка-босоножка стала столичной матроной. Но нет-нет, да и кольнет ее в сердце воспоминание о тех днях — днях простой и радостной жизни. В том числе, как это ни

странно, — и о лопате, вонзающейся в жирную огородную почву, о тяпке, о граблях, о свежем ветерке, овевающем разгоряченное от полевой работы лицо. Потому-то и решила Розалия Семеновна засеять в Шатово в этом году хотя бы три грядки. Пусть это будут для начала овощи, картофель и цветы. Конечно, почва там не бог весть какая, да и корней много, трудновато будет вскопать. Она полагает, что нужно перекопать как минимум дважды, удобрить, а потом уже сеять. Коли так, говорит Давид Александрович, нужно заняться этим в ближайшее воскресенье. И привлечь к работе сыновей, потому что одним не справиться. В ответ Розалия Семеновна вздыхает и молчит, и это молчание — вынужденное признание правоты мужа.

По спальне гуляют утренние лучи. С улицы Кирова слышен шум автомобилей, лязг троллейбусных штанг. В соседней комнате спят сыновья. Еще немного — и надо вставать, готовить завтрак, а пока можно полежать минуток десять. На крепких полуобнаженных плечах матери семейства лежат полоски весеннего света. В воображении Розалии Семеновны вдруг встает почти осязаемая картина: дача, и грядки, и веранда, и семья на веранде. И не просто семья, как она сейчас, — нет!

Мишенька и Алешенька, оба с семьями, женами и детьми… Внуки! Как весело бегают они между соснами! На столе, покрытом белоснежной скатертью, стоит пузатый сияющий самовар. Рядом — миска со свежайшей клубникой, только-только сорванной с собственной грядки. Тут же качают головками цветы, зеленеет ботва на грядках, зреют на плодовых деревьях груши, сливы и яблоки… Боже, вот так оно и выглядит, настоящее счастье!

Розалия Семеновна вздыхает и встает с постели. Теперь — к зеркалу, высматривать новые морщинки, отбивать упорное наступление старости, выставив против нее плотную линию обороны из тюбиков, баночек и склянок со всевозможными кремами и притираниями.

7

И был вечер, и было утро — день первый, воскресенье. В небе ходят чистые облака, солнце то прячется, то показывается вновь, веселые тени мечутся по земле, бегают туда-сюда. Семейство Фридманов в полном составе отправляется в Шатово. Как обычно в погожие выходные дни, электричка забита до отказа. Хорошо выйти из духоты вагона на чистый сосновый воздух!

Как приятно после пыльного шумного города окунуться в тишину и свежее сияние зелени! Как красив и радостен мир! Сосны встречают Фридманов, приветливо качая кронами: добро пожаловать, друзья! Удачи вам во всем!

Они идут со станции в сторону улицы Фрунзе. Идут и дышат полной грудью — в этом деле экономия ни к чему. На плече у Давида Александровича — две лопаты, Розалия Семеновна несет грабельки, вид у обоих весьма воинственный. Сыновья шагают впереди, и каждый несет свою ношу — узлы с провизией и семенами.

Уже издали видны свежие доски забора строящейся дачи.

— Надо бы покрасить, — озабоченно вздыхает Давид Александрович.

Правда, еще не решено, в какой цвет — коричневый или зеленый. Они входят в новую калитку и останавливаются. Вот она, земля — своя, собственная, земля частного дачного участка семьи Фридманов! На свежей траве расстилается одеяло — самое время отдохнуть от дороги под кронами сосен. Воздух прохладен и душист, небеса чисты, вокруг разливается птичий гомон, тени танцуют в обнимку с лучами солнечного света.

Плотники сегодня не работают — воскресенье и

для них тоже. Давид Александрович и Алеша обходят дом, хозяйским глазом оценивая перемены, и остаются довольны. За неделю стройка заметно продвинулась. Уже готовы стены, вставлены дверные и оконные рамы. Еще несколько дней — и можно приступать к возведению крыши. Затем придет черед потолков и полов.

Розалия Семеновна в сопровождении своего оруженосца Мишки ходит между соснами, придирчиво выбирая места для грядок. Солнце жизненно важно для любого растения, и каждому овощу — своя мера. Мера света, мера воды, мера ухода. Трудно найти достаточно светлое место на участке с таким количеством деревьев. Эти высоченные сосны затенят-задушат любую грядку. Но у Розалии Семеновны есть кое-какой огородный опыт. Посвятив поискам некоторое время и несколько кубометров рассуждений, терпеливо выслушанных старшим сыном, — с одной стороны… но есть и другая… — она останавливает свой выбор на двух-трех небольших площадках. Теперь настало время лопат.

Настало время нарушить тихую безмятежность мира. Первой вонзает в землю свой заступ Розалия Семеновна. При этом она, не умолкая, объясняет сыновьям сложную науку копания.

Дети должны в полной мере осознать, что любая работа, даже самая незамысловатая, требует определенной сноровки и умения. Да, копанию не обучают в университете, но каждому человеку лучше загодя освоить такой важный инструмент, как лопата. Поди знай, как сложится жизнь!

Парни, усмехаясь, берут в руки заступы. Подумаешь! Вонзай глубже, вынимай больше — вот тебе и вся наука. Ерунда. Поплевав на ладони, Алеша приступает к работе. И что же? Как раз у этого бездельника получается совсем неплохо. Мишка старается не отставать, но с его лица уже через несколько минут льет обильный пот. Похоже, усмешка была преждевременной…

Давид Александрович не копает. Он по-прежнему ходит вокруг дома, проверяет забор, мерит шагами расстояния, прикидывает, размышляет. Эта земля принадлежит ему, Доде Фридману. Каждое дерево, каждый кустик, каждая травинка. Слышали? Ему и только ему. И эти тени — тоже! И этот солнечный свет, и это пение птиц, и этот квадратик неба над головой. Все это — его, его собственное.

Парни старательно вгрызаются в трудную девственную почву. Первым набивает мозоли Мишка-интеллигент, но кто обращает внимание

на подобные мелочи? Алеша скидывает свою красивую рубашку — как видно, работа копателя грядок не требует соответствия последней московской моде.

— Ну, хватит! — объявляет отец семейства. — Пора и перекусить.

Никто не спорит. Розалия Семеновна берется за узел с провизией, и расстеленное под соснами одеяло превращается в скатерть-самобранку. Вступают в работу челюсти — дача явно способствует появлению зверского аппетита. Крутые яйца, котлеты, хлеб с маслом и сыром — ешь сколько влезет. Здесь же и термос со сладким горячим чаем.

После обеда мужчины выкуривают по сигаретке и ложатся на мягкую травку передохнуть. Солнце ласково смотрит на них сверху и сияет. Оно ведь всегда сияет, это солнце.

8

Эх, еврейское счастье, еврейское счастье… А ведь все шло так хорошо, по плану, по правильному разумению… И вот — на тебе!

Только-только собрались плотники подвести дом под крышу — и все пошло прахом. Гитлер объявил войну Советской стране. И сразу умень-

шились до ничтожных размеров все прежние заботы и повседневные человеческие радости — дача, грядки, зелень… До них ли теперь? Мир сразу съежился, и взгляды людей устремились в одном направлении — на запад. На запад, откуда надвигался, грозя смертью и разрушением, фашистский враг.

В начале июля сыновья Фридманов были призваны в армию. Алешу сразу послали на фронт, а Мишу отправили на Волгу, в военное училище. Трест Давида Александровича вместе с работниками и их семьями был эвакуирован в приуральский город Молотов. Перед самым отъездом Фридман поехал в Шатово — бросить прощальный взгляд на свою дачу.

Улица Фрунзе была все так же залита солнцем, все так же гулял по ней теплый летний ветерок, кроны сосен по-прежнему шумели, склоняясь над дачными заборами. Много чего повидали они в жизни, эти пожилые деревья. По-прежнему издалека был виден так и не покрашенный дощатый забор на участке Фридманов.

Давид Александрович открыл калитку. Сосны приветствовали хозяина радостным шумом. Фридман обошел незаконченное строение. Сколько времени и сил вбухал он в эти стены! А вот и

грядки, давно не полотые, исполосованные тенями от сосен. Картофельная ботва уже высунула из земли свою курчавую шевелюру, не отстает и морковь. Широко раскинулись зеленые листья — еще совсем немного времени, и в их тени появятся огурцы и кабачки.

Собрав доски, Фридман крест-накрест заколотил окна и двери. Он делал это больше для очистки совести. Много ли они помогут, эти хлипкие дощечки? Придет зима, и покинутый недостроенный дом попросту растащат на дрова, включая стены.

Давид Александрович еще раз обошел участок, прощаясь с ним, словно прощаясь с мирной жизнью. Напоследок он запер калитку, заколотил и ее — уж делать, так делать… — а потом еще долго стоял, глядя через некрашеный забор на свою неосуществленную мечту. «Мы не твои… — шелестели над его головой кроны старых сосен. — Ты вот уходишь, а мы остаемся… Прощай, человек…»

По дороге на станцию Фридман зашел в правление дачного кооператива научных работников. Секретарь правления Надежда Сергеевна, как всегда, сидела в своем кабинете над конторскими книгами. Этой сорокалетней старой деве нравил-

ся Давид Александрович, его статная дородная фигура, усы и шутливая повадка в разговоре. Некогда многолюдное, теперь правление почти опустело: остались лишь она да председатель Иван Николаевич. Хозяева дач почти все разъехались — кто в армию, кто в эвакуацию, так что у правления осталась всего лишь одна забота — охрана брошенных дач. Вот только как? Возможно, удастся договориться с поселковым советом; кроме того, на делянке кооператива осталось несколько жильцов, обладателей зимних дач — может, они помогут? Сама Надежда Сергеевна тоже пока думает жить здесь, в Шатово.

Давид Александрович желает секретарю правления всего наилучшего, оставляет ей свой предполагаемый адрес в Молотове и идет на электричку. Нахохлившиеся, глухо запертые дачи провожают его настороженными взглядами заколоченных окон. Лишь в одном дворе расхаживает одинокая белая курица, лениво клюет тут и там, затем осматривается, резко поднимая и поворачивая голову, и идет себе дальше.

До электрички есть еще время, и ноги сами несут Давида Александровича к маленькому озерцу с предположительно целебной водой. Он

минует пустой рынок, поворачивает налево — и вот оно, поблескивает перед ним своей задумчивой водной гладью. С двух сторон подступает к озерцу лес. Летняя жара, а на берегу никого. Зачем-то оглянувшись, Давид Александрович сбрасывает одежду. Сначала вода кажется холодной, но затем по телу разливается блаженное тепло. Озерцо удивительно прозрачно: дачники не успели замутить его этим летом. Фридман ложится на спину и смотрит в спокойное небо. Ах, если бы можно было лежать так подольше… очень долго… очень-очень долго…

Но нет, такова уж судьба смертного существа — испить до дна отведенную ему чашу. Давид Александрович выходит на берег и поспешно одевается. Надо поторопиться, чтобы не опоздать на электричку.

9

Я уже упоминал, что до войны частенько бывал у Фридманов в квартире на улице Кирова. Мы с Мишей дружили — нас многое связывало. Мы учились в одном университете, ходили в одной компании, вместе ухаживали за девушками, нам нравились одни и те же книги, и мечты наши тоже были очень похожи. Я был немного повыше и

посильнее, но почему-то с девушками Мишке везло больше, чем мне. Да, им определенно нравился его ровный приветливый характер. Любопытно, что Розалия Семеновна явно недооценивала Мишкины способности в этой области, а беспокоилась за Алешу, хотя на самом деле Алеше было очень далеко до старшего брата-скромняги.

С началом войны мы все разлетелись в разные стороны. Я вернулся в Москву лишь в конце 1945 года. Сразу навалились дела, и в течение нескольких месяцев я и думать не мог о том, чтобы разыскать старых друзей.

В один из летних дней я поехал в Шатово — навестить своего старшего брата. Семейный человек, он снимал там дачу на лето. Проходя по улице Фрунзе, я вдруг услышал, что кто-то зовет меня по имени. Это был Давид Александрович Фридман.

Я вошел в калитку, и мои ноги впервые ступили на участок земли, о котором вы уже слышали так много и в таких подробностях. Над головой шуршали кроны многократно упомянутых здесь сосен. Забор был по-прежнему не крашен, а дом не достроен, хотя оба сильно потемнели от времени и утратили прежнюю белизну.

Кроме Давида Александровича, на участке бы-

ли еще двое. В тенечке на разостланном одеяле сидела Розалия Семеновна, а рядом с ней — молодая русская женщина.

— Вот, приехали посмотреть, что с дачей, — сказал мне Фридман с печальной улыбкой.

Оказалось, что они здесь впервые после возвращения из эвакуации.

— А где парни, Давид Александрович?

Оба сына Фридманов погибли на войне. Алешу убили еще в сорок первом. Миша окончил офицерскую школу, воевал и в сорок четвертом даже приезжал к родителям в Молотов на побывку. Похоронка пришла в октябре того же года.

Это известие надломило родителей.

— Помнишь нашего Мишку-очкарика? — тихо проговорил Давид Александрович. — Дослужился до капитана… кто бы мог подумать…

Что я мог на это ответить? Лишь то, что Мишка был моим лучшим другом. Фридман помолчал.

— Вы собираетесь достраивать дачу? — спросил я.

Он ответил после паузы, пожав плечами. Да, видимо, будут достраивать. Нужно найти какое-то занятие в жизни, а иначе совсем плохо. Правду сказать, на что им теперь эта дача? Это — с одной стороны. Но есть и другая. У Фридманов много

родственников, в их числе и такие, которые совсем без квартир. Ты, наверно, помнишь дядю Менахема? Несчастный человек. Уже больше десяти лет живет в столице и все еще не имеет своего угла!

— Ну и, конечно, когда душа в тоске, то надо хотя бы руки чем-то занять… — все с той же печальной улыбкой закончил Давид Александрович.

Я подошел поздороваться с Розалией Семеновной. Она неподвижно сидела под деревом и молчала. Да-да, молчала. Передо мной сидела очень пожилая женщина с морщинистым лицом и безумными глазами — скорбящая мать, которую старость подмяла одним прыжком. Сейчас ей было явно не до косметического салона. Но кто же эта дама, которая примостилась рядом с Розалией Семеновной? Боже милостивый, да это же Ольга! Да-да, та самая, ветреная подружка Алеши, некогда густо накрашенная красавица, которую интересовали только платья и украшения! А вот поди ж ты — никак не может забыть своего Алешу, оттого и приехала сюда в этот день утешить, чем можно, пару старых безутешных евреев. И было в ее глазах что-то действительно настоящее, трогающее до глубины души.

Да, все изменилось здесь, все постарело — и дача, и забор, и люди — те, что выжили. Лишь солнце сияло, как раньше, голубело над головой небо, и качались много чего повидавшие старые сосны — молчаливые снизу и разговорчивые сверху. По участку легкой походкой расхаживало лето, а за ним, как утята за уткой, шли, качая головками, маленькие полевые цветы.

1946

Беженцы

1

Эшелон ползет, петляет, изгибается, растягивается по железнодорожному полотну — длиннющая красная змея-змеюка. Мерно стучат колеса. Дощатые нары делят пространство вагона на низ и верх, а человеческое месиво в нем — стариков, женщин, детей — на «нижних» и «верхних». Лиля, девочка лет десяти, примостилась у распахнутой настежь отдушины. Середина сентября, лето кончилось, но солнце еще яркое. Лиля высовывает голову наружу и подставляет лицо потоку прохладного воздуха. На бледном лице девочки черные горячие глаза — пожалуй, единственное, чем она может похвастаться. Зубы ее слегка кривоваты, далеко выдающийся вперед нос усыпан веснушками, щеки чумазы, а спутанная грива волос не мыта уже очень давно.

Одним словом, некрасивая замарашка. Такой сотворил ее Создатель. Брат девочки Абка сопит рядом. Абка припал к материнской груди и сосет изо всех сил. Ему нет дела до того, что людям вздумалось родить его именно в этот ужасный

военный год: если уж родили, значит, давайте есть! День и ночь этот обжора требует грудь. Вот только по мере возрастания Абкиного аппетита соответственно уменьшается количество материнского молока. Хотя и это было бы кое-как терпимо, если бы не дедушка. Он лежит здесь же на нарах — глаза закрыты — и стонет, не переставая. Так и лежит, так и стонет, с тех самых пор, как они оставили родное украинское местечко. Лицо деда побелело, щеки ввалились, и каждую минуту слетают с его губ стоны слабой умирающей старости.

Лиля подставляет лицо встречному ветру. Ей кажется, что поезд стоит, несмотря на колесный перестук и скрежет старых теплушек. Поезд стоит, а навстречу ему ползут болота, долины и этот редкий уральский лес во всем многоцветье красок наступающей осени.

Первые дни их путешествия были очень опасными. В небе слышался гул немецких самолетов, которые в любую минуту могли обрушить на эшелон смертоносные бомбы. Взрослые сжимались от страха; глядя на них, пугались и дети. Сейчас опасность бомбежек миновала — поезд пересек Волгу, сюда немцы не долетают. По этой причине отменили и светомаскировку. Теперь вечерами

можно зажигать свет, а не сидеть впотьмах, как раньше.

Ночами в вагоне приходится плохо. Холодно так, что зуб на зуб не попадает. Особенно утром, когда Лиля окончательно просыпается, — в такие моменты уже никак не согреться. Как она ни сворачивается в калачик под одеялом, как ни старается завернуться в пальтишко, ничего не помогает. Холод проникает сквозь все покровы, леденит пальцы ног, хватает за сердце, поселяется в животе. Иногда девочке становится так плохо, что на глаза наворачиваются слезы, и она тихонечко плачет, отвернувшись к стене вагона. Громко плакать нельзя — проснется мама, а разбудить маму Лиля боится больше любого холода.

Мама сильно изменилась в последнее время, так что и не узнать. С тех пор как папа ушел добровольцем в армию, с тех пор как они втиснулись в эту несчастную теплушку, с тех пор как свалился дед, мама просто стала другим человеком. Лиля помнит ее доброй, ласковой, мягкой — какой и должна быть мама, какими и были все мамы в их большой коммунальной квартире. Теперь материнское лицо всегда напряжено, будто в ожидании удара, — нет ни обычного смеха, ни привычной улыбки.

Дедушка опять стонет. Лежит себе на нарах с закрытыми глазами и стонет, не переставая. Колеса стучат, вагон скрипит, а дед стонет.

Несмотря на тяготы дороги, бывают у Лили и хорошие минутки. В теплушке сорок человек, большая компания, есть среди них и весельчаки. Им приходится несладко, как и всем остальным, но, в отличие от остальных, они как-то держатся, ухитряются обмануть тоску и дурное настроение. А еще есть у Лили кукла по имени Мотя — она тоже помогает. Честно говоря, до войны розово-сиреневая целлулоидная Мотя выглядела получше. Пухленькие ручки и ножки, яркий румянец на щеках, две золотистые косички — просто куколка, иначе и не скажешь. Но проклятая война словно накинула на весь мир свою черную копоть — в том числе и на Мотю. Прекрасные волосы оторвались, пропало и красивое шелковое платьице. И все равно Мотя еще хоть куда — одни румяные улыбающиеся щечки чего стоят!

Абка причмокивает губами в полусне. Только этим и занят целыми днями — ест да спит. Попробуй оторви его от груди, пока не доел, — крику будет на весь вагон. Дед приоткрывает глаза, губы его шевелятся в неразборчивом лепете. То, что он

хочет сказать, понимает теперь лишь мама.

— Лиля, подай дедушке горшок!

Обычно это делает мать, но сейчас ей не оторваться от Абки. Девочка берет вонючий горшок и, отвернувшись, подставляет его под больного. В теплушке много детей, но никто из них не играет с Лилей. Матери не позволяют — боятся заразы от дедушкиной болезни. Так и сидят Лиля с Мотей в сторонке, в дальнем, отведенном для больных, углу нар. Кроме Лили, деда и матери с Абкой, здесь еще и Фельдманы. Отца семейства, Семена Израиловича, мучает постоянный кашель. Его покрытое рыжеватой щетиной лицо искажено гримасой боли, глаза лихорадочно блестят. Подозревают, что Фельдман болен туберкулезом, а это заразно. Семен Израилович не только кашляет — он еще и читает. Интеллигентный человек, не отрывает глаз от книги. Хотя нет — иногда он взглядывает на Лилю и улыбается ей вымученной, но доброй улыбкой.

У Фельдманов дочь, ее зовут Роза. Роза — ровесница Лили и чем-то напоминает довоенную Мотю: золотистые волосы, голубые глаза, округлые румяные щеки. Было бы хорошо поиграть втроем, но мама Розы не разрешает ей приближаться к Лиле и Моте. Вот и приходится Лиле

целыми днями просиживать у открытой отдушины.

Поезд замедляет ход, слышен стук вагонных буферов. Останавливается и мир за окном — влажный, красивый, прохладный. Эшелон замирает на месте. Видимо, будут пропускать встречный поезд или даже попутный. Так уж повелось с беженскими эшелонами — они больше стоят, чем едут. Стоят, и стоят, и стоят — часами на перегонах, сутками на станциях.

2

Эшелон стоит. Кто-то из «нижних» спускает из двери лесенку, упирает ее конец в землю под небольшим наклоном. Эта лесенка — как мост из теплушки во внешний мир. В мир, который на время остановился, прекратил свое неторопливое движение навстречу Лилиному лицу.

Шестой час пополудни. День еще не сдался на милость вечера, но в спокойном воздухе уже слышатся нотки увядания. Прохладное солнце зависло на западном краю горизонта, вокруг — меркнущая зелень и желтизна осени. По вагонам передается команда: готовить еду! Приказы здесь отдает комендант эшелона Гордин — суетливый еврей в сапогах и галифе. Он ведет переговоры

на станциях, ругается с местным начальством, умоляет чиновников, от которых зависит судьба поезда и его пассажиров. Он же отвечает за получение хлеба и распределение его между обладателями продовольственных карточек. Насколько от него зависит, Гордин старается облегчить жизнь измученным бесконечной дорогой людям.

Команда «готовить еду» означает, что поезд простоит на перегоне как минимум несколько часов. Иными словами, есть время на то, чтобы развести костерок и сварить картошку или пшенную кашу.

Лиля спускается по шаткой лесенке. Перед ней замерла в неподвижности длинная лента эшелона. Вагоны справа, вагоны слева. Двери теплушек открыты, евреи спускаются и поднимаются по наклонным лесенкам. Дети уже бегут наперегонки собирать валежник. Сухие ветки, засохшие сосенки, хвойные иглы и шишки — все идет в дело, нет времени выбирать.

Лиля тоже ищет подходящее топливо. Осмотревшись в придорожной рощице, она замечает подгнивший ствол. Деревце уже мертво, но корни еще держатся за землю, не дают упасть. Лиля подпрыгивает и, ухватившись повыше, пробует

вывернуть сосенку наружу. Но нет, у девочки явно недостает сил на такой подвиг.

— Хорошее бревнышко… — слышится голос за ее спиной.

Это Боря, двенадцатилетний парень-оторва. Лиле Боря не нравится. Впрочем, Боря не нравится большинству беженцев. Да и кому может понравиться такой неопрятный хулиган?

— Очень даже неплохое… — повторяет Боря и небрежно сплевывает сквозь зубы.

Вдвоем с Лилей они выворачивают сосенку из земли, из кучи прошлогодней жухлой листвы и хвойных иголок. Для этого приходится немало потрудиться, но вот деревце уже не стоит наклонившись, а лежит перед ними, беспомощно уставив вверх полусгнивший комелек. Затем Лиля и Боря, пыхтя и напрягая все силы, тащат драгоценную добычу к эшелону. Там стоит возле вагона Розочка Фельдман — голубые глазки, золотистые волосы.

— Вот, Роза, принес тебе дрова! — без всякого стеснения объявляет наглец Боря и берется за топор.

— Как тебе не стыдно?! — возмущенно кричит Лиля. — Это ведь я нашла!

— Пошла к черту, корова! — нахально отвечает

хулиган.

Лиля стоит перед ним — грязная, некрасивая, несчастная — и лишь глаза пылают на ее лице, как два черных уголька. Не так много, но, взглянув на эти угли, Боря чувствует некоторое смущение. Розочка — мирная девочка, Розочка не любит ссор и тем более драк.

— Бревно большое, — говорит она, — хватит на всех нас.

Боря принимается рубить бревнышко на дрова. Он работает яростно, зло — только щепки летят.

— К черту! — выпаливает подросток между ударами. — Пошла к черту!

Невзгоды, обрушившиеся на голову Лили в последнее время, изменили девочку, вынудили приспосабливаться к новому миру и своему положению в нем. Теперь ей кажется, что насильственная смерть, несправедливость и несчастья — неотъемлемая, естественная принадлежность бытия. Таков, значит, мировой порядок — нужно принять это к сведению и вести себя соответственно. До войны все было по-другому. До войны были и счастье, и радость, и другие, добрые, люди. Сейчас все иначе: холод, голод, зло. Сатанинские силы правят миром, решают, кому жить, кому умереть. Надо смириться.

Лиля снова отправляется в лес и некоторое время спустя возвращается с охапкой хвороста. Возле теплушек уже горят небольшие костры. У каждой семьи припасена пара закопченных кирпичей — их ставят в костерок, а на них — миску, котелок или чайник. Пшенка или картофель — вот обычная пища беженцев. Лилина мама варит на сей раз картошечку. Вот уже видны на стенках котелка пузырьки — значит, скоро вода закипит. Абка-обжора спит на маминых руках. Даже во сне он сосет соску — похоже, этот парень никогда не устает. Дедушка по-прежнему лежит с закрытыми глазами на нарах и стонет. И ведь не надоест ему… Почти все ходячие обитатели теплушки выбрались наружу — глотнуть свежего воздуха. Рядом с эшелоном кипит жизнь, а отойти на десять шагов в лес — тишина, безмолвие, разноцветный сон осени. Никому нет дела до этого поезда, до беженцев, до людского страдания.

Женщины колдуют над горшками, ждут, когда вскипит, когда сварится, смотрят, чтоб не подгорело. А детей разве удержишь? Как выясняется, поезд встал недалеко от станции. Мальчишки уже добрались до нее, разведали, где что есть, и теперь гоняют тряпичный мяч на площади. Девочки здесь же — бегают наперегонки. Кро-

шечный приуральский полустанок — два-три деревянных барака и кирпичное здание станции. У входа висит медный колокол, слева от него — почтовый ящик. И все — лишь хвойный лес вокруг, елки да сосны, да еще березняк тут и там. Солнце садится, бьет напоследок лучами по оконным стеклам. Из леса тянет на станцию вечерней прохладой. Звенят в воздухе комары, мошки групповыми танцами провожают умирающий день.

Возле эшелона один за другим гаснут костры.

— Лиза! Нина! Семоша!

Это матери зовут детей обедать. Поспела пшенка, сварилась картошечка… После скудной трапезы начинают приставать к коменданту: «Эй, Гордин, когда поедем?» А Гордину-то откуда знать? Он и сам ждет ответа от железнодорожного начальства. Нелегкая это должность — быть комендантом такого поезда… Ждут прохода воинского эшелона, должен быть через час, а когда будет — про то только железнодорожный бог и знает. Все, кроме спящих и больных, снова вылезают из теплушек размять ноги.

Сгущаются сумерки. Лиля сидит на рельсе в стороне от играющих детей и смотрит, как темнеет над лесом последняя светлая полоска. Может,

пойти к играющим? Нет, девочка опасается Бори. Как примет ее этот нахальный хулиган? Вообще-то она нисколько не боится его… ну разве что чуть-чуть. Лиля украдкой наблюдает за Борей — то взглянет, то отвернется.

Небо над горизонтом исчерчено разноцветными полосами. Звезды еще не выглянули, но мир и без них волнует некрасивую девочку своей таинственной красотой, прохладной тишиной, молитвенным шепотом деревьев. Лиле хочется плакать.

Тем временем мальчики устраивают состязание: кто дальше пройдет по рельсу, не соскочив и не потеряв равновесия? Один за другим они пробуют свои силы, балансируя широко разведенными руками, и один за другим соскальзывают, не удержавшись. Другие мальчишки встречают каждую неудачу свистом и градом насмешек. Но вот приходит очередь Бори. И что же? Он бежит по рельсу с такой легкостью, как будто шагает по ровной земле! Босой и неопрятный, этот подросток скроен из хорошего материала. Он уже давно миновал отметку, до которой добрался самый сильный его соперник, и теперь продолжает дальше, улучшая и улучшая новый рекорд. Шаг, еще шаг, и еще, и еще… — этак скоро он дойдет до

Лили! Она сидит неподвижно, как зачарованная, не отрывая взгляда от босоногого рекордсмена.

— Эй, корова, с дороги! Прочь! — кричит Боря, приближаясь к ней с неуклонностью паровоза.

Все девочки для него коровы, для этого дурака. Лиля не трогается с места; в ее устремленном на мальчишку взгляде — смесь восхищения и злорадства. Боря открывает рот, чтобы прикрикнуть на нее еще раз, и — соскальзывает с рельса! Вне себя от ярости, он набрасывается на Лилю, толкает ее, обзывает последними словами. В глазах у девочки темнеет, и она не может сдержать слез.

— Тьфу, плакса! — презрительно припечатывает Боря.

Нет в его хулиганском сердце ни капли милосердия. Собравшись в кружок, дети молча смотрят на плачущую девочку. Трудно жить так — обиженной на глазах у всех, некрасивой, отверженной, обруганной.

3

Перейдем теперь к старикам. Они тоже повылезали из теплушек и, сев в кружок, толкуют о том о сем на идише — маме-лошен, материнском языке. Тут собрались евреи всех видов и сортов. Есть правоверные, чьей бороды, как и положе-

но, никогда не касались ножницы. Есть такие, кто бородат наполовину, без какой-либо задней мысли, просто так, для красоты. А есть и вовсе гладко выбритые — эти вообще живут без растительности на испещренном морщинами лице. Зато в том, что касается морщин, все тут похожи друг на друга.

Кто-то любит поговорить, кто-то послушать. Реб Зильберман — из первых. Этот видный высокий старик сидит в центре кружка, и речи его полны оптимизма. Никто, даже самый дипломированный стратег, не сдвинет Зильбермана с его твердой позиции. Гитлер потерпит поражение — это ясно старику как дважды два. Наша Россия велика и не показала еще даже половины своей истинной силы.

Другие евреи вздыхают. Пришел слух о падении Киева. Фашисты приближаются к Ленинграду, Одессе, Москве. Что будет, Боже милостивый?.. Зильберман отметает эти разговоры презрительным движением руки. Он не из тех, кто верит в досужие слухи. А кроме того, во время Гражданской войны Киев переходил из рук в руки тринадцать раз, и что? Нет, мир не вернется к былому беспорядку.

Кто-то рассказывает о своем несчастье. В дни

паники и всеобщего бегства куда-то запропастились его дочь и внук-младенчик. На сборы дали всего два часа: как можно успеть за такое время? Как попрощаться с домом, где провел всю жизнь? Кое-как собрались, бросились на станцию, насилу добрались. Немцы уже подошли к местечку вплотную, бомбили пути, люди, как безумные, метались между вагонами. Там-то, в этой невообразимой сутолоке, и потерялась дочка с младенцем на руках. Потерялась! И что говорит ему на это жена Нехама? Коли так, говорит, то и я остаюсь! Да как же ты останешься, когда вокруг падают бомбы, когда за городом слышны немецкие танки, когда последний поезд дает последний гудок и трогается с места? Ты как хочешь, Нехама, сказал он тогда жене. Ты как хочешь, но я уезжаю! А ты продолжай тут сходить с ума!

Он рассказывает свою историю, и лицо его дрожит. И все вокруг смотрят на этого пожилого еврея — смотрят и думают, что если не найдет он своих родных, то дрожать этому лицу до скончания дней… Повздыхав, продолжают беседу. Кто-то другой рассказывает что-то другое. Другое, но похожее. Многие тут растеряли родных и близких в неимоверной панике эвакуации. Старый

Зильберман подзывает к себе девочку Лилю:

— Подойди ко мне, девочка.

Есть в этом старике какая-то основательность, его голос и вид внушают уверенность. Лиля смущена — она вообще довольно застенчива. Но Зильберману не откажешь, и девочка подходит поближе.

— Ну что, как себя чувствует дедушка?

Лиля пожимает плечами. Она не знает. Знает только, что дедушка лежит весь день с закрытыми глазами и стонет. Зильберман усаживает ее к себе на колени. Это приятно. Приятно знать, что не все еще ополчились друг на друга, что есть и такие, кто приласкает тебя просто так, ни за что.

Старики возвращаются к политике, и Зильберман снова заглушает всех сомневающихся. Красная армия еще покажет Гитлеру, как кончают в этом мире злодеи Аманы[44]. Старик говорит внушительно и безапелляционно, и собеседники верят, кивают, вздыхают с облегчением. С неба опускается на полустанок ночь, холодная осенняя тьма. Поднимается ветер, задирает полы пальто, пробирает до костей. Сейчас еще ничего, а вот

---

[44] Примечания: 44

Аман — персонаж книги Есфирь, высший чиновник при дворе персидского царя Артаксеркса; Аман задумал уничтожить всех евреев, но был казнен.

утром будет намного хуже. Утром никак не согреться, как ни кутайся во все доступные тряпки.

Дети тоже готовятся к ночи. Маленькие уже давно сидят по вагонам. Подростки жмутся к старикам, слушают взрослые речи, перешептываются между собой. Заводилой, как всегда, Боря. Лиле хочется туда, в круг сверстников. Хочется, но страшно: она ведь отверженная, с ней не играют. Бочком-бочком приближается девочка к детской компании. На помощь к ней приходит Роза Фельдман:

— Лиля, иди сюда!

Но дело не в Розе, дело в Боре. Парню всего двенадцать, но он изображает из себя взрослого и даже пытается курить. У Бори — ни матери, ни отца, оттого-то и стал он таким беспризорником. Говорят, что он лазает по чужим карманам, подворовывает деньги и еду. Большинство взрослых сторонятся этого подростка и запрещают детям играть с ним. Но есть в эшелоне и добрые души, которые не гонят Борю и подкармливают его время от времени. Сверстников к этому хулигану тянет как магнитом. Вот и сейчас все смотрят на него. Боря негромким солидным голосом рассказывает то, что видел своими глазами.

Он жил в далеком западном местечке и чудом

спасся от фашистов. Те въехали в местечко на мотоциклах — целая колонна мотоциклистов в кожаных регланах и с пулеметами. А за ними — танки! Местечко в жизни не слышало такого рева моторов. Было ясно с первого взгляда, что не стоит ждать ничего хорошего. Во всяком случае, это было ясно Боре. Он сразу понял, что пора сваливать. И свалил. Он ведь такой, Боря: понял и — р-раз! — сделал. Как это у него получилось? Ха, об этом можно рассказывать тысячу и одну ночь. Да это сейчас и не важно. Сейчас Боря едет в Ташкент к дяде — вот что важно. Там у дяди семья.

— А как они выглядят? — спрашивает, затаив дыхание, один из мальчишек.

— Кто?

— Фрицы…

Боря бросает на спросившего презрительный взгляд и длинно сплевывает в темноту. Ха! Этот сопляк ни разу не видел настоящего фашиста! Впрочем, никто тут в жизни не видел фашиста — кроме него, Бори. Ха!

— Фриц ходит в подкованных сапогах, — снисходительно объясняет он. — Глаза страшные, в руках автомат, и стреляет без остановки. Кто на пути ему попадется — сразу смерть.

— И еще они убивают всех евреев, — вносит

дополнение кто-то из детей.

Из головы эшелона слышен вздох паровоза. Одна из девочек встряхивает головой и запевает песню о Катюше: «Расцветали яблони и груши…» Песня хоть и задорная, но звучит отчего-то грустно. Вдоль вагонов торопливо проходит комендант Гордин. Впрочем, он всегда тороплив.

— Ну, Гордин, сколько еще стоять? — спрашивает Зильберман.

— Видимо, полчаса, — бросает на ходу комендант. Зильберман вздыхает и хлопает себя по коленям.

— Коли так, евреи, мы еще успеем помолиться.

Вагон, где лежит дедушка Лили, служит для разных общественных целей. Сейчас это «клойз» — импровизированный молитвенный дом. Старики, кряхтя, поднимаются по наклонной лесенке, споласкивают руки. Зажигается маленькая масляная лампада, и вот уже звучат в теплушке первые слова вечерней молитвы маарив. Глухие, едва слышные, они поднимаются ввысь, над горами Урала, летят все дальше и дальше. Дрожит хриплый голос старика, ведущего молитву — голос слабый и болезненный.

Издали слышны свисток приближающегося паровоза и нарастающий стук колес. Спустя минуту

мимо проносится встречный поезд. Мелькают вагоны и платформы с обернутыми маскировочной тканью пушками, танками, грузовиками. С надеждой и радостью глядят беженцы на это впечатляющее зрелище, а из вагона-клойза летит вслед боевой технике хриплая стариковская молитва. Ах, если бы молитвы могли превратиться в бомбы — с какой силой они бы обрушились на проклятые фашистские головы! Но вот воинский эшелон прошел, смолк перестук колес, растаяли в ночной тьме красные огоньки замыкающей теплушки.

— По вагонам! — летит вдоль эшелона приказ Гордина.

Это значит, что поезд вот-вот снова тронется в путь. Молитва закончена, старики разошлись по теплушкам. Гаснет лампадка, тьма окутывает дощатые нары. Еще не задраена железная заслонка оконца-отдушины, так что Лиля может пока высунуть наружу голову и смотреть на звезды. Рядом стонет больной дед, кашляет Фельдман.

— Тате, как ты себя чувствуешь? — спрашивает дедушку мама.

Нет ответа. Вместо деда отвечает паровоз — длинным трубным гудком. Звук проносится над темным полустанком, тонет в лесах и болотах.

Лиля заворачивается в пальто и одеяло, но не с головой, чтобы оставить про запас возможность дополнительного согрева. С головой она закутается утром, когда станет совсем невмоготу от холода. Глаза девочки слипаются. И хорошо, что так — мир теплушки, в отличие от заоконного, скуден и уродлив. Только вдруг выплывает из этого скудного и уродливого мира лицо беспризорника Бори. Держась за руки, они бок о бок шагают по железнодорожному пути, скользят по блестящим рельсам все дальше и дальше, за горизонт. Босые ноги уверенно ступают по узкой стальной полосе — как по широкому бульвару, а впереди — спокойная и радостная довоенная земля.

Звякнув буферами, трогается с места эшелон. Мерно стучат колеса, беженцы засыпают в темных теплушках. Минута, другая — и опустел крошечный полустанок. Нет ни огонька — лишь непроглядная тьма вокруг, лишь ночное безмолвие глухого приуральского леса.

4

Утром дедушка не проснулся — умер, когда все спали. Лиля почувствовала его смерть сразу, едва открыв глаза. Абка спит, мама, утирая слезы, во-

зится с вещами. Дедушкино лицо укрыто темным платком. До войны дедушка был добр и весел, баловал Лилю, шутил. Но сейчас война, сейчас дедушка мертв.

Лея, жена Ицхака Зильбермана, стоит посреди теплушки и торопит маму. Наконец мама вытаскивает из узла то, что искала, — две простынки для погребального савана. Лея Зильберман готова помочь важному делу — сшить для дедушки его последнее одеяние. Есть в поезде несколько женщин, которым знакомо это печальное ремесло. Вообще, в эшелоне уже давно действует подобие общинной погребальной службы — «Хевра кадиша». К несчастью, она ни дня не простаивает без дела.

В теплушку входит врач — констатировать смерть и установить ее причину. Это немолодая женщина с коротко обрезанными седыми волосами, из-под ее пальто торчат полы белого халата. Лицо у врачихи желтое, такое же, как у деда. Она осматривает мертвеца и выписывает свидетельство о смерти. Что делают с дедом дальше, так и остается неизвестным, потому что в этот момент в теплушку возвращается Лея Зильберман и уводит Лилю с собой. Со станции принесли полный чайник кипятка — как выясняется, это для девоч-

ки. Жена Зильбермана моет Лиле голову, руки, лицо… Душистое мыло пахнет довоенным временем. Розовая пена, теплая вода — все как раньше. Лея тщательно расчесывает волосы девочки, укладывает их в красивую прическу и в завершение повязывает черный шелковый бант. Теперь видно, что Лиля вовсе не так уж и некрасива. Ей вручаются ломоть хлеба с маслом и огромное антоновское яблоко. Яблоко отливает желтизной, у него восхитительный кисло-сладкий вкус. Лиля откусывает маленькими кусочками, понемножку, чтобы запомнить на всю жизнь. Она не съест все сама — это уже было бы слишком. Вторую половину нужно отнести маме.

Дед лежит, закутанный в саван, но его желтое лицо открыто. Нос заострился, на давно не бритых щеках — седая щетина. Разве это дедушка? Совсем не похож. Рядом с полотном торопливо копают могилу. У «Хевра кадиша» нет лишнего времени — нужно завершить работу до отхода эшелона. Комендант Гордин ведет переговоры с железнодорожным начальством. Время отправления — через два с половиной часа. Значит, и похороны не могут продолжаться дольше. Военное время, поезд ждать не станет. Хорошо, что почва на этот раз попалась легкая — песок с

глиной, а то ведь бывает и каменистая.

Небо хмурится, но дождя пока нет. Ветер треплет кроны деревьев, шелестят разноцветные листья. Яма готова, деда опускают туда.

— Прости нас, реб Шмуэль, — говорит один из стариков.

Лиля стоит у края могилы. Умытая и красиво причесанная, с черным бантом на голове, она должна бы чувствовать себя неплохо — особенно после яблока. Но сердце девочки полно отчаяния и страха. Боря здесь же, неподалеку — босой, как всегда, переминается с ноги на ногу, подрагивает от холода. И хотя взгляд у него сегодня другой, совсем другой, Лиля изо всех сил сдерживает слезы, чтобы не нарваться на насмешки безжалостного хулигана. Люди из «Хевра кадиша» принимаются забрасывать деда землей. Не проходит двух-трех минут, и вот уже высится перед Лилей невысокий холмик.

Другой старик высоким надтреснутым голосом запевает молитву «Эль мале рахамим»[45]. Тоскливый мотив летит вдоль неподвижного эшелона, взвивается в небо, и Лиля уже не может больше сдерживаться — уж больно печальна эта

---

[45] Примечания: 45

«Эль мале рахамим» — поминальная молитва.

прощальная песня. Но девочка все равно не ударяется в рев, а плачет потихоньку, украдкой, глотая и смахивая слезы. Затем произносят кадиш.

— На кого ты нас оставил, папа? — восклицает мать.

Она плачет, не стесняясь и не боясь никого, даже Бори; рядом всхлипывают и другие женщины. Что ж, коли так, то, наверно, можно поплакать и Лиле. Девочка присоединяется к общему плачу. Многие еврейские глаза пролили слезы в тот страшный год, из многих еврейских глоток вырвались в небо стоны скорби, боли, отчаяния. Желтый холмик земли на Богом забытой станции — вот и все, что досталось дедушке. Ни надгробья, ни надписи — ничего. Эшелон вот-вот уедет, а он останется здесь, один-одинешенек, и никто не придет навестить его. Новые беды и невзгоды навалятся на живых, затуманят память об ушедшем.

— По вагонам!

Значит, пора. Паровоз свистит, вздыхает, выпускает клубы белого пара. Люди разбегаются по своим теплушкам. Торопится вслед за матерью и Лиля.

— Погоди! — вдруг кричит ей Боря.

В голосе его не слышно неприязни. Перед Ли-

лей — бледный босоногий еврейский мальчик с печальными глазами. Лиля останавливается, быстро смахивает слезы. Нет, она вовсе не кажется некрасивой. Подростки молча смотрят друг на друга.

— Не сердись на меня за то бревно, — неловко говорит Боря и сплевывает сквозь зубы. — Сегодня принесу тебе сколько хочешь…

— Лиля! — кричит мама, высунувшись из открытой двери теплушки.

Другие тоже зовут, машут руками. Паровоз уже дал гудок, время поднимать лесенку. Лиля вытаскивает из кармана сбереженную половинку яблока и протягивает Боре.

— На, держи! Я побежала!

Она мчится к своему вагону и взбирается туда в самый последний момент, так что соседи по теплушке едва успевают поднять лесенку. Эшелон набирает ход. Борю никто не зовет, о Боре никто не беспокоится. Но ему и не нужны опекуны. Жуя на ходу яблоко, подросток делает несколько быстрых шагов и легко вспрыгивает на подножку.

Лиля забирается к себе на нары, и мать встречает ее сердитым выговором:

— Где ты бегаешь?! Совсем одичала!

Глаза у мамы красны от слез. Веселый, доволь-

ный Абка сидит на дедовском матрасе. Скудный завтрак: хлеб, селедка да чай. Семен Израилович Фельдман утешает маму умным разговором, цитирует Тору, вспоминает Талмуд.

— Что такое человек? — печально вопрошает он и сам же отвечает: — Полевая трава. Живет и умирает…

Дни его жизни тоже сочтены, смертельная болезнь пожирает легкие этого человека. Умен и начитан Семен Израилович, знает много всяких сложных вещей. Сейчас он держит в руке книгу рассказов Станюковича.

— Так уж устроен мир, соседка… Кто знает, может, так лучше и для него, и для вас. Неизвестно, как все сложится у тех, кто еще жив.

Фельдман разводит руками — и книгой Станюковича, заложенной пальцем на двухсотой странице. Мама молча жует хлеб и селедку. Снаружи нависло над миром низкое небо. Ветер нагоняет тучи — наверно, скоро хлынет, придется закрывать дверь и отдушины. На Урале много лесов, долин и промышленных городов. Как сложится жизнь?

Абка хватает за ногу куклу Мотю и яростно трясет ею в воздухе. Мотя болтается туда-сюда, Абка смеется. В теплушке пахнет чем-то кислым.

Медленно стучат колеса.

После сорока дней пути эшелон прибывает в Свердловск. Здесь находится центральный эвакопункт, отсюда беженцев распределяют дальше на восток, кого в колхозы, кого на заводы. Распределения придется ждать как минимум неделю, но такова уж судьба беженцев — ждать, ждать и ждать. Вот только Боря ждать не намерен: ему надо в Ташкент. Очень кстати подворачивается поезд, идущий в сторону Новосибирска, и Боря не мешкая вскакивает босыми ногами на подножку.

Лиля смотрит на него с платформы, сидя на увязанных мамой узлах. Ей не хочется расставаться. Взгляды детей встречаются. Что читает мальчик в устремленных на него горячих черных глазах? Он и сам не знает, да и времени на раздумья нет. Поезд уходит, неторопливо втягиваясь в туманную паутину стальных путей и тупиков большого транспортного узла. Боря поднимает руку и кричит:

— Пока, Лиля! Еще увидимся!

Обычно он обращается к девчонкам не иначе как «корова», но Лиля на сей раз названа по имени — неслыханное дело!

До свидания! Как же они увидятся, если время и

судьба вертят людьми, как игрушками, по своему разумению? Пройдут годы, родятся другие дети, будут другие вечера. Теми же останутся лишь звезды, поющие над свердловским вокзалом свою золотую холодную песню.

1946

Инвалиды

Памяти моей тети Ханчи, одной из шести миллионов

1

В начале века Рахеля сильно простудилась и потеряла слух. Ей тогда едва исполнилось десять. С той поры почти полностью пропали для нее звуки и шумы окружающего мира. Сначала к ней срочно доставили Энгерта — лучшего врача в Дилкове и его окрестностях; затем повезли в Киев и далее — в Петербург, а когда и это не помогло — в Берлин, к самым большим специалистам, какие только были тогда на свете. Увы, мир по-прежнему безмолвствовал в ушах этой черненькой девочки. Привезенный из Германии гибкий раструб позволял ей расслышать кое-какие звуки, но это громоздкое устройство оказалось настолько неудобным, что Рахеля пользовалась им только в самых крайних случаях.

Наглухо закрылся мир для Рахели, плотно законопатил все свои щели и слуховые оконца, и на лице ее застыло то особое вымученное выра-

жение, которое так характерно для обиженных судьбой калек. Поначалу все выражали ей сочувствие, но вскоре привыкли к несчастью и перестали уделять девочке внимание. Единственный ребенок в семье, она была лишена общения с братьями и сестрами, а бывшие подружки-сверстницы оставили Рахелю одна за другой.

Летом, когда выезжали на дачу, Рахеля погружалась в волшебный мир запахов, цветов и солнечного сияния. Ее душа отзывалась каждому стебельку, каждой травинке, каждому деревцу. Молчаливые и безответные, они и стали ближайшими друзьями ее одинокой глухоты.

Семья проживала в захолустном городке Дилкове, что в Волынской епархии. Жизнь текла здесь потихоньку, если текла вообще. Не била она ключом и в близлежащей деревне Пашутовка, куда дилковцы выезжали на лето. Даже Бердичев, волынский Иерусалим, был далек от того, чтобы претендовать на звание большого шумного города. Никто тут никуда не торопился, не рвался в неведомые дали. И если этого правила придерживались здесь самые сильные и здоровые, то что уж говорить о калеках… Так или иначе, бездвижное спокойствие как нельзя лучше соответствовало окутавшей ребенка тишине.

Рахеля была симпатичной черненькой девочкой с выраженной еврейской внешностью, круглыми румяными щечками и грустными глазами. Прежде веселая и подвижная, после свалившейся на нее беды она почти перестала смеяться, да и редкая улыбка выходила печальной.

Отец семейства, представительный еврейский мужчина с густым басом и добрым сердцем, занимался лесоторговлей. Он много ездил по делам и никогда не возвращался без подарков для любимой дочки. Впрочем, со временем куклы и игрушки перестали интересовать Рахелю — она с головой ушла в чтение, в книжный мир фантазий и видений. Девочка свободно читала на двух языках — идише и русском. Она без разбора проглатывала сочинения Шомера[46] и литературные альманахи, книги Дюма и Андерсена.

Шли годы. Незаметно Рахеля превратилась в статную красивую девушку. Взгляд ее был по-прежнему грустен, лицо удлинилось, тяжелые черные косы отливали мерцающим блеском. Когда дочери исполнилось восемнадцать, отец стал подыскивать ей достойного жениха. Сваты и сватьи Дилкова, Пашутовки и других окрестных

---

[46] Примечания: 46

Шомер (Нахум-Меир Шайкевич, 1846–1905) — еврейский писатель, драматург и издатель; писал на идише.

местечек без колебаний вызвались помочь состоятельному лесоторговцу, так что в возможных женихах не было недостатка. Увы, кандидаты отвергались один за другим. С точки зрения любящего отца, единственным парнем, который мог составить счастье Рахели, был Нахманке — сын его близкого друга из Кременчуга.

В те дни сватовство состояло из трех этапов: встречи, переговоров и женитьбы. Встреча прошла лишь наполовину удачно — Нахманке, парень с мечтательными глазами, был весьма впечатлен красивой внешностью и скромным поведением девушки, зато Рахеля не скрывала разочарования. В ее книжных фантазиях царили графы и герцоги, развевались рыцарские знамена, и благородные паладины склонялись к ногам томных дам своего сердца. Бледный и тощий еврейский паренек, большую часть времени корпевший над священными книгами, мало походил на прекрасного принца на белом коне.

Что и говорить, тогдашняя Рахеля имела весьма отдаленное представление о реальной жизни. Тут бы отцу и напомнить ей об истинном положении дел. Но он не стал настаивать, не желая принуждать любимую единственную дочь. Рахеля получила отсрочку и, облегченно вздохнув,

вернулась к своим книжным полкам.

2

Узок и ограничен был мир глухой девушки. Весь день ее проходил в шести комнатах родного дома. Отец большей частью отсутствовал, разъезжал по делам, возвращаясь в семью лишь по субботам и праздникам. В доме оставались только женщины: Рахеля, мать, бабушка и служанка Кайла. Временами в комнатах стояла такая тишина, что даже обладателю самого тонкого слуха могло бы показаться, что он оглох. Лишь время от времени слышались тут и там робкие звуки, скромные шорохи — не более того. Рахеля сидела в кресле у окна и читала, уносясь мечтой в сияющие дали. В тот год ее воображением владели Гюго, Гофман, Тургенев и Жорж Санд.

По соседству находился клойз — небольшой молитвенный дом, и иногда, по субботам и торжественным дням, его постоянные посетители собирались у отца на праздничную трапезу — поесть, поговорить и попеть старые хасидские песни. Отец любил принимать гостей и всегда звал к столу дочь — разделить с ним его радость. Обычно, когда компания начинала петь, Рахеля поднималась со стула:

— Папа, я пойду к себе?

— Посиди еще немножко, доченька, — просил он, поглаживая ее по гладко причесанной голове.

И Рахеля садилась снова — смотреть на певцов, беззвучно разевающих рты. Отца она обожала и слушалась, он был душой дома. А вот мать не вылезала из болезней. Она страдала печенью, и ей изо дня в день, сколько Рахеля помнила себя, варили куриный бульон. Хозяйством занималась в основном бабушка Витель — она же давала указания служанке Кайле.

С момента первой, не слишком удавшейся встречи Рахели и Нахманке у молодых людей долго не было другой возможности повидаться. Но отец не оставил своего намерения и, дождавшись Шавуот, вновь привез из Кременчуга худого мечтателя. Он знал, что делал: дочери очень нравился этот праздник, приходящийся на начало лета. В Дилкове в эту пору буйно цвели цветы, зеленели свежей листвой деревья, небо казалось бездонным, а солнце сияло особенно ярко.

После молитвы в доме собрались гости. Стол, как и положено в такой день, ломился от всевозможных видов сыра и других молочных продуктов; не обошлось, конечно, и без вина.

Выпили за здоровье и за жизнь. Нахманке сидел слева от хозяина и то и дело поглядывал на Рахелю, эту черненькую глухую красавицу, которая неизвестно почему ожесточила против него свое сердце. Парень был застенчив, часто краснел и в смущении опускал глаза. Но несколько глотков спиртного придали ему смелости, и, собравшись с духом, Нахманке подошел к Рахеле. Они вышли в сад и сели там на скамейку. Вокруг шептались кусты, качали ветками яблони и бродили чудные запахи раннего лета. Парень задал какой-то вопрос, но Рахеля не разобрала ни слова.

— Расскажи мне о своем городе, — попросила она.

Нахманке принялся рассказывать, но так волновался, что выходило сбивчиво, путано, и это сильно затрудняло девушке задачу. Обычно Рахеля без труда понимала, о чем идет речь, всматриваясь в губы говорившего и касаясь рукой его ладони. Впрочем, вскоре она приспособилась и к Нахманке, да и его волнение в конце концов унялось.

После Шавуот женщины переехали на дачу в сосновом бору возле Пашутовки; Нахманке тоже получил приглашение и провел там около двух недель. Жизнь в стране сосен дышала покоем и

безмятежностью. По воскресеньям на дачи приезжал маленький оркестрик Идла-клейзмера. На поляне собиралась молодежь и садилась в кружок с полными пригоршнями семечек. Клейзмеры исполняли вальсы, краковяк, венгерку и старые еврейские танцы. Не было такой свадьбы в Пашутовке и ее окрестностях, где не звучала бы прославленная скрипочка Идла. Играла она и здесь, в сопровождении шороха сосновых крон. Тонкие щемящие звуки взмывали вверх, и деревья взмахами ветвей отправляли их в полет за леса и реки, в самые дальние дали.

В такие моменты Рахеля и Нахманке гуляли вдвоем где-нибудь невдалеке. Обоим исполнилось тогда по двадцать. Он говорил не переставая; руки молодых людей соприкасались и вздрагивали, как от электрического разряда, что, несомненно, лишь способствовало лучшему пониманию. Рахеля тоже не упускала возможности поболтать. Рядом с лесом шелестели пшеничные поля — урожай в том году ожидался знатный.

Бабушка Витель, которой нравился застенчивый паренек, постоянно баловала его огромными порциями клубники в сметане и сахаре. По субботам на дачу врывался шумный, энергичный отец, принося с собой бурление жизни и кипучей

деятельности. Вид Рахели и Нахманке доставлял ему очевидное удовольствие. Он желал дочери только добра, но окончательный выбор был только за ней. Нужно отметить, что и отношение девушки к миру уже не определялось к тому времени фантастическим антуражем рыцарских романов. От Дюма она перешла к Бальзаку, а от Шомера — к Шолом-Алейхему, что день ото дня сокращало некогда непреодолимую дистанцию между усатым паладином благородных кровей и бледным еврейским юношей с добрым сердцем и мечтательными глазами.

3

Свадьбу сыграли роскошную, шумную, чтоб запомнилась на долгие годы. С обеих сторон приехало немало гостей. Семь дней и ночей не смолкал в Дилкове праздничный гам-тарарам. Невеста была красива, грустна и молчалива. Жених выглядел смущенным. Клейзмер Идл играл с душой и от души, другие музыканты тоже не отставали. Бабушка Витель танцевала, помахивая платочком.

Затем гости разъехались восвояси, и начались будни. Все теперь изменилось для Рахели: муж Нахманке, его деликатная рука, его доброе сердце

превратились в важнейшую часть ее жизни. Молодые люди любили друг друга — что может быть счастливее такого удачного брака?

Лето сменилось осенью, пошли дожди, размокли улицы Дилкова. Хмурое небо склонилось над местечком, непроходимая грязь затопила дороги, холодный ветер принялся хлестать по лицу, выть в трубе, лезть в щели оконных переплетов. Но это все — снаружи. В душе у Рахели расцветает весна; со светлой улыбкой ходит по комнатам молодая женщина, не ходит — летает! Летает и напевает единственную песенку, запомнившуюся с детства, когда слух еще не покинул ее:

Ой, на деньги не играй! Деньги пропадут,

И узнаешь ты тогда, что такое кнут…

Песенка грустна и не слишком подходит к настроению, но другой все равно нет. Нахманке смотрит на жену взглядом, полным любви и привязанности, подходит к ней, целует в глаза. Да, ее уши плотно запечатаны глухотой, но Рахеля прекрасно слышит, как бьется его сердце, улавливает его горячий ночной шепот.

— Рахеля! — шепчет он. — Жизнь моя, сокровище моего сердца!..

Быстро пролетел год, и отец стал брать зятя с собой в деловые поездки. Ничего не попишешь: каждому человеку приходится заботиться о семье, о пропитании. Пришлось Нахманке постигать ремесло лесозаготовок, науку лесоторговли. Пускай отец Рахели доживет хоть до ста двадцати лет, а потом еще сто двадцать раз по столько же, но если не получится, то полезно иметь под рукой верного преемника. Теперь и Нахманке мотается вместе с тестем по глухим деревням, по захолустным городам, по захудалым гостиницам и грязным постоялым дворам. Не самое лучшее времяпрепровождение, но не станешь же спорить с отцом семейства…

Снова Рахеля остается одна, снова воцаряется мертвая тишина в шести комнатах дома. Но теперь она уже не ищет спасения в книгах. Подумать только — глухая Рахеля предпочитает заняться домашним хозяйством! Бабушка Витель и Кайла-служанка смотрят и удивляются: когда она успела научиться шитью и вязанью, если до свадьбы ни разу не брала в руки ни спицу, ни иголку? Не иначе, вмешались тут ангелы небесные… И вот сидит глухая счастливая женщина в том же кресле у окна — сидит и работает, во всеоружии ножниц, иголок, ниток и тканей. И

как работает — только руки мелькают!

Наступает пятница, мужчины возвращаются домой, а с ними — веселое оживление, радость в тихом женском царстве. Оставив пыльные плащи на крюках в чулане, отец и муж берут чистое белье и мыло, мочалки и веники и отправляются в баню, чтобы смыть с себя недельную грязь чужих мест и дорог. В дом они возвращаются уже как новенькие — чистые, воодушевленные, прямиком к обеденному столу. В воздухе над белой скатертью витают божественные запахи свежевыпеченной еврейской халы и тушеного мяса. Так уж было у них заведено — чтобы обед в пятничный полдень был не хуже вечерней субботней трапезы. Хорошо обмакнуть золотистую корочку халы в горячий говяжий соус с приправами!

Рахеля сидит по правую руку от мужа. В воскресенье он снова уедет по делам, но до этого есть у нее впереди целых две ночи, заполненных счастьем и сердечным трепетом. Две ночи и вся царица-суббота…

4

Так и шло: пятничные вечера — кануны суббот переходили в субботы, субботы — в будни, а будни — снова в пятничные вечера, как это

заведено испокон веков, с первых шести дней Творения. Дни складывались в недели, недели в месяцы, месяцы в годы. Можно ли иначе описать это неспешное течение жизни в захолустном волынском местечке, в большом семейном доме по соседству с клойзом? Немногим отличался от всех предыдущих и 1914 год, год начала большой войны — во всяком случае, с первых ее месяцев. Нет, конечно, она знала, что где-то гремят пушки, гибнут люди, льется кровь. Да и обеспокоенные лица мужчин вселяли тревогу. Но все же в первые месяцы война казалась далекой, не относящейся впрямую к надежно установленному порядку.

Но вот в Дилков стали прибывать беженцы, а вскоре отец и Нахманке заговорили о том, что неплохо бы переселиться подальше от фронта, в глубь страны. После долгих сомнений решили оставить все как есть: лесоторговое дело сильно зависело от местных связей, от здешних делянок леса, от недвижимости. Жаль было все это терять.

Фронт так и не докатился до городка, но в начале 1917 года пришло другое потрясение: свергли русского царя. Примерно тогда же умерла мама Рахели — болезнь свела-таки ее в могилу. Долгие годы мучилась она от болей в печени, жила на

одном курином бульоне. Один и тот же бульон из одной и той же кастрюльки, которая служила матери более двадцати лет. И более двадцати лет свекровь, бабушка Витель, поджав губы, взирала на эту странность. Видано ли такое: человек отгораживается от всего мира и питается только супом да крошкой мяса? Бабушка Витель, массивная и деятельная пожилая женщина, внучка знаменитого дилковского рабби Хаима-Йехиэля-Михла Бухмана, решительно не признавала никаких диет.

Смерть матери мало что изменила в домашнем хозяйстве — им по-прежнему руководила бабушка. Отец Рахели явно пошел в нее и внешностью, и характером: она была такой же высокой, широкоплечей, решительной. Впрочем, годы не прибавляли сил и бабушке Витель. После того как ей стукнуло семьдесят, Рахеля стала потихоньку брать на себя все больше и больше работы по дому. Вскоре в ее ведение перешла вся готовка.

Но она была не из тех, кто жалуется. Молодая, красивая, сильная женщина не даст миру погрязнуть в беспорядке. Летом по выходным дням они выходили вдвоем с Нахманке и под ручку прогуливались по главной улице родного местечка — нарядные, уверенные, дружные — просто

картинка! Рядом фланировали другие пары: эта улица долгие годы служила в городке центром подобных гуляний. На Дилков опускались сумерки, ветер приносил из сада дурманящий запах цветов. Гуляющие всматривались в небо, ища в нем первую звезду… вторую, третью… — и вот уже на темнеющий свод высыпали бесчисленные звездные стада. Конец субботы! Кто-то зажигал первую папиросу, рядом слышался чей-то приглушенный смех. Рахеля не слышит смеха, но ей и без того радостно — радостно и спокойно.

Да, женщина не даст миру рассыпаться, пока по небу гуляет среди звездочек месяц, пока цветы источают сладкий летний аромат, пока рука ее опирается на надежную мужнюю руку.

Так казалось Рахеле, пока не пришли в местечко совсем другие времена, тяжкие до невозможности. В течение страшного 1919 года в Дилков раз за разом наведывались петлюровские отряды, громили и грабили евреев. Не обошли они своим вниманием и дом по соседству с клойзом. Но самое плохое произошло в конце года. Отец и Нахманке поехали в соседний город и по дороге наткнулись на банду Шкуро. Отец, сильный человек, погиб, как жил, — гордо, сражаясь за свою честь. Нахманке пытался убежать, но был тяжело

ранен. Бандиты сочли еврея мертвым и бросили на дороге. Два дня спустя его привезли в Дилков добрые люди. Старый врач Энгерт прооперировал мужа Рахели, и тот остался жив, но был с тех пор прикован к постели. Пули повредили позвоночник, и ноги больше не держали Нахманке.

Рассыпался, распался, разрушился мир Рахели, казавшийся прежде таким счастливым и незыблемым. Белея бледным лицом, лежит Нахманке на кровати, глаза его затуманены болью и тоской. Прямые морщинки прорезали чистый лоб его жены — следы немого безутешного горя. Теперь в доме еще больше работы. Ушла Кайла — нечем больше платить служанке. Да и бабушка Витель после гибели сына разом постарела, опустила руки. А нужно ведь и постирать, и приготовить, и в доме убрать, и полы помыть, и на рынок сбегать, и мужу помочь, и еще тысячу дел переделать… И все это на ней, на Рахели — больше некому… Пришли трудные дни, скудные, нищие: после грабежей не осталось в доме ни денег, ни имущества. Оба они теперь инвалиды — и Рахеля, и Нахманке.

С тревогой смотрела на все это одряхлевшая бабушка Витель. Вот уж не думала она, что в конце своих дней увидит столько горестей и несчастий!

Почему, за что? За какие такие грехи сыплются эти напасти на голову внучки святого дилковского рабби Хаима-Йехиэля-Михла Бухмана?

Такими вот вопросами сопровождала свои молитвы эта старая еврейка, утирая горькие слезы в женской половине клойза. В то время еще действовала в Дилкове религиозная община, и не перевелись в ней милосердные люди. Нашлись в городе и родственники разной степени близости. Разве могли они равнодушно смотреть, как пропадают потомки великого раввина?

Но горек хлеб подаяния, горек и черен. Горьки и черны стали дни и ночи несчастного Нахманке. Сам он лежит пластом, как мертвец на смертном одре, жует хлеб подаяния и смотрит, как любимая жена губит себя непосильной работой. И от всего этого хочется ему умереть. Щеки инвалида еще больше ввалились, обострились черты. Кажется, только глаза и живут на бледном его лице.

— Что с тобой, Нахманке? — с тревогой спрашивает Рахеля.

— Ой, Рахеля, — отвечает муж. — Надо бы нам придумать себе какое-нибудь ремесло. Что-нибудь такое, для чего нужны только руки. Тогда не придется нам просить милостыню.

Рахеля гладит мужа по руке. Да, она понимает,

что он имеет в виду. В то время в стране уже был объявлен нэп, и некоторые евреи местечка вернулись к мелкой торговле и ремесленному промыслу. Правда, теперь сапожники и портные назывались новым словом — кустари. Но как ни назови, суть та же. Продали Рахеля и бабушка Витель последнее пальто покойного отца, купили на вырученные деньги вязальную машинку и приступили к производству носков. До этого Нахманке целыми днями праздно полулежал-полусидел в своей кровати, и руки его жаждали хоть какого-нибудь действия. И вот нашлось им занятие. Вместе с соседом-столяром Эфраимом-Менделем изготовил Нахманке рабочий стол сложной конструкции, приспособленный специально для вязальной машинки. Очень кстати в Дилкове была тогда же организована инвалидная артель-кооператив, и Рахеля с мужем вступили в нее на правах глухой и безногого. Артель поставляла им дешевое сырье, и Нахманке целыми днями вязал носки, гетры и круглые еврейские ермолки.

Мало-помалу наладилась жизнь в доме по соседству с клойзом. Наконец-то вернулась улыбка на лицо инвалида: нашлась работа и для его рук. С утра до ночи жужжит вязальная машинка

на его рабочем столе. Рахеля время от времени подменяла мужа и тоже крутила рукоятку, внимательно следя за движением вязальных штырей, но главным работником был все-таки Нахманке. Она же и без того головы не могла поднять от домашних забот.

В 1928 году у Рахели, Нахманке и старой Витель отняли четыре комнаты из шести, подселив к ним семью ответственного работника дилковского исполкома. Теперь пришлось ютиться на втрое меньшей площади; сначала это казалось невозможным, но вскоре привыкли — по привычке привыкать ко всему. Жизнь продолжалась — трудная, тяжелая, безрадостная.

5

Утро осеннего месяца хешван. Рахеля открывает глаза — навстречу сочащемуся из окна хмурому полумраку. Какое-то время она лежит, вспоминая уйму намеченных на сегодня дел. Наколоть дрова и разжечь плиту. Начистить картошку, приготовить завтрак. Вскипятить чайник. Прибрать в комнатах — хорошо, что теперь их только две. Помочь Нахманке, усадить его за вязание. Сбегать на рынок и в лавку…

Обычный день, обычный список. В этой непре-

станной тягловой работе нет даже тени того, что наполняло ее девичье воображение двадцать лет тому назад, когда, сидя у окна, Рахеля представляла себя прекрасной Консуэло, певицей-утешительницей из романа Жорж Санд. Где теперь эти розовые мечты? Нет ничего розового в нынешней жизни — лишь серая будничная рутина.

Так, встав однажды с постели серым осенним утром, Рахеля обнаружила, что бабушка Витель не проснулась и уже никогда больше не проснется. Бабушка никогда не болела — вообще ничем — и, видимо, умерла просто от общей усталости. В самом деле, сколько можно тянуть этот неподъемный воз? Есть предел силам человеческим…

Старуха до последнего помнила, из какой семьи вышла, чья она внучка. Все-таки святой дилковский рабби Хаим-Йехиэль-Михл Бухман — это вам не хухры-мухры. И пусть новая жизнь опрокинула все с ног на голову, родственных связей не порвут ни время, ни решения властей. Никто не может отрицать, что жил в Дилкове во второй половине прошлого века великий праведник Хаим-Йехиэль-Михл Бухман, знаток Торы и законов, богач из богачей и городской благодетель, чье имя до сих пор вспоминается

стариками уважительным шепотом. И если она, бабушка Витель, является прямым отпрыском такого мощного ствола, то почему, спрашивается, она должна об этом забыть? Нет-нет, пусть хоть весь мир перевернется, но она, бабушка Витель, своего никому не уступит!

На похороны пришло много народу — почти все местечко. Наверно, люди чувствовали, что хоронят не просто долго жившую и ушедшую в свой срок старуху, но целый мир, в котором жили их отцы, деды и прадеды — мир, который, как и бабушка Витель, уже не вернется никогда.

Поколение уходит, и поколение приходит. Все-таки удивительная это штука — жизнь! Уже перевалив через сорок, Рахеля вдруг обнаружила, что забеременела. Вот ведь чудо! Молодой женой она сильно переживала свою бесплодность и долго пыталась исправить положение — бегала по врачам, ездила в Киев к большим научным светилам и даже посетила святого Чернобыльского цадика. Но ничего не помогало, и женщина давно уже смирилась с отсутствием детей в ее жизни. И вот, именно сейчас, когда она пошла на свой пятый десяток, когда муж прикован к постели, бабушка умерла, а из шести комнат осталось только две — именно сейчас! — завязалась

в ее чреве новая жизнь! Весной 1931 года родила Рахеля дочку. Имя долго не выбирали: Витель, как же иначе?

Тут-то и навалилась на нее жизнь всей своей неимоверной тяжестью. Вдобавок ко всему прочему немалому труду — еще и младенец! Пеленки, кормление, ночные бдения, детские болезни… Маленькая Витель удивительно походила на маленькую Рахелю — такая же черненькая, с круглыми румяными щечками. Отцовство Нахманке давало о себе знать разве что мечтательным выражением глаз.

Вот лежит она, благословенное позднее дитя, разевает ротик, плачет и смеется, моргает мечтательными глазами. Теперь уже нет у Рахели ни времени, ни сил подменять мужа у вязальной машинки, и доходы семьи уменьшаются. Но кто вспоминает о доходах, когда рядом дрыгает пухлыми ножками новорожденное чудо? Рахеля падает с ног, но сердце ее поет при одном взгляде на колыбельку. И не только сердце — нет-нет да и слышится в комнатах та единственная песенка, которая помнится ей со времен детства:

Ой, на деньги не играй! Деньги пропадут,

И узнаешь ты тогда, что такое кнут…

Слова песенки совсем не к месту: ну кто тут станет играть на деньги? На какие деньги — нет их… Да и мотив печальный, очень грустный мотив. Прямо скажем, не подходит песенка к радостному настроению, но никуда не денешься — другой-то нету. Нахманке сидит за своим рабочим столом, крутит ручку вязальной машинки. На глазах у калеки — слезы, и он отворачивается к стене, чтобы жена, не дай бог, не увидела.

Жизнь течет своим чередом — тяжкая до невыносимости в одном, светлая и радостная в другом. Маленькая Витель, праправнучка святого дилковского рабби Хаима-Йехиэля-Михла Бухмана, уже встает в кроватке. Встает и заливается счастливым смехом — она вообще все время улыбается, такой уж получился веселый ребенок. Когда Рахеля выходит за покупками или по другим делам, кроватку придвигают поближе к Нахманке. И дочь, и отец любят такие минуты. Нахманке, махнув рукой на свое ремесло, смешит девочку, поет ей забавные песни. Больше всего ей почему-то нравится русская «Давай закурим, Николай!»: когда Нахманке запевает это, Вителе принимается притопывать ножками и хохотать во весь голос. Вот так плясунья, вот так танце-

вальный дуэт младенца и безногого калеки… смех и слезы, иначе и не скажешь.

Ох, нелегко, совсем нелегко было двум инвалидам растить и поднимать к жизни эту горячо любимую, горячо желанную дочку. Вот она уже ползает по комнатам… вот уже встает… вот уже делает первые самостоятельные шаги… Кажется, только что был ребенок-ползунок, а теперь — ребенок-бегунок, прошу любить и жаловать! И — всё в рот, всё в рот — глаз да глаз за этой веселой проказницей!

Когда дочери исполнилось три года, Рахеля отвела ее в детский сад.

6

Шли годы, не забывая и Богом забытый Дилков, старели некогда молодые люди. Волосы Нахманке окрасились сединой; она начала свое наступление с висков и постепенно добралась до самой макушки. Сеточка морщин легла на лицо Рахели — складки прорезали лоб, залегли в уголках губ. Женщина по-прежнему несла на себе весь груз домашней работы и ухода за дочерью и мужем-калекой. Не железные ли у нее плечи? Хорошо, что подрастает помощница: маленькой Вителе уже исполнилось восемь.

В сентябре девочка впервые пошла в школу. Не каждый день у родителей бывает такой знаменательный праздник! Рахеля купила дочке все необходимое. Накануне мать и дочь сложили в черный форменный ранец учебники, тетрадки и пенал, а утром вместе отправились к школе.

Они идут по улице, и еще неизвестно, кто из них двоих больше волнуется. Вителе красиво причесана, блестящие волосы повязаны белым шелковым бантом. Утро выдалось замечательное, воздух душист и свеж, ласковое солнце бродит по небу. Осень еще не вступила в права, и во дворах вовсю зеленеют деревья. На лице у девочки — торжественное и серьезное выражение. Чем ближе к школе, тем больше на улице празднично одетых детей с ранцами за плечами. У многих в руках букет цветов.

Вот и ворота школы. В ее коридорах — веселый гам, детская беготня, восклицания, смех, русская и украинская речь. Жаль, что Рахеля не может ничего этого слышать. Даже о прозвеневшем первом звонке она догадывается лишь по косвенным признакам. Глухая женщина смотрит в спину маленькой Вителе, идущей со своим ранцем по свежевыкрашенному школьному коридору, и сердце ее колотится в радости и смятении. Сейчас

дочка войдет в класс, и начнется новая пора, новый этап в жизни. Десять классов, десять лет, а потом? Потом, наверно, нужно уезжать в Киев, за высшим образованием… Боже, как быстро, как быстро…

Этот коридор — верная, надежная, светлая дорога для дочери. Вот пусть и шагает по ней к будущему — другому, счастливому. Жаль, что Нахманке этого не видит. Нахманке полулежит-полусидит-полуживет дома, крутит ручку вязальной машинки. Пятидесятилетний седой мужчина, калека, инвалид с грустными глазами. Чего уж там, надо признать: их жизнь прошла, кончилась, хотя и продолжается — внешне, для отвода глаз. Что будет с ними дальше, как повернет судьба рукоятку своей машинки? Что ждет их в ближайшем будущем?

Смерть — вот что ждало их всех. Летом сорок первого года разразилась ужасная война. Несколько недель спустя в громе и огне вошли в Дилков немцы. Многие евреи успели убежать — кто пешком, кто на телегах. Но далеко ли убежит безногий? Услышит ли приближение опасности глухая?

В пасмурный день октября пришли убийцы в дом, расположенный по соседству с клойзом.

Они застрелили Нахманке и выволокли во двор Рахелю с дочерью, маленькой Вителе. Вместе с остальными евреями прошли они короткий путь до места расправы. На городской площади Дилкова их всех затравили собаками. Свора рычащих псов набросилась на сбившихся в кучку женщин, детей и стариков. Одежда окрасилась кровью, крики истязаемых разрывали воздух.

Среди жертв этой забавы были и Рахеля с Вителе. Некоторое время спустя немцы разрушили все еврейские дома в городке, превратив их в груды развалин, дабы истребить самую память о евреях. Та же судьба постигла дом рядом с клойзом и сам клойз.

Я, автор этих строк, еще с дней своего раннего детства помню город Дилков, его жизнь, его обитателей. Помню его дни, его ночи, помню его детей — моих сверстников, помню клойз и его посетителей, помню статную бабушку Витель и глухую тетю Рахелю. Помню врача Энгерта — еще бы, ведь он лечил и меня! Не раз и не два слушал я на поляне пашутовского леса и клейзмерский оркестрик Идла, залихватские и грустные мелодии его знаменитой скрипки.

Даже сейчас, сквозь туман прошедших десятилетий, всплывает передо мной картина свадьбы

глухой Рахели: красивая невеста с грустными глазами и мечтательный Нахманке — очень худой и очень стеснительный жених.

1946

В южном городе

До того как Фиме Райзману исполнилось двадцать лет, отец полностью содержал семью, так что сын не знал ровным счетом ничего о трудностях заработка — этой ежедневной борьбы за существование. Крепкий, упрямый человек, отец всегда был готов взвалить на себя любую черную работу, оставляя Фиме возможность беспрепятственно наслаждаться чудесной мелодией монет, позвякивающих в кармане, как колокольчики.

Первая часть его жизни прошла в небольшом местечке. Речка, лес и небесная голубизна не уставали дарить людям благословенную радость бытия. В младенчестве Фима упоенно барахтался в теплой пыли родного переулка, затем, встав на ноги, попал в дружную ватагу уличной детворы, а позже, отправившись вместе с другими мальчишками в хедер, обнаружил, что и там можно найти для себя немало интересного. Колокольчики удачи звенели для этого баловня судьбы из каждого возможного уголка.

Годы поспешали не торопясь; ухватив Фиму за вихры, они медленно, но верно тянули его вверх и вверх. Мальчик рос, обстоятельно приглядыва-

ясь к тропке, по которой ему предстояло входить в большую жизнь. Щеки его были бледноваты, зато глаза горели ярким огнем, и отец нередко любовался сыном, положив свою тяжелую руку на его стриженую голову. Парень был неистощим на выдумки и проказы, а потому верховодил в компании сверстников, и это давало отцу лишний повод для гордости.

Местечко было не из числа шумных, тихо и плавно текли дни его обитателей. Начальная школа с четырехклассным обучением, земская больница, клуб для немногочисленной окрестной знати и ее приближенных, отделение уездного суда… — вокруг этих нескольких полюсов крутились-вертелись примерно все здешние дела и интересы. Евреи держали в городке ешиву, несколько хедеров для малых детей, синагоги и помещения для собраний, а также соответствующее нуждам количество раввинов, хазанов[47], резников, синагогальных служек и прочих помощников святости. Все они делали свою работу, каждый в меру отведенных ему сил и способностей, достойно зарабатывая на хлеб и никому не наступая на ноги.

---

[47] Примечания: 47

Хазан, или синагогальный кантор — должностное лицо синагоги, совершающее молитву от имени собравшихся.

Фима учился в городской школе, а кроме этого, дважды в неделю со скрипочкой и нотной папкой под мышкой ходил к клейзмеру Зайделю для занятий музыкой. Нужно сказать, что мальчик проявлял неплохие способности к скрипичному искусству и, живи он в большом городе, вполне мог бы попробовать свои силы в консерватории. Но здесь, в Богом забытом медвежьем углу, оставалось лишь довольствоваться уроками клейзмера Зайделя.

Отец был инициативным и деловым человеком. Его лавочка и мастерская при ней обеспечивали семье относительно безбедную жизнь. Жили в пятикомнатном доме; в нем, кроме Фимы, росла еще и дочка, Эстер — красивая тихая девочка, целиком погруженная в мир кукол и подружек-сверстниц.

Явные способности мальчика к музыке и учению вообще заставили отца всерьез задуматься о будущем любимого отпрыска. Не послать ли парня в большой город? Ведь здесь, на скудной знаниями почве маленького местечка, заглохнет, так и не распустившись, цветок любого таланта…

Пока глава семейства мучился сомнениями, Россия начала войну с кайзеровской Германи-

ей, и все резко переменилось. Местечко было расположено в приграничной области, и отец, правильно оценив опасность пребывания в такой близости к линии фронта, перевез семью в губернский город Чернигов. Переезд ускорил и решение относительно будущего Фимы: его послали учиться в большой город на юге страны, где проживала отцовская сестра, родная тетя мальчика. Довольно состоятельная женщина, она владела заводом по производству телефонных аппаратов. Завод был не маленьким — там трудились около двухсот рабочих.

В тетином доме Фима прожил целых три года. Сбылись отцовские мечты: парень попал и в гимназию, и в консерваторию, и все тамошние учителя сулили ему большое будущее. Там, в южном городе, подросток превратился в юношу. По-прежнему щекам его недоставало румянца, но в глазах еще ярче горел огонь жадного любопытства к жизни. На высокий лоб Фимы свешивался чуб густых красивых волос, и он то и дело гордым движением головы откидывал назад непокорную прядь.

Два мира влекли его своим необыкновенным разнообразием: мир книг и мир музыки. Но юноша не забывал и про тело. Три раза в неделю

он посещал гимнастический зал «Маккаби» и считался одним из самых активных членов этого спортивного общества. Любимым снарядом Фимы были параллельные брусья, и он очень гордился тем, что умел дольше других продержаться в вертикальной стойке на руках. Прыгал он тоже едва ли не дальше всех.

За спиной парня были семнадцать безбедных лет, а впереди лежала вся жизнь, такая интересная и многообещающая. Вот шагают они, семнадцатилетние, бок о бок со своими подругами — шагают по светлым улицам и бульварам южного города, и смутные, но сильные желания будоражат их молодые тела, бурлит и играет кровь безоглядной юности. Горяча по утрам подушка, мечется юноша в полусне, соблазнительные картины мелькают на экране сомкнутых век, манит и томит острое желание любви.

Вот ведь глупые фантазии, мечты бездельников! Впрочем, в последнее время все эти грешные помыслы устремлялись во вполне определенном направлении — к Батье, она же Берта Исааковна, сестра Фиминого приятеля Миши. Муж Берты, красивой тридцатилетней женщины, пропал без вести в начале войны; сама же она работала сестрой милосердия в одном из городских госпи-

талей. Ну как ей было не обратить внимание на юношу, чьи глаза горели на бледном лице с такой силой и таким чувством!

Что ж, идет ведро к колодцу… Как-то раз Фима постучался в дверь Берты Исааковны, точно зная, что нет в доме никого, кроме нее. Они немного поболтали о том о сем, пока женщина не подошла к юноше вплотную, так что едва не коснулась его груди своей грудью, вздымавшейся под тонкой тканью блузки. У парня перехватило дыхание.

— Сядь, посиди со мной на кушетке… — сказала Берта.

Фима почувствовал дрожь во всем теле. Ах, новичок, нераспустившийся бутон! Женщина улыбнулась, в уголках рта блеснули золотые коронки. Она не намеревалась помогать Фиме ни в чем. Как сладок этот неопытный жертвенный агнец! Как волнует женщину эта налетевшая на нее буря, этот ураган неловких движений! Улыбаясь счастливой улыбкой, Берта лежала на кушетке, заранее покорная любой прихоти своего юного господина.

Все это было, было и прошло. Все проходит — и дрожь, и вздохи, и прикосновения, и судорожное дыхание. Но спустя несколько дней выяснилось, что кое-что все-таки осталось. Фима подхватил

дурную болезнь, и несколько следующих недель был вынужден провести в весьма неприятных обстоятельствах венерической лечебницы, приемов у врача и болезненных уколов. Этот поучительный случай многое прояснил для него. Жизнь, как оказалось, совсем не такая, какой выглядит на первый взгляд. За ее кулисами идет ежедневная война без галантных поз, карнавальных масок и кисейных шарфиков — и там, на этой войне, за все приходится платить. Платить за все — за каждое чувство, за каждую мысль, за каждый запах, который случайно забрел в твои ноздри… Платить, платить, платить. А пока Фима продолжил разучивать скрипичные концерты и еще усердней посещал гимнастический зал. Его мастерство в упражнении на брусьях выросло настолько, что Фиму перевели в первую сборную спортобщества. Но, невзирая на все эти успехи, настроение не улучшалось — парень переживал что-то вроде душевного кризиса.

Теперь настало время перейти к другой героине нашего рассказа, которую зовут Дина Хар-Захав. Она родилась в Белоруссии, возле реки Березины. Мать Дины много болела и до конца своих дней мучилась болями в печени. Отец, богатый торговец древесиной, дома бывал редко, большую

часть времени проводя в деловых разъездах. По этим причинам воспитанию детей в семье не уделялось почти никакого внимания, и те росли, предоставленные самим себе, как сорная трава.

Дина посещала гимназию; кроме того, приходящая учительница давала девочке уроки фортепьяно. Эти уроки не проходили впустую: у ученицы открылись способности к музыке, а хороший голос был подарен Дине от рождения.

Она любила часы свободы — особенно вечера весеннего месяца нисана, когда можно выйти на улицу в компании с теплым ветром, весело играющим подолами платьев. По небу гуляют облака, а жизнь свежа и полна музыки — мелодий песен и мелодий тишины. В такие дни Дина уходила к реке — на встречу с туманным горизонтом и захватывающими дух просторами, которые открывались с высокого берега. Там Дина останавливалась и начинала петь — негромко, неторопливо. Она пела, а молчаливая Белоруссия смотрела, как песня девушки прокладывает тонкую тропку среди бескрайнего пространства лесов и полей.

Потом наступало лето, и еврейские девушки собирались стайками, чтобы вволю посплетничать и полузгать семечки. Эта компания не слишком

подходила Дине — ей были скучны девичьи разговоры на скамейке. Что она действительно любила, так это петь: в минуты настроения ее голос лился так легко и сильно, что нельзя было не заслушаться и не порадоваться удивительному таланту, данному ей Создателем.

Но вот незадача: внешность девочки была очень неказиста, чтоб не сказать — уродлива: чрезмерно выпученные глаза, крючковатый нос и кривые передние зубы. Похоже, что только голосом и ограничивалась вся женская красота, выпавшая на ее долю. Надо же поместить такую благодать в столь некрасивый сосуд! И хотя телосложением Дина ничуть не уступала другим девушкам, мать всегда смотрела на нее с сожалением, вздыхала и качала головой: попробуй выдай замуж такое страшилище… К чему дочке невиданное богатство голоса, если лишена она самого необходимого женского качества: внешней привлекательности? Пусть уж лучше была бы простой поварихой, но со смазливым личиком…

Отец, как уже сказано, был чрезвычайно занятым человеком. Но время от времени на исходе субботы выдавались и у него свободные часы, когда можно позволить себе посидеть с другими уважаемыми людьми за неспешной беседой,

чашкой чая и хорошей папиросой. Говорили обычно на солидные, важные темы — о высокой политике, дорожных впечатлениях и общественном благе. Но бывали и рассказы попроще — о страшных случаях, чертях и разбойниках. К таким историям Дина прислушивалась с большой охотой, и отец, пользуясь случаем, частенько просил дочку спеть гостям песню-другую. Дина не заставляла долго себя упрашивать — садилась за фортепьяно, и в гостиной звучали напевы нашего народа, рассеянного по разным странам и континентам.

Мало-помалу слава юной певицы распространилась далеко за пределами местечка. Настоящий свет, как ни крути, отыщет дорогу даже в самой густой темноте. Как-то, отправляясь в очередную поездку — на сей раз в уже упомянутый здесь южный город, отец взял с собой и Дину. К тому времени ей исполнилось шестнадцать. В течение трех недель они жили в гостинице «Европа». Впервые в жизни девушка попала в оперу; «Кармен» и «Пиковая дама» переполнили ее душу впечатлениями еще неизведанной силы. В конце концов отец добился встречи с профессором Ягудиновым-Левиным — одним из известнейших преподавателей консерватории.

Ягудинов-Левин преподавал вокальное искусство вот уже четыре десятка лет и повидал в своей жизни столько, что его вряд ли можно было чем-нибудь удивить. В чем главный секрет успеха певицы? Конечно, в красивой внешности — без этого никуда, будь ее голос хоть голосом самого Бога. Таковы уж вкусы стада, зовущегося нашей публикой: людям непременно требуется прежде всего усладить глаз, а все остальное — после.

И вот предстала профессорским очам какая-то безвестная пучеглазая уродина, Дина Хар-Захав. Ну какая может быть связь между высоким искусством и этими кривыми зубами, этим крючковатым носиком? В очередь на прослушивание к профессору Ягудинову-Левину записывались и совершенные красавицы, и просто девушки с изюминкой… — но чтобы такое страшилище, прости Господи? Да где это видано?.. Впрочем, не выгонять же уважаемого человека прямо с порога… Подавив в себе чувство протеста, Левин сел за рояль. Было серое утро, в пустой комнате для прослушивания стоял полумрак, и лишь черный рояль отсвечивал своим вороновым крылом. Отец Дины сел в кресло возле окна.

Дина начала с романса Чайковского. Весной бурлили чувства, и воздух был полон ласковых

грез, но вот пришла осень. Тополя тянут голые ветви к хрустальной поверхности воды. Тропинки теряются в шуршании опавшей листвы…

Профессор вдруг забыл об уродстве певицы. Хорошо знакомый романс неожиданно тронул его сердце. Ягудинов-Левин поднялся со стула и прошелся по комнате.

— Что ж, — сказал он, останавливаясь перед Диной, — пожалуй, споем еще…

Он протянул девушке папку с нотами еврейских песен в его собственной редакции. Профессор питал слабость к еврейским мелодиям и даже председательствовал в местном Обществе любителей еврейской музыки.

— Вы знакомы с этим сборником?

Конечно, знакома. Дина выбирает песню, которая широко известна в еврейской диаспоре — материнский напев над ребенком, дремлющим в колыбельке. Теперь старик-профессор уже взволнован по-настоящему, до глубины души. Впервые ему приходится слышать эту известнейшую песню в таком необыкновенно чистом, сильном и в то же время сдержанном исполнении. Да, из такого материала получаются поистине великие певицы! Он снова внимательно смотрит на девушку. Боже, какое уродливое

лицо! Но не зарывать же в землю такой огромный талант…

На следующий день Дина с отцом уехали домой в Белоруссию, но несколько недель спустя девушка вернулась в южный город — теперь для того, чтобы остаться там надолго. Ее приняли-таки в консерваторию, в класс профессора Ягудинова-Левина. Внешность Дины не изменилась, и лишь прекрасная фигура да волшебный голос отвлекали внимание слушателей от уродливого лица исполнительницы.

Как мы помним, Фима Райзман тоже посещал консерваторию и встречал Дину на уроках по теории музыки. Он не смотрел на нее вовсе, да и зачем смотреть? Мало ли в мире некрасивых девушек? С точки зрения Фимы, уродство представляло собой прискорбную ошибку Творца, на которой не следует заострять внимания.

Но людям неведомы капризы и выкрутасы судьбы. Надо же было такому случиться, что сама Дина не на шутку влюбилась в красивого скрипача с бледным лицом, горячими глазами и непокорным чубом, то и дело спадающим на лоб. Попробуй разберись в извилистых путях, которыми приходит к нам любовь! Где она зарождается — в едва уловимой интонации, в

небрежной улыбке, в дуновении теплого ветра? Из каких потаенных источников всплывают эти забытые образы, этот неясный, но такой сладкий трепет души? И вот уже каждая случайная встреча полна тайного смысла, и вот уже расцветает девичье сердце, и нежным флером первого чувства окутывается весь окружающий мир. О, как несчастно создание, пораженное стрелой безответной любви!

Медленно тянулись дни и недели. Отец присылал Дине достаточно денег для проживания и учебы, а на каникулы девушка возвращалась в родное белорусское местечко. Консерватория занимала теперь все ее помыслы — волшебный мир музыки и пения.

Путь певицы не выложен розами. Профессор требователен и безжалостен. Гаммы, арпеджио, скучные упражнения — вот главное содержание учебы. Но были и чудесные минуты искусства: музыка, арии, романсы, песни любви, души и свободы. А в моменты особенно хорошего настроения Ягудинов-Левин доставал заветную папку с еврейскими песнями, и оба с наслаждением погружались в мир далекого местечка, мир невесты, и матери, и стареющей швеи, утратившей надежду на лучшее.

Несколько раз в году Общество любителей еврейской музыки устраивало концерты в роскошных городских залах. Евреи составляли значительную часть населения южного города, так что эти вечера собирали большое количество слушателей. На сцену один за другим выходили музыканты — в основном скрипачи, пианисты, певцы с аккомпаниаторами, иногда — небольшой хор или квартет.

И вот профессор Ягудинов-Левин задумал представить этой весьма разборчивой публике свою новую ученицу Дину Хар-Захав. Это стало неожиданностью для всех, кто хорошо знал его требовательность и педантичность: обычно профессор годами готовил своих воспитанников, прежде чем позволял им выйти на сцену.

Дина приступила к репетициям. Теперь она ежедневно повторяла три песни из еврейского сборника, составленного ее учителем. Она предложила включить в концерт еще одну, четвертую, песню, которой не было в сборнике — Дина привезла ее из Белоруссии. Ягудинов-Левин не возражал. Сам он был уроженцем Волыни и хорошо знал, что у семени Иакова в каждом месте изгнания есть свои особенные песни, особенные шутки и особенная печаль.

Итак, можно сказать, что у Дины совсем не оставалось времени на другие, посторонние дела. Если бы еще не донимали ее мысли об этом молодом скрипаче, которого она то и дело встречала в аудиториях и залах консерватории…

Ах, склонно наше сердце к пустым мечтам! Каждое утро, лежа с закрытыми глазами, уносится девушка в своих фантазиях к бледному красавцу с чубом. Он приходит к ней в радужном ореоле обманчивого сияния, приходит и спрашивает: «Полюбишь ли ты меня, желанная моя?» Дина медлит с ответом, не торопится выплеснуть наружу бушующую в душе бурю. Но его горящие глаза проникают ей в самое сердце, улыбка манит и зовет. «Полюбишь ли ты меня, избранница моего сердца?» Сколько требуется сил, чтобы не броситься к нему на шею, не обвить его голову обнаженными руками, не прижаться к нему всем телом, не зарыться лицом в его густые волосы… «Да, да, мой любимый, да, я полюблю тебя! — шепчет Дина, не открывая глаз. — Да, да, да!»

И вот наступил вечер, когда Дина впервые вышла на сцену перед публикой. Конферансье объявил: «Воспитанница консерватории Дина Хар-Захав; аккомпанирует профессор Ягудинов-Левин». Легким шагом вышла из-за кулис

некрасивая девушка, пересекла сцену, встала рядом с роялем. Затем появился знаменитый профессор — его публика встретила аплодисментами. Дина бросила взгляд на море голов, и страх закрался в ее сердце. Но когда зазвучало фортепьяно, с первыми же его звуками девушка забыла о своем страхе. Сильный глубокий голос заполнил зал, проникая в каждую душу, волнуя до слез, до забытья. В выпученных глазах певицы зажегся святой огонь искусства, и уродство исчезло, испарилось как не бывало. После первой песни публика разразилась аплодисментами. Людям казалось, что в душном зале подул свежий ветер, что чистое покрывало росы легло на пыль и руины повседневных бед. Две следующие песни только усилили волнение слушателей. И тут Дина запела последнюю, четвертую, песню, которая прежде ни разу не звучала еще в южном городе, но с того вечера стала едва ли не самой популярной.

Что было, то было, нечего скрывать —
Бабушка решила деда продавать!
Привезла на рынок, но какой скандал:
Там никто за деда и гроша не дал!

Так-таки да: ломаного гроша не удалось вы-

ручить бабушке за своего старика! Рассердился дед, схватил вожжи: я, мол, тебя, старая, научу торговать!

Когда отзвучала песня, в зале словно обрушились стены. Такой бурной овации давно не бывало на концертах Общества. Люди будто сошли с ума — кричали «бис!» и, отбив уже ладони, стучали в пол ногами, требуя продолжения. За кулисами старый профессор расцеловал Дину, поздравил ее с полной и решительной победой. В последний раз вышли они к публике на поклон, а затем конферансье сразу объявил перерыв — только так и удалось унять разбушевавшийся зал. Дина нежданно-негаданно превратилась в героиню дня.

Ошеломляющий успех концерта сделал Дину Хар-Захав знаменитостью в консерватории. Только вот на избранника сердца, упрямо отказывающегося смотреть в ее сторону, победа Дины не произвела никакого впечатления. Он так и не подошел к ней — в ту пору Фима увлекался совсем другими девушками.

Наступили каникулы, Фима уехал к родителям. Шло лето 1919 года, на Украине полыхала Гражданская война. Банды Махно, Петлюры, Шкуро громили, грабили и убивали евреев. Опаснее

всего было тогда на дорогах, и, чтобы лишний раз не рисковать, парня оставили дома. В конце лета местечко захватили красные. С переменой власти изменилось и положение семьи Райзманов. Отец Фимы лишился всего своего состояния. Советы реквизировали и лавку, и мастерскую, опустошили дом обысками и конфискациями. В стране происходила революция, чьи лозунги провозглашали ликвидацию буржуазии, уничтожение ее экономической основы, а реб Моше Райзман, отец Фимы и Эстер, имел несчастье быть причисленным именно к этой злодейской категории.

Где вы, далекие годы беззаботного детства? Хорошо еще, что природа продолжала радовать людей ласковым ветром и солнцем — ее спокойствия не затронули ни всеобщее разрушение, ни война, ни погромы. Все так же лежала дремотная пыль на улицах местечка, хотя за заборами наглухо запертых дворов уже зарождался, пускал корни в сердцах молодых и пожилых людей новый, пока еще зеленый мир. Вокруг продолжала грохотать смертоносная машина войны — ее отголоски были хорошо слышны в местечке. Возле кооперативной лавки стояли тачанки, запряженные гнедыми конями; к шеям лошадей

были привязаны торбы с овсом.

Вернувшись в местечко на летние каникулы, Фима задержался в нем на целых два года. Там же он окончил и старший класс средней школы. Еще год назад она именовалась гимназией, а сейчас — «трудовой школой второй ступени». Новое время по-новому переписывало надписи на старых скрижалях. В отцовском доме царили непривычные уныние и нужда.

В общественном саду, носящем теперь имя Пушкина, по вечерам играл летний оркестр. Пристроился туда и Фима, вступив с этой целью в профессиональный союз работников искусств — Рабис. Время от времени еврейская молодежь местечка устраивала себе праздники-вечеринки. Девушки брали на себя материальную часть. Несмотря на общую скудость жизни, в складчину всего получалось вдоволь — хватало и вина, и закуски. Потом начинались танцы и пение, а иногда устраивался концерт. Тут уже Фима был незаменим — его скрипка всегда задавала тон любому музыкальному номеру. Один из парней выступал с комедийными миниатюрами, кто-то другой декламировал стихи, а главной певицей местечка считалась Ниночка Бурштейн.

И, конечно, тут и там вспыхивали ярким пла-

менем короткие, но страстные романы. Густые сады местечка до самого рассвета полнились затаенными вздохами, поцелуями, взаимными клятвами и уверениями. Гостеприимная ночь ласково вслушивалась в прерывистое биение сердец, звезды подмигивали сиянию влюбленных глаз, нахальный ветерок гладил разгоряченные тела. Петухи из птичьих сараев громовым «кукареку» заявляли о своей мужской солидарности с парнями, зато крикливые лягушки из близлежащего пруда ревниво противились нашествию непрошеных гостей: с их, лягушачьей, точки зрения, ночь любви принадлежала только им, лягушкам.

Все жгло, все томило, все влекло молодую Фимину душу. Желания ее простирались далеко, высоко, глубоко — во всех направлениях. Объять весь мир — даже этого было бы мало. Дерзкий и сильный девятнадцатилетний парень с бледным лицом и яркими глазами, Фима был героем снов не одной девушки из местечка.

Но его собственное сердце оставалось неприступной крепостью. Южный город, полный соблазнов и возможностей, по-прежнему жил в его сердце, и Фима не намеревался вычеркивать его из памяти. А еще… еще он был твердо уверен,

что нет в мире такой девушки — хоть скромной недотроги, хоть высокомерной гордячки, — которую он, Фима, не мог бы покорить, приложив соответствующие усилия. Глупые, суетные слова! На самом деле еврейские девушки местечка прекрасно умели блюсти свою честь и свои интересы, так что Фиме пришлось обратиться к более доступной добыче.

Сначала это была служанка Дуся, затем пришел черед Лизы Ливанович, старшей из трех сестер, чей муж находился в тот момент в армии. Лиза была ширококостной женщиной с приятным лицом, и их отношения вполне устраивали обоих. Но затем по местечку пошли нежелательные разговоры, и Фиме пришлось вернуться в объятия Дуси. Несколько позже у него завязался роман с зубной врачихой — это случилось уже накануне отъезда из местечка. Алла Борисовна была опытной женщиной — из тех, чей возраст известен разве что Богу, да и то не точно. Нельзя сказать, что она учила парня хорошим вещам, оставив в его душе скорее нечистый, чем благотворный отпечаток.

Все эти связи носили тайный, закулисный характер — и Фима, и женщины старались скрыть происходящее от постороннего глаза. А на свету

жизнь текла своим руслом. Работа в оркестре в парке имени Пушкина, вечерние прогулки, звездные ночи, молодежные праздники. Дела у отца шли все хуже и хуже, пока не пришли в полный упадок. Подросла младшая сестренка Эстер — у нее были свои планы, свои надежды и устремления. Вот только опереться теперь было уже не на кого: некогда сильные плечи отца поникли, он потерял уверенность в себе, в своем месте. Зарплата скрипача была мизерной, и Фима решил вернуться в южный город. В такое трудное время не должен полный сил двадцатилетний парень сидеть на отцовской шее. А главное — какое будущее могло у него быть в этом отдаленном местечке?

Прощальную вечеринку Фима устроил в доме Нины Бурштейн — юной певицы, которой тогда не исполнилось и семнадцати. Она дружила с Эстер и потому часто бывала у Райзманов. У Ниночки были смоляные косы, серые глаза и неиссякаемая готовность смеяться по любому, даже самому незначительному поводу. В самом деле, есть ли повод для грусти, когда тебе всего шестнадцать с половиной лет?

Вечеринка удалась — молодые люди пели, танцевали и читали стихи. Парень по имени Во-

лодя выпил лишнего и все порывался не к месту благословить трапезу. Ему позволяли, но спустя несколько минут все повторялось сызнова. Потом Володя затих и сидел бледный и всклокоченный, слушая, как одна из девушек декламирует Фруга и Бялика.

Фима пригласил на танец Ниночку Бурштейн. Ох, пропадет невинная голубка в когтях хищного ястреба! Все в этой компании любили Ниночку, ее веселый смех, радость жизни, брызжущую в каждом ее движении.

Граммофон играл вальс «На сопках Маньчжурии».

— Жаль, что ты уезжаешь, — сказала Ниночка и отчего-то засмеялась.

Странно: если жаль, то к чему тогда этот смех? Что ж, такова природа маленьких девочек — беспечные игры и смешки с утра до вечера. Ниночкина мама, приятная женщина лет сорока, суетилась вокруг стола, заботясь о том, чтобы всем хватило угощения, но не забывая и следить любящим взором за своей веселой дочуркой.

— Жаль, что ты уезжаешь, — повторила Ниночка, на этот раз без смеха.

Она подняла свои серые глаза и уставилась прямиком в блестящие зрачки взрослого парня.

Где-то рядом граммофон без устали пел про маньчжурские сопки.

— Господа! — вдруг воскликнул Володя.

Все решили, что сейчас последует очередное благословление трапезы, но выяснилось, что оратор задумал нечто иное. Бледный, в шапке черных спутанных волос, Володя, казалось, говорил из последних сил. Он вообще любил произносить речи, вот и теперь твердо вознамерился сказать прощальное слово по случаю отъезда приятеля.

— Господа! Сегодня мы провожаем нашего друга Фиму Райзмана в большой город. Он уезжает, за ним — другие. Скоро совсем опустеет наше местечко, останутся в нем одни старики…

На столе откуда ни возьмись возникает еще одна бутыль самогона, чтобы молодые люди могли снова и снова поднять стакан за здоровье Фимы. Володя тоже выпивает и сразу вспоминает, что хорошо бы благословить трапезу…

— Господа, господа! Давайте благословим…

Но Фиме не до благословений — он нашептывает Ниночке на ушко жаркие слова соблазна:

— Как ты похорошела в последнее время, Ниночка, какой красавицей стала! Знала бы ты, как я влюбился в тебя, как тянет меня к тебе. Настанет день, и весь мир положу я к твоим ногам, а

сегодня — сегодня, делай со мной, что хочешь. Я твой раб, твоя жертва…

Ниночке впервые приходится слышать такие прельстительные речи; щеки ее горят румянцем радостного томления. Проходит еще полчаса, и вот уже Фима с Ниночкой сидят на одной из скамеек в городском саду. Парень ведет решительное наступление, не давая опомниться неопытной девушке. Увы и ах! Разве можно устоять в таких обстоятельствах?

Дело в том, что девушка давно уже отдала свое сердце старшему брату своей подружки Эстер. Честно говоря, Ниночка и подружилась-то с ней только для того, чтобы чаще видеть Фиму. Только вот Фима не обращал на нее внимания, поглощенный своим нечистоплотным романом с Аллой Борисовной. Тому, кто барахтается в грязи, трудно разглядеть настоящую чистоту…

Обнявшись, они сидят на скамейке в потаенном уголке парка. Близится к концу теплая августовская ночь. Вокруг царит тишина, и лишь прохладный предрассветный ветерок шуршит в листве, принося с собой запахи полевых цветов и трав. Небо полно звезд, издалека слышится глухой лай собак, с легким шорохом трепещут ветви кустов. Никогда еще с Ниночкой не случалось

такого, никогда не оказывалась она во тьме ночи наедине с избранником своего сердца, никогда не испытывала такого пьянящего, щемящего, необыкновенного чувства. Не знала она еще и горечи разочарования, верила миру, верила людям… Неужели взрослый парень воспользуется слабостью неопытной девочки? Пары самогона и темное, нечистое желание бушуют в голове Фимы. Нет, этой ночью он не удовольствуется одними лишь поцелуями…

Неделю спустя наш герой уже шагает по мостовым южного города. Его тетю тоже не обошла горькая чаша бедствий. Бывшая хозяйка преуспевающего завода, теперь она думает только о том, как бы подобру-поздорову унести ноги. Реквизирован и особняк на тенистой садовой улице, так что Фиме приходится подыскивать другое жилище. Это получается далеко не сразу, но в конце концов парень находит себе угол — в одной комнате с давним приятелем-однокашником из гимназии. Одновременно он записывается в университет, на химический факультет. Вернулся Фима и в любимую консерваторию. Кроме того, трижды в неделю он подрабатывает, играя на скрипке в кинотеатре.

Немые фильмы шли тогда в живом музы-

кальном сопровождении. Музыка должна была соответствовать происходящему на экране, что требовало от скрипача и пианиста хорошо продуманной программы. Чайковский перемежался Сен-Сансом, а тот — Листом, но особенной популярностью пользовались танцевальные мелодии Запада — всевозможные фокстроты и шимми, которые звучали в то время повсюду. Фиме и работавшей с ним пианистке оставалось лишь следовать пожеланиям публики. Пианистка, немолодая русская женщина в очках, обожавшая Скрябина и Шопена, частенько жаловалась на низменные вкусы слушателей и на общий упадок в искусстве. Но жизненная реальность была, конечно, сильнее: люди в зале с треском лузгали семечки, жужжал кинопроектор, и музыкантам приходилось, отставив в сторону и Скрябина, и Шопена, сосредоточиться на суетной румбе и безвкусном танго. Чего не сделаешь ради заработка…

В течение этих пяти-шести месяцев Фима получил от Ниночки два письма. Первое содержало наивные сердечные жалобы. «Помнишь ли ты, Фима, рассвет, который мы встретили вместе? Тогда, в темноте, мы оба вели себя не совсем так, как следовало бы, но сердце мое теперь всецело при-

надлежит тебе…» — и так далее. Во втором письме слышался стон уязвленной души. «Каждый день я жду твоего письма, но ты, видимо, забыл далекую девушку. То, что произошло между нами в ту ночь, не было для меня игрой. Кое-что осталось на память и в моем теле, и теперь это „кое-что“ растет. Мама спрашивает, почему я хожу такая грустная. Я отшучиваюсь, смеюсь, но по ночам плачу…»

Фима не ответил ни на первое, ни на второе письмо — не потому, что сердце его превратилось в камень. Напротив, в нем вовсю кипели любовные чувства и страсти. В университете и консерватории он встречал сотни цветущих дочерей Евы — только руку протяни. И наш герой расхаживал среди этого цветника, как царственный петух с гордо воздетым гребнем. Ночь на скамейке местечкового парка была для него крошечным эпизодом, не более того. А эпизоды забываются, причем довольно быстро… Да и времени едва хватало на все. Помимо работы в кинотеатре и любовных приключений, требовалось уделять немало сил занятиям в университете и в консерватории.

В местечке между тем дела шли все хуже и хуже. Фимин отец скончался, не перенеся выпавших

на его долю невзгод; семья осталась без средств к существованию. Фиме пришлось согласиться на переезд матери и сестры под его крыло, в южный город. Они прибыли с огромным количеством корзин, узлов и сумок, с домашними соленьями, вареньями и выпечкой. В числе прочего багажа женщины привезли и дурную весть о Ниночке Бурштейн. Девушка утонула в реке, и в местечке поговаривают, что Ниночка утопилась.

Несколько дней Фима ходил как оглушенный. Но время лечит и не такие раны, так что вскоре жизнь вернулась на прежние рельсы.

Фимина сестренка Эстер, красивая и сообразительная девушка, несомненно, была хорошо осведомлена о том, что случилось с ее близкой подругой. Но излишняя болтовня может только повредить, поэтому Эстер предпочитала помалкивать на эту скользкую тему. Вскоре она устроилась на работу в большой розничный магазин в центре города. Всеми правдами и неправдами семья выбила себе две крошечные комнатушки в общежитии. Мать занималась домашним хозяйством, Фима с утра до ночи носился по своим делам.

Теперь его уже трудно было назвать новичком в отношениях с женщинами. Фима действовал

на этом фронте изобретательно и неординарно, что вкупе с привлекательной внешностью обеспечивало ему постоянный успех. Благо, в южном городе с избытком хватало мест и возможностей и для любви, и для греха.

Сначала он увлекся Таней, потом появилась Хилина, после Хилины — Сара, она же Соня, а место Сони заняла капитанша Ирина Осиповна. Муж последней ходил в море капитаном дальнего плавания, и Ирина Осиповна, двадцатипятилетняя особа с сочными губами, испытывала в периоды долгого мужнего отсутствия неутолимую жажду любви.

Возьмем, к примеру, Хилину — ее царствование продолжалось относительно долго. Эта типичная уроженка юга с прекрасными золотистыми волосами, загорелым лицом и голубыми глазами ходила в тонких полупрозрачных блузках, что лишь прибавляло ей привлекательности. Вот она выходит бок о бок с Фимой из здания университета. В руках у обоих кожаные портфели, а в портфелях — книги, тетради и свертки с немудрящими бутербродами. Словом — обычные студенты тех лет.

Они направляются к морю. Садятся в трамвай и едут в сторону Большого Фонтана. В этом районе

— широкая, залитая солнцем полоса песчаного и галечного пляжа, а на пляже — густое скопление народа, пришедшего сюда позагорать и искупаться в море. Берег кишит загорелыми телами, отовсюду слышны плеск и крики купающихся. Молодые люди раздеваются. Купальник красиво облегает тонкую фигуру девушки. Фима бросается в море с разбегу, подныривая под волну, зато Хилина входит в воду осторожно, мелкими шажками. Но вот и она, преодолев последние сомнения, падает на теплую ладонь волны. Слышатся визг и смех, руки молотят голубой хрусталь моря, глаза сияют, играют напрягшиеся мышцы. Золотом сверкает на солнце вода, туманятся морские глубины, качаются на волнах томное желание и радость жизни.

Южный вечер наступает стремительно, без раздумий. Солнце почти падает в объятия запада, небеса подергиваются туманной дымкой, и вот уже первая звезда поблескивает в вышине. Еще несколько минут — и потемнеет море, стирая линию горизонта. Поднимается ветер — прохладный и согревающий одновременно, он ласкает и тревожит, несет с собой грусть, негу и тоску по неведомым далям. Поднимаешь глаза — ах!.. небо уже усеяно звездами от края от края.

В такие моменты Фима и Хилина уже сидят в укромной тени какого-нибудь утеса, скрытые темнотой от посторонних глаз. Если очень хорошо прислушаться, можно услышать их шепот — обычный шепот мужчины и женщины, оставшихся вдвоем — вдвоем и наедине со своими желаниями и страстями.

— Глупенькая ты, Лина… Ну почему ты не позволишь мне обнять тебя по-настоящему?

— Господь с тобой, дурачок, я и так тебе все позволяю…

Вздохи, объятия… От выглянувшего месяца тянется серебристая дорожка, прибрежный ветер, пригибаясь, крадется меж обнаженных скал, принюхивается к запаху водорослей и остывающей гальки. Ласково мурлычут волны у ног влюбленных.

— Глупенькая, ну чего ты боишься? Кто нас тут увидит, в такой темноте?

По-видимому, он просит у нее еще одной уступки — последней, а потому не такой уж и трудной. И, судя по всему, она не возражает… В темноте под скалой слышен лишь грохот двух бьющихся вплотную сердец.

Что и говорить, теперь Фима был уже далеко не новичком. Он хорошо выучил науку нежных уго-

воров и завлекательных бесед, точно различал мгновения слабости и сомнений, умел вовремя сыграть на самых тонких и чувствительных струнах и не выпускал добычу из когтей, пока та не оказывалась в его объятиях, покорная и сгорающая от желания. Не было такого препятствия, которого он не преодолел бы, — теперь парню оставалось лишь пить и пить большими глотками пьянящее вино любовных побед.

Как уже сказано, за Хилиной последовала Сара, она же Соня, а затем уже и капитанша, ненасытная Ирина Осиповна, общение с которой требовало от Фимы напряжения всех его сил.

В этих беспорядочных плясках миновало несколько лет. Эстер вышла замуж за неплохого человека, через год родила девочку и сосредоточилась на собственной семье. Фима окончил сначала университет, а затем и консерваторию. Теперь он владел сразу двумя профессиями, но какую из них предпочесть, химию или музыку? После долгих размышлений он остановился на химии — из чисто практических соображений. Фиме хотелось хорошо зарабатывать, а из двух этих ремесел достойную возможность прокормиться предоставляло лишь одно.

Он поступил в химическую лабораторию боль-

шого завода, но старался не забывать и музыку, подменяя время от времени вторую скрипку в городском симфоническом оркестре. В том же году ушла в мир иной мать Фимы, так что наш герой окончательно осиротел. Впрочем, можно ли сказать такое о человеке, которому вот-вот стукнет тридцать?

Искусство химии не терпит художественных вольностей. Ты смешиваешь разные вещества, выверяя их вес с точностью до миллиграмма, превращаешь твердые тела в пар, а пар — в жидкость, растворяешь соли и вновь синтезируешь их… Разноцветные жидкости стоят на полках в банках разных размеров и форм. Мир вещества живет своей особенной неорганической жизнью, и ты обязан относиться к нему со всей серьезностью точных научных правил и требований. Но вот приходит час обеденного перерыва. Ты снимаешь серый халат и отправляешься в столовую, расположенную в заводском дворе. Тарелка супа, мясное жаркое с компотом, стакан чая, случайная беседа со случайным соседом — и все, назад в лабораторию, к серому халату, жидкостям в банках, солям, весам и миллиграммам.

Так проходят Фимины дни. Но чем он занимается после работы? В шесть вечера Фима выходит

из заводской проходной и шагает домой. Обычный человек среднего роста, широкоплечий, белолицый, с черными глазами. В общем, у него приятная внешность, и прическа сделана по самой последней моде.

Придя домой, Фима некоторое время отдыхает на продавленном диване с газетой в руках и папироской в уголке рта. Около семи раздается стук в дверь, и в комнату входит Анечка, Анна Аркадьевна — двадцатидвухлетняя стеснительная особа с накрашенными губами и ангельским личиком.

Анечкин отец играет первую скрипку в квартете имени Моцарта — одном из самых известных в городе музыкальных коллективов. Фима бывает у него в семье, где, кроме младшенькой Анечки, есть еще три дочери. Две старшие уже замужем, и мать семейства с радостью принимает в доме молодых гостей, особенно холостых — потенциальную добычу для двух других, пока еще не пристроенных дочерей. Девушки умеют неплохо бренчать на клавишах, так что Фима с Анечкой и ее отцом иногда играют трио для двух скрипок и фортепьяно. Как-то Фима встретил Анечку на улице, завел ее к себе и без особых затруднений уложил в постель. Нужно сказать, что Анечка

не очень-то сопротивлялась: она и сама уже в течение нескольких лет вела небезопасную игру с мужчинами и парнями. Внешне девушка довольно удачно разыгрывала роль небесного ангела, чистой дщери израильской. Прямая и скромная прическа, застегнутая на все пуговички глухая блузка, застенчивая улыбка и нежный женственный голосок — все это создавало полное впечатление наивной и нетронутой невинности. Но в душе ее таились совсем другие качества и желания. Когда по тому или иному случаю спадала с Анечки ангельская маска, наружу вылезал отнюдь не райский персонаж. С нежных губ ангела внезапно слетали самые непристойные слова, самая грубая ругань, какой постеснялась бы и видавшая виды рыночная торговка. А уже несколько минут спустя, успокоившись и выплеснув свой адский заряд, Анечка вновь невинно моргала глазками и приклеивала на личико поистине небесную улыбку.

Поначалу, испытав на себе этот взрыв, Фима был немало ошарашен, но затем попривык и даже выучил несколько ответных ругательств. Теперь они время от времени с удовольствием честили друг друга в бога, душу и мать аж до сорокового колена.

Анечка проводит в комнате Фимы ровно два часа. Время ее визита строго оговорено, она ни в коем случае не может остаться на ночь: мать строго следит за нравственным обликом дочерей. Да и время Фимы тоже выверено едва ли не в миллиграммах. На потеху — два часа, не более, а остальное — делу. Сам себе не признаваясь, он любил Анечку. Видимо, и она тоже: когда год спустя девушка-ангел выскочила-таки замуж, они продолжили свои тайные встречи.

Но и эти отношения однажды прекратилась. На смену Анечке пришла Роза, жена старого пекаря, который проживал по соседству, а после Розы — Даша. Даша отличалась необыкновенной мясистостью, так что можно рассматривать эту связь как кратковременный курьез. Фима счел, что настала пора вернуться к капитанше. С годами аппетиты Ирины Осиповны ничуть не уменьшились, и Фиме пришлось вновь мобилизовать все свои силы. И тут — оп!.. — случилась у него первая осечка, и Ирина Осиповна, недолго думая, сменила стареющего любовника на голодного и любвеобильного студента во всеоружии нерастраченной юношеской страсти.

Стареющего? Не рано ли произносить это слово? Да, Фиме уже исполнилось тридцать пять, но

он еще даже не начал лысеть. Правда, появились уже на бледном лице незваные гости — первые морщинки прорезались в уголках рта и вокруг глаз. Отвергнутый лихой капитаншей, он провел несколько недель вовсе без женского общества и, к своему удивлению, нисколько от этого не страдал.

В тот сезон приехала в южный город знаменитая певица Дина Хар-Захав. Три ее концерта собрали огромное количество публики. Тембр голоса певицы стал к тому времени еще краше — к нему добавился особенный звонкий оттенок, как от серебряного колокольчика.

Теперь уже никто не называл Дину уродливой — прошли те времена, канули в безвозвратное прошлое. Народная артистка республики, известная всей стране, она разъезжала с гастролями по разным континентам и повсюду встречала восторженный прием.

Не сразу достигла Дина этого заоблачного уровня, были и у нее свои падения и взлеты. В 1919 году, когда Фима вернулся в местечко, Дина осталась в южном городе. Белоруссию тоже не обошла революция; отец девушки остался ни с чем и перестал присылать дочери деньги. Дине пришлось самой заботиться о пропитании.

Трудно сказать, как бы ей это удалось, если бы не пришел на помощь все тот же профессор Ягудинов-Левин, взявший любимую воспитанницу на свое домашнее попечение. Он жил вдвоем с женой в трехкомнатной квартире недалеко от консерватории. Бог не дал этим двум уже очень пожилым людям детей, так что они были рады удочерить Дину.

Профессор искренне любил ее. Девушка училась, не жалея себя, и все вокруг пророчили ей блестящее будущее. Закончив консерваторию, она стала специализироваться на народной песне. Ее сердечный, чистый, гибкий голос был способен заполнить собой огромный зал и в то же время мог уместиться на кончике иглы. Он глубоко волновал слушателей, и Дина начала свое победное шествие по концертным залам. Вначале она отдавала предпочтение еврейской музыке, но затем обратилась к более широкой аудитории: белорусские песни были тоже понятны и близки ее сердцу. После нескольких успешных концертов в Минске и Гомеле певица попробовала украинские и молдавские напевы. Песни печали и радости, любви и страдания — Дина с легкостью овладела этим замечательным мелодическим богатством.

Ей рукоплескали в Харькове и Киеве, Днепропетровске и Чернигове, Кривом Роге и городах Донбасса. Не было человека, которого не волновало бы, не очаровывало, не подчиняло ее песенное волшебство.

Затем прошли концерты в Москве и Ленинграде, а после них появились хвалебные статьи в центральной прессе. Дина переехала в столицу, но это мало что изменило в повседневном ходе ее жизни. Покойный профессор Ягудинов-Левин с юных лет настроил девушку на непрерывную работу, на жесткий режим, и с той поры каждый ее день определялся довольно строгими рамками. С утра — гаммы и упражнения, затем репетиции и концерты — все было подчинено пению, подчинено искусству. Успех этой певицы был результатом не только великого таланта, но и упорного труда, настойчивости, любви к своему делу.

Вскоре пришло и время зарубежных гастролей. Дина совершила трехлетнее турне по Европе и по странам Востока. За границей она не прекращала работы, знакомилась с местным фольклором, изучала и включала в свой репертуар народную музыку разных стран. Теперь на ее концертах звучали итальянские, французские, венгерские

песни и даже напевы Ирана и Аравии.

С годами появился у нее и постоянный аккомпаниатор — некто Борис Германович Соколовский, пианист лет пятидесяти, который рассказывал о себе, что он наполовину поляк, наполовину болгарин, но, согласно упорным слухам, был стопроцентным евреем. Соколовский ездил за Диной из города в город, из страны в страну. Был он женат и имел трех взрослых уже детей.

Высокий, широкоплечий, общительный и веселый человек с низким грубоватым голосом и сильными нескладными руками, Соколовский души в Дине не чаял, но, главное, очень подходил ей как аккомпаниатор. А еще ему нравилась их кочевая жизнь — переезды из города в город, из гостиницы в поезд, с поезда на пароход. Он любил эту непрерывную дорожную суету, возню с багажом, переговоры с администраторами, споры с антрепренерами, общение с такими разными и такими непохожими друг на друга людьми. Все это Соколовский с удовольствием брал на себя, опекая и защищая Дину от любых неприятных неожиданностей.

Популярность певицы росла и росла — как и армия ее многочисленных поклонников. Теперь Дина исполняла песни на языках разных наро-

дов мира, добиваясь при этом точной дикции и правильных смысловых интонаций. Самые известные композиторы претендовали на право и привилегию написать для нее песню, но далеко не у всех получалось заинтересовать Дину: педантичность и высочайшая требовательность певицы вошли в легенду. Она хорошо знала, чего хочет, и не делала уступок ни себе, ни другим — дорога к сердцам слушателей лежала через упорный труд и любовь к искусству.

И вот в южном городе расклеены афиши: знаменитая Дина Хар-Захав дает здесь сразу три концерта! Фима купил билеты на все три. А ведь когда-то никто в консерватории не обращал внимания на эту уродливую девочку… Сейчас-то Фима припоминал ее обращенные в его сторону взгляды. Неужели она тогда на что-то рассчитывала, неужели думала, что такой парень, как он, подойдет к ней? В чем никак нельзя было обвинить нашего Фиму, так это в отсутствии вкуса на женскую красоту…

Но с тех пор минуло немало лет. Вот стоит на сцене женщина, облаченная в роскошное платье. Высоким благородством веет от ее осанки, серебряные колокольчики звенят в ее сильном и глубоком голосе. Глаза у нее по-прежнему навы-

кате, и нос все еще крючком, но, кажется, сам Бог поет за нее эти песни, и люди в зале сидят, затаив дыхание и боясь пропустить хотя бы один звук.

Народные песни поет она, простые песни простых людей, населяющих эту страну.

В зале царит праздничная атмосфера. Каждый номер награждается овацией. Воодушевление публики нарастает и достигает апогея к концу представления. Люди встают, бьют в ладоши, топают ногами, крики «бис!» и «браво!» сотрясают потолок. Дина исполняет еще две-три песни, и публика снова встает, не желая отпускать певицу. Фима здесь же — он хлопает вместе со всеми и вместе со всеми встает. Ему вдруг кажется, что певица заметила его присутствие в зале, что на лице ее промелькнуло странное выражение сожаления. Он и сам испытывает странное чувство, как будто свиделся со своей молодостью.

А может, сделать попытку, попросить о встрече?

Он покидает зал и встает у выхода со сцены, прислонившись к щиту декораций. Дина исполняет последнюю в этот вечер песню — из своего еврейского репертуара. Эту песню она поет почти на каждом концерте, и слушатели не перестают улыбаться. Еще бы: ведь до сих пор никто так и

не дал за деда ломаного гроша…

В зале гремят аплодисменты. Но вот слышны и легкие шаги певицы. На лице Дины счастливая улыбка. Краем глаза она замечает мужскую фигуру в тени декораций. Фима делает шаг вперед и отвешивает поклон.

— Наверно, вы не помните меня, Дина…

Но Дина помнит, и еще как помнит! Казалось бы, что общего между грешными плотскими мечтами и этой фанатичной труженицей искусства? Наверно, ей стоило бы до конца жизни не знать ни любви, ни ревности, ни исполнения желаний, ни тяжких переживаний неутоленной страсти… Только ведь на самом деле все обстоит совершенно иначе. На самом деле эта великая и некрасивая певица все дни своей жизни не уставала мечтать о любви — в точности как какая-нибудь простая повариха! И мечты эти — так уж получилось — направлены были именно на него, этого бледного парня с горящими глазами. Его и только его образ высечен глубоким резцом на ткани ее души — такая уж она однолюбка…

Дина видит его, стоящего возле раскрашенного щита, и сердце ее колотится, как никогда еще не колотилось.

— Конечно, не помните…

— Нет, я помню, — тихо отвечает она, разглядывая стоящего перед ней человека.

Годы еще не совсем разрушили прежний облик Фимы Райзмана. Тот же непокорный, хотя и несколько поредевший чуб свешивается на лоб, и Фима тем же гордым движением отбрасывает его назад.

С концерта они едут в гостиницу «Европа», где Дина обычно останавливалась во время своих визитов в южный город начиная с самого первого приезда сюда в шестнадцатилетнем возрасте вместе с отцом. Затем пьют чай в номере певицы, и беседа вертится вокруг золотых лет юности — его и ее. Вспоминают общих знакомых из консерватории — тот взлетел к вершинам карьеры, этот, напротив, упал и прозябает в ничтожестве, а третий скромно трудится в провинциальном оркестре… А вот он, Фима, практически забросил музыку и работает на заводе инженером-химиком. Ах, годы, годы…

Она открывает окно. Третий час ночи. Начало весны. Небо уже начало сереть в преддверии рассвета. Южный город спит. Издали доносится хриплый гудок паровоза, и трубный этот звук будит в памяти прежние желания, прежние мечты, прежние разочарования.

— Неужели прошло столько лет, а, Дина?

Жажда обычного человеческого счастья охватывает женщину. Голос ее дрожит.

— Может, и не прошли они вовсе…

Неожиданно для себя они переходят на шепот. Дина выключает свет, рассветный сумрак крадется в комнату. Двое стоят рядом у окна, и прохладный ветерок легонько поглаживает их по головам и шепчет что-то сладкое, сладкое и томительное. В темноте не разобрать лиц — лишь светлые пятна сереют в рамке окна. Не эту ли женщину он ждал и желал в течение всей своей беспорядочной, нелепой жизни?

Обычно столь хваткий и решительный, на этот раз Фима колеблется, сомневается, как робкий новичок. Что-то останавливает его. Но вот он отбрасывает сомнения, и Дина чувствует, как мужская рука осторожно обнимает ее за талию.

— Ты не думаешь, что эта встреча должна была состояться много лет назад? — шепчет Фима.

Он и впрямь чувствует, что потерял тогда что-то очень-очень дорогое — потерял и заново обрел только сейчас.

— Ох, Дина, отрада сердца моего…

Вот они, наконец, правильные слова в шепчущем шорохе рассвета:

— Отрада сердца моего, полюбишь ли ты меня?

Она смотрит в его глаза, горящие в полумраке комнаты. Давным-давно, молоденькой девушкой с дрожью в сердце мечтала она об этой минуте; прошли годы, и не угасла прежняя дрожь. Его губы касаются ее лба. Женщина инстинктивно отклоняется, но миг сопротивления уже пройден, и Фима, мобилизовав весь свой немалый опыт, устремляется к цели.

…И вдруг звучат в комнате грубые слова, площадная ругань. Дина отшатывается в отвращении и высвобождается из мужских рук. Неужели это все? Неужели об этом она мечтала, к этому стремилась с девичьих лет?

Она не может сдержать слез — слез разочарования и обиды. Фима открывает глаза. Он видит, что женщина снова стоит у окна и рыдает, спрятав лицо в ладонях. Что ж, такое бывало в его практике. В таких случаях следует успокоить плаксу ласковым словом. Он встает с постели, подходит к подруге и деликатно кладет руку ей на плечо. Голос его звучит мягко и покровительственно.

— Дина…

Но не тут-то было — она отскакивает в сторону как ужаленная:

— Не прикасайся ко мне! Уходи, немедленно!

В ее выпученных глазах — слезы и отвращение. Нет никакого сомнения: его, Фиму Райзмана, изгоняют отсюда! Он делает последнюю попытку:

— Дина…

Но женщина уже держит руку у кнопки звонка:

— Уходи, или я вызову коридорную!

И вот шагает Фима по утренним улицам. На душе у него смутно и муторно. Дойдя до бульвара, он садится на скамейку, закрывает глаза и проваливается в сон.

По пробуждении он обнаруживает себя в центре большого южного города. Девятый час утра, воскресенье, выходной. На улицах оживленное движение. Открылись магазины, торопливо проходят хозяйки с кошелками. Слышны гудки автомобилей, звонки трамваев. Деревья бульвара шелестят молодой листвой, готовятся к поре цветения.

И вот — странный случай! — недалеко от дома встречает Фима Анечку — такую же невинную и застенчивую, как годы тому назад.

— Анна Аркадьевна! Сколько лет, сколько зим!

Он решает немного проводить старую знакомую. Что нового? Да, в общем, ничего. Она теперь

замужем. Правда, муж только что уехал на какую-то конференцию в Москву… Отчего Фима больше к ним не заходит? Можно было бы сыграть трио, как в былые времена.

Фима жмет руку молодой женщины:

— Слушай, Анечка, я хотел бы показать тебе кое-что у меня в комнате…

Она слегка колеблется, но затем кивает. Комната Фимы, большая и чистая, залита солнечным светом. Не проходит и нескольких минут, как эти двое уже в угаре прежнего греха. Все у них протекает как прежде. Поначалу Анечка ни дать ни взять — ангел небесный, застенчивая скромница со смущенной улыбкой. Но проходит некоторое время, и вот уже с ангельских губ срывается самая грязная ругань, какая только есть на свете. Да и наш герой не отстает от своей распаленной партнерши…

Город уже совсем проснулся. Над улицами и площадями склоняется свежее голубое небо — по нему разгуливает молоденькое солнце. Все больше автомобилей на мостовой, повсюду вскипает оживленная суета выходного дня. Море омывает городские пляжи, ждет первых купальщиков. Волны накатывают на гальку, на песок. На углу открыл свой ящик айсор — чистильщик обу-

ви; в ящике шнурки, щетки и баночки с ваксой — желтой, черной, коричневой, на любой вкус. На бульваре играют дети, прыгает мяч, взлетают звонкие голоса. Зеленеет клейкая весенняя листва, празднует вместе со всеми радость выходного дня.

В весеннюю пору своей жизни ходил и я по улицам этого города, встречал его обитателей, хорошо знал его язык, понимал его душу. Потом настали годы смуты — потерянные и глухие. Но вот прошли и они, и теперь приближается время заката. Осторожно, исподволь приходят ко мне давно уже неживые образы прошлого, всплывают в памяти прежние встречи, забытые лица, сбывшиеся и несбывшиеся мечты. Чего они хотят? Разве можно что-либо поправить? И все же сейчас он в полном моем распоряжении, тот большой южный город — город моей юной любви и моих юных молитв.

Случается, что душа поселяется в уродливом теле, а грязь и злодейство — в чудесной шкатулке. Но ни мерзость, ни великолепие не проходят, не исчезают бесследно. Вздымается ввысь дымный столп, высохший прах стучит под покровом земли в гробовую крышку, умирает всякая тварь, и безмолвие неминуемого конца поражает че-

ловека.

1947

В местечке моего детства

1

Поезд остановился, и из вагона, нагруженные узлами и чемоданами, сошли на платформу бабушка Гита, ее дочь Нехама и внук Изя. Два с половиной года не ступали их ноги по земле родного местечка. И вот — вернулись. Их никто не встречал, и лишь утреннее июньское солнце ласкало своими лучами измученную землю. Станция лежала в руинах; все железнодорожные учреждения и кассы ютились во временном бараке. Там же располагался небольшой зал ожидания, но две женщины с мальчиком не стали заходить внутрь. Они уселись на свои чемоданы и некоторое время сидели так, посматривая по сторонам и дыша воздухом родины.

Десятилетний Изя заскучал первым. Довоенные воспоминания казались ему сейчас далекими и туманными в сравнении с тридцатью месяцами, проведенными в колхозе под Алма-Атой. Да в чем, собственно, отличие между Казахстаном и Украиной? На востоке тоже хватает друзей-шалунов, с которыми можно побросать на дальность

камни или запустить воздушного змея. А ходить в школу приходится и там, и там. Впрочем, к учебе у Изи и вовсе не было никакой склонности.

Зато бабушка Гита не на шутку взволнована. Она родилась здесь, в этом украинском местечке; здесь она росла, искала себе хорошего парня, выходила замуж, рожала сынов и дочерей. Здесь прошли шестьдесят лет ее жизни. А потом налетела проклятая война, выдрала ее с корнем, забросила на восток, за горы высокие, за реки и долины. И вот она снова здесь, на земле отцов, жива-здорова, приехала-прикатила сквозь все преграды, препоны и напасти. Какое прекрасное утро вокруг! Глаз радуется глубине неба, буйной зелени, яркому сиянию дня. Слух ласкают шелестящие кроны деревьев, стрекот кузнечиков, славный птичий гомон. Хорошее чувство теплится в старой груди бабушки Гиты — чувство родины.

— Слышишь, Нехама? — поворачивается она к дочери. — Похоже, мы дома.

Нехама смотрит в материнское улыбающееся лицо и молчит. Но ее сердце тоже подрагивает от воспоминаний. Только Изя ничуть не волнуется. Парню скучно сидеть на одном месте.

— Бабушка, ну пойдем!

Он обращается не к матери, потому что все решает здесь именно она, бабушка Гита. Но женщины не торопятся; они еще несколько минут переводят дух, сидя на чемоданах. Изя использует свободное время для того, чтобы обследовать станцию, — ничего интересного.

— Ну, вы идете или нет?

Да это же просто ртуть какая-то, а не ребенок! Все ему не сидится…

Бабушка Гита, кряхтя, поднимается с места.

2

Поодиночке, по двое — по трое, капля по капле возвращались тогда уцелевшие евреи в разрушенные войной местечки. Ничтожно малы были эти чудом выжившие остатки некогда многочисленного народа, опаленные огнем угольки большого пожарища. Их встречали лишь братские могилы на местах массовых убийств да руины разрушенных домов. Но жизнь продолжалась, не обращая внимания на бесплодные жалобы.

Жизнь продолжалась: лезла из всех щелей свежая трава, тянула стебельки к солнцу, боролась за свою долю воды и света. Так заведено было с начала времен для всего живого и дышащего.

Но ничто не вернет к жизни тех, кто лежит в овраге за зданием городской больницы. Около сотни евреев — стариков, женщин и детей — были расстреляны там фашистами два года назад. Люди до сих пор боятся подходить к этому месту — как черный кошмар, смотрит овраг в лицо молчащему небу.

Бабушка Гита знала каждого из убитых в лицо и по имени. Они составляли важную часть ее жизни, ее мира, лежащего ныне в руинах. Теперь нужно строить все с самого начала. Но как? Откуда прилетит дуновение жизни на эти обугленные пепелища? Мир опустел, и потерянные люди ходят в нем туда-сюда, как куклы в театре марионеток.

Дом бабушки был взорван в конце сорок первого, но какая-то часть мебели и вещей была еще до эвакуации оставлена соседям на сохранение. Слава богу, люди попались хорошие, и вернувшиеся женщины получили назад почти все, что просили сохранить перед отъездом. Бабушка Гита, Нехама и Изя жили теперь на улице Ленина вместе с семьей Хазановичей — немолодой парой, потерявшей в горниле войны сына и дочь. Сын погиб на Курской дуге, следы дочери потерялись во время поспешного бегства.

Нехама устроилась работать в кулинарный киоск, торгующий едой из городской столовой. Мало-помалу у нее образовался постоянный круг покупателей, так что заработка вполне хватало на жизнь. Хазанович работал бухгалтером; почти весь день этот печальный пятидесятилетний еврей проводил в конторе, уходя туда до девяти утра и возвращаясь после шести вечера. Дома он обычно молчал, уйдя мыслями в черную пропасть своей беды. Нет, мало осталось в местечке по-настоящему живых людей, не похожих на кукол-манекенов с вынутой, выжженной душой…

Незаметно кончилось лето. На рынке появились картошка и овощи нового урожая, свежий прохладный ветер ежедневно приносил все новые и новые повестки от осени. Потом небо надолго нахмурилось, и зарядили дожди. Дела шли неторопливо, ни шатко ни валко. Нехама ежедневно уходила в киоск, бабушка Гита хлопотала по хозяйству, Изя пошел в школу. Последнее событие Гита сопроводила одобрительными кивками: уж там-то приструнят этого шалопая, приучат к дисциплине, а то совсем от рук отбился.

А вскоре — оглянуться не успели — зазвенели по утренним улицам шаги приближающейся зимы.

3

Семья Хазановичей испила свою чашу горя. После того как в суматохе эвакуации внезапно исчезла их дочь Аня, почернели лица матери и отца. Анечке было всего шестнадцать — статная красивая девушка, гордость родителей.

— Не оставь нас, Владыка мира! Верни нам нашу девочку! — такой молитвой встречала и провожала каждый день Ципа Хазанович.

И надо же такому случиться, что услышаны были молитвы матери, и в один прекрасный день Анечка Хазанович действительно вернулась в местечко — в красноармейской форме. Девушка прошла всю войну медсестрой одного из фронтовых госпиталей. Там-то и нашла себе Аня пару: к родителям она приехала не одна, а в сопровождении симпатичного парня, лейтенанта по имени Исайка. Уроженец Гомеля, он только что выписался из госпиталя после тяжелого ранения и теперь пребывал в шестинедельном отпуске.

Влюбленная Анечка готова была удовольствоваться загсом, но лейтенант Исайка настоял на хупе и свадьбе по всем еврейским канонам. Почему, отчего — никто понятия не имел. Как могла подобная мысль прийти в голову советско-

му офицеру, да еще во время войны — тратить время на старый обычай, давно вышедший из употребления?

Не иначе как преступления Гитлера заставили молодого еврея принять столь странное решение.

Хупа и еврейская свадьба — непростое дело, тем более в местечке, где почти не осталось евреев. Что делать? Главным материнским авторитетом в подобных вопросах считалась теперь бабушка Гита — к ней и обратились за помощью счастливые Хазановичи. Бабушка подумала-подумала, покачала головой и отправилась к Элияґу Кацу. Вообще говоря, Элияґу Кац был всего лишь лавочником, не более того. К ученостям Торы и Талмуда он имел самое отдаленное отношение, но бабушка Гита сочла, что в случае крайней нужды сойдет и лавочник. В конце концов, кроме этого семидесятилетнего еврея во всем местечке не осталось никого, кто по утрам накладывал бы тфилин и, закутавшись в талес, творил молитву во славу Создателя.

Получалось, что благодаря своим тфилин, талесу и молитвеннику реб Элияґу Кац являет собой главный, если не единственный светоч иудейской учености в этих бедных евреями местах.

И действительно, свадьбу устроили по всем правилам, как положено. Дом Хазановичей сиял от радости. Красавица-невеста и ладный шутник лейтенант Исайка выглядели такой подходящей и счастливой парой, что в сердце поневоле закрадывалась надежда, что не все еще потеряно, что есть еще будущее у еврейского народа в нашей стране.

Несколько недель спустя наступила зима. Снег завалил улицы, поля и сады, во дворах пролегли скрипучие тропинки, и мороз принялся кусать людей за нос и румянить им щеки. Война продолжалась; все глаза были устремлены в сторону фронта, где решалась общая судьба. Но вечерами, когда закрывались ставни и зажигалась лампа, казалось, что во всем мире существует только этот маленький освещенный круг и небольшое пространство вокруг него.

Лейтенант починил радиоточку, и днем все собирались возле черной тарелки репродуктора слушать сводки Совинформбюро. Как правило, диктор Левитан зачитывал приказ Верховного Главнокомандующего о взятии Красной армией очередного вражеского города. Каждый приказ завершался словами: «Вечная память героям, павшим за свободу и независимость нашей Ро-

дины!», после чего слышался звон кремлевских курантов и торжественный салют.

По всему выходило, что враг терпит сокрушительное поражение, что война близится к концу. К всеобщему сожалению, подошел к концу и отпуск Исайки. Этот веселый и уверенный в себе парень нравился всем без исключения. А вот Аня получила разрешение остаться в родительском доме по причине беременности. Как еще иначе сможет возродиться почти полностью уничтоженный народ, если женщины не будут рожать? Убийца режет, коса косит, летит по небу пепел наших загубленных братьев и сестер, но опять и опять встает Создатель, чтобы творить новую жизнь.

4

После удачно проведенной свадьбы бабушка Гита превратилась в главный еврейский авторитет местечка — к ней шли за советом, за помощью. Пришлось ей заняться и самым скорбным делом: организацией достойных похорон уничтоженных фашистами евреев, чьи едва присыпанные землей тела по-прежнему взывали к справедливости и отмщению из расстрельного рва за зданием городской больницы. К тому времени

прояснилась картина тех ужасных событий, на свет всплывало все больше и больше подробностей. Бабушка Гита не находила себе места. С ее точки зрения, жизнь не могла нормально продолжаться, пока все погибшие не будут захоронены на еврейском кладбище.

Она объявила общий сбор всем уцелевшим евреям городка. Трудно представить, но все они поместились в одной комнатке. Четырнадцать человек— женщин, стариков и детей. Всего четырнадцать.

— Евреи! — сказала им бабушка Гита. — Мы обязаны схоронить наших людей по закону Израиля.

Начали обсуждать. Во-первых, на такое дело требовалось разрешение исполкома, местных властей. Во-вторых, нужно было найти средства на оплату трудной работы по перезахоронению мертвых тел.

Сколько их всего? Около сотни… Начали вспоминать поименно, вызывать из глубин довоенного прошлого призраки ушедших друзей, соседей, родственников. Бухгалтер Хазанович нацепил на нос очки и стал составлять смертный список. Это напоминало поминальную молитву в сильно укороченном варианте, и Сара-Лея Вортман, чьи

родители и обе сестры лежали в овраге за больницей, не смогла удержаться от слез. По мере того как к списку добавлялись новые имена, к плачу Сары-Леи присоединялись другие, так что вскоре комната наполнилась приглушенными рыданиями. Мальчик Изя сидел с широко раскрытыми глазами и боялся пошевельнуться: ему казалось, будто над собравшимися машут чьи-то черные крылья.

Бухгалтер записал последнее имя и подвел итог: всего набралось девяносто шесть человек. Конечно, это были не все погибшие: вместе с жителями местечка были расстреляны и пришедшие с запада беженцы, чьих имен не знал здесь никто. Получалось существенно больше ста. Где теперь найти такое похоронное общество, «Хевра кадиша», которое возьмет на себя столь сложную задачу?

Хазанович взял чистый лист бумаги — теперь предстояло собрать пожертвования. Первой внесла свои двести рублей бабушка Гита. К ней присоединились и остальные, но собранная сумма явно не соответствовала тому, что предстояло сделать. Кто-то предложил обратиться за помощью к выходцам из местечка, которые проживали к тому времени в больших городах. Так

возник третий список с фамилиями и адресами уехавших в двадцатые и тридцатые годы — их близкие тоже гнили сейчас в страшном овраге.

Сразу после собрания бабушка Гита приступила к делу: повязала субботний платок и отправилась на прием к председателю горисполкома. Одним визитом не обошлось: еще не раз и не два стояла она возле конторок секретарей, ходила по кабинетам, высиживала в коридорах, доказывала, просила, умоляла. Местные власти не могли самостоятельно принять такое решение. Отметившись в нескольких инстанциях, в итоге запрос ушел в Москву. И снова пришлось писать письма, объяснять, настаивать, ждать ответа, и отвечать на ответ, и снова ждать, ждать, ждать…

Но бабушка Гита добилась-таки своего. Разрешение было получено в начале весны, когда таял снег и по размокшим улицам местечка бежали ручейки талой воды. Тогда же настал срок рожать Анечке Хазанович. Роды оказались нелегкими, с долгими схватками, с болью, но все кончилось хорошо. Мальчик вышел очень похожим на отца, лейтенанта Исайку. Он вел себя столь же уверенно: спал, сосал грудь и опять погружался в сон — как оно и принято у здоровых младенцев.

5

Тем временем на адрес бабушки Гиты прибывали письма с денежными переводами от разлетевшихся по разным концам страны уроженцев местечка. Ни одна просьба не осталась без ответа. Деньги присылались из столиц союзных республик, из Ленинграда, из Свердловска, из городов Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока. Еще не оборвались прежние нити, еще помнили люди родные переулки, сады и улочки, где пролетело незабвенное детство, где прошла беспокойная юность…

В назначенный день в начале весеннего месяца нисана евреи городка вновь собрались вместе — на этот раз возле расстрельного рва за зданием больницы. Теперь их было пятнадцать: к прежнему списку прибавился Анечкин сын-младенец. Ни у кого не вызвало вопросов появление здесь молодой матери с ребенком на руках; людям казалось, что каждая живая еврейская душа — пусть и шести дней от роду — причастна к исполнению святого долга перед погибшими.

По небу ползли чистые облака, солнце то пряталось, то вновь появлялось. На склонах оврага тут и там виднелись ростки свежей травы. Весна

радовала сердце голубизной небес, прозрачным воздухом, сиянием чистоты.

В землю вонзились первые лопаты. В мертвом молчании слышался лишь шелест почвы на железе лопатного штыка. Покрывающий жертвы земляной слой был тонок, и уже несколько минут спустя наткнулись на верхние трупы. Мир потемнел в глазах стоявших вокруг оврага людей.

Одно за другим из ямы выносили полуразложившиеся тела и укладывали их в ряд. Сведенные предсмертной судорогой рты. Зубы, обнажившиеся как будто в усмешке. Над чем смеются мертвецы в пустыне смерти? Мальчик Изя неподвижно стоит на краю рва, глаза его широко раскрыты.

И снова первой зарыдала Сара-Лея Вортман, опознав останки своего отца. За ней — кто-то другой. И вот уже нет больше прежней мертвой тишины. Над оврагом несутся рыдания, плач, вой оставшихся в живых. Потом взяла слово бабушка Гита, и весна остановила свой танец при звуках ее голоса, и небо принялось оплакивать погибших вместе с собравшимися у оврага евреями.

— На кого вы нас покинули, чистые души? — сказала Гита, обращаясь к мертвым останкам. — Взгляните, как мало нас, сломленных и одиноких!

Дорогие наши, родные! Заступитесь за нас перед Властелином мира, чтобы не оставил Он своей милостью нас, последние обломки своего народа. Чтобы дал Он нам силы продолжать эту опустевшую без вас жизнь…

Так говорила старая Гита, полномочная представительница еврейского народа, хоронящего своих замученных братьев и сестер. Так говорила она на церемонии, состоявшейся в одном из маленьких украинских местечек в начале месяца нисана 5705 года от Сотворения мира.

6

Останки перенесли на еврейское кладбище и похоронили в братской могиле. Теперь предстояло установить памятник — и этим тоже, конечно, занялась бабушка Гита. Приближался Песах. В прежние времена это было горячее время для еврейских хозяек — время генеральной уборки и торжественной, под чтение псалмов, выпечки мацы. Прошли те времена и следа не оставили. Собрались в доме все той же бабушки Гиты три еврейки, замесили немного муки — вот тебе и всё. Разве можно назвать это выпечкой мацы?

В мае закончилась война, люди вздохнули с облегчением. В местечко вернулись еще несколь-

ко евреев, но были и такие, кто уехал — как, например, реб Элияґу Кац, отправившийся в Ленинград, где жила его старшая дочь. С его отъездом не осталось никого, кто понимал бы в старых обычаях. Пришлось бабушке Гите взять на себя и это бремя. Вот только достанет ли сил пожилой женщине справляться со всеми тяготами и напастями мира? Даже в такой маленькой общине трудно быть всеобщей утешительницей и советчицей, представлять людей перед властями, заботиться о древних традициях, да еще и играть роль местного раввина… Тут и там начали евреи откармливать свиней, стали есть свинину по обычаю необрезанных. Смотрит на это старая Гита, вздыхает и отворачивается.

Оставил Господь свой народ вовсе без присмотра.

Впрочем, находились поводы и для радости. Анечкин сынок рос не по дням, а по часам. Исайка слал из своего дальнего далека письма, писал, что скучает по жене и ребенку, обещал в ближайшее время демобилизоваться и приехать.

На братской могиле вырос памятник — высокая гранитная стела с надписью на идише и на русском: «Вечная память жертвам фашизма». К тому времени на кладбище, на полях и дорогах

уже правило лето. Ветер играл с кронами деревьев, трепал листву, ерошил шевелюру кустов и летел себе дальше. Бабушке Гите исполнилось в тот год не то шестьдесят пять, не то шестьдесят шесть лет. Она, дочь Нехама и внук Изя так и продолжали жить в доме Хазановичей на улице Ленина. Большую часть дня Нехама проводила на работе в киоске и столовой, оставляя матери хозяйственные заботы и присмотр за Изей.

В конце лета вернулся наконец лейтенант Исайка, и с его возвращением воцарились в доме Хазановичей радость и веселье. Исайка оказался не только шутником, но и мастером на все руки. Парень понимал в слесарном деле и был неплохим столяром. До войны в Гомеле он работал на одном из заводов. В два счета Исайка исправил все неполадки, залатал прохудившуюся крышу и даже сколотил для маленького Яшеньки удобную кроватку-качалку.

Но прошло еще несколько недель, и Исайка стал все чаще вспоминать о родном городе. Казалось бы, что ему искать там? Его родители и сестра не успели покинуть город перед приходом фашистов и погибли вместе с другими евреями, а старший брат еще не вернулся из эвакуации. Тем не менее Исайка стоял на своем: он должен

обязательно поехать в свой Гомель!

7

Печально взирает на послевоенный мир старая Гита. Один за другим движутся дни, проходят, падают, исчезают. Распадается и без того крошечная еврейская община местечка. Что-то сломалось в жизни. Жуткая резня, устроенная Гитлером, изменила образ мысли тех, кто уцелел. Бабушка Гита просыпается по ночам и долго лежит без сна, уставив во тьму взгляд слезящихся глаз. О чем она думает? О камнях и деревьях, о дневных делах, о дочери-вдове и об Изе, внуке-сироте. Но, бывает, вертятся ее мысли вокруг более общих тем.

Бывает, вспоминает бабушка родное местечко — каким оно было до Катастрофы. Вспоминает, как жил тут народ Израиля, как ходили по улицам почтенные старики — медленно, степенно. И так же — потихонечку, шажок за шажком, не то двигалась, не то стояла на месте жизнь: завтра, как сегодня, сегодня, как вчера. Законы были законами, обычаи — обычаями. В Судный день все постились, и бабушка Гита тоже. Дети ходили в школу. Младенцы рождались, старики умирали.

Иногда память забрасывает ее еще дальше — в дореволюционное время. Сколько нищих лавчо-

нок было тогда на улицах местечка! Евреи стояли за прилавками, на площади шумела рыночная толпа, многолюдная суета вскипала на улочках, суета еврейских буден и еврейских праздников. По вечерам женщины сидели на скамейках перед домишками, малые дети играли в уличной пыли, а из молельных домов доносились протяжные голоса молодых парней, раскачивающихся над священными книгами. Давным-давно смолкли эти голоса. Неподвижно лежит в своей постели бабушка Гита, смотрит в непроницаемую тьму.

Всего-то три недели и провел Исайка в доме Хазановичей. В начале месяца хешвана забрал он молодую жену, маленького сына и отправился на станцию. Что за безумие вселилось в человека? Вот вынь да положь ему Гомель! Как будто не был разрушен этот белорусский город во время войны.

Бухгалтер Хазанович и его жена Ципа проводили молодых до поезда. Присоединилась к провожающим и бабушка Гита. Осень была уже в разгаре. Накануне прошел дождь, жидкая грязь покрывала улицы и дворы. Хмурилось небо, деревья стояли голыми. Здание станции еще не отстроили, так что зал ожидания помещался все в том же бараке. На этот раз он был переполнен:

люди, узлы, чемоданы, клубы махорочного дыма. Исайка, в офицерской форме и при медалях, пошел за билетами, а старики сгрудились вокруг Анечки, которая сидела на чемодане с дремлющим Яшкой на руках.

Подошел поезд, почти сразу последовали звонки — первый и второй, а с ними — поспешные прощания, поцелуи, слезы. И вот тогда, стоя у подножки вагона, вдруг ощутила бабушка Гита очень странное желание. Ей вдруг до дрожи в коленках захотелось уехать. Да-да, уехать. Сесть на этот вот поезд — и бежать, бежать, бежать как можно дальше отсюда. Как темна осенняя ночь в родном местечке, как немы улицы, как безмолвно равнодушное небо, какая давящая тоска гнетет человеческое сердце! Неужели не найдет она где-нибудь вдалеке хоть немножечко света — хотя бы один лучик, хотя бы один клочок неба…

Снова протрубил паровоз. Состав тяжело сдвинулся с места и стал набирать ход. Минута-другая — и пропал в тумане последний вагон, но три старых человека еще долго стояли, напряженно вглядываясь в дымный осенний сумрак.

Домой возвращались молча. Приближался вечер, сгущалась темнота мрачного неба, комья грязи слетали с колес телеги и шлепались в лужи.

Двенадцать. Теперь их осталось всего двенадцать в этом местечке. Остальных нет — кто мертв, а кто уехал. Как видно, не хочется уцелевшим вновь пускать корни в эту землю, пропитанную кровью их родных и близких. Оттого-то и бегут они отсюда в большие города.

С восточного края горизонта надвигается ночь хешвана, серая и глухая. Скоро дождь пойдет хлестать по окнам и крышам.

1948

Иврит

Который день продолжается мой поединок со следователем. В его распоряжении — все мыслимые средства подавления, мои руки пусты.

Он позаботился о том, чтобы я остался в полном одиночестве, без малейшей связи с окружающим миром. Моя камера черна и тесна, толстый стальной лист приварен к окну изнутри, наклонная стальная решетка — снаружи. В мощной железной двери — дырка глазка. Днем и ночью расхаживает по коридору дежурный надзиратель. Его шаги размерены и ровны, как щелчки метронома; через равные промежутки времени открывается и снова захлопывается глазок. До сих пор меня пробирает озноб при воспоминании об этом едва слышном звуке.

Мой следователь — мужчина небольшого росточка, с желтоватым лицом и цепким взглядом. Он в чине майора, но носит гражданский костюм. С этим человеком мне выпало бороться в течение многих месяцев.

Спустя несколько лет после окончания великой резни, в которой погиб каждый третий еврей из

тех, что населяли к тому времени планету Земля, в 1948 году было провозглашено Государство Израиль. И тут же к этому малому клочку земли устремились помыслы, благословления и надежды евреев всего мира. Евреи Советского Союза не стали исключением. Власти взирали на это явление с явным неодобрением. В стране царил тогда культ личности, и всем гражданам предписывалось падать ниц перед одним и только одним портретом-иконой. Любой отход от нормы поклонения жестоко наказывался. Огромную страну накрыла густая сеть тюрем и исправительно-трудовых лагерей, вздохи и стоны слышались со всех концов. Берия, Абакумов и мощный аппарат палачей из МГБ, Министерства госбезопасности, систематически уничтожали людей.

В этих условиях власть решила положить конец и «националистическим» настроениям среди советских евреев. Были уничтожены еврейские газеты, книжные издательства, Еврейский антифашистский комитет. Под запрет попали еврейские писатели. Начались массовые аресты невинных людей. Подхватила и меня эта волна — подхватила и бросила в черную тесную камеру. В камеру и в кабинет желтолицего следователя, моего единственного собеседника и противника.

Вся еврейская культура сидела тогда по тюрьмам, а коли так, то власти не могли обойти и нас — ее учеников и радетелей.

Из некогда большого количества любителей иврита уцелели к тому времени лишь считаные единицы. Кого-то арестовали, кто-то ушел в мир иной, кто-то уехал в Землю Израиля, и связь с ним прервалась по понятным причинам. Рядом со мной остался лишь Шмуэль, мой старший товарищ. А чуть позже прибился к нам новый приятель Шрага Вайсфиш. Это был странный парень; в его глазах мне сразу почудилось что-то мышиное.

Официально Шрага звался Сергеем Владимировичем, Сережей. Он без устали мелькал в каждом месте, где чувствовался хотя бы намек на существование живого еврейского духа. И уж конечно, запросто бывал в доме Шмуэля и других знакомых евреев, в том числе и в моей московской квартире.

Я был тогда по макушку загружен на работе и потому не имел возможности присмотреться к Вайсфишу с должным вниманием. Симпатия, которую проявлял к нему Шмуэль, показалась мне достаточным свидетельством Сережиной порядочности. Когда мы собирались втроем,

Шмуэль и я говорили между собой на иврите. Сережа слушал, но явно ничего не понимал.

Вскоре он попросил меня дать ему хотя бы несколько уроков языка. Я ответил согласием, и с тех пор на протяжении двух лет Вайсфиш дважды в неделю бывал в моем доме в качестве гостя и ученика. Язык был чужд ему и звуком, и смыслом, поверхностные знания и весьма средние способности тоже не помогали делу. Тем не менее по прошествии некоторого времени Сережа уже мог кое-как говорить на иврите. Не скрою, я гордился его успехами, в которых была немалая толика моих учительских усилий.

Как правило, Вайсфиш приходил ровно в то время, когда начиналась трансляция новостей по «Голосу Америки» — радиостанции, которая в Советском Союзе считалась клеветнической. Чем больше антисоветчины содержалось в той или иной передаче, тем больше она нравилась Сереже.

В конце сорок восьмого года он попросил дать ему почитать на дом какой-нибудь из моих ивритских рассказов. Я снова согласился. Тягой к написанию рассказов на иврите я заболел еще в юношеские годы, и со временем это увлечение превратилось в необходимую потребность. Вайс-

фиш знал об этой моей слабости.

Неделю спустя он вернул мне рассказ в сопровождении нескольких комплиментов. Дело было в разгар борьбы Израиля за выживание. Семь арабских стран объявили войну только что провозглашенному еврейскому государству. При этом позиция СССР по отношению к начавшемуся кровопролитию выглядела не вполне ясной. Тем не менее после речи Громыко на Ассамблее ООН, в которой наш посол поддержал создание Израиля, и уж тем более после открытия официальных представительств в Москве и в Тель-Авиве советские евреи почти не сомневались в дружественном подходе кремлевских властей.

В июне сорок восьмого в Большой московской синагоге состоялось по этому поводу празднество при огромном стечении народа. Внутри здания поместились далеко не все, многие стояли на улице. Синагогу украсили зелеными ветвями, а на широкой ленте, натянутой поперек фасада, было написано ивритскими буквами: «Ам Исраэль хай!» — народ Израиля жив! Заслушав ряд торжественных речей, собрание постановило послать приветственные телеграммы товарищу Сталину, товарищу Бен-Гуриону, а заодно и главному раввину молодого еврейского государства.

Затем в исполнении хазана и синагогального хора прозвучали приличествующие случаю напевы — в том числе поминальная молитва «Изкор» в память жертв гитлеризма.

В Москву прибыла Голда Меерсон[48], первый посол Израиля в СССР. По субботам и праздникам она посещала городскую синагогу, и тысячи евреев собирались там, чтобы посмотреть на нее. Волнение было велико. Многие молодые люди изъявляли желание немедленно отправиться в Землю Израиля, чтобы принять личное участие в защите страны евреев.

Но уже осенью начались аресты. Меня доставили во внутреннюю тюрьму на площади Дзержинского, а несколько дней спустя перевели в другое место заключения. Так я попал в темную и тесную одиночку. Прошло еще немного времени, и эта камера превратилась в средоточие всей моей жизни. Камера и кабинет следователя.

Сначала он долго требовал, чтобы я рассказал ему о причинах моего ареста. Ведь, как известно, невиновных у нас не сажают, а значит, что-то со мной не в порядке.

---

[48] Примечания: 48

В 1956 году Голда Меерсон (1898–1978) была назначена министром иностранных дел и сменила фамилию на Меир. Впоследствии Голда Меир возглавляла правительство Израиля.

— Гражданин следователь, — говорил я. — Вы меня арестовали, вы и должны объяснять, за что и почему. Ваше желание получить это объяснение от меня кажется странным.

В ответ следователь разражался руганью, называя меня врагом народа, диверсантом и предателем Родины. Он кричал, что любые мои попытки скрыть подрывную деятельность заведомо обречены на провал, ведь следствие располагает неопровержимыми доказательствами моего преступного национализма. Что если я немедленно не раскаюсь, то он покажет мне, где раки зимуют.

Он брызгал слюной, глаза его метали молнии. Но я действительно понятия не имел, в чем заключается мой проступок. Поэтому я просто молчал.

Молчал, хотя мне и очень хотелось бы поговорить после многих часов, проведенных меж черных стен постылой одиночки, среди полной тишины, нарушаемой лишь мерными шагами надзирателя и щелканьем приоткрываемого глазка.

На допрос водили ночами, каждую ночь. Стол следователя стоял в глубине комнаты, а подследственному отводилось место возле двери:

стул и маленькая круглая подставка для письма, хлипкая, вся покрытая засохшими чернильными пятнами. Временами мне казалось, что она вот-вот рассыплется под грузом вздохов тех, кто сидел здесь до меня в бессонные ночи допросов.

Почти все черные дела совершаются по ночам, когда веки детей смежены сном. Так и мои свидания со следователем начинались в половине одиннадцатого и заканчивались в пять, уже на рассвете. Однажды, завершив обычную порцию ругательств, он вдруг сильно лягнул меня сапогом. Удар пришелся по бедру и стал для меня полной неожиданностью.

Обычно по возвращении в камеру я сразу ложился, чтобы не терять ни секунды из оставшихся драгоценных минут сна. Сигнал подъема в тюрьме звучал в шесть, а затем спать не разрешали. Ложиться запрещалось, но не получалось и заснуть сидя: надзиратели строго следили за тем, чтобы глаза заключенных оставались открытыми. Поэтому нам предписывалось постоянно сидеть лицом к дверному глазку. Стоило зажмуриться, как раздавался громкий стук в дверь, сопровождаемый грубой площадной руганью. Допрос, продолжавшийся до пяти утра, оставлял на сон меньше одного часа в сутки.

Так проходила неделя за неделей. Зато у меня было достаточно времени, чтобы подумать о своем положении. В то утро, вернувшись в камеру после полученного пинка, я хорошенько обдумал случившееся и пришел к выводу, что удар сапогом не предвещает ничего хорошего. Пнув меня один раз, следователь, несомненно, намерен и дальше продолжать в том же духе. Я искал способ продемонстрировать ему, что не намерен мириться с избиением.

На следующую ночь меня привели в другую комнату, которая казалась намного меньше привычного кабинета. Да и следователь выглядел иначе: нарядно одетый, он сидел за столом и просматривал бумаги. Меня усадили на стул у двери. Не прошло и нескольких минут, как вошел незнакомый полковник и сразу стал задавать вопросы о моем поведении. Следователь отвечал, что веду я себя отвратительно, не даю показаний и отказываюсь раскаяться. Полковник обернулся и, выкатив глаза, смерил меня удивленным взглядом с ног до головы.

— Мы ж тебя в порошок сотрем, — сказал он. — Раздавим физически. Ты, верно, понятия не имеешь, куда тебя привезли.

Затем он широко размахнулся и с силой ударил

меня кулаком, раз и другой. Удары пришлись по ушам, меня качнуло сначала к одной стене, затем к противоположной. Кабинет закружился перед моими глазами, туман окутал оглушенную голову, как толстый слой ваты. Звуки едва прорывались ко мне. Полковник что-то тихо сказал желтолицему следователю, и я каким-то чудом расслышал его слова, несмотря на вату и непрекращающийся звон в ушах:

— Давай-ка сходим в буфет!

Он повернулся и, весьма довольный собой, направился к двери.

— Гражданин полковник, — проговорил я, — разрешите обратиться.

Полковник еще больше выкатил глаза:

— Ну?

— Вчера гражданин следователь, а сегодня еще и вы подвергли меня избиению, — продолжил я. — Как известно, подобные методы воздействия запрещены в нашей стране. Я прошу разрешить мне свидание с прокурором.

Он коротко хохотнул и огорошил меня мощным ударом в левый висок. Тонкая струйка крови поползла по моей щеке. В глазах потемнело, и из темноты снова послышался голос полковника. Он почти теми же словами повторил сказанное

прежде, добавив, что им и без моего признания известно все детали моих преступлений. Затем полковник перешел на чисто матерный диалект русского языка и многократно помянул мою мать и весь мой род до пятого колена, включая дальних внучатых дядьев и троюродных кузенов. Желтолицый услужливо добавил многоэтажный каскад ругани со своей стороны стола.

— Гражданин полковник, — сказал я, когда они израсходовали весь запас непристойностей. — Поскольку вы упорствуете в применении недозволенных методов следствия, а также издеваетесь над русским языком, оскверняя грязной матерной руганью эту святыню, сотворенную великим Пушкиным, великим Тургеневым и другими титанами духа, я заявляю, что отныне отказываюсь говорить здесь по-русски, и требую, чтобы следствие велось на моем родном языке, коим является иврит, язык моего народа.

Полковник перевел дух и несколько раз сглотнул.

— В карцер! — скомандовал он.

Следователь нажал на кнопку, вошел охранник.

Карцер оказался крошечным, похожим на шкаф полуподвальным помещением с асфаль-

товым полом, размером два на три шага. Внутри — густая мгла и узкая неудобная скамья. Прежде чем втолкнуть туда заключенного, надзиратели сдирают с него почти всю верхнюю одежду. Оставшись в одной сорочке, я почти сразу почувствовал, что дрожу от холода. Кормили здесь еще хуже, чем в камере: триста граммов хлеба и две кружки воды. Я был не один здесь, в этом полуподвале: вдоль узкого коридора располагался длинный ряд таких же шкафов, и время от времени оттуда доносились крики, стоны и проклятия. Я не кричал. Трое суток провел я в карцере, в глухом молчании, наедине с непроглядной мглой. Я не кричал — лишь дважды в день, утром и вечером, истово, как молитву, повторял одно и то же:

— Клянусь всем, что свято, клянусь всем, что дорого, клянусь, что буду говорить только на иврите.

Я шептал эти слова стоя, сжав кулаки и закрыв глаза, собирая в единый комок все силы своей души и помещая их в эту клятву, как в самый надежный ларец.

Трое суток спустя, в третьем часу ночи, меня снова повели на допрос. Резкий переход от пронизывающего холода карцера к хорошо натопленному кабинету следователя странно

подействовал на мой организм: меня стала бить дрожь, крупная и неудержимая, до клацанья зубов.

— Ну? — поинтересовался следователь, когда я уселся за шаткий столик. — Теперь разговорился?

— Квар амарти, — сказал я, тщетно пытаясь унять проклятую дрожь, — ки медабер ани ах иврит[49].

— Ах так?! Я заставлю тебя говорить по-человечески! — воскликнул желтолицый и нажал на кнопку звонка.

Как обычно, он сопроводил это действие доброй порцией мата. В комнату ворвались пять или шесть охранников. По правилам, заключенный обязан вставать, когда в комнату входит офицер, поэтому я автоматически поднялся на ноги. Меня по-прежнему била дрожь, ноги подламывались, но рассудок был ясен и спокоен, как солнечное утро. Оскалившись, они сгрудились вокруг меня, как стая волков.

Затем вбежал пучеглазый полковник и не мешкая подскочил ко мне.

— Ну, будешь говорить?

---

[49] Примечания: 49
Я уже сказал, что говорю только на иврите.

— Иврит…

Я едва успел произнести это слово, прежде чем он пустил в ход кулаки — с правой, с левой, с правой, с левой… По лицу потекла кровь, зато дрожь странным образом унялась, как будто отключенная кулаками полковника.

— Будешь говорить?

— Иврит… ах верак иврит…[50]

На меня посыпался град зуботычин — по лицу, по затылку, по шее, по телу… Швыряемый из стороны в сторону, от кулака к кулаку и от сапога к сапогу, я думал лишь о том, как не упасть. Хрустнул, выворачиваясь из десны, сломанный зуб.

— Мы тебе покажем! Говори! — слышалось сквозь объявшую меня пелену. — Говори!

— Иврит! — выкрикивал я в ответ. — Ах верак иврит! Иврит!

Святое слово вылетало из моего разбитого рта вместе с брызгами крови. Мне казалось, что одно его звучание помогает, придает сил. За раскрытой дверью мелькнула чья-то тень и тихий голос произнес:

— Хватит.

Избиение прекратилось. Мои мучители вышли,

---

[50] Примечания: 50

Иврит… только иврит…

я вновь остался наедине со следователем. Сев на стул, я выплюнул на ладонь обломки зубов и протянул руку вперед.

— Хинэй эт шэйни шаварта, тальян невель…[51] — сказал я желтолицему.

— А вот не будь проституткой, и бить не будут, — ответил он неожиданно мягко.

Следователь вытащил папиросу и закурил. Я смотрел на него и знал, что соотношение сил поменялось в мою пользу. Еще бы: ведь я понимал каждое его слово, в то время как он тщился угадать сказанное мной.

— Гражданин следователь! — проговорил я на чистейшем благодатном иврите. — Гражданин палач! Неужели ты действительно полагаешь, что сможешь сломать меня таким способом? Прими в расчет, гражданин Амалек[52], что за моей спиной стоят многие поколения отцов, дедов и прадедов, которые привыкли напрягать все силы души и тела в борьбе с такими подлецами, как ты, гражданин Аман. Я еврей, сын Израиля, и в этом

---

[51] Примечания: 51

Вот, ты мне зуб сломал, подлый палач…

[52] Примечания: 52

Амалек — в Библии название племени амаликитян, ведших с израильтянами войну на уничтожение. Это имя употребляется как нарицательное по отношению к злейшему врагу.

заключается мое единственное преступление. Тебе поручили уничтожить меня, стать моим ангелом смерти. И ты уверен, Аман Погромыч, что я непременно должен подчиниться тебе, сдаться, упасть на колени, пресмыкаться в грязи, вылизывать твои сапоги, сапоги повелителя и господина. Но я плюю на тебя, слышишь? Плюю и обещаю, что даже в этой стране найдутся достаточно крепкий сук и петля для тебя и подобных тебе.

Так говорил я, спокойно и уверенно, с наслаждением вслушиваясь в звуки любимого языка и сжимая в кулаке осколки сломанного зуба. Я говорил, а невысокий желтолицый человечек в форме майора и в хорошо начищенных сапогах слушал. На лице его застыло задумчивое выражение. Когда я замолчал, следователь некоторое время сидел неподвижно, затем встряхнулся, тусклым голосом произнес несколько матерных ругательств в адрес своего господа бога и матери — то ли моей, то ли божьей — и вызвал охранника. Меня отвели в мою черную камеру.

В карцере не давали воды для умывания, поэтому я первым делом сполоснул руки, смыл кровь с лица и тела и только потом лег спать. На этот раз судьба подарила мне необычно много времени для сна — целых полтора часа. В шесть,

как всегда, послышался грохот сапог надзирателя и ненавистный крик: «Подъем!» Некоторое время спустя, опять же как всегда, принесли еду: пайку хлеба, кусочек сахара и кружку кипятка. Бодро двигая саднящими челюстями, я жевал свой немудреный завтрак, и на душе моей было хорошо. Я чувствовал, что одержал победу над силами зла.

Подошел вечер, и в половине одиннадцатого меня опять доставили в знакомый кабинет. Мы снова сидели друг против друга, разделенные пятью метрами и двумя столами, и снова звучали с той стороны комнаты ругательства, угрозы и увещевания. На этот раз угрозы касались моей семьи. Следователь сказал, что, если я продолжу упрямиться, они арестуют мою жену и дочь — да, и дочь, которой в то время исполнилось всего двенадцать лет! Девочку привезут сюда, разденут и бросят прямиком в карцер. Потому что вся моя семья состоит сплошь из националистов, предателей и врагов народа.

Я молчал, и он перешел на крик, а потом и вовсе пришел в состояние неистовства, подбежал, схватил меня за плечи и стал бить головой о стену. Перед моим носом раскачивалось его желтое лицо, горящие безумным огнем глаза, пена,

запекшаяся в уголках губ.

— Иврит! — выкрикнул я. — Ах верак иврит!

Выкрикнул и замолчал. Три ночи неотступно работал надо мной следователь. Богат и разнообразен был арсенал его методов — от ласковых уговоров и медоточивой лести до грубой брани, угроз и избиений. Три ночи — с половины одиннадцатого вечера до пяти утра. Он работал, а я молчал. Затем меня вдруг оставили в покое. Три следующих ночи я без помех отсыпался в своей черной камере, восполняя накопившуюся нехватку сна и гадая, что стало причиной такого послабления. Разгадка ждала меня уже на следующем допросе. Начав с обычных вопросов, ругани и угроз и убедившись, что я продолжаю молчать, следователь нажал кнопку вызова. Дверь открылась, и в комнату вошел Сережа.

Да-да, это был Сережа Вайсфиш собственной персоной, он и его мышиные бегающие глазки. Он вошел без конвоя, как свободный человек. А я как заключенный поднялся на ноги согласно тюремным правилам. Проходя к столу следователя, Вайсфиш никак не отреагировал на мое присутствие, если не считать беглого, искоса брошенного взгляда. Он уселся рядом с желтолицым, опустился на стул и я.

— Вам известен этот человек? — спросил следователь.

Я молчал, пытаясь понять, какая роль тут отведена моему бывшему ученику.

— Он будет вашим переводчиком, — пояснил желтолицый.

Радость вспыхнула в моем сердце. Надо же! Во всем мощном аппарате МГБ не нашлось никого, кто знал бы иврит лучше этого убогого Вайсфиша! А что касается самого Сережи, подлого провокатора и стукача, то не зря с самого начала шевелились в моем сердце сомнения на его счет, ох, не зря… Само его присутствие здесь можно было считать моим успехом: чем больше следствие задействует Вайсфиша на допросах, тем меньше времени остается у него для провокаций на воле, среди пока еще свободных людей.

— Очень приятно видеть здесь этого человека, — сказал я на иврите. — Ведь именно я обучал его языку. Но у меня есть сильные сомнения в том, что он может быть полезен как переводчик. Бедняга был весьма посредственным учеником.

Вайсфиш перевел мои слова. Следователь заинтересованно наклонился вперед:

— А что, у вас были и другие ученики?

— Нет, — отвечал я по-прежнему на иврите. —

Сергею Владимировичу хорошо известно, что он был единственным, кого я обучал.

Вайсфиш снова перевел. Так, мало-помалу, продвигался этот странный допрос: желтолицый задавал вопросы по-русски, я отвечал на иврите, Сережа с грехом пополам переводил сказанное.

В какой-то момент речь зашла о передачах «Голоса Америки». Я подтвердил, что действительно несколько раз слушал новостные программы этой радиостанции, но подчеркнул, что делал это лишь в присутствии Сергея Владимировича и по его просьбе. Вайсфиш перевел лишь первую часть моего ответа, опустив вторую.

— Ага! — обрадовался следователь. — И как же вы реагировали на эту антисоветчину?

Но я отрицательно покачал головой и обратился к Сереже — конечно же, на иврите.

— Сергей Владимирович! — произнес я возмущенным тоном преподавателя. — Потрудитесь переводить мои ответы точно и полностью!

Бегающие глазки Вайсфиша ощупали мое лицо и по-мышиному скользнули в угол.

— Эта фраза не совсем понятна, — сказал он, искоса взглянув на следователя.

— Коли так, то незачем было соглашаться на должность переводчика! — отрезал я. — Будьте

добры перевести мои показания еще раз. Я утверждаю, что прослушивание «Голоса Америки» производилось по вашей инициативе.

Вздохнув, Сережа перевел мои слова.

— Это, конечно, неправда, товарищ майор, — добавил он от себя.

— Видишь, каков ты, мерзавец, мать твою так и раззэтак! — воскликнул желтолицый. — Не стесняешься клеветать на своего лучшего друга в его присутствии!

Я промолчал, хотя упоминание о «дружбе» задело меня. Возможно, следователь специально приволок сюда Вайсфиша в качестве толмача, чтобы продемонстрировать, каким дураком я оказался во всей этой истории. В самом деле, со стороны это выглядело нелепо: я сам вырыл себе яму, обучив ивриту агента госбезопасности. Теперь они использовали мою работу с двойной пользой для себя!

Допрос тем временем продолжался; следователь по-прежнему разрабатывал тему антисоветских радиопередач и их последующего обсуждения. Мои ответы были правдивы. Я настаивал на том, что обсуждения как такового не было: свое мнение по поводу услышанных новостей высказывал исключительно гражданин Вайсфиш,

хотя и в моем молчаливом присутствии. И снова Сережа перевел мой ответ, сопроводив его той же добавкой:

— Это неправда, товарищ майор…

Следователь вскочил в крайней степени раздражения. По опыту я уже знал, что одними словами тут не обойдется. И действительно, желтолицый, изрыгая брань и угрозы, подбежал ко мне и отвесил несколько оплеух. В промежутке между ударами я бросил взгляд на Сережу. Он сидел нога на ногу, слегка развалившись на стуле, и наблюдал за происходящим с выражением полнейшего равнодушия.

Два года. Два года этот человек как минимум дважды в неделю приходил в мой дом, ел мой хлеб, принимал чашку чая из рук моей жены. А затем возвращался домой и писал подробный отчет своему эмгебешному начальству. И вот теперь эти отчеты, подшитые в толстое досье, лежали на столе желтолицего следователя, и тот, время от времени справляясь с их содержанием, задавал мне вопрос за вопросом. Этот ночной допрос был для меня всемеро тяжелее карцера.

Когда меня наконец отвели в камеру, я долго лежал без сна и размышлял над своим положением. Я уже повидал в тюрьме многих своих

братьев, и среди них тех, кто был полностью раздавлен тяжестью допросов, унижен и уничтожен презрением и грубой жестокостью следователей. Я встречал брошенных в карцер узников Сиона, смотрел в испуганные глаза их родных и близких, слышал их немой плач во мгле сырых, похожих на гробы камер. Из следственных кабинетов доносились до моих ушей звуки ударов и стоны избиваемых. Но теперь перед моим мысленным взором стояла лишь мышиная физиономия Вайсфиша, папироска в углу его тонкогубого рта, нога, которой он скучающе покачивал, сидя на стуле.

Это ведь я, я научил его ивриту! Я подготовил этого шакала для волчьей стаи, усовершенствовал его опыт, привил ему нужные навыки. Теперь он наверняка считается большим специалистом. Скорее всего, по окончании моих допросов его направят на более ответственную работу, требующую знания иврита. А сейчас? Что получается сейчас? Получается, что я продолжаю обучать его, делать ему карьеру. На свободе я учил подлеца ивриту дважды в неделю; зато теперь даю — вернее, вынужден давать ему уроки каждую ночь! При условии, конечно, что я останусь верен своей клятве…

Лежа на тюремной койке, я сжимал кулаки от

бессильной ненависти. О эта раскачивающаяся нога, о эти бегающие равнодушные глазки над дымком папиросы! Подлый крысеныш, доносчик и стукач, предавший все, что свято и дорого нормальному человеку, он должен был понести наказание! Я чувствовал, что просто не смогу жить дальше, если этот гнусный опарыш не будет раздавлен. И кто как не я, фактически сделавший ему карьеру, обязан приложить к тому максимум усилий…

Но как это проделать? Ударить его стулом по голове? Но получится ли дотянуться? И если даже получится, будет ли удар достаточно сильным? У меня не было никакого оружия, кроме кулаков, ногтей и внезапности нападения. Для того чтобы покушение стало возможным, требовалось полностью усыпить бдительность следователя и самого Вайсфиша.

Я стал прикидывать свои скудные возможности. Самодельный нож… Увы, в заключении меня лишили какого-либо контакта с металлическими предметами — срезали даже крючки и пуговицы с верхней одежды. Ногти… Мне вспомнилось, что когда-то я читал о женщине, которой удалось выцарапать глаза то ли неверному возлюбленному, то ли неблагодарному врачу. Но что это

была за книга?

Я последовательно перебирал в памяти всех известных мне писателей и сюжеты их произведений, двигаясь систематически, по алфавиту. Буква «А» не принесла никакого улова. Б… Бялик… Бабель… Бренер… — нет, ничего. Гнесин… Гоголь… Грибоедов… Гамсун… Секундочку! Ну да, Гамсун, старый грешник. Как это у него? «Вот пришли и ушли дни, невинные и приветливые, прекрасные часы покоя и одиночества, полные чистых воспоминаний о детстве, о возвращении к земле, к небу, к прозрачному горному воздуху». Теперь я почти не сомневался, что выцарапанный глаз должен найтись в одной из книг прочитанной мною трилогии: либо в «Августе», либо в «Скитальцах», либо в «А жизнь идет…».

Похоже, что в последнем романе есть образ волшебницы, которая ходит из дома в дом, пугая детей и их родителей. Если плюнет на порог — быть беде… Как же ее звали? Ах да, Осё. Странная женщина, красивая, но неграмотная, приглашенная женой врача, чтобы исцелить больного сынишку. Помнится, мать ребенка не очень-то доверяла врачебным талантам своего мужа. Факт, что, вернувшись домой, он очень рассердился и стал гнать Осё за порог. Тут-то она и вырвала ему

один глаз…

Нет, вряд ли у меня получится последовать ее примеру. А что, если очень сильно лягнуть Вайсфиша в живот, предпочтительно в область желудка? И хорошо бы при этом вооружить носок ботинка какой-нибудь тяжелой броней, чтобы удар получился действительно сокрушительным.

До этого я никогда не попадал в тюрьму и понятия не имел, как долго может продлиться следствие. Сколько времени еще есть в моем распоряжении? Поразмыслив, я назначил дату покушения месяцем позже. Прежде всего требовалось хорошенько натренировать ногу. Но существовала и другая причина: дело было в апреле, стояли прохладные дни, и Вайсфиш приходил на допросы в теплой одежде, которая могла значительно смягчить силу удара. Зато в мае, когда люди сбрасывают зимние ватные доспехи, ничто не помешает мне по заслугам воздать своему «лучшему другу».

В двери загремел засов — это принесли обед: суп и кашу. Обычно я удовлетворялся лишь хлебом и кашей, отказываясь от баланды, один вид которой вызывал тошноту. Но начиная с того дня я исправно проглатывал все, что приносили:

теперь у меня была цель, и я не мог позволить себе ослабеть. Вдобавок я разработал целый ряд упражнений для укрепления мышц стопы, голени и бедра, а затем принялся тренировать и собственно удар.

Ночь за ночью сидел я возле двери в знакомом каждой черточкой кабинете, а напротив, в нескольких метрах от меня — гражданин следователь и гражданин переводчик. Пользуясь случаем, я тщательно изучал поведение Вайсфиша, характер его движений, положение тела. Как правило, он сидел в небрежной позе, закинув ногу за ногу, и курил папиросу. Расстояние между нами составляло около четырех шагов, что могло помешать моему плану. Если мне не удастся мгновенно преодолеть это расстояние, Вайсфиш успеет увернуться. Нужно было учитывать и то, что в ящике стола находился заряженный пистолет. Иными словами, я мог надеяться на гарантированный успех, лишь предварительно сблизившись с целью и не возбудив при этом подозрений Вайсфиша и его начальника. Напасть с близкого расстояния, сильно, мгновенно и неожиданно — так формулировалась моя задача.

А допрос между тем продолжался в прежнем неторопливом темпе. Желтолицый спрашивал, я

отвечал на иврите, Вайсфиш толмачил, спотыкаясь на каждом слове. К моей радости, прогресса в его знаниях не замечалось. Я по мере сил старался скрыть свое отвращение к «лучшему другу», дабы не спугнуть его раньше времени.

Меня спрашивали, писал ли я на иврите. Я отвечал, что писал рассказы и стихи.

— Почему же вы тогда не печатались в нашей стране? — поинтересовался следователь.

Этот вопрос прозвучал более чем странно, учитывая, что все находящиеся в комнате были прекрасно осведомлены о запрете на иврит в пределах Советского Союза. Я пожал плечами и ласково улыбнулся Вайсфишу.

— Почему бы тебе не ответить самому? — сказал я ему на иврите, как бы объединяя нас обоих доверительной интонацией.

Но не тут-то было. Ушлый Сережа проигнорировал мою неуклюжую попытку к сближению. Он просто перевел сказанное желтолицему, добавив при этом, что подследственный пытается уйти от ответа. Майор, конечно же, отреагировал в ожидаемом ключе — матерной бранью по адресу бога, души и всех матерей на свете.

«За это ты мне тоже ответишь», — подумал я, глядя на Вайсфиша и старательно удерживая на

лице дружелюбную улыбку.

Внутри меня клокотала обида и бурлили едва сдерживаемые слезы.

— Вы неправильно поняли, Сергей Владимирович, — сказал я на иврите. — Я имел в виду, что не печатал свои рассказы в Советском Союзе по одной-единственной причине: мне неизвестен адрес подходящего для этой цели издательства.

Вайсфиш с серьезным видом перевел, а следователь с серьезным видом записал мой ответ. Не знаю, кто из нас троих выглядел более сумасшедшим на взгляд со стороны.

— Не знали адреса, а? — презрительно повторил желтолицый и нажал на кнопку звонка.

Как видно, настало время визита в буфет. Следователь и переводчик вышли, я остался наедине с охранником. Они отправлялись перекусить каждую ночь, примерно на полчаса. Этот перерыв был мне отдыхом; мы сидели в комнате вдвоем с солдатом и просто молчали, равнодушно и безучастно. Солдаты не принимали участия в избиениях: для того чтобы съездить подследственному по морде, требовался как минимум офицерский чин.

Полчаса спустя в коридоре послышались шаги: вернулись майор и Вайсфиш. Я встал, как

положено.

— Садись… — буркнул следователь, проходя к столу.

Переводчик шел за майором. Движения обоих были замедлены и лишены обычной уверенности. «Неудивительно, — подумал я. — Третий час ночи, полный желудок…» Стараясь ничем не выдать себя, я впился глазами в Вайсфиша. Вот он, нужный момент! Войдя в комнату, Сережа секунд на пять задержался около двери, закуривая папиросу. Еще бы: сытый живот прямо-таки взывает к высококачественному куреву. Вайсфиш курит дорогие папиросы «Казбек». Я почувствовал, что меня охватывает дрожь. Я бы набросился на него немедленно, в ту же секунду, если бы не имел твердого намерения продолжать тренировки еще некоторое время, чтобы окончательно отточить технику удара.

Я как сейчас вижу его перед собой: расслабленная поза, обе руки заняты прикуриванием папиросы, живот открыт и беззащитен.

— Садись! — повторяет следователь.

Он почти не смотрит на меня, погруженный в процесс извлечения из зубов остатков пищи при помощи спички. Вайсфиш удовлетворенно затягивается и идет к своему стулу. Удобный мо-

мент упущен, но радость наполняет мое сердце: занятые перевариванием своей ночной трапезы, они явно не ждут от меня никаких активных действий. Им кажется, что я во всем послушен их воле, тих и безобиден. Таким вот, тихим и безобидным, ты продал меня, Сергей Владимирович, меня, и Шмуэля, и еще нескольких братьев. Продал, чтобы купить коробку папирос «Казбек», чтобы сидеть здесь в вальяжной позе, закинув ногу за ногу.

Все мои дни были теперь посвящены тренировке удара, накачиванию мышц. Как правило, тюремные дни заполнены тоскливой скукой, особенно в одиночной камере. Но мое время летело незаметно, целиком подчиненное одной всепоглощающей цели. У меня появилось важное занятие, задача, надежда. Я чувствовал, какой силой наливается правая нога: она казалась мне в те недели самым важным органом моего тела.

Вот щелкает, открываясь, глазок, и я прекращаю свое дежурное упражнение. Взгляд надзирателя обшаривает камеру, особо задерживаясь на моем лице: не пытаюсь ли я спать? Пребывают ли мои веки в позиции, предписанной тюремным уставом? Не волнуйтесь, гражданин тюремщик, я бодр и силен, мне некогда дремать, мне рано

расслабляться. Ненависть кипит в моем сердце, гражданин охранник — до сна ли человеку в таком состоянии? Глазок закрывается. Это означает, что перерыв закончен и можно продолжить тренировку стопы…

Так прошла неделя, за ней — другая. Я уже несколько дней чувствовал себя вполне готовым к нападению. И хотя удобной возможности пока не представлялось, я был уверен, что рано или поздно должна повториться ситуация с прикуриванием у двери, и терпеливо ждал своего часа. В своей черной камере, в перерывах между щелканьем глазка я наносил яростные удары в густую тюремную мглу, мягкую, как живот Вайсфиша. Стоило мне вообразить перед собой его мышиную мордочку, как глаза наливались кровью, сердце выпрыгивало из груди, и вся сила мышц, вся мощь душевных сил, вся тяжесть моего прошлого и настоящего устремлялись в одно-единственное место: в носок бьющей ноги. Р-р-раз!.. Два!.. Три!.. По-моему, при этом я даже выкрикивал что-то нечленораздельное.

Кончился апрель, а допросам не было видно конца. Правда, по случаю первомайских праздников мне предоставили передышку — целых три ночи. Я хорошо выспался, накопил допол-

нительных сил и намеревался использовать это временное преимущество как можно скорее.

Увы, на первом же майском допросе меня ждал неприятный сюрприз: Вайсфиша не было в кабинете!

— Хватит валять дурака! — объявил мне следователь. — Говори по-русски. Не будет тебе больше переводчика.

Но его решительность казалась наигранной. Как видно, Вайсфиша загрузили каким-то срочным заданием. И все же моим планам угрожал реальный провал. Я решил молчать как рыба, упираться до последнего: тогда они будут вынуждены вернуть сюда своего грязного стукача.

Следователь тем временем принялся писать протокол, слова лжи и клеветы. Он сидел, склонившись над столом и дымя папиросой, морщил узенький желтый лоб и скрипел, скрипел, скрипел пером. Мне же оставалось лишь молчать, молчать и ждать, вслушиваясь в стук собственного сердца, в коловращение мыслей, в обуревавшие меня чувства, надежды и сомнения.

Так продолжалось несколько ночей подряд: он писал, а я молча сидел в пяти метрах от него возле заляпанного чернилами круглого столика. Время от времени он поднимал голову и выстреливал

каким-нибудь вопросом.

— Иврит! — коротко отвечал я.

Майор всегда реагировал одинаково: бранью и угрозами, но бить меня не пытался. Две недели спустя следователь поставил в протоколе последнюю точку и потребовал, чтобы я подписал его творение. На мой круглый столик легла стопка машинописных листков; я должен был ознакомиться с их содержанием и поставить свою подпись под каждым листом.

— Я уже неоднократно заявлял, что не понимаю по-русски, — сказал я майору. — Если вы хотите, чтобы я ознакомился с каким-либо документом, вам придется перевести его на иврит.

Говорил я, конечно, на иврите, и следователь, конечно, не понял ни слова.

— Ты что, снова намерен крутить мне мозги? — вскричал он. — Да ты говоришь по-русски лучше меня!

В полном молчании я выслушал очередной шквал матерной брани. Наконец желтолицый позвонил. Вошел солдат.

— Скажи там, чтобы позвали товарища Вайсфиша! — скомандовал следователь.

Я весь напрягся, чувства мои обострились, как у охотника, выслеживающего дичь. Мое грозный

ное оружие, правая нога, вздрогнула, наливаясь мощной пружинистой силой. Все произошло очень быстро. В коридоре послышались шаги, дверь распахнулась, и вошел Вайсфиш, одетый по-летнему. Я поднялся с места.

— Шалом, Сережа!

Не отвечая, он направился мимо меня к столу следователя. Я сделал полшага вперед и ударил. Всю жизнь свою, всю волю, всю ненависть, копившуюся долгими месяцами, весь свой страх и отчаяние, всю обиду, всю боль вложил я в этот страшный удар. Он пришелся, как я и задумывал, в живот, в область желудка. Вайсфиш издал утробный задушенный стон и согнулся пополам от боли и ужаса. Следователь в панике вскочил с места, всей ладонью нажимая на кнопку звонка. Вбежал солдат.

— В карцер! В карцер! — завопил майор.

Несколько минут спустя я уже сидел в темном шкафу полуподвальной камеры, потирая ушибленный носок стопы. После этого я хромал как минимум две недели. Хромота радовала меня: если я так сильно повредил ногу, то каково же пришлось животу Вайсфиша…

Пять дней спустя меня снова привели на допрос. Следователь сидел за своим столом, положив

руку на стопку листов протокола.

— Ну что, будешь говорить по-русски? — напряженно спросил он, когда я сел на свое место. — Или позвать Вайсфиша?

— Вайсфиш! — коротко отвечал я. — Иврит!

— Вот ведь сволочь! — с чувством произнес майор. — Будь уверен, вкатают тебе за это на всю катушку. Вайсфиш в больнице.

Вот даже как! Следователь смотрел на мое вспыхнувшее от радости лицо и покачивал головой. Готов поклясться, что в его глазах не было обычной злобы.

— Что ж, — сказал я по-русски. — По случаю такого праздника можно поговорить и по-вашему. Давайте сюда протоколы…

И начался очередной этап следствия. Споры вокруг протоколов, бесплодное упрямство со стороны жертвы и грязная ругань, матерные угрозы и прочая привычная, до боли знакомая материя со стороны палача.

Идут годы, течёт-утекает своим руслом неустанное время, выходят на его берега люди, растут, добиваются успеха, стремятся к новым и новым высотам — каждый к своей, — чтобы затем упасть, усохнуть, уменьшиться до полного небытия. Судьба уготовила мне долгие годы северных

лагерей, снежные морозные зимы, белые летние ночи, полярное сияние черного неба, полного звезд. А еще: щелястые бараки, набитые истощенными людьми, каторжный труд, отчаяние и надежды, безжалостную злобу и бескорыстное тепло, удивительное ощущение человеческого братства в нечеловеческих условиях.

А потом вдруг задули новые ветра, и я вернулся домой вместе с десятками тысяч таких же уцелевших. А еще несколько лет спустя повстречался мне вдруг Сережа Вайсфиш. Это была совершенно случайная встреча, вечером, на пустынной улице, где вокруг не было никого, кроме пожилой незнакомой женщины, ковылявшей мимо по своим делам.

Нет, это был уже совсем не тот Вайсфиш. Честно говоря, я с трудом узнал его. Желтолицый, болезненно сгорбившийся, он передвигался с видимым трудом, опираясь на палку, как на костыль.

— Шалом, Сережа! — приветствовал его я и улыбнулся, как тогда в кабинете следователя, а моя правая нога инстинктивно напряглась, готовясь к удару уже помимо моего желания.

Он взглянул на меня, и ужас узнавания вспыхнул в знакомых мышиных глазах. Сначала паника парализовала его на секунду-другую, но затем

Вайсфиш опомнился, отшатнулся и бросился наутек, судорожно постукивая палкой по асфальту тротуара. А меня вдруг разобрал неудержимый смех, даже хохот. Я слышал его будто со стороны — он был громок, и груб, и невесел. Я смотрел вслед Вайсфишу и смеялся, и этот жуткий смех кнутом хлестал его по спине, по крыльям, которые словно выросли у этого червяка, спасающего свою подлую, грязную, никому не потребную жизнь. Я смеялся так, что даже прохожая старушка, ставшая случайной свидетельницей этой сцены, тоже прибавила шагу, торопливо осеняя себя на ходу троекратным крестным знамением.

1960

Двадцатка

1

Наши мудрецы установили, что публичная молитва должна совершаться по крайней мере десятью мужчинами. Если молящихся меньше, то это уже не миньян, то есть молитва не публичная, а индивидуальная, в которой, по моему скромному мнению, нет ни того особого смысла, ни той особой ответственности. Но мудрецы мудрецами, а у властей, как выяснилось, имелось на этот счет свое мнение. Власть издала постановление, согласно которому публичной молитвой именуется собрание как минимум двадцати человек. Смысл этого решения заключался в том предположении, что каждый молитвенный дом — неважно какой религии — должен поддерживаться достаточным количеством прихожан. И «двадцатка», мол, представляет собой именно такой достаточный минимум. Что ж, те же мудрецы учили нас уважать государственные законы.

Вот вам, друзья, грустная история на эту тему… Хотя, честное слово, я не уверен, что стоит ее рассказывать при всех. Ведь, как известно, умный

человек много не говорит. Умный человек глух, нем и непонятлив. И все же что-то так и толкает меня под локоть: напиши да напиши! Напиши да напиши! Вот и приходится писать, едва ли не против собственного желания.

Начну, пожалуй, с описания нашего украинского города, наполненного заводами, промышленными предприятиями и профессиональными училищами — и это в дополнение к множеству школ, начальных и средних. Есть у нас целых три театра, дюжина киношек и два музея. Есть клубы и дворцы культуры, есть всевозможные конторы, до отказа набитые чиновниками и чиновницами. Есть магазины, рестораны и киоски, стадион, парк и бульвары. Есть прекрасная речка с лодочной станцией и скамейками для отдыхающих. Короче говоря, легче сказать, чего у нас нет. Вот я и скажу вам, чего у нас нет. Нет у нас евреев. Вернее, евреев, достойных называться евреями.

Слышу, слышу ваши протестующие крики. Действительно, по статистике в городе проживают тысячи людей с соответствующим «пятым пунктом» в паспорте. «Как же так?!» — протестуете вы. И я отвечу вам, протестующим: не крутите мне мозги. Да-да, это говорю вам я, Ицхак-Меир, сын Баруха-Кальмана: не крутите мне мозги!

По нашим улицам и в самом деле ходят тысячи выкрестов и апикойресов[53]. Но евреи? Евреи, соблюдающие традиции и чтящие Имя Божье? Таких тут считай что и нет.

Сам я — пенсионер, не слишком старый, всего шестидесяти пяти лет от роду, совсем недавно, в прошлом году, оставивший место своей многолетней работы в бухгалтерии. Выход на пенсию, доложу вам, далеко не райский праздник. Всю жизнь заниматься бухгалтерским учетом, сидеть на одном и том же стуле, натирая до зеркального блеска заднюю часть штанов, рыться в конторских книгах, вписывать строки в бланки, подводить балансы и заполнять отчеты, а также выращивать геморройные шишки устрашающих размеров… — и все это для чего? Для того чтобы, выйдя на заслуженный отдых, не знать, куда деть себя, свое время, свою голову и свои шишки! Поневоле начинаешь сходить с ума…

Вот в этих-то обстоятельствах я и решил заняться общественно-полезным делом: организовать у нас миньян и дом молитвы. Потому что не мог смотреть, как теряет свою душу народ с такой долгой и выматывающей историей. Не мог смот-

---

[53] Примечания: 53

Апикойрес (эпикорес), производное от имени Эпикур — безбожник, атеист.

реть на наше новое поколение, не знающее ни иврита, ни идиша, ни Торы, ни Раши, ни законов, ни традиций, ни дат, ни праздников… — короче говоря, поколение идиотов, которые сплошь и рядом предпочитали скрывать тот «позорный» факт, что их отцы и деды имели несчастье родиться евреями. Неудивительно, что эти парни сплошь и рядом женятся на нееврейках, в то время как хорошие еврейские девушки стареют в напрасном ожидании женихов.

Такая вот картина. По этой причине, освободившись от ежедневного бремени бухгалтерского учета и сменив поблескивающие в задней своей части штаны на новые и потому более матовые, но при этом оставив на вооружении геморройные шишки и очки, придающие их обладателю вид человека, день и ночь заботящегося о духовном, я прикинул общий баланс жизни, подсчитал кредит и дебет оставшихся мне годов и решил посвятить их, то есть годы и жизнь, организации в нашем городе заветной «двадцатки». Неопытный читатель может подумать, что это ерунда, плевое дело. Что ж, на то он и неопытный. Главная беда заключается в том, что подобные начинания не встречают одобрения со стороны властей — чтоб не сказать больше. Нет-нет, есть у нас и законы,

и суды, есть правила и жалобные инстанции, есть, в конце концов, полная свобода совести и отделение религии от государства. Но тем не менее стоит тебе заикнуться об организации «двадцатки», как тут же начинаются проблемы.

Во-первых, люди боятся, что это дурно отзовется на судьбе детей, внуков, родных, друзей, близких и потомков всех вышеперечисленных категорий до десятого колена. Кто-то другой боится жены, которая регулярно — и по куда меньшему поводу — угрожает выгнать его из дому. Дальний родственник третьего — видный член партии, а потому вся семья в целом обязана следить, чтобы на светлом облике партийца не появилось ни одного темного пятнышка. А шурин любимой тети четвертого служит в крайне ответственном учреждении, что, сами понимаете, накладывает на него крайне ответственные обязательства. Иными словами, говорить с этими трусами — все равно что общаться со стенкой.

Получается, что составить список «двадцатки» труднее, чем форсировать Чермное море. Все так и норовят уклониться, даже самые близкие друзья и знакомые. Приходишь к человеку с открытым сердцем, а он вдруг устраивает тебе лекцию о мракобесном дурмане и религии как

опиуме для народа. Ты гость, должен уважать хозяина, вот и сидишь дурак дураком, пока он вываливает перед тобой содержимое брошюрок и листков общества атеистов — всю эту ерундовую чушь про то, что нет ни Судного дня, ни Судьи праведного, что Властелин мира — не более чем детская сказка и предрассудок темных людей, что шестьсот тринадцать предписаний — пережиток феодализма и что мудрость всех наших великих праведников существовала лишь в воображении угнетенных и неграмотных поколений. Сидишь, пока этот, с позволения сказать, просвещенный знаток не останавливается перевести дух, и это дает тебе возможность более-менее вежливо откланяться и уйти.

Ну, думаешь, ладно — пойду к Менделю Израилевичу, уж он-то не подведет, уж он-то не отрекся пока от Торы. И в самом деле — приходишь к нему рано утром, а он стоит, закутанный в талес, тфилин повязаны на голову и руку… — стоит и творит молитву, как самый что ни есть правоверный цуцик. Ну слава богу! Садишься, терпеливо ждешь завершения его душевной беседы с Господом, а затем немедленно приступаешь к делу, дабы ковать железо пока горячо.

— Мендель Израилевич, — говоришь ему, —

ты, конечно, не откажешься подписать вот эту просьбу. Составим миньян и будем молиться не поодиночке, как сейчас, а вместе, публично, как и завещано мудрыми.

— Исак Борисович, — отвечает он, сворачивая ремешки тфилин, — тебе ведь хорошо известно, что я хочу этого не меньше, чем ты. Да я просто мечтаю о синагоге! О том, чтобы можно было творить молитву, как наши деды и прадеды!.. — Мендель Израилевич аккуратно укладывает тфилин в бархатный футляр. — Но также, Исак Борисович… — продолжает он, поднимая на меня печальный, взывающий к пониманию взгляд. — Но также тебе хорошо известно, что мой сын Коля работает учителем математики в средней школе. И что, стоит мне записаться в «двадцатку», у Коли могут случиться крупные неприятности. «Как вы можете воспитывать подрастающее поколение? — скажут моему Коле там, куда его вызовут. — Как вы можете воспитывать подрастающее поколение, если не смогли воспитать собственного папашу?» Сам посуди, дорогой Исак Борисович, оно мне надо?

Опять неудача! Я выхожу от Менделя Израилевича и направляюсь к третьему своему приятелю. Соломону Моисеевичу Лурье под шестьдесят,

он работает в овощной лавке, и я — один из его старинных друзей и клиентов.

— Соломон Моисеевич, — говорю я, купив несколько килограммов картошки, — я забегу к тебе вечерком по одному делу…

Я таки прихожу к нему вечером и получаю любезный прием. Анна Яковлевна, жена Лурье, подает на стол чай и вишневое варенье. Рассказываю о своем деле. Соломон Моисеевич слушает и вроде бы соглашается. Затем он заводит пространную беседу о положении в мире, политике и философии — любимая тема для пожилых евреев. После долгих переговоров мы вырабатываем единое мнение об отношениях между Советским Союзом и Соединенными Штатами, Китаем и Египтом, Кубой и Северным Вьетнамом. Теперь Соломон Моисеевич переходит к обсуждению проблем нелегкой еврейской судьбы в свете сложных общемировых тенденций. Когда покончено и с этим, я осторожно возвращаюсь к вопросу «двадцатки». Анна Яковлевна добавляет прозрачное варенье в мое опустевшее блюдечко.

Пока речь шла о большой политике, Соломон Моисеевич разливался соловьем, но стоит мне заикнуться о подписи, начинает заикаться и он. Человек мнется-жмется, мекает-бекает и в итоге

сообщает мне примерно следующее. Сейчас Соломону Моисеевичу пятьдесят восемь, два года до пенсии, и он рассчитывает доработать свой срок в том же овощном магазине. А помимо овощей, есть в магазине местком, партком и комитет комсомола. И в глазах всех этих товарищей Соломон Моисеевич Лурье считается ударником труда, стахановцем и достойнейшим ветераном овощной торговли, за что имеет регулярные благодарности и денежные премии к каждому советскому празднику, будь то Первое мая или Седьмое ноября.

Я прихлебываю чай, и сладкое варенье кислит у меня на языке от этих стахановских речей. Смысл их понятен: Соломон Моисеевич и подписал бы письмо, но только не сейчас. Подождать бы еще два годика… В любом случае, сначала нужно выйти на долгожданную пенсию, чтобы стали ему до фени все эти парткомы, месткомы и благодарности, — лишь тогда душа ударника овощного фронта окажется достаточно свободной для проблем духовного порядка. Лишь тогда он запишется в «двадцатку», извлечет из нижнего ящика комода пыльный молитвенник и перейдет от служения земным овощам к служению небесным заповедям. Именно так говорит мой

старинный друг-приятель Соломон Моисеевич Лурье — говорит крайне невнятно и косноязычно, но при этом окончательно и бесповоротно, в то время как добрейшая Анна Яковлевна подкладывает мне третью порцию вишневого варенья.

Выйдя из дома стахановца, я еще долго не мог избавиться от вязкой сладости во рту и горькой горечи на сердце. Но, да будет вам известно, я не из тех, кто быстро сдается. Вернее сказать, я из тех, кто не сдается никогда — ни быстро, ни медленно, ни как-то иначе. Поставив себе цель, я иду к ней, невзирая ни на какие препятствия. Поэтому я не отчаялся, а сел и тщательно обдумал уроки своих первых неудачных попыток. Прежде всего мне стало совершенно ясно, что кандидатов в члены «двадцатки» нужно искать только среди пенсионеров. То ли все храбрецы массово вышли на пенсию, то ли пенсия придает людям храбрости — не знаю, но рассчитывать на другие возрасты попросту не приходилось. Да что далеко ходить: я и сам осмелел лишь после того, как полностью рассчитался с бухгалтерией прежней жизни. Факт, что до этого я и не помышлял о «двадцатке» и был далек от того, чтобы преисполниться героикой борьбы с выкрестами и апикойресами, а также с ассимилянтами и

космополитами.

Каков образ жизни пенсионера? Человек переходит от обычного рабочего режима к исполнению заповеди «Слушай» — но не той, которая звучит в известной молитве «Слушай, Израиль!», а совсем-совсем другой.

— Слушай, Ицик, — обращается ко мне моя жена Фрейдл, — не сходишь ли ты за солью?

Или:

— Слушай, прихвати еще полкило лука!

Или даже:

— Слушай, а не пошел бы ты к черту! Сидишь тут дома и ничего не делаешь!

Мы женаты сорок лет с хвостиком, и все эти годы Фрейдл была образцовой женой и хозяйкой. Бегала по магазинам, варила и пекла, рожала детей и в меру пилила мужа. Но стоило мне выйти на пенсию и обосноваться в домашнем кресле, как немедленно настигла меня заповедь «Слушай».

— Слушай, Ицик, если ты уже здесь, на кухне, то вымой посуду!..

В результате, выйдя на пенсию, отставной бухгалтер превращается в посыльного, слугу, носильщика и еще черт знает кого.

— Слушай, Ицик, не путайся под ногами, иди

подыши свежим воздухом!

Последнее «Слушай!» я принимаю более-менее охотно, беру газету и выхожу на бульвар Карла Либкнехта, где на скамеечках сидят такие же пенсионеры, как я. Они читают, болтают о высокой политике, играют в шахматы и домино или просто глазеют по сторонам.

Но у меня, как вы помните, своя задача. Я зорко вглядываюсь в стариков, ища еврейские лица. Ага, вот, похоже, два вполне подходящих. Подхожу, вежливо здороваюсь и присаживаюсь рядом. В руках у меня развернутая газета «Правда», но, честно говоря, это только для виду. На самом деле я напряженно вслушиваюсь в беседу потенциальных членов «двадцатки». О чем могут говорить пожилые люди, кроме политики? Конечно, о здоровье.

Старик с бородавкой на подбородке жалуется на печень. Нервы тоже шалят, да и суставы… просто беда с суставами! Его собеседник, обладатель остроконечной бородки, снисходительно усмехается: разве это болезни? Да он хоть сейчас был бы готов обменять свои беды на целую дюжину подобных болезней. Вот у него… у него… ах, да что говорить! Старик с бородавкой не спорит, благодушно проглатывая пренебрежительное

отношение к своим бедам. Зато бородач вдруг вскакивает со скамьи с прытью, которая никак не согласуется с масштабом его медицинских проблем, и резво бросается к стоящей неподалеку коляске: «Ой, Танечка!» Внучка проснулась!

Наш четырехлетний Юрочка уже ходит в садик, а иначе я бы тоже исполнял тут очередную заповедь из серии «Слушай»:

— Слушай, Ицик, сходи-ка погуляй с внуком!..

Танечка орет во всю мощь младенческих легких, и дедушка поспешно уходит вместе с коляской, остроконечной бородкой и полным набором своих ужасающих болезней. Я остаюсь наедине с безбородым и его бородавкой. Самое время закинуть удочку. Но сначала поговорим о погоде: она и в самом деле того стоит. Весенний день, по небу гуляют чистые облака, зелень бульвара радует глаз.

— Хороший денек! — замечаю я и верчу головой, вдыхая свежий воздух весны.

Что, как не весна, заставляет нас забыть о тяготах и проблемах с печенью, нервами и суставами?

— Отчего бы ему не быть хорошим в конце апреля? — откликается мой сосед по скамейке.

Несколько позже, уже после того как он вошел

в число членов «двадцатки», я узнал, что этот хитрец завершает вопросом почти каждое произнесенное им предложение. Но в тот весенний денек мы только познакомились, и Абрам Маркович — так звали еврея с бородавкой — поведал мне краткую историю своей жизни.

Слыхали ли вы о городе Прилуки? Вот там-то и родился мой собеседник. Чем занимался? О, Абрам Маркович сменил множество занятий. Учился в ешиве, воевал за царя Николая Второго, а потом вместе со многими дезертировал из армии в период между двумя революциями. Играл в оркестре. Во время нэпа работал маляром и подхалтуривал хазаном в синагоге. Потом поступил в строительный трест…

— Хазан! — так и подскочил я. — Как хорошо, что мы встретились, реб Абрам! Мне срочно требуется хазан!

— Но с какой-такой радости? — удивился Абрам Маркович. — Разве в городе есть синагога?

— Синагоги нет, — вынужден был признать я. — Есть только габай[54] синагоги.

Он недоверчиво покачал головой:

— Что вы крутите мне мозги? Где это видано,

---

[54] Примечания: 54
Габай — староста синагоги.

чтобы был габай синагоги без синагоги?

Мы сидели на скамье бульвара имени Карла Либкнехта. Рядом играли дети. Дедушки, бабушки и мамы выгуливали младенцев, читали газеты и чесали языками, шуршали кронами деревья, и солнце то выглядывало, то пряталось за края веселых кучевых облаков. А я, не обращая внимания на иронический взгляд Абрама Марковича, произносил пламенную речь в защиту своей заветной идеи. Для начала я заверил его в своем безусловном уважении к закону и властям. А власти, что поделаешь, любят только тех евреев, которые не демонстрируют своего еврейства и держатся подальше от синагог и прочих ушедших в прошлое традиций. Пример тому — я сам! Никогда не знал за собой проблем такого рода — напротив, тридцать семь лет провел на государственной бухгалтерской службе к взаимному удовольствию — своему и государства. Но теперь, выйдя на пенсию, я протягиваю государству руку дружбы и говорю: «Отныне я хочу быть евреем»!

До сей поры я был советским бухгалтером и честно исполнял возложенные на меня обязанности. Но сейчас я — габай синагоги, и неважно, что синагоги этой нет пока и в помине! Потому что синагога будет, и это так же верно, как то, что

меня зовут Ицик! Слышите? Нет такой крепости, которой не могли бы взять пенсионеры! Главное — собрать подписи для «двадцатки». Если удастся найти достаточно людей, будет у нас и свой молитвенный дом. А будет молитвенный дом — понадобится и хазан. Что вы на это скажете, реб Абрам?

Что он мог на это сказать? Такая речь сдвинула бы и скалу. С момента этой беседы Абрам Маркович превратился в моего союзника. Теперь нас было двое, одинаково одержимых одной идеей. Двое: габай и хазан несуществующей синагоги. Оставалось найти еще восемнадцать героев, и мы развернули лихорадочную деятельность в этом направлении.

Абрам Маркович постоянно жаловался на проблемы с суставами — на мой взгляд, несколько чрезмерно, — но был при этом инициативен и полон энергии. В профессии хазана он отнюдь не выглядел новичком. Я проверил его способности в одном из отдаленных уголков парка. Прошло больше сорока лет с того времени, как реб Абрам в последний раз стоял на биме синагоги, но и сейчас молитвы звучали в его исполнении более чем достойно. Приглушенный голос хазана разливался над газонами городского парка, и сердце

мое сжималось от радости и тоски.

Должен признаться, что я питаю слабость к такого рода пению, собираю дома граммофонные записи великих хазанов прошлого, таких как Сирота и Ройтман. Есть у меня и более свежие записи Жана Пирса и Малевского. Конечно, Абраму Марковичу было далеко до Сироты и Кусевицкого, но для нашей будущей синагоги было вполне достаточно его приятного голоса и еврейской души.

Прошло несколько недель, и вокруг нас образовалась тесная группа единомышленников-пенсионеров. Шесть-семь человек изъявили готовность стать членами «двадцатки». Группа — это уже что-то! Теперь я не сомневался в победе. Каждый из нас обязался приложить максимум усилий для конечного успеха. Только не думайте, что это далось нам легко!

Ах, евреи, я так и вижу ваши скептические усмешки. Но организация «двадцатки» действительно очень и очень непростое дело. Не забывайте: речь тут идет не о Москве, не о Тель-Авиве или Иерусалиме, где проживают сотни тысяч евреев, из которых всегда можно без труда набрать дюжину «двадцаток» для любой, даже самой безумной цели. Речь о небольшом укра-

инском городе. Здесь едва ли не каждый еврей — апикойрес и богохульник, или, как они сами себя называют, атеист — действительный или для отвода глаз. Ничего не поделаешь, таковы евреи в наше время: покорные до мозга костей, любой ветерок гнет их, как степную траву.

Власть постановила: Бога нет! Власть доказывает это при помощи биологии и палеонтологии, космологии и хохмологии, насаждает атеизм и призывает на войну с религией. Разве может атеизм ужиться с учением Моисея? Некогда громкий голос нашей Торы слабеет год от года, а голос атеизма, напротив, крепнет и крепнет. Попробуй-ка в таких условиях организовать «двадцатку» в городе, большую часть еврейского населения которого ухлопали во время войны проклятые фашисты! Погибли почти все уроженцы местной общины, а те евреи, которые есть, съехались сюда из разных концов страны, как перекати-поле.

Я и сам приехал сюда только после войны. Как это получилось, не столь важно. Важно, что сейчас я живу здесь вместе со своей супругой Эльфридой Семеновной, дочерью Тамарой, ее мужем Яшей и их сыном Юрочкой. Из этого ясно, что моей жене Фрейдл бездельничать не приходится. В наше время непросто быть домохозяйкой в

семье на пять душ. Тамара — пианистка, служит в местной филармонии, зять Яков — инженер, работает на заводе, и оба заняты с утра до вечера. Вот и выходит, что руки моей Фрейдл постоянно полны работой. Потому-то я нисколько не обижаюсь, когда она по десять раз на дню дергает меня своей заповедью «Слушай!». Ведь, как ни крути, а Эльфрида Семеновна тоже перевалила за шестьдесят, и жизнь ее, как и жизнь всего нашего поколения, тоже не была устлана розами.

Так и живем. В комнате молодых стоит пианино, и дочь часами бренчит на нем всевозможные гаммы и упражнения, а нам, соответственно, приходится все это слушать. Но ничего не поделаешь — заработок есть заработок. В шесть вечера Тамара уходит на концерт, зато возвращается из садика наш маленький сорванец, так что тишины снова нет как нет. Да и моя Фрейдл отнюдь не из молчальниц — как, впрочем, и все женщины. И кому, спрашивается, слушать ее, если не мужу? И с кем поделиться мне, если не с ней?

Когда я рассказал дорогой жене, да продлятся годы ее, о своем твердом намерении устроить в нашем городе синагогу по всем официальным правилам и законам, она, конечно, ответила немедленным «нет!». Доводы Фрейдл были по-

нятны: властям не понравится эта затея, а потому есть опасность, что она повредит как Яше на его инженерной должности, так и Тамаре с ее музыкой. Я возражал, приводя статьи Конституции и примеры из жизни. Разве нет в нашем городе православных церквей? А баптисты? Каждый, кто желает присоединиться к той или иной религиозной группе, делает это без всяких помех. И если у других это так, то почему у евреев должно быть иначе? В конце концов, все граждане у нас равны перед законом!

Но Фрейдл и слушать ничего не хотела. Все-таки женщины ничего не понимают в политике! Ее волновала проблема совершенно другого порядка.

Поскольку я уже начал рассказывать о семье, то должен упомянуть и своего младшего сына Сему, тоже инженера. После окончания института его распределили на Крайний Север, и Сема, как истинный комсомолец, не стал уклоняться от долга молодого специалиста. Теперь он живет и работает на энергетической станции далеко-далеко за снежными горами, помогает развивать и строить северный край. Этот факт причиняет большое беспокойство моей Фрейдл. Она, ничего не попишешь, сильно скучает по нашему младшенькому.

Во-первых, уж больно велико расстояние между нами. Во-вторых, Фрейдл ужасно боится, что Сема попадется на удочку какой-нибудь шустрой девушке с этого Крайнего Севера. Много ли там, среди белых медведей, настоящих еврейских девушек? Есть ли они там вообще?

— Слушай, Ицик, — говорит она в ответ на мои рассуждения о большой политике и о «двадцатке», — написал бы ты лучше письмо нашему Семе, предупредил бы его по поводу девушек. А то вот уже две недели нет от него ни письма, ни весточки.

И я сажусь за стол, нацепляю на нос очки и пишу сыну подробнейшее письмо о материнских тревогах и опасениях.

«Дорогой Сема, — пишу я. — Во имя Всемогущего Господа, не забудь, кто ты есть. А есть ты внук самого рабби Баруха-Кальмана, большого ученого и праведника, за чьей спиной стоит длинный ряд поколений славного рода мудрецов и знатоков Торы. И никогда, дорогой Сема, — ты слышишь? — ни-ког-да! — не было такого случая, чтобы кто-то из них забыл о своем долге и предназначении. Никто и никогда!» И так далее, и тому подобное.

Письмо летит авиапочтой, но летит долго.

Ответ приходит тоже не сразу, через месяц-два. Никого в нашей семье нельзя назвать большим писателем, включая меня самого.

«Не паникуйте заранее, — пишет Сема. — Я пока еще не думаю жениться, так что будет время обсудить эту тему. Я подружился здесь с евреем по имени Давид, намного старше меня. Он человек бывалый и не дает мне делать глупости. В следующем году надеюсь получить большой отпуск — четыре месяца. Вот приеду домой, тогда и поговорим…»

Так проходят дни. Невзирая на упорное сопротивление Фрейдл, я продолжаю подыскивать кандидатов для нашей «двадцатки». Мало-помалу эти усилия приносят результат: нас уже десять! Десять — это миньян, и не просто миньян, а миньян пенсионеров! Одно плохо: все десять уже переговорили со всеми своими знакомыми. Где теперь найти новых кандидатов?

И тут мне в голову пришла новая идея. Отчего бы не включить в «двадцатку» еще и женщин? Разве законы страны не предусматривают полного равенства между полами? А коли так, то перед нами открываются новые перспективы! Увы, действительность опровергла мои радужные ожидания: женщины оказались еще более

нерешительными, чем мужчины…

Но мы не отчаивались. Всем было ясно, что заполнение списка — всего лишь вопрос времени. И действительно, окончательный успех пришел лишь спустя несколько долгих месяцев. Но вот, наконец, я держу его в руках — вожделенный список двадцатки героев! Десятеро евреев-мужчин — все как один пенсионеры разного возраста, и десять наихрабрейших женщин от пятидесяти пяти до пятидесяти восьми лет. Я принарядился и торжественно отнес список в горисполком — в сопровождении просьбы открыть в городе официально разрешенный молитвенный дом.

Конечно, разрешения такого рода не даются с бухты-барахты. Сначала власти потребовали нотариально заверенных писем от каждого члена «двадцатки», затем пришлось еще немало побегать по инстанциям и кабинетам: объяснять, убеждать, уговаривать. Потом нас известили, что документы отосланы в столицу, и мы замерли в напряженном ожидании. Теперь все зависело от Москвы! Около полугода спустя меня вызвали в горисполком и вручили заветную бумагу. Нам разрешалось открыть в городе молитвенный дом иудейской религии!

Победа! В добрый час!

Но мы были слишком умудренными опытом людьми, чтобы почивать на лаврах. Теперь предстоял не менее трудный этап. Во-первых, нужно было подыскать подходящее помещение. Во-вторых, для синагоги требовалось соответствующее наполнение: свитки Торы, скамьи, подставка, ковчег, парохет, молитвенники… Иными словами, деньги, деньги, деньги. Но где их взять, столько денег? Не забывайте: мы были всего лишь пенсионерами…

2

Никто из нас не ожидал, что эта проблема разрешится относительно легко. И, как выяснилось, зря. Потому что одно дело — дать денег, пусть даже много, но анонимно, оставаясь в тени, не показывая властям свое лицо, и совсем другое — поставить подпись под официальной бумагой. В отличие от второго, на первое нашлось довольно много охотников, добровольцев и жертвователей, так что вскоре мы набрали необходимую сумму. Жива еще была в людях искра еврейской традиции! Возможно, ее пробудил проклятый мясник Гитлер, который резал евреев, не отличая праведника от апикойреса и выкреста. Возможно, именно он вернул нам ощущение общей судьбы,

изменил тех, кто изо всех сил старался забыть о своем еврействе.

Зато, перейдя к практическим шагам, мы быстро обнаружили, что создать синагогу — это вам не волосок из молока вытащить. Двадцать евреев, двадцать пенсионеров, и у каждого — свое мнение по любому вопросу. Один полагает, что нужно снять помещение в сердце города на улице Карла Маркса. Другой, бывший архитектор Абрамович, утверждает, что безнадежно искать квартиру в таком центральном месте. Нужно, говорит он, найти небольшой домик, пусть даже барак, хорошенько его отремонтировать и приспособить под наши нужды. Ерунда! — возражает третий. Бараки сейчас только на окраинах, а мы все люди пожилые, не слишком здоровые — как доберемся до такой синагоги в час молитвы? Ведь по субботам и праздникам запрещено ездить, можно только пешком… Его перебивает четвертый — тощий еврей по фамилии Кляйнберг. Ничего не случится, вызывающе заявляет Кляйнберг, если еврей приедет в синагогу на троллейбусе! На троллейбусе?! — в ужасе кричат пенсионеры. На троллейбусе! — запальчиво отвечает Кляйнберг. Или даже на автобусе!

Но тут вскакивает со своего места Абрам Мар-

кович, известный не только прекрасным голосом и бородавкой на подбородке, но и педантичным соблюдением всех религиозных предписаний. Коли так, кричит он, то зачем нам вообще Тора учителя нашего Моисея? Неужели мы допустим, что какой-нибудь невежда будет писать нам новые законы? Где это видано, чтобы евреи отменяли субботу?

И, конечно, Кляйнберг тоже вскакивает, выставив вперед острый кадык, и глаза его мечут молнии. Не зря, замечает он с ядовитой интонацией, в нашем местечке говорили: «Глуп, как хазан». Если кто-то назвал кого-то невеждой, то недурно было бы проверить, кто из них действительно учился и чему при этом научился! Наверно, кое-кто здесь никогда не слышал мнения мудрецов, говоривших, что предотвращение опасности для жизни важнее субботы. Наверно, этот кое-кто не читал и рассказа Давида Фришмана[55] о праведниках, которые ели в Судный день! И где — в синагоге!

«Глуп, как хазан»! Если вы полагаете, что такой человек, как Абрам Маркович, может проглотить подобное оскорбление, то вы не знаете такого

---

[55] Примечания: 55

Давид Фришман (1859–1922) — еврейский писатель, критик, переводчик, издатель; писал на иврите и идише.

человека, как Абрам Маркович! Конечно, он не может смолчать. Давид Фришман? — презрительно фыркает он. Да мало ли развелось всяких писак, которые без толку сыплют словами, как ветер песком? Слыханное ли дело, чтобы праведники нарушили пост Судного дня? Вы уверены, что такое бывает? А что касается «опасности для жизни», то не кажется ли вам, что это и вовсе курам на смех? Ну какая может быть опасность в субботней прогулке до синагоги?

Абрам Маркович, как всегда, ставит вопросительный знак в конце каждой своей фразы, но эти вопросы жалят оппонента больнее ядовитых ос. Тут уже приходится вмешаться мне, пока «двадцатка» не перессорилась окончательно.

— Ша, евреи! — говорю я на правах габая. — Нам ли, грешным, спорить о проблемах, которые могут решаться только великими раввинами, учителями поколения? И, пока такого решения нет, давайте оставим вопрос о субботе на рассмотрение каждого в отдельности. Пусть каждый делает то, что велит ему совесть.

Но, не решив вопроса о субботе, нельзя решить и вопрос о местоположении синагоги… Поэтому мы временно откладываем теоретическое обсуждение и переходим к практике — в надежде,

что она, как это часто бывает, подскажет. Члены «двадцатки» и их помощники распределяются по городским районам и окраинам — искать подходящее помещение. Тут следует упомянуть, что к этому моменту к нам уже присоединилось довольно много добровольцев — из тех, кто раньше по разным причинам не смог поставить свою подпись под официальным письмом.

Спустя неделю собираемся вновь, чтобы заслушать доклады с мест. Они пока не столь утешительны. Можно лишь втридорога снять дом в десяти километрах от центра города. И вот сидим мы, пригорюнившись, размышляем, что предпринять. И тут встает одна из самых молчаливых членов «двадцатки» Сара Рувимовна Якобсон и тихим голосом предлагает в качестве временного решения… свою квартиру! После непродолжительного потрясенного молчания мы обрушиваем на нее град вопросов. Сара Рувимовна отвечает так же тихо, но ясно и кратко. У нее трехкомнатная квартира с отдельной кухней. Здесь, недалеко, на улице Коммунаров. Да, она проживает там одна: муж умер в прошлом году. Нет, родственников нет — всех поубивали немцы в октябре сорок первого. Сама она спаслась случайно благодаря профессии медсестры: мо-

билизовали в первые недели войны. До победы служила в прифронтовом госпитале. Муж тоже воевал, был дважды ранен. Да, она умеет читать на иврите: еще до Первой мировой ее научил этой грамоте отец, реб Рувим Якобсон, габай синагоги в маленьком местечке возле Елисаветграда.

Как вам это нравится? Нет, не перевелись еще праведницы среди дочерей Израиля! Мы безотлагательно отправились к Саре Рувимовне и сняли у нее две комнаты для нашего молитвенного дома. Она также согласилась взять на себя вопросы уборки и бытовых удобств для посетителей синагоги. И тут же, не откладывая дела в долгий ящик, мы опробовали свое новое помещение первой публичной молитвой. Как и положено, мужчины остались в главной комнате, женщины вошли в смежную, и Абрам Маркович впервые продемонстрировал всем свое мастерство хазана.

День был будний, обычная молитва, но на душе у меня был поистине великий праздник. Сбылось! В наш город вернулась еврейская жизнь, вернулась самая настоящая синагога! Праздничный дух витал в этой обычной городской комнате с шатким столом, облезлой мебелью и колченогими стульями. Высокие окна были закрыты изъеденными молью занавесками,

стены заклеены зеленовато-серыми обоями в цветочек. Чем-то очень трогательным веяло от всего этого — чем именно, не могу объяснить. Мы стояли, уставившись в серо-зеленые цветочки, миньян старых евреев, многое повидавших на своем веку, и творили молитву — каждый свою, личную. Иного и быть не могло — ведь в синагоге еще не было молитвенников, а наизусть мало кто помнил. Так мы стояли и молились, а из смежной комнаты слышался приглушенный плач.

Затем мы снова сели и распределили обязанности между членами «двадцатки», женщинами и мужчинами. Прошло пять-шесть недель, и внешний вид нашей молельни существенно изменился. Мы произвели основательный ремонт, переклеили обои, сменили занавески, приобрели скамьи и подсвечники, заказали в мастерской стол и подставку под свитки, повесили красивую яркую люстру.

Среди нас нашлись такие, кто хорошо понимал в вопросе оформления комнат. Например, бывший архитектор Абрамович больше помогал в этом, чем собственно в молитве. Честно говоря, и некоторые другие члены «двадцатки» сразу зарекомендовали себя если не полными, то частичными невеждами в вопросе религиозных

правил и предписаний. Что ж, не беда: главное, что у всех было желание учиться. У нас называют таких евреев «вернувшимися». Это невежество понятно и объяснимо: наше поколение встретило революцию в детском или юношеском возрасте, и люди попросту не успели впитать древние традиции. А потом новые порядки втянули нас в свой бешеный круговорот. Мы работали изо всех сил наравне с другими, строили и построили великую державу. Мы воевали плечом к плечу с другими советскими людьми, а потом восстанавливали разрушенное и сидели в сталинских лагерях во время культа личности. Все эти годы никто из нас не молился: молитва казалась нам чем-то неестественным, нелогичным. И вот теперь, выйдя на пенсию, мы, кучка стариков, собрались вспомнить забытое.

Как я уже отмечал, вопросы ремонта и оформления взял на себя отставной архитектор Абрамович. Это был солидный пожилой мужчина в хорошо отутюженном костюме и белоснежной рубашке с галстуком-бабочкой, всегда выбритый до шелковой гладкости. Он любил говорить, что никогда в жизни не выпустил неисправный или недоделанный продукт. Это имело свою оборотную сторону: экономия не была сильным

качеством нашего архитектора. Приглашенные им мастера прекрасно знали свое дело, но, как правило, брали двойную плату. Абрам Маркович, который и сам некогда работал маляром, попробовал было вмешаться, но был решительно поставлен на место.

— Уважаемый реб Авраам, — сказал ему наш архитектор, — я не вмешиваюсь в вопросы пения и хотел бы, чтобы никто не совал нос в дела, которыми ведаю я.

Нашлись среди нас и другие специалисты — например, Прицкер, некогда работавший резником. Маленький семидесятилетний старичок, он давно уже отошел от этого ремесла, но хорошо помнил все его тонкости. С помощью Прицкера мало-помалу вернулся в наш город и кошерный забой.

Когда к работе приступают двадцать энергичных, объединенных единой целью пенсионеров, мало что может остановить их. Но в то же время нас огорчало полное отсутствие молодых. Какими бы невежественными в вопросах еврейства ни были шестидесятилетние старики, они все же видели в детстве переполненные синагоги, помнили еврейские праздники, не пугались вида ивритских букв и даже если сами не постились

в Судный день, то хотя бы знали, что кто-то постится. Но молодые… что и говорить, будущее вызывало в нас серьезные опасения.

Тем не менее синагога начала свою работу, и это уже было существенным успехом. Мы заключили договор о съеме с Сарой Якобсон, избрали исполнительный комитет и ревизионную комиссию, составили реестр общественного имущества, собрали членские взносы и организовали надежный бухгалтерский учет. Понемногу синагога обзавелась всем необходимым: в шкафчике святого ковчега появился свиток Торы, за ним еще один. Каждый из нас не жалел ни сил, ни собственных средств на пользу дела. Не уменьшалось и число анонимных жертвователей. Кто-то жертвовал молча, кто-то сопровождал свой взнос молитвой за здоровье близких, за поступление внука в институт, за удачные роды. Я не уверен, что Властелин мира и в самом деле стоял рядом с внуком на вступительном экзамене и нашептывал ему на ухо правильный ответ. Но я и не думаю, что бабушкина молитва могла помешать успешному поступлению…

Со временем на молитву стало приходить все больше и больше народу, так что нам пришлось заказать дополнительное количество скамей. В

особо важные моменты в квартире Сары Рувимовны собиралось до сорока мужчин и двадцати женщин, а в поминальные дни синагога попросту не могла вместить всех желающих. Когда же настал праздник Симхат Тора[56], нас ждала еще одна радость: впервые в наш молельный дом пришли молодые! Каждый хотел поучаствовать в традиционном обходе комнаты со свитком Торы в руках, так что, казалось, церемония не закончится никогда. Мы нарадоваться не могли, глядя на этих школьников, студентов и просто молодых людей. Квартира была переполнена, люди стояли во дворе — и не просто стояли, но прихлебывали глоток-другой вина и танцевали, напевая «Шалом алейхем» и другие еврейские песни. Конечно, эти славные парни и девушки пришли сюда не для того, чтобы творить молитву: думаю, им просто хотелось почувствовать самим и показать другим, что жив еще еврейский народ, что не сожгли его в крематориях, не закопали в расстрельных рвах. Вот он — молод и весел, поет и пляшет!

Спустя некоторое время скоропостижно скон-

---

[56] Примечания: 56

Симхат Тора (букв, «радость Торы», *ивр.*) — осенний праздник, который отмечают сразу после Суккот. В этот день завершается годичный цикл чтения Торы.

чался наш Абрамович — умер от кровоизлияния в мозг. Получилось, что участие в делах «двадцатки» и синагоги стало его последним проектом. Мы достойно похоронили своего товарища, произнесли поминальный кадиш, спели «Эль мале рахамим» и отправились по домам. Архитектор не отличался большим знанием традиций, но был умен, деятелен и полезен общине.

После его смерти выяснилась еще одна деталь: выдав разрешение на синагогу, власти и не думали выпускать нас из виду. Девятнадцать — это уже не двадцать, и исполком немедленно известил нас о необходимости восполнить список. По сути, вопрос стоял так: либо восстановите «двадцатку», либо закройте синагогу и распустите религиозную общину.

Конечно, мы немедленно бросились искать двадцатого. Пенсионеры и пенсионерки рассыпались по городу, по квартирам знакомых, по паркам и скверам. И что же? Снова выяснилось то, о чем я говорил вам в самом начале: нет в нашем городе евреев! Нет! То есть по паспорту-то евреи есть, но ни один из них не готов стать членом «двадцатки»! Снова звучат те же отговорки, снова жмутся, мнутся, разводят руками: власти не одобряют… повредит детям… помешает даль-

нему родственнику…

А ведь были, были времена, когда евреи не боялись и жизнь положить за святое дело! Где вы, прежние мученики веры, отдававшие за правду своих сыновей, шедшие на костер инквизиции? Неужели настолько измельчал человек, оскудела душа его? Все пошло к черту — и страх небесный, и любовь к святой Торе, и даже необходимость в публичной молитве — все! Осталась лишь чечевичная похлебка… Одним атеистам и раздолье: для них нет ни «двадцатки», ни «религиозного диктата».

Короче говоря, искали мы, искали… искали-искали… — и никого не нашли. Конечно, эта угрожающая ситуация требовала постоянного внимания габая синагоги, то есть меня. Но именно в этот момент я был по горло загружен домашними проблемами. После трехлетнего отсутствия в город прикатил наш ненаглядный младшенький сынок Сема — широкоплечий и статный красавец-парень. Прикатил в отпуск на целых четыре месяца и привез с собой немереное количество северных денег. И, понятное дело, моя неугомонная Фрейдл тут же засучила рукава и принялась варить, жарить и печь, чтобы угодить любимому сыночку. Теперь мне приходилось ис-

полнять заповедь «Слушай, Ицик» как минимум по десять раз на день: бегать по магазинам, таскать продукты, доставать деликатесы. Сема тем временем без устали загорал на городском пляже и уже неделю спустя выглядел как картинка с обложки журнала «Здоровье».

Но заповедь «Слушай!» не ограничивалась только беготней по магазинам: Фрейдл всерьез вознамерилась женить Семочку, чтобы более не пускать дела на самотек. Вообще-то я придерживаюсь вполне определенной точки зрения на этот счет. Родители не должны вмешиваться в выбор, который делают дети. В каждой семье бывают конфликты — не без этого. Живут дружно, потом ссорятся, а потом мирятся и живут еще дружнее. Такова жизнь: то тень, то солнышко. Но бывает, что тень становится такой большой, что накрывает всю поляну — накрывает надолго, а то и навсегда. И нужно ли мне, чтобы в такой момент пришел ко мне сын с упреками: мол, хорошенькую невесту ты мне сосватал, дорогой родитель!

Ну уж нет, увольте, пусть сам и ищет!

Так я себе думал, пока однажды не пришло к нам письмо с Крайнего Севера. Сема в этот момент, как обычно, возлежал на пляже. То ли конверт измялся-порвался от долгого пути, то

ли изначально был плохо заклеен, то ли еще что, но так или иначе его содержимое оказалось в материнских руках Эльфриды Семеновны. Возвращаюсь я, нагруженный сумками, из очередного набега на гастроном, а жена встречает меня в прихожей, и лица на ней нет. Что такое? Вместо ответа протягивает мне Фрейдл листок бумаги — письмо некой Насти моему сыну Семе.

Семочка, мой дорогой, милый-милый, любимый-любимый и близкий-близкий, — *пишет эта Настя.* — Всего три дня, как ты уехал, а я уже не нахожу себе места. На кого ж ты меня покинул, милый мой Семочка? Знай, что без тебя нет мне жизни. Лишь ты один в моем сердце, день и ночь я мечтаю и думаю о тебе, о тебе одном. Ах, если бы мы жили вместе — как я любила бы тебя! Ты, мой чистый, мой честный, мой совестливый, мой любимый! Возвращайся скорее, Семочка, я жду тебя не дождусь!

Твоя до последнего вздоха

Настя

P.S. Если в твоем городе можно достать фиолетовый плащ-болонью 48 размера,

то купи мне его, пожалуйста.

Прочитав письмо, я прежде всего сделал выговор жене за то, что она читает чужие письма.

— Слушай, Ицик, перестань болтать! — ответила Фрейдл, трагически хмуря брови. — Надо спасать мальчика!

— Фрейдл, — сказал я, — чего ты от меня хочешь?

— Чего я хочу? — зловеще переспросила она. — Я хочу, чтобы ты нашел мальчику невесту. Скажи, когда Тамарочка достигла свадебного возраста, я просила тебя о чем-нибудь? Просила? Нет! Я все сделала сама, вот этими вот руками! Но сын — это другое. Сын — это не дочь. Дочь слушает мать, а сын — отца. Поговори с ним, Ицик! Убеди его не портить себе жизнь! Эта Настя с ее фиолетовой болоньей погубит нашего мальчика!

Что тут поделаешь? Приказ получен, надо выполнять. Я отправился на берег реки, нашел там Сему и вручил ему письмо. Дело, между прочим, происходило летом, в субботний июльский вечер. Народу на пляже полно — яблоку негде упасть. Одни загорают, другие дремлют, третьи глазеют по сторонам — на берега, на реку, на волны, бегущие от прошедшей мимо моторной лодки.

Невдалеке, уставившись на воду, сидят рыбаки, и у каждого по три-четыре удочки. Кто-то играет в карты, кто-то в шахматы; здесь же — болельщики и советчики, шумно обсуждающие каждый ход. Кто-то, встав в круг, играет в волейбол, кто-то лупит ракетками по воланчику бадминтона. Все движется, все дышит, все живет…

Стоял я, смотрел на это веселое столпотворение и думал: Всемилостивейший Господь! Сколько здесь красивых еврейских девушек! А сколько их еще в нашем городе! Неужели не найдется среди них одной, которая согласилась бы связать судьбу с моим Семой? Неужели он достанется какой-то неведомой Насте в фиолетовом плаще-болонье? Вполне возможно, она хорошая девушка, но мне пока еще дороги и будущее народа Израиля, и еврейская судьба…

Пока я размышляю, Сема дочитывает письмо и прячет его в карман. На сияющем лице моего сына играет глупейшая улыбка.

— От кого письмо, Сема?

Он легкомысленно машет рукой:

— Да так… с работы.

Я раздеваюсь, вхожу в воду, плыву, ложусь на спину, смотрю на облака. Сема возвращается в круг волейболистов.

Наверно, теперь вам понятно мое состояние. Я и рад был бы заняться делами нашей «двадцатки», но мне не давали покоя мысли о младшем сыне и о далекой Насте, которая представлялась мне не иначе как сатанинским соблазном. И тут я вспомнил о тощем Кляйнберге, уже знакомом вам члене нашей «двадцатки» — вернее, даже не о нем самом, а о его дочери, которая несколько лет назад окончила мединститут. До революции Кляйнберг был школьным учителем иврита и большим любителем литературы, собирателем книг Бялика, Фришмана и других писателей. Затем еще несколько лет он пытался работать по специальности, бедствовал, голодал, а когда стало совсем невмоготу, сменил профессию. До выхода на пенсию он занимался распространением театральных билетов.

Дочь Кляйнберга Маруся, красивая девушка лет двадцати пяти, работала врачом в городской больнице. Не познакомить ли с ней моего Сему? — думал я, лежа на спине в ласковой речной воде. Вдруг из этого выйдет что-нибудь путное?

Сказано — сделано. Вечером я отправился в синагогу. Голос хазана Абрама Марковича был, как всегда, приятен нашему сердцу. Ничто так не помогает выбросить из головы повседневные

тяготы, как хорошая общая молитва.

Помолившись, мы обсудили проблемы общины. Сара Якобсон в очередной раз готова была выступить нашей спасительницей: она нашла пожилую женщину, которая согласилась стать членом «двадцатки». Но, увы, это не решало проблемы миньяна: для правильной кошерной молитвы нам по-прежнему требовался десятый мужчина. Наученные горьким опытом, мы должны были подумать и о будущем. Люди здесь все, мягко говоря, немолодые: кто поручится, что уже завтра одного из нас не настигнет новая беда? Снова добавим в мужской миньян женщину? Ну уж нет, всему есть предел! Все согласились, что нужно продолжать поиски и найти для «двадцатки» десятого мужчину.

Так заявил наш главный ревнитель кошерной чистоты Абрам Маркович, и даже его обычный оппонент Кляйнберг на сей раз промолчал. Что поделаешь, проблема действительно выглядела серьезной. Пройдет еще несколько лет, и все мы один за другим отправимся вслед за архитектором Абрамовичем в небесный миньян. Но что тогда станет с миньяном земным, с нашей дорогой синагогой, в которую уже вложено столько сил и надежд?

Я вышел из синагоги вместе с Кляйнбергом. Летний вечер встретил нас неожиданной приятной прохладой. На чистом небе сияли звезды, соперничая яркостью с уличными фонарями. Вокруг, чуждая нашим заботам, кипела городская субботняя суета.

— Зиновий Эммануилович, — сказал я, — если вы не против, я хотел бы познакомить своего сына Сему с вашей Марусей. Не хотите ли зайти к нам в гости… ну, скажем, завтра?

Кляйнберг сразу понял, что я имею в виду. Видимо, у нас обоих были схожие проблемы. Несомненно, что и Берта Ефимовна, жена Кляйнберга, родившаяся в маленьком местечке, имела прекрасное представление о том, как женились и выходили замуж в прежние времена. Правда, в дни нашей молодости все уже было иначе — без сватовства, церемонных свиданий и переговоров между родителями. Холостяки и студенты на каникулах устраивали вечеринки с танцами, пением и декламацией стихов. Были звездные летние ночи, запах садовых цветов, дальний лай собак, вопли лягушек из соседнего пруда. Горели глаза, сплетались руки, и губы встречались в горячем поцелуе. Девушки были юны и прекрасны, парни веселы и предприимчивы — все

естественно, все понятно. А что сейчас? Почему такая красавица, как Маруся, до сих пор ходит одна? Не иначе — боятся подойти к ней нынешние еврейские парни. Взяли себе моду жениться на чужих девушках. Неужели думают, что вот-вот придет новый Гитлер выжигать с земли еврейское семя? Неужели рассчитывают спрятаться, раствориться между гоями?

Нет, непонятен Берте Ефимовне новый порядок, установленный в этом мире его Властелином. Исчезло с лица земли еврейское местечко — и следа не осталось. Остатки евреев разлетелись по большим городам, а теперь и они пропадают. Что станется с нашей Марусенькой, Боже милостивый?

Таковы тревоги и жалобы еврейской жены Зиновия Эммануиловича Кляйнберга. Неудивительно, что принесенное мужем приглашение воспринято ею совершенно всерьез. Времени так мало, а надо успеть как можно лучше подготовить себя и Марусеньку к завтрашней встрече. А вдруг получится, Господи Боже? Главное, чтобы Ты помог, а уж мы-то расстараемся… Фрейдл тоже не сидит сложа руки, так что стол накрыт, как положено, в лучших традициях.

По такому случаю взяла отгул на работе даже

наша дочь Тамара — обычно в субботу вечером у нее концерт. Поначалу гости чувствовали себя немного скованно, но мало-помалу раскрепостились. За стол сели не сразу — прежде просто потолковали о том о сем. Маруся понравилась мне с первого взгляда: настоящая красавица, а кроме того — хорошо воспитанная еврейская девушка. Глаза блестящие, горячие — точь-в-точь как у отца. Мягкие черты лица еще не утратили свежего очарования юности. Красивая высокая прическа; волосы черные, блестящие. Взгляд серьезный, уверенный, как и подобает врачу-специалисту, но улыбка светлая, а смех звонкий и радостный. Короче говоря, чудо, а не девушка.

Так думал я, старый пенсионер, но разве во мне дело? Важно было, что думает мой сын Сема. Поди попробуй влезь в голову парней его возраста…

Как я уже сказал, поначалу беседа протекала несколько церемонно. Эльфрида Семеновна поинтересовалась состоянием современной медицины, предложив в качестве наглядного пособия и живого примера себя и свои болячки. Мария Зиновьевна сказала, что необходимо сделать анализы и посетить врача. В этот момент Эльфрида Семеновна вспомнила о неотложном кухонном деле и вышла из комнаты, что естественным

образом положило конец и медицинской тематике. Далее беседу повела Берта Ефимовна. Она предпочла поговорить о музыке, заметив между прочим, что Марусенька тоже училась в музыкальной школе по классу вокала и что учителя очень хвалили ее сопрано и прочили неплохое будущее. Но вот — медицина перевесила…

Тут в разговор включилась Тамара и сразу засыпала Марусю вопросами. В какую школу она ходила? Что пела? Римского-Корсакова? Глинку? Современных композиторов? Само собой, все стали просить Марию Зиновьевну спеть прямо здесь и сейчас. Та не заставила себя упрашивать. Тамарке села за клавиши, и Маруся спела пару романсов. Считается невежливым слишком пристально глазеть на человека, но никто ведь не запрещает смотреть на певицу. В итоге мы получили бесценную возможность разглядеть Марусю Кляйнберг во всех подробностях. Легкое летнее платье подчеркивало ее стройную женственную фигуру, голос лился, заполняя комнату, черные глаза горели на красивом лице.

За Глинкой последовал Чайковский, за ним — Римский-Корсаков — целый концерт прекрасных русских романсов. Берта Ефимовна и Кляйнберг сияли от гордости, Сема и Яша аплодировали по-

сле каждого номера, а Юрочка почти сразу заснул и мирно посапывал на кушетке.

3

Потом мы сели за стол, уставленный бутылками с вином, а также вазочками и блюдами с разнообразнейшей закуской — рубленой селедкой, яйцами с луком, печеночным паштетом, рыбными консервами, сырами разных сортов и еще много чем. Евреи редко напиваются, но стопка-другая водки никого еще не отравила. Мы дружно выпиваем, и мой Сема тут — главный заводила. На севере, говорит он, человек не может прожить без подобного подогрева. Вместе с Семой разогревается и наш старший гость, тощий Кляйнберг. Я тоже стараюсь не отставать: известно, что в компании, где веселятся трое, веселы и все остальные. Кляйнберг вообще не из молчальников, но после водки его язык и вовсе развязался. Лысина Марусиного отца сияет над столом, как полная луна, и он не перестает шутить и одаривать нас жемчужинами книжной премудрости.

Тут самое время немного подробней рассказать о моем зяте Якове. Я уже говорил, что он работает инженером на одном из городских заводов. Яша

— очень добропорядочный гражданин и внимательный муж. Восьмого марта, в Международный женский день, он обязательно приносит моей Тамарочке подарки: букет цветов, флакон духов и чулки лучшего сорта из всех, какие только предлагает последняя мода. Не забывает Яша в этот день и Эльфриду Семеновну. То же и с днями рождений всех членов семьи. Скажите, можно ли ожидать большего от молодого специалиста с зарплатой в сто пять рублей? По воскресеньям он обязательно гуляет с Юрочкой. Ведет сына в парк, в кино, в зоопарк или в цирк. Стоически выносит всегдашние женские претензии. Короче говоря, ангел, а не зять. Вдобавок ко всему Яша практически не пьет. Вот и в тот день за столом мне пришлось немало потрудиться, чтобы заставить его выпить хотя бы две-три рюмки.

Выпитое подействовало и на него, так что Яков даже сделал попытку переговорить Кляйнберга. Только куда ему до самого говорливого члена «двадцатки»! Старик хорошо знает еврейские напевы прежних лет — еще с того времени, когда работал учителем. Густым басом, несколько неожиданным для такой тощей фигуры, он по-

ет песни на слова Бялика, Черниховского[57] и других замечательных поэтов. Тут вам и «Возьми меня под крыло», и «Есть у меня колодец», и «Между Тигром и Евфратом», и «Когда придет Машиах», и даже простенькая «Маргариткес». Маруся, конечно, помогает отцу своим высоким сопрано; стараются и все остальные — каждый в меру отпущенных ему сил и возможностей. Вряд ли молодежь понимает значение ивритских слов, зато мелодии известны нашим детям с раннего детства.

Но вас-то, наверно, интересует главный вопрос, ради которого, собственно, все и затевалось: завязалось ли что-нибудь между Семой и Марусей? Натянулась ли незримая ниточка, из которой, бывает, вырастает нечто более серьезное — на годы и десятилетия человеческой жизни? Таки да, завязалось! Таки да, натянулась! Под влиянием винных паров любая девушка кажется привлекательной, а уж такая красавица, как Маруся… — тут, доложу я вам, просто невозможно не влюбиться по самые уши!

Выпив чаю, мы вернулись в комнату Тамарке, и она снова села за пианино. Вальс! Нет, вы только

---

[57] Примечания: 57
Шауль Черниховский (1873–1943) — еврейский поэт, писал на иврите.

гляньте на моего расхрабрившегося зятька! Яша приглашает Марусю на танец! Не могу сказать, что это нравится Семе. Мой хваткий сын решает вопрос кардинально: приносит магнитофон. Я слышу, как он шепчет Тамарочке:

— Сестра, уйми своего муженька! Он мешает! Пусть танцует с тобой!

Что ж, похоже, дело продвигается в правильном направлении. Теперь по комнате кружатся две пары. Сема что-то шепчет партнерше, и Маруся улыбается ему своей ослепительной улыбкой.

Берта Ефимовна делает нам знаки: нужно уйти, не мешать молодым! Наученная разочарованиями, эта пожилая еврейка боится сглазить — уж больно хорошо все началось. Мы, старики, возвращаемся к столу. В бутылке еще плещется несколько капель, и я наливаю нам с Кляйнбергом по последней:

— Давайте выпьем, Зиновий Эммануилович! За народ Израиля! Пусть останутся в мире евреи и через тысячу лет, и через десять тысяч лет! Пусть они встретят приход Машиаха! И пусть, придя в этот мир и в эту страну, он найдет в ней хотя бы одну «двадцатку»! А нам… — что остается нам, старикам? Нам остается заботиться о том, чтобы не прервалась с нашей смертью длинная цепочка

поколений…

И Кляйнберг, само собой, добавляет к моему тосту собственную пространную речь. Он говорит о злейших врагах еврейского народа, начиная с Амана и переходя через Петлюру к Гитлеру. Эти злодеи замышляли истребить евреев под корень — и что? Господь, да святится Имя Его, устроил им позорный конец! Да будет так со всеми ненавистниками Израиля! Мы выпиваем, и неугомонный Кляйнберг наливает снова — на сей раз уже точно по последней! Потому что нужно непременно выпить еще и за детей: за Сему, превосходного сына — да умножатся такие парни в народе Израиля! — и за прекрасную Марусеньку, которой нет равных ни в красоте, ни в медицине! Амен!

Конечно, этот вечер лишь очень отдаленно напоминал прежний обряд обручения, принятый в еврейских местечках, с его церемонным «свиданием» смущенных жениха и невесты и последующими «переговорами» родителей об условиях брачного договора. В наши времена все делается иначе — ни тебе условий, ни тебе договора. Тем не менее у Марусиного отца нашлось все же кое-что. Кляйнберг полез в карман и вынул два билета на концерт Гилельса, который как раз гастролировал тогда в нашем городе.

— Вот, — сказал он. — Было бы хорошо, если бы Сема сводил туда нашу Марусеньку… Только, ради бога, не говорите, что это от меня.

Я взял с благодарностью. Какое-никакое, а приданое: два голубеньких билетика в зал городской филармонии.

Итак, первая встреча прошла на ура. Можете себе представить мое разочарование, когда на следующий день Сема принес домой фиолетовую болонью сорок восьмого размера!

— Кому это, Сема?!

— Так… один знакомый просил для себя…

— Сема, — говорю я, — можно, и я попрошу кое о чем? Мы с тобой все-таки тоже знакомы. Не ври отцу, ладно? Ты посылаешь этот плащ девушке.

— Ну да, — отвечает этот прохвост не моргнув глазом. — А что, нельзя?

— Сема, — говорю я, с трудом сдерживая раздражение. — Может, лучше обратить внимание на Марусю Кляйнберг? По-моему, она прекрасная девушка. И мама полностью со мной согласна, что, как тебе известно, бывает нечасто.

— Ну и что дальше?

— Сема, тебе уже двадцать семь. Не пора ли подумать о будущем?

Он смотрит на меня сверху вниз во всех смыс-

лах этого понятия и вдруг разражается веселым смехом:

— Папа, да не волнуйся ты так! Сегодня вечером у меня свидание с Марусей. Теперь доволен?

«Теперь доволен»? Вернее было бы сказать, что теперь я и вовсе ничего не понимаю. Мне остается лишь достать два билета и протянуть их сыну.

— Вот, возьми. Своди ее на концерт Гилельса.

Нет, ну как вам это нравится? Утром послать крайнесеверной Насте ее фиолетовый плащ, а уже вечером пойти на свидание с совершенно другой девушкой! Неужели теперь так принято?!

К счастью, свидания с Марусей продолжились. А вскоре подошло время идти в отпуск и ей. И что вы думаете — мой сын тут же огорошил нас известием о своем намерении ехать отдыхать в Крым.

— Что это вдруг, Сема? — расстроилась Фрейдл. — Тебе что, плохо дома?

Сема лукаво усмехнулся:

— Я еду не один, мама. Вместе с Марусей. Это тебя устроит?

Устроит? Не то слово… Да, далеко не все начинания вроде бы бесполезных пенсионеров обречены на провал! Сема и Маруся укатили к Черному морю, а несколько дней спустя пришло

второе письмо от Насти. Вы, конечно, не удивитесь, узнав, что моя Фрейдл снова распечатала конверт. И я тоже был вынужден изучить его содержание, предварительно строго отчитав жену за непозволительную манеру читать чужие письма.

Семен Исакович! — *писала Настя*. — Милый, любимый Сема! Во первых строках извещаю, что у меня все хорошо, кроме того, что нету со мной тебя. Я думаю о тебе днем и ночью, наяву и во сне. Считаю часы до твоего возвращения, но их осталось еще так много! Без тебя тут все опустело, и мне очень одиноко. Даже белые ночи не утешают., Я лежу на своей койке и не могу заснуть, все думаю о тебе. Приезжай, приезжай, приезжай, мой любимый и единственный! Целую тебя тысячу тысяч раз, твоя навеки

Настя

P.S. Спасибо за болонью! Она мне очень идет. Приедешь — сам убедишься. Если тебе не трудно, купи мне еще туфли на шпильках, такие красненькие, 36 размера.

Что ж, во всем этом не было ничего нового — если не считать замену болоньи на туфли. Зато следующее послание обогатило нас весьма любопытной информацией. Оно пришло тоже с севера, от Давида — друга и старшего товарища нашего сына. Вынужден признаться, что моя Фрейдл, вовсе потеряв всякий стыд, вскрыла и это письмо. Вот так: аморальные действия, войдя в привычку, уже не вызывают никаких угрызений совести. Поэтому я не стал отчитывать жену, а просто прочитал то, что было написано в письме. В основном оно содержало новости с места работы и приветы от общих знакомых, но несколько строчек касались непосредственно Насти.

> А твоя Настя окончательно ссучилась, — *писал Давид, употребляя характерную лексику весьма отдаленных мест, где ему, видимо, пришлось побывать не совсем по своей воле.* — Присосалась к Константину Васильевичу и крутит с ним любовь, не обращая внимания на то, что у человека жена и трое детей. Меняет любовников как перчатки. Говорил я тебе — не связывайся с ней! Наверняка она строчит тебе горячие письма

о любви. Не верь, Сема! Эта сучка любит только жирную мазу и твердую монету…

Прочитав это, мы с Фрейдл приободрились. Бывший зек Давид, прошедший лагеря в период культа личности, пользовался явным авторитетом у нашего сына.

Месяц пролетел незаметно, и в конце августа молодая пара вернулась из Крыма. Сема влетел в квартиру с чемоданом в руке — красивый, загорелый и, несомненно, счастливый.

— Как дела, родители?

Фрейдл усаживает сына за стол, наливает тарелку супа и заодно подает оба письма. Сначала Сема читает новости от друга. Он прихлебывает вкусный материнский суп, и лицо его постепенно мрачнеет. Затем парень вскрывает Настино письмо. Слава богу, он не обращает внимания, что конверты уже прошли нашу обработку. Но вот тарелка опустела, письма прочитаны. Задумчивый Сема молча сидит за столом, и кажется, что от привезенного из Ялты счастья не осталось и следа.

В тот же вечер мы нанесли Кляйнбергам ответный визит. Тамарке не смогла освободиться, Яша остался с Юрочкой, так что мы отправились в

гости втроем — я, Фрейдл и Сема. В Марусе что-то изменилось. Она выглядела немного иначе — наверно, потому, что с лица ее не сходила улыбка. И еще они с Семой постоянно переглядывались, словно связанные одним пониманием, и это было лучшим свидетельством того, что месяц на юге не прошел даром.

Ох, евреи… Насколько все-таки лучше быть молодым и здоровым, чем старым и больным! Вы сильно ошибаетесь, если думаете, что жизнь пенсионера — это сплошной отдых и безделье. Видели ли вы ивовую ветвь, побитую о землю в седьмой день Суккот, — или, да простится мне, если я поставлю рядом два этих сравнения, — елку, выброшенную во двор спустя неделю после Нового года? Таков и пенсионер.

На следующее утро после визита к Кляйнбергам я решил поговорить с сыном в открытую. От его длинного отпуска остался всего месяц, и мне хотелось, не откладывая дело в долгий ящик, завершить нашу кампанию достойной еврейской свадьбой. Он должен вернуться на север не один, а с Марусей! Мы вместе выходим из дома, и куда, вы думаете, направляется этот безумец? Не поверите: в магазин женской обуви, покупать красненькие туфли на шпильках! Тут уже я не

мог сдержаться:

— Сема! Ты должен расстаться с этой женщиной! Она тебе не пара!

— Папа, все в порядке, — смеется он, — это мой прощальный подарок!

Купив туфли, мы несем их прямиком на почту в отдел посылок. Сема диктует девушке адрес своей северной Насти, а затем садится за стол и, наморщив лоб, сочиняет письмо.

— Вот, папа, прочти!

> Настя, — *пишет мой сын своей бывшей подруге*, — я много думал о наших отношениях и пришел к выводу, что мы слишком разные люди и нам лучше расстаться. Ты — молодая красивая девушка и наверняка встретишь на своем жизненном пути более подходящего человека. Пожалуйста, не пиши мне больше. С дружеским приветом
>
> ***Сема***

Словно камень упал с моего сердца.

— Семочка, — говорю я, — мама будет очень довольна!

И вот он на моих глазах заклеивает конверт, идет к почтовому ящику, медлит секунду-другую,

просовывает письмо в щель, и мы оба слышим, как оно падает на дно — в точности, как тот камень с моего сердца.

— Все! — говорит Сема. — Кончено с Настей!

Одна беда прошла — готовься к другой. Вернувшись домой, я нахожу там официальное извещение от горисполкома. Нам предписывается в двухнедельный срок представить полный список «двадцатки» — в противном случае и в соответствии с таким-то и таким-то законом наша религиозная община объявляется распущенной, а синагога — недействительной.

И снова забегали мы по городу, уговаривая, убеждая, умоляя, взывая к еврейской душе, еврейской ответственности и еврейской взаимопомощи. Тщетно! Все старания натыкались на обычные, набившие оскомину отговорки, трусость, нерешительность, нежелание подвергнуть себя даже минимальному риску. Над нашей головой по-прежнему раскачивался меч, угрожая погубить все наше предприятие, построенное ценой таких трудов и усилий.

В этой отчаянной ситуации я обратился к зятю. В конце концов, Яша — житель нашего города и может считаться полноправным членом «двадцатки»! К тому же речь идет о сугубо временном

деле. Соломон Моисеевич Лурье, известный вам ударник овощного труда, выходит на пенсию всего через полгода, и тогда уже ничто не помешает ему присоединиться к общине.

— Это всего на шесть месяцев, Яша! Твоя подпись нужна нам всего на шесть месяцев! Понимаешь?

Нет, Яша не понимает. Нынешняя молодежь знать не желает квадратных букв своего древнего языка, не постится в Судный день и ест квасное в Песах. Что, конечно, не мешает им лакомиться сырами в Шавуот и «ушами Амана»[58] в Пурим. Но одно дело сыры и сладкое печенье и совсем другое — официальная подпись!

К тому же каждый раз, когда заходит разговор о «двадцатке», мне самым активнейшим образом противодействует Эльфрида Семеновна.

— Нет! — восклицает она. — Нет и еще раз нет! У Яши, слава богу, хорошее положение на заводе. Если он присоединится к секте, будет плохо и ему, и Тамаре, и Юрочке! Да-да! Даже нашему малолетнему ребенку не поздоровится в детском садике! Потому что детский сад — тоже советское учреждение!

---

[58] Примечания: 58

«Уши Амана», или гоменташн — треугольные сладкие пирожки, которые принято есть в Пурим.

Так полагает моя Фрейдл, всегда и всюду горой стоящая за нашу семью. Она уважает власть, хотя не даст в обиду и меня, своего Ицика. Она прекрасно готовит разные еврейские кушанья, но отказывается принимать в расчет какие бы то ни было духовные соображения. Такая уж она странная женщина, моя жена: только семья ее и волнует — в отличие от важных мировых проблем, от судьбы еврейского народа, от борьбы двух общественных систем и от революционных преобразований в Азии и Африке. Только семья, а в остальном — хоть трава не расти! Ее решительно не волнуют диктаторы Латинской Америки и сражающиеся с ними повстанцы. Но стоит кому-нибудь хоть краем-краешком задеть Тамарочку, Сему и Юрочку… или даже меня, грешного, — о, тогда не поздоровится никакому диктатору!

И знаете, наверно, так оно и должно быть. Должны быть на свете такие матери, как моя Фрейдл. Так что я не жалуюсь. С утра до вечера руки моей жены полны работой, а сердце — заботами, но, придя домой, ты найдешь там не только обед и ужин, но и душевное тепло, сердечный свет и домашний очаг.

Как-то вечером в нашем доме распахнулась дверь, и вошедшая молодая пара возвестила, сияя

улыбками:

— Через неделю мы подаем заявление в загс!

Ах, видели бы вы лицо моей Фрейдл в этот торжественный миг! Сначала она, конечно, заплакала, а затем принялась обнимать Сему и Марусю. Большого вам счастья, дети! В добрый путь! Мы открыли бутылку вина и выпили за здоровье молодых. Жив народ Израиля, друзья мои! Жив!

В начале октября, как всегда, пошли дожди. Ветер мел по тротуарам палые листья. Прилавки на рынках ломились от дешевых овощей и фруктов — вот уж чего в нашем южном городе всегда с избытком.

Свадьбу праздновали два дня — отдельно для пожилых родственников и отдельно для молодой компании. По заведенному обычаю, первый вечер прошел в доме невесты. Кроме родственников, были близкие друзья с обеих сторон — как евреи, так и русские. Молодые инженеры, медики, музыканты заполнили квартиру Кляйнбергов. Новобрачных завалили подарками. Вино лилось рекой. Берта Ефимовна и Эльфрида Семеновна готовились к празднику целую неделю — работали не покладая рук, как на каторге. Зиновий Эммануилович и ваш покорный слуга таскали

продукты с рынка и из магазинов не хуже самых выносливых вьючных мулов. Мы же играли важную роль громоотводов для своих раздраженных от бесчисленных забот хозяек. Но кого волнуют подобные мелочи? Столы ломились от всех мыслимых и немыслимых закусок и деликатесов райского вкуса. Гости ели, пили, веселились, а также произносили тосты и целые речи во славу новобрачных. Затем начались танцы, песни, веселые розыгрыши — и так до самого утра.

Второй день отмечали в доме жениха. На этот раз в числе приглашенных были только евреи — в основном пожилые, — в том числе члены нашей общины. Должен признаться, что заботы о свадьбе вытеснили из моей головы проблему «двадцатки». А проблема между тем оставалась нерешенной. Срок, назначенный властями, подходил к концу. Еще два-три дня — и все. Синагога казалась обреченной, конец общины — неминуемым.

В тот же день Сема получил ответное письмо от Насти. Оно оказалось коротким, но содержательным.

«Семен Ицкович! — писала эта достойная дама. — Грязный жид! Жаль, что Гитлер вас не дорезал. Всех вас надо под нож. Настя».

Когда письмо вынули из ящика, меня не было дома, но, вернувшись, я сразу почувствовал: случилось что-то нехорошее. Эльфрида Семеновна, всхлипывая, лежала на кушетке с мокрым полотенцем на голове. Сема, бледный как смерть, сидел у стола — зубы сжаты, лоб прорезан двумя вертикальными морщинками, глаза мечут молнии. Рядом бегал из комнаты в комнату Яша, роняя на ходу самые страшные ругательства, на какие был способен этот всегда вежливый и спокойный человек.

— Что случилось?

Вместо ответа Сема протянул мне письмо от своей бывшей подруги. Я прочитал строчки, написанные знакомым почерком, и сердце мое переполнилось отвращением.

— Фашистская свинья! — бормотал Яша, сжимая кулаки. — Сволочь вонючая!

А мы сидели и молчали, пока не раздался звонок в дверь. Это пришла Маруся — веселая, счастливая, сияющая от радости.

— Ни слова о письме! — предостерег нас Сема.

Он поднялся навстречу молодой жене.

— Хорошо, что ты пришла пораньше, Марусенька, — сказал он с вымученной улыбкой. — Мама плохо себя чувствует, нужно помочь. Скоро нач-

нут собираться гости.

К счастью, у Маруси не было времени вникать в ситуацию: послышался новый звонок, и вошедшая Берта Ефимовна немедленно взяла командование в свои руки. Мы дружно принялись накрывать на стол. Волшебным образом это привело в чувство и мою жену: Фрейдл терпеть не может, когда кто-то другой распоряжается на ее кухне. Она стряхнула со лба полотенце, восстала со смертного одра и решительно сместила Берту Ефимовну с капитанского мостика. Не прошло и часа, как все было готово, столы накрыты, вина и закуски застыли в ожидании гостей.

Настал вечер. Мы включили в комнатах свет. Один за другим стали приходить приглашенные старики. Прежде чем сесть за стол, собрались в комнате Тамары и Яши, поговорили на обычные стариковские темы: здоровье, политика, погода, положение в мире и, конечно, проблема «двадцатки». В гостиной тем временем шли последние приготовления, на кухне кипела работа. Соломон Моисеевич Лурье, пришедший с женой Анной Яковлевной, смущенно извинился перед остальными и в который раз объяснил причину своего отказа.

— Я готов поклясться чем угодно, что запишусь

к вам в апреле, сразу после выхода на пенсию, — пообещал он.

Мы выслушали его в печальном молчании. Дорога ложка к обеду. До апреля еще ох как далеко, а синагога сгорит через два дня. Эх, евреи, евреи… Эту стену не пробьешь, как ни старайся. У каждого — свои причины, свои страхи, свои родственники, дальние и близкие. Похоже, что нет иного выхода, кроме как дополнить список именем той пожилой женщины, которую предложила Сара Якобсон. Будет странный, некошерный миньян, карточный домик, а не синагога. Но других-то вариантов нет…

В этот момент в двери возникла бледноватая, но зато облаченная в роскошное праздничное платье Эльфрида Семеновна:

— Прошу за стол!

Все поднялись с мест, и тут в комнате послышался голос моего зятя Якова.

— Исак Борисович, — решительно проговорил он, — запишите меня в «двадцатку»! Я буду десятым членом миньяна.

Мы замерли и посмотрели на Фрейдл, чье решительное сопротивление самой идее религиозной общины, «двадцатки» и синагоги было хорошо известно здесь всем. В течение многих месяцев

она и слышать не желала ни о чем таком! Можно себе представить, что она скажет сейчас о привлечении к «секте» мужа своей дочери! Да-да, не какого-нибудь пенсионера, а молодого инженера, человека «с положением на заводе», отца маленького Юрочки… Мы смотрели на Фрейдл, а она смотрела на нас и… молчала. Она, у которой всегда есть что сказать по любому поводу, причем сказать много! Она молчала, не возразив ни Яше, ни мне даже единым словом! Вот, друзья мои, что такое настоящая еврейская жена!

Вам, конечно, знакомо это типично еврейское свойство: люди вспоминают о своем еврействе только тогда, когда на них сыплются оскорбления, но, уже вспомнив, готовы на многое. Или даже на очень многое. Как, к примеру, мой зять Яша, далекий от традиции, как земля от неба, и в жизни не видевший ни синагоги, ни ивритских букв, но желающий тем не менее разделить с нами общую судьбу и спасти нашу «двадцатку».

Так что имейте в виду вы, желающие растворить еврейский народ в других народах и истребить самую память о нем: ваша цель может быть достигнута только добром. Но получится ли? Ведь то и дело обнаруживается в вашем лагере какая-нибудь такая Настя — и все, пиши пропа-

ло! Поэтому, видимо, и сохранятся в мире евреи до скончания времен. Это говорю вам я, Ицхак-Меир, отставной еврейский бухгалтер, а ныне пенсионер, наживший себе геморройные шишки во имя прогресса и процветания государства!

Как во сне, слышу я голос своей жены Эльфриды Семеновны.

— Прошу за стол! — повторяет она и уходит в гостиную.

А старики один за другим хлопают Яшу по плечу и благодарят:

— Ты нас спас, парень!

— Так держать, Яша!

— Доброго тебе здоровья, до ста двадцати!..

Мы перешли в гостиную. Во главе стола — жених и невеста. Рядом Яша — герой дня, гордость собрания. Первый тост, как и положено, за здоровье молодых. Мазл тов! Доброго счастья, хорошей удачи! Мы ели, пили, веселились, но письмо Насти занозой сидело в моем сердце и не давало покоя. И я понял, что просто обязан что-то сказать по этому поводу.

— Друзья, — сказал я и поднялся со стаканом в руке. — Кроме жениха, невесты и еще двух-трех молодых, все здесь перевалили через пенсионный возраст. Много повидали мы в своей жизни.

Кое-кто помнит даже царя Николая Второго, а уж погромы Петлюры и Деникина не забыл никто из нас. И все мы были свидетелями страшной резни, устроенной Гитлером, да сотрется имя мерзавца. Но даже в самые черные дни не оставляла нас надежда на лучшее, на негасимую искру, живущую в нашем народе…

Я оглядел стол, и навстречу мне полыхнули огнем глаза старого Кляйнберга, самого говорливого члена нашей «двадцатки».

— Старики! — продолжил я. — Пройдет еще несколько лет, и мы с вами сойдем со сцены, освобождая место другим. Мы уйдем, а они придут. Мы уйдем, а «двадцатка» останется! «Двадцатка»! Слышите ли вы это слово? Она будет и через сто, и через тысячу лет. Так давайте осушим этот стакан за здоровье евреев будущих поколений, которых не увидят наши глаза. Да-да, мы не увидим их, но они придут, они будут и, возможно, вспомнят добрым словом нас, невезучих сверстников этого тяжелого века. Вспомнят нас — поколение погромов, войн и ужасающей Катастрофы. Вспомнят нас, выживших несмотря ни на что.

И мы выпили «лехаим», выпили не раз и не два. И мы пели еврейские песни, пели хасидские нигуны и народные напевы, пели свадебные

гимны и подпевали нашему хазану. И каждый из нас благословил новобрачных. Вина, слава богу, хватало, все пили в три горла, и даже Яша — самый молодой член «двадцатки» — старался не отставать от старших товарищей.

Было радостно и было грустно — все как положено в жизни, которая не устает утекать между пальцами — в минуты счастья даже быстрее, чем в час беды. Несколько дней спустя мы провожали Сему и Марусю на поезд, идущий на северо-восток, в сторону энергетической станции за снежными горами и ледяными реками. Маруся уволилась из больницы и уезжала с мужем: медики нужны повсюду.

Путь предстоял далекий и долгий. Мы помогли ребятам внести вещи и по местному обычаю присели в вагоне «на дорожку». Фрейдл и Берта Ефимовна украдкой смахивали слезы. Молчал и Кляйнберг, расставшийся с единственной дочерью. Только Яша пытался шутить и смешить остальных, но не слишком удачно.

Прощальные поцелуи, просьбы и обещания писать почаще, пожелания удачи… Проводница торопит провожающих: «На выход, граждане, на выход!» Мы вышли на платформу. Гудок электровоза… Бесшумно трогаются с места вагоны.

Мы идем вслед и машем, машем отъезжающим. Теперь уже плачет и Тамарке, наша грустная дочка. Сегодня у Тамары концерт. Она кутается в осенний плащ, и в глазах у нее осенняя тоска. Поезд набирает ход. Вот он прощается с нами еще одним длинным гудком — на этот раз уже издали. Мы напрягаем глаза, чтобы рассмотреть в вокзальном полумраке силуэт последнего вагона…

1965

Агония

Что будет тебе опорой в горе?
Что скажешь, когда исполнится срок
и двинешься в путь долиной смертной
тени?

***СамехИзхар*[59]**

Мириам еще не исполнилось шестнадцати, когда налетел на нее этот пройдоха, дьявол-искуситель. Забилось сильнее сердечко, заблестели особым блеском высокомерные глаза, растянулись в улыбке горячие губы, приоткрывая дерзкое сияние ровных красивых зубов. Все чаще стали посматривать на Мириам парни и взрослые мужчины; их откровенные взгляды падали на нее, как капли дождя. Что ж, пусть смотрят, пусть радуются: он ведь и в самом деле прекрасен, этот весенний луг. Гордо и смело идет она сквозь ливень взглядов, греховных помыслов и затаенных желаний, гордо и надменно.

Она встает рано, чтобы успеть в школу, к премудростям литературы и математики. «Мертвые души» Гоголя зевают там меж синусов и котанген-

---

[59] Примечания: 59
Самех Изхар (1916–2006) — израильский писатель.

сов, и во всем этом скука, скука смертная. Господь Создатель! Жизнь нашептывает на ухо совсем-совсем другое. Ей, жизни, и дела нет до каких-то там мертвых душ. Мало-помалу узнает Мириам, какие интереснейшие вещи происходят за задернутыми занавесками, за закрытыми ширмами. Чем больше вглядывается она в окружающий мир, тем больше удивительного и манящего предстает ее любопытному взору. В этом мире вскипает веселье, разгуливают парни, и запах цветов наполняет сияющую солнцем голубизну. А за занавесками… о, там между девушками и парнями свершается нечто запретное, неприличное и ужасно влекущее.

Мириам не знала матери — та умерла при родах. О девочке заботится бабушка Нехама, а отец с новой семьей проживает в другом городе. Раз в месяц он присылает денежный перевод.

У старой Нехамы рак. Одну грудь ей уже отрезали, но это не помогло: снова появилась злокачественная опухоль, появилась и растет с каждой неделей. Какими тихими, какими неверными стали вдруг бабушкины шаги! Все теперь мешает Нехаме, все раздражает ее — и солнечный свет, и уличный шум, и вся эта жизнь, бьющая ключом за порогом. Бабушка закрывает

окна, чтобы не видеть, затыкает уши, чтобы не слышать. Месяцем раньше она еще вставала по утрам с кровати, распрямлялась с протяжным стоном и брела к плите — вскипятить чайник, проводить девочку в школу. Сейчас нет у нее сил даже на это. Сейчас Мириам сама ставит чайник и выполняет всю домашнюю работу.

Что и говорить, совсем не похожа нынешняя бабушкина жизнь на внучкину. В классе Мириам три десятка учеников и учениц. Некоторые девочки — из тех, кого называют «ранними», — уже бегают за парнями. Причем парни эти взрослые, не одноклассники. Кому нужны такие молокососы, когда снаружи разгуливают настоящие мужчины, во всем подобные тем, которые описаны в романах? И вот, представьте себе, одна из учениц по имени Лина поддалась-таки дурному влечению и позволила своему возлюбленному сделать с ней то, что никак, ну то есть никак не дозволено. Известие об этом тут же разнеслось по всему классу и вызвало у некоторых подружек Лины восхищение, смешанное с завистью. Еще бы: она первая отважилась переступить через сокровенный барьер, трепетный и опасный. А вот Мириам прекрасно представляет себе возможные последствия подобных игр. Нет, она пока еще не

сошла с ума. Никогда — вы слышите? — никогда Мириам не позволит себе шагнуть за эту черту!

Но, как известно, пройдоха-дьявол умеет менять личины. Он заявляется к нам в самых разных формах и одеяниях. Поэтому Мириам внимательна и осторожна: безжалостно подавляет лишние желания, скрепя сердце отказывается от заманчивых приглашений и возможностей. Нет-нет, ее время еще не пришло. А на улице снова буйствует весна, отменяет длинные рукава и теплые воротники, обнажает шеи и плечи. Снова заглядываются парни и мужчины на красивую девушку — просто прохода не дают!

Вот только не до того ей сейчас, совсем не до того. Бабушка Нехама больна, больна смертельной болезнью. Она угасает прямо на глазах. На подушке — худое темное лицо, искаженное болью. Мириам подходит к изголовью кровати. Решетка света и тени тянется от окна, ложится на белое одеяло, дрожит и смещается туда и сюда. Старая Нехама открывает глаза и молча смотрит на стройную красивую внучку. Под этим всевидящим взглядом Мириам невольно горбится, угасает сияние жизни на ее лице. Тускнеют блестящие глаза, сползает с губ улыбка, крепко сжимается рот, скрывая безупречную линию

зубов. Девушка поправляет платок, чтобы не так видны были стройная гладкость шеи, выпуклость высокой груди. Вся ее торжествующая юность словно меркнет и съеживается под тяжелым взглядом старой Нехамы.

Слезы наворачиваются на глаза умирающей.

— Бабушка, выпьешь немного молока? — шепотом спрашивает Мириам.

Нет ответа. Лишь слезы медленно сползают по глубоким морщинам, одна за другой, одна за другой. Мириам отворачивается и на цыпочках выходит из комнаты.

Прошел еще год. Окончена школа, Мириам уже восемнадцать лет. После смерти бабушки она проживает одна в комнате третьего этажа пятиэтажного дома на улице Пушкина. Тиха жизнь в этой комнате без бабушки Нехамы, без ее внимательного взгляда. Отец по-прежнему присылает дочери деньги на житье, месяц за месяцем.

Мириам решила продолжить учебу в университете. Там на факультете и произошла с ней первая незадача. Студента звали Олег, а фамилия… нет, фамилию она довольно быстро забыла. Этот Олег пристал к ней намертво — так, что не отдерешь, просто смех и слезы. Он был уже не мальчик — с небольшими залысинами, красивым лицом,

пухлым ртом и бархатным обволакивающим голосом, голосом опытного мужчины. Ходили слухи, что из-за него уже покончила с собой одна девушка, и это придавало Олегу ореол пагубной таинственности.

Немалый дока в науке обольщения, он быстро добился своего: однажды вечером Мириам уступила, отдала себя этому лысеющему ловеласу с чувственными губами. За первым вечером пришли другие вечера и ночи — сладкие, бессонные праздники любовной страсти. О, бурление крови, забвение души! Они предавались друг другу без устали, до полного изнеможения и расставались лишь затем, чтобы встретиться вновь и как можно скорее. Но прошли и эти дни, а за ними настали другие времена. Олег стал уклоняться от встреч, а затем и надолго исчезать: теперь его сердце тянулось к другой женщине.

Так Мириам впервые узнала, какова она — пора безутешных слез и горького разочарования. О чем она не думала ни минуты, так это о самоубийстве. Жизнь слишком прекрасна и полна, чтобы расставаться с ней из-за какого-то Олега… какая же у него была фамилия?.. — нет, забыла, забыла напрочь. За шесть университетских лет было у нее не меньше четырех близких знакомств для

сердечных нужд. Причем без нежелательных последствий: предохраняться Мириам умела.

Замуж она вышла в возрасте двадцати восьми лет за инженера, который был влюблен в нее по уши. Он был евреем, как и Мириам, но это совпадение получилось как-то само собой, случайно: национальность мужа не имела для нее никакого значения. К тому времени она твердо решила остепениться и стать примерной матерью, женой и хозяйкой. В течение последующих шести лет Мириам успешно исполняла задуманное. Родила дочку — черненькую девочку с округлыми бровками и высокомерным взглядом. Когда ей исполнилось четыре года, Мириам решила вывезти дочь в Анапу, на берег Черного моря. Там-то, в Анапе, и повстречался ей мужчина, очень похожий на первое увлечение ее юности — бесфамильного Олега. Те же намечающиеся залысины, те же красные чувственные губы, тот же интимно-бархатный голос опытного любовника. И снова после трудной, но кратковременной осады крепость Мириам, матери, жены и хозяйки, сдалась на милость победителя, Олега Второго.

Нельзя сказать, что она не сопротивлялась: Олегу Второму пришлось-таки приложить немало усилий. Но на его стороне были сильные

союзники: свойственная роду людскому тяга к приключениям, тонкое искусство обольщения, мягкий голос и томные романсы. А еще: нежный шепот волн, легкий ласковый ветерок, звуки дальних песен, утробные серенады лягушек и дурманящий запах ночных цветов…

Конечно, Мириам было крайне трудно устоять в таких тяжелейших условиях. Только на сей раз она уже не чувствовала себя той неопытной девочкой, которую соблазнил Олег бесфамильный. Черти, живущие в туманных уголках наших душ, сумели посеять в сердце женщины щепотку адского огня. Да, начало их романа нельзя было назвать гладким, но затем Мириам сделала так, что Олег Второй забыл обо всем на свете в омуте ее объятий. О, радости жизни! О, счастье бытия! О, пылающий в темноте круговорот страсти!

Быстро проходят дни, таща за собой года, а вместе с ними шаг за шагом, пядь за пядью утекает в никуда и жизнь, подаренная нам всемилостивейшим Отцом.

Муж Мириам был по горло завален работой, она же занималась домашним хозяйством и продолжала между делом посвящать себя то тому, то этому любовному увлечению. Уже выросла дочь Нина, стали появляться у нее первые

ухажеры, а неверная жена Мириам все никак не могла избавиться от своей ненасытной слабости. Единственным, что как-то нарушало ее безмятежность, были неприятные боли в животе. Врачи порекомендовали съездить на Кавказ, к лечебным водам Ессентуков. Там Мириам провела несколько отпусков, исправно выпивая предписанные объемы воды из источников номер семнадцать и номер четыре. Это помогало, неприятные ощущения отступали.

Зрелая красивая женщина, прогуливающаяся по чисто выметенным аллеям курортного парка, она привлекала внимание многих. Мириам было уже за сорок, но мужчины по-прежнему увивались вокруг нее. Теперь она была настоящей мастерицей флирта, точно знающей мужские слабости и повадки. Надменная посадка ее гордой головы и черные высокомерные глаза сразу отпугивали тех наивных дурачков, которые полагали, будто здесь им что-то отломится. Нет, теперь выбирала она, выбирала одного, самого лучшего, и безжалостно отшивала всех остальных. А выбрав, обрушивала на счастливца огонь всех своих батарей. Как правило, это был мужчина лет тридцати пяти с серыми глазами и мягким говором. Всю жизнь ее тянуло именно к таким

сероглазым ловеласам, чей интимно-бархатный голос выдает немалый любовный опыт.

И все бы ничего, если бы не продолжали ей докучать боли в желудке. Вот ведь несчастье! Настала пора, когда и воды Ессентуков не принесли облегчения. Повторные обследования обнаружили раковую опухоль, но домашние скрыли от Мириам этот печальный диагноз. Проклятая болезнь передавалась в семье из рода в род, горе и беда, злая участь! Мириам сильно осунулась, ее красивое лицо худело день ото дня. Уровень гемоглобина упал, тело пожелтело от пальцев ног до мочек ушей. Врачи потребовали срочную операцию. После удаления опухоли и долгого восстановительного периода женщина встала с постели и, казалось, выздоровела. Временами она даже напоминала себя прежнюю, только волосы сильно поседели.

После пятидесяти Мириам вдруг резко одряхлела, словно старость внезапно догнала и разом подмяла ее под себя. Волей-неволей пришлось расстаться с любовными приключениями, отказаться от молодых мужчин и парней. Зато пришла пора для дочери Нины. Как некогда мать, она зевала на уроках, слушая про «Мертвые души», характер Чичикова и тангенсы-косинусы.

Красивая девочка, она привлекала внимание многих парней. Как видно, внешняя привлекательность и тяга к мужчинам передавались по наследству наряду с раком. Мириам наблюдала за дочкой с растущей тревогой. Нина уже достаточно выросла для того, чтобы тоже наткнуться на какого-нибудь бесфамильного Олега — наткнуться и упасть, а потом подняться и упасть еще раз, и повторить все то же самое снова, и снова, и снова, как это заведено среди дочерей Евы во веки веков.

Спустя несколько лет после операции Мириам снова стала худеть. Вот ведь сатанинская напасть этот рак! Под сердцем давило, аппетит пропал. Она через силу заставляла себя проглотить несколько капель молока, да и те почти сразу выходили рвотой. На прикроватной тумбочке уже не хватало места для баночек и склянок с лекарствами. Но какая польза от всех этих склянок? Разве помогают от такой беды порошки и таблетки?

Долгой была ее агония. Мириам неподвижно лежит на кровати, закрыв глубоко запавшие глаза. На подушке — худое темное лицо, искаженное болью — она днем и ночью давит на измученное сердце. А за окнами — весна, и вошедшая в

комнату дочь Нина приносит с собой запахи цветения и свежей листвы. Этой весной она впервые ощутила силу головокружения, вечного, как весь этот мир, и сладкого, как все его сладости. Нина влюблена в парня по имени Игорь — обладателя горячих губ и притягательного взгляда серых красивых глаз. Накануне ночью, прижавшись друг к другу на садовой скамейке, они увлеклись настолько, что почти перешли последнюю границу: осталось совсем чуть-чуть, даже не полшажка, а еще меньше, на длину короткого воробьиного хвостика. В какой-то момент Нине даже показалось, что граница уже позади — вот как! Наверно, поэтому она горько заплакала, а Игорь, как мог, утешал любимую. Впрочем, к чему эти слезы, к чему утешения? Ведь она — всего лишь крошечное звено в бесконечной цепи уступчивых девушек, и цепь эта тянется из глубины веков, и нет ей конца до скончания времени. И доказательством тому сама Нина: уже сегодняшним утром она проснулась с ощущением счастья и радости жизни, яростно бурлящей своими весенними соками. Теперь ночное происшествие рисуется ей далеко не в том мрачном свете, каким виделось вчера.

Умирающая мать лежит на кровати, на смертном одре. Ветерок колышет занавески; играет,

трепещет на белом одеяле решетка света и тени. А под одеялом — не то человек, не то мертвец, полутруп, падаль на обочине весны. Мириам с трудом открывает глаза и видит перед собой стройную девушку с прямым станом, красивым лицом, округлыми бровями и высокомерным взглядом. А за окном — солнечная голубизна, свет и сияние свежего, обновляющегося мира. Боже, как не хочется уходить, оставляя все это — грехи и радости, небо и молодость! Как не хочется падать в темную прорву небытия! Мириам зажмуривается, и слезы катятся из ее глаз — слабые, малые слезы, одна за другой, нелепые жалобы высохшего, болезненного тела, скорбного сосуда, в котором каждому из нас суждено пройти свои последние шаги по дороге в ничто.

Нина неловко переступает с ноги на ногу: ей непонятна причина слез.

— У тебя болит живот, мамочка? — тихонько шепчет она.

Нет ответа. Нина отворачивается и на цыпочках выходит из комнаты. Спустя несколько минут она уже вполголоса мурлычет какую-то немудрящую песенку. И старые клены подпевают ей с улицы своей молодой шуршащей листвой.

1968

«…Что сотворил меня гоем»

1

В июне 1941 года, спустя несколько дней после начала войны, в стране был открыт набор добровольцев в народное ополчение. Многие тысячи мужчин оставили свои повседневные дела и отправились в военкоматы. Был среди них и инженер Лев Мельцер, работавший в конструкторском бюро по проектированию строительных механизмов.

В первых числах июля он вернулся с работы раньше обычного. Мельцер жил на Арбате с родителями: матерью Шифрой и отцом Залманом Бенционовичем. Двенадцатью детьми благословил Шифру Создатель, и тридцатилетний Лева был младшеньким, самым любимым, поздним ребенком, светом ее старости — к началу войны Шифре уже исполнилось семьдесят. Высокий сероглазый красавец, Лева принимал жизнь легко и просто, любил погулять, повеселиться, пошутить за праздничным столом и не пропускал новых фильмов и театральных постановок. Подружки у него не переводились; в последнее

время Лева встречался с Лизой — фармацевтом из соседней аптеки.

Шагая через две ступеньки, Лева взлетает на третий этаж и открывает дверь своим ключом. На двери стеклянная табличка с фамилией ответственного квартиросъемщика. Без малого два десятилетия проживают Мельцеры в этом арбатском доме, с тех пор как переселились сюда из южного города Ананьева.

Не мешкая ни минуты, Лева приступает к сборам. Старики родители молча наблюдают за сыном. Кроме них, в комнате старший брат Левы Борис — он сегодня работает в ночную смену.

— Куда ты так торопишься, Лева? — робко спрашивает старая Шифра.

Ее широкое лицо испещрено морщинами, но серые глаза еще полны жизненного огня. Отец Залман сидит в сторонке и набивает папиросу. На коленях у старика — коробка любимого табака «Москва-Волга». Он старше жены всего на два-три года, но выглядит по сравнению с ней бессильной развалиной, слабым бездельником, окончательно потерявшим интерес к жизни. В его серых, как и у Шифры, глазах — тусклый туман увядания. Не осталось в этом дряхлом, лысом, молчаливом человеке ничего примечательного,

заслуживающего внимания — кроме разве что носа, который напоминает большую мясистую красновато-лиловую картофелину, покрытую тонкой сеточкой кровеносных сосудов. Нос и в самом деле выдающийся, совсем не еврейский, хотя и унаследован от отца, деда, прадеда и длинной череды предков.

— Мама, ты же прекрасно знаешь, что я записался в народное ополчение, — с досадой отвечает Лева. — Мне нужно срочно прибыть на место сбора. Где моя бритва?

Он поспешно укладывает вещи в темно-коричневый рюкзак. Шифра закусывает нижнюю губу и скорбно качает головой. Она не пытается переубедить Леву. Многие матери провожали тогда детей в черную прорву войны. Есть и у Шифры сыновья в Красной армии. А что касается Левы, то о его решении записаться добровольцем в семье уже говорено-переговорено столько, что нет смысла повторяться.

Перед расставанием все присаживаются на секунду-другую — так принято в наших краях отправлять близких в дальнюю дорогу.

— Бей фашистов со всей силы, Левушка, — говорит Шифра. — Но помни: ты обязан вернуться живым. Слышишь?

Лева серьезно кивает. Материнским благословением не разбрасываются: ведь именно оно хранит нас от бед и опасностей. Это главный багаж, который он берет с собой в дорогу помимо коричневого мешка. Сидя на краешке стула, Лева окидывает последним взглядом большую комнату, в которой он вырос, вещи, знакомые каждой деталью. Кажется, тут ничего не меняется со временем. Вон лежит на этажерке семейный альбом в толстом переплете. С его пожелтевших снимков смотрят давно ушедшие люди в высоких воротниках и галстуках бабочкой. Женихи и невесты застыли в торжественных позах. А где-то в самом начале — фото дряхлого старика в ермолке, с длинными пейсами и светлым красивым лицом. Рядом скромно примостилась старушка; на голове ее платок, морщинистая шея открыта. Несколько поколений дремлют на листах этого альбома. И все они молчат, скорбно, как мама Шифра, молчат и шлют Леве Мельцеру, внуку и правнуку, свое тихое, вечное благословение.

А вон фотографии в рамках на стене. Тут в основном родители, а также сестры и братья с племянниками. Есть и цветная картинка: огромные водяные валы накатываются на берег, а с ними — ураганный ветер, буря, вихрящаяся

тьма на море, и в небе, и во всей мрачной, угрожающей Вселенной. А в центре картины, среди беснующихся пенных волн — одинокий пловец, стремящийся к суше. Его рот упрямо сжат, взгляд мрачен, волосы спутаны. Враждебное море цепко держит пловца в тисках своих валов, а ангел смерти так и норовит поставить печать на мокром лбу. Но человек еще жив, есть еще сила в его деснице, и горячая кровь по-прежнему омывает отважное сердце. И пока так, он не намерен уступать в своей безнадежной борьбе.

— Ну что ж, мама, пора… — Лева хлопает ладонями по коленям и поднимается с места.

Встают и все остальные. Залман Бенционович давит в пепельнице окурок своей папиросы. Желтые пальцы заядлого курильщика измазаны пеплом. Слезы, скопившиеся у сердца старой Шифры, поднимаются к горлу, затопляют душу, выступают на глазах.

— Ох, сыночек… — выдыхает она.

— Ничего, ничего… — кряхтит Залман Бенционович, обнимая сына. — Иди с миром и вернись с миром!

— Пиши матери! — напутствует брат Борис. — Не скупись на письма!

Лева оглядывается на альбом: ему кажется, что

из-под толстого переплета тоже вот-вот послышатся вздохи, пожелания и наставления.

Закинув на спину коричневый рюкзак, Мельцер шагает по Арбату. Ополченцам приказано собраться в здании школы. По дороге Лева заходит в аптеку. Стеклянные шкафы-витрины сияют чистотой. Сияет чистотой и Лиза, облокотившаяся на прилавок. На Лизе накрахмаленный белый халат, перед ней разложены брикеты душистого мыла, коробки с зубным порошком, бутылочки одеколона и другая общедоступная всячина.

— А, Лева… — говорит она и улыбается ему улыбкой мирного времени.

Она ждет, что Мельцер ответит шуткой — такой уж он весельчак, никогда не упустит случая позубоскалить. Но сегодня Леве не до шуток. Взгляд его серьезен и требователен.

— Привет, Лиза, — говорит он. — У меня к тебе просьба.

Лиза с готовностью кивает, но, услышав, чего хочет от нее Лева, испуганно мотает головой из стороны в сторону. Она уже не улыбается, губы побледнели, на лице выражение сомнения и страха.

— Дать тебе яду?! — шепотом повторяет она. — Да еще и быстродействующего?! Что ты, Лева, это

невозможно. Это только по рецепту с круглой печатью…

Она умоляюще смотрит снизу вверх на своего сердечного друга — высокого плечистого мужчину с золотистым кудрявым чубом и едва заметной сутулостью.

— Дай мне без рецепта, Лиза, — настойчиво повторяет он. — Кто знает, свидимся ли еще.

После недолгих колебаний Лиза сует Мельцеру маленький пузырек, и они отмечают расставание дружеским поцелуем. По улицам кружит сияние июля с пылью вперемежку. Длинный мост склонился над рекой, в спокойной воде отражаются башни и зависшее между ними солнце. Мрачно глядят здания; лето рассыпало вокруг полные пригоршни света, тепла и зелени, но в воздухе ощутимо подрагивает странное напряжение, давит на грудь и мешает дышать. Лева Мельцер шагает к месту сбора добровольцев.

2

В сентябре три танковые дивизии немцев прорвали фронт в районе Смоленска и глубоко вклинились в нашу оборону. Многие советские части оказались в окружении, в том числе и батальон Мельцера.

Мрачен ненастный осенний день. Со всех сторон слышны взрывы, стрельба, стоны умирающих. Град мин и снарядов сыплется на окруженный батальон, громовый вал смерти катится по всему горизонту из конца в конец. Куда ни глянь — тела мертвецов, остекленевшие глаза, вывороченные руки, оскаленные в предсмертной гримасе рты. Но вот поднимается над истерзанным полем подобие белого флага, знак капитуляции. Остатки разгромленного батальона готовы сложить оружие. Немцы приказывают сдавшимся советским солдатам выстроиться в очередь для проверки: в плен тут берут не всех.

На краю поля журчит в зарослях кустов безымянная речушка; рядом на берегу фашисты устроили сортировку — проверяют документы, командуют, кому куда, кому что. Кому плен, а кому пулю в затылок. Скованные смертной апатией люди стоят смирно, ждут своей очереди, своей участи. Стоит среди других и Лева Мельцер, медленно продвигается к месту проверки. Ему хорошо известно, куда здесь отправляют евреев, но общая апатия подмяла и его, мышцы ослабли, в голове крутится-вертится пустая бездумная канитель.

— Поберегся бы ты, дружище, — шепчет ему на

ухо сосед. — Коммунистов и евреев — в расход, без разговоров…

Это Королев, приятель, с которым Лева сблизился в последние недели, мужчина лет сорока с хорошей улыбкой и добрым взглядом. Королев шепчет эти слова и отходит в сторонку, от греха подальше. Очередь неумолимо продвигается вперед — туда, где слышны немецкие команды, крики и одиночные выстрелы.

«Он прав, — думает Лева. — Зачем я иду, как баран на бойню?»

Дрожь пробирает его, сбрасывая остатки губительного безразличия. Бочком-бочком Мельцер выбирается из очереди. Густы заросли вдоль речки, не везде еще облетела листва… пригнись, Лева… а теперь ползком, ползком… Он быстро ползет среди густого кустарника, ища такое место, где больше листьев, где ветви сплелись особенно крепко, образуя защитный свод, способный укрыть обреченного человека от неминуемой смерти. Забравшись в самую чащу, Лева затихает: теперь его может спасти лишь полная неподвижность. Он должен вжаться в землю, стать землей, травой, кустом, муравьем. Пот ручьем льет со лба, сердце бешено колотится, нервы натянуты: в любой момент может раз-

даться автоматная очередь, полоснут пули по незащищенной спине… Нет, похоже, что в этом дьявольском замесе апатии и суматохи никто не обратил внимания на его побег. Замри, Лева, замри и жди, пока не минует опасность.

Не поворачивая головы, он осторожно косится вверх: там в сплетении веток сереет мрачное пятно неба. Ни помощи от него, ни надежды. Зато внизу, под носом, зеленеют редкие травинки и лежат желтоватые сморщенные листья. Мельцер зубами срывает зеленые стебельки. У травы острый вкус жизни, теплый запах земли, молчаливой матери всего живого. Как хочется жить…

Замри, Лева, замри, шепчут его губы, замри и успокойся, во имя всего святого…

Уткнув нос в прелую листву, он решает тщательно и всесторонне обдумать происходящее — хотя бы для того, чтобы успокоиться, унять бешено бьющееся сердце. Надо использовать эту передышку, надо выработать план действий. Малейший необдуманный шаг приведет к катастрофе.

Там, за кустами, его ждет ангел смерти в облике немца с автоматом. Ждет, когда Мельцер выйдет из своего укрытия, чтобы подозвать его к себе и спросить: «Еврей?» «Еврей…» — ответит Лева.

И все, конец. Серая заплатка неба опрокинется и погаснет. И прелый запах земли тоже не защитит. Лева Мельцер превратится в труп, в разлагающуюся падаль на краю осеннего поля.

Значит, ответ никуда не годится. Чтобы продолжить жить, он обязан действовать иначе. А ну-ка, попробуем снова. «Еврей?» — «Нет, не еврей!»

Надо произнести это со всей возможной решительностью, даже с обидой, чтобы не возникло никаких сомнений. Но это еще не все.

«Документы!» — таким будет следующее обращенное к нему слово.

Потому что от Левы потребуется доказать правдивость его первого ответа не только словами, но и документом. Документом, лицом, внешностью, поведением, речью — ничто из этого не должно вызывать подозрений. Это поистине вопрос жизни и смерти. Ему нужно сменить кожу, превратиться в гоя.

Оглянись, Лева! Что ты видишь за своей спиной, еврей? Многие поколения умерщвленных, задушенных, замученных, сожженных. Горы горя, моря страданий, поля несправедливостей, погромов, нужды, унижений и страха — вот что ты видишь там, за спиною. Видишь узенькую тропку долгого страшного опыта сотен и тысяч

лет, тропку, проложенную меж бесчисленных смертей и убийств, скользкую от крови тропинку, по которой всеми правдами и неправдами пробирался, продирался, выползал к жизни твой народ. И вот теперь ползешь по ней ты, Лев-Арье, сын Залмана, внук Бенциона. И если твой народ выжил, миновав океан мертвых вод и семь кругов ада, то рано хоронить и тебя, Леву Мельцера! Не зря ведь твои предки умели находить выход из безвыходных положений, в слабости черпали силу, а в беспомощности призывали на помощь горький опыт выживания. Значит, сможешь и ты, сможешь, сможешь, сможешь…

«Ты обязан вернуться живым!» — так сказала мама при расставании. Сказала? Приказала! И он сделает все, чтобы выполнить этот материнский приказ. Погоди-погоди… на месте ли пузырек, полученный от аптекарши Лизы, не потерялся ли? Нет, вот он, здесь, в потайном кармашке. Пусть пока подождет своего часа. Лева Мельцер не собирается умирать сегодня, а что будет завтра, узнаем завтра.

Он осторожно стягивает со спины вещмешок, находит там черный сухарь и принимается грызть, наслаждаясь восхитительным хлебным вкусом. Это первая его трапеза с самого утра. В

рюкзаке есть еще три таких сухаря. Лева намерен съесть их прямо сейчас. В минуты крайней опасности нет смысла экономить на еде: отчаянная драка за жизнь предполагает напряжение всех сил. Если посчастливится дожить до темноты, он без труда раздобудет пищу: на изрытом воронками поле есть десятки трупов, и у каждого свой мешок. Мертвым не нужны сухари.

Хруст хлебных крошек на зубах заглушает доносящиеся с поля звуки — выстрелы, крики убиваемых, команды убийц. Леве кажется, что это неспроста: возможно, ангел смерти отвернулся от него или даже вовсе забыл о существовании ополченца Мельцера. Его начинает клонить в сон, глаза слипаются, и Лева засыпает, прижавшись щекой к подушке живой травы и мертвых опавших листьев.

Он спит, как затаившийся зверь: короткими промежутками, время от времени приоткрывая глаза, чтобы взглянуть на серую заплату неба в просвете зарослей. От раза к разу заплата становится все темней и темней. Это хороший знак. Страшная какофония войны давно уже превратилась для Мельцера в общий звуковой фон. Кто же обращает внимание на фон? Первым делом всегда бросаются в глаза необычные детали. Хотя

нельзя забывать и про общее впечатление.

Лева инженер, причем хороший. Он привык мыслить систематически. Перед самой войной он так удачно усовершенствовал важный строительный механизм, что в бюро ему выписали немалую премию — две тысячи рублей. Сейчас он тоже должен найти правильное решение. Должен переделать механизм по имени Лева Мельцер — переделать так, чтобы в нем не осталось и следа от смертельно опасного еврейства. И наградой за это усовершенствование будут не рубли, а сама жизнь.

Итак, общее и частное. Кажется, что простая сумма последних и составляет первое, но это не совсем так. Вдобавок к чисто внешним признакам: рост, вес, длина рук и ног, линия спины, посадка головы, черты лица есть еще и такая неуловимая вещь, как дух, душа, характер — таинственная материя, соединяющая все эти детали в единое целое и создающая в конечном счете общее впечатление. Как же тогда формулируется ваша задача, инженер Мельцер? Да вот как: надо тщательно проработать каждую отдельную частность, не забывая при этом о целом. Он должен внимательно взглянуть на себя со стороны, представить желаемый общий результат

и сделать так, чтобы ни одна деталь, даже самая мелкая, не казалась чужой, несоответствующей целевому облику сотворенного заново человека.

3

Потихоньку спускается с потемневшего неба вечер — осенний вечер на безымянном клочке скудной смоленской земли. С поля уже не слышно ни выстрелов, ни криков. Не слышно вообще ничего — тишина, мертвая тишина. Еще видны вверху желтоватые клочья облаков — они напоминают грязную вату, торчащую из рваной телогрейки. Где-то совсем рядом тихо журчит ручей, студеный ветерок сентябрьского вечера шевелит ветви кустов.

Проснулся в своем укрытии Лева Мельцер. Проснулся и приступил к работе — инженерной, систематической. Он придирчиво осматривает исходный материал, анализирует, раскладывает на составляющие — из этих мелких деталей ему предстоит выстроить безупречный механизм выживания.

Начнем с начала. Как чаще всего опознают еврея? По трем основным признакам: нос, осанка и акцент. Что касается носа, то тут беспокоиться не о чем. Левин семейный наследственный нос

не испорчен ни еврейской горбинкой, ни еврейской кривизной. На его конце торчит округлая мясистая картофелина лиловатого оттенка, как у пропойцы-алкоголика. До войны этот факт нередко смущал Леву, но теперь он может лишь возблагодарить Творца за столь щедрый подарок. По сути, нос представляет собой готовую часть нового облика.

Чего никак нельзя сказать об осанке. Есть, есть на земле чисто еврейские сутулые спины, полученные нами от рождения. Они словно бы взывают к миру: давай, грузи на меня, навьючивай! Тащи сюда все беды-горести-тяжести, еще тащи, еще: видишь, есть куда положить! Точно такая спина и у Левы Мельцера — не настолько сутулая, чтобы сойти за горбуна, но и не настолько прямая, чтобы не распознать в нем еврея. Последнее наблюдение указывает на два возможных пути исправления этого недостатка. Первый заключается в том, чтобы сгорбиться еще больше. Второй, напротив, требует распрямить осанку: выкатить вперед грудь и как можно выше задрать голову.

Как кажется, второй вариант проще в реализации. Одна беда: форму спины невозможно выправить посредством тренировки, так что эта

деталь в принципе неисправима, если не помнить о ней каждую минуту. Единственный способ борьбы с сутулостью — повышенное внимание и бдительность, бдительность, бдительность.

Так. Теперь акцент. Это, пожалуй, самое важное. Жизнь и смерть, как это часто бывает, целиком и полностью зависят от языка.

К счастью, Лева совсем не картавит и не шепелявит. Кроме того, московский говорок почти вытеснил из его речи еврейскую певучесть. Что сразу выдает в нем еврея, так это характерный подъем интонации в конце каждого задаваемого вопроса, эдакий типичный всплеск, который временами вызывает у собеседников усмешку — еще и оттого, что его всегда утрированно копируют в анекдотах про Абрама и Сару. И вот это действительно беда. Такой недостаток невозможно устранить никакими специальными упражнениями. Остается либо притвориться немым, либо полностью устранить из своей речи какие бы то ни было вопросы.

Лева подробно рассматривает оба пути, взвешивает все «за» и «против» и, наконец, принимает решение. Немота в столь опасные времена может навлечь на человека дополнительные беды. Лучше все-таки рискнуть, но оставить за собой

возможность объясниться, попросить, ответить. Однако при этом следует начисто забыть о вопросах. Никогда, ни в коем случае нельзя никого ни о чем спрашивать. Табу!

Ясное дело, это создает немалые сложности. Допустим, он выбирается из своего укрытия и выходит на дорогу. Куда направиться? В какой стороне находится Смоленск? Надо спросить. Надо обратиться к старушке на завалинке, или остановить прохожего, или постучать в окно и… и… и что? Хочешь не хочешь, а придется задать вопрос: «Как пройти на Смоленск?» И всё — опознали еврея. Впрочем, можно сказать иначе. Например, так: «Мне нужно в Смоленск, а я не знаю дороги». Да, это звучит довольно неуклюже, но намного лучше полной немоты.

Что ж, главные проблемы худо-бедно решены. Остались сущие мелочи, но их немало и каждая требует внимания. Лева Мельцер начинает загибать пальцы. Еврея отличают по жестикуляции, по глазам, по форме затылка, по высоте лба, по курчавости волос, по смеху, по манере зевать, по манере пить, одеваться, спать, сердиться… ну и, конечно, по наготе его. Да, набирается даже больше, чем пальцев на руке. Но в деле выживания нет места для лени. Нужно тщательно обдумать

все детали, даже самые незначительные.

Вокруг совсем стемнело. Теперь можно выползти из зарослей, встать, распрямиться, размять затекшие руки и ноги. Ночная тьма и пронизывающий ветер встречают Леву снаружи. Ему холодно — единственному живому существу на этом залитом кровью, усыпанном мертвыми телами поле. Непроглядно черное небо, враждебным волком кружит вокруг недобрый сентябрьский ветер, свистит в ушах, забирается под шинель, пробирает до костей мелкой простудной дрожью. Один-одинешенек он здесь, в утробе осенней ночи, брошенный на произвол судьбы и Богом, и людьми — жертва, объект охоты, вне закона и вне защиты. Нет никого, кто помог бы, согрел, подал бы руку.

Какое-то время Лева стоит, вслушиваясь в неприязненную тишину ночи. Затем его рот кривится, он всхлипывает, и теплые слезы ручьем текут по грязным щекам.

«Боже, Боже, почему ты оставил меня? — шепчут дрожащие губы. — Почему забросил меня сюда, в эту чужую враждебную тьму, под штыки палачей? Неужели не осталось во всем мире щепотки милости и добра? Одной щепотки?..»

Но нет ни насмешки, ни утешения — лишь

равнодушное молчание служит ему ответом. Устыдившись минутной слабости, Лева быстро вытирает лицо рукавом шинели.

— Отставить, Лев Зиновьевич! — шепотом командует он сам себе.

Слезы нужно подвести под категорический запрет — так же, как сутулость и вопросительную интонацию. Слезы расслабляют волю и размягчают душу — равно как и пустые мечты о добре и милости. Все это, без сомнения, типичные еврейские штучки, то есть еще одна смертельно опасная примета. Он должен довести до конца начатую работу по созданию нового облика. И первым делом надо выбросить из души и из памяти все лишние, мешающие воспоминания — тот самый не определимый словами дух, который живет и неведомо какими путями проявляется в человеческом поведении. Надо на время забыть маму, забыть семью, забыть свое имя, и комнату на Арбате, и альбом на этажерке, и аптекаршу Лизу, и благодушные выдумки, о которых рассказывается в книгах. Забыть. Забыть.

Он садится на землю и снова принимается загибать пальцы: по жестикуляции, по глазам, по форме затылка, по высоте лба…

4

Так. Разберемся с жестикуляцией. Когда еврей говорит, он нередко призывает на помощь руки. Он крутит ладонями, воздевает вверх указующий перст, собирает пальцы в щепотку и вновь раскидывает их красноречивым веером. Водится ли такое обыкновение за ним, инженером Львом Мельцером? Лева с сомнением покачивает головой: если и водится, то не слишком заметно. Тем не менее следует максимально обезопасить себя еще и в этом отношении. Нужно приучить руки к полной неподвижности. Наверно, можно натренировать их соответствующим образом.

Теперь глаза. Подобно носу, они служат безошибочной приметой еврейского происхождения. Не зря называют их зеркалом души: еврейство нет-нет да и промелькнет там предательской тенью. Как можно решить эту проблему? Вряд ли получится поменять душу, да и глаза не завяжешь глухим шарфом.

С чем Леве определенно повезло, так это с цветом: все Мельцеры сероглазы. Но этого недостаточно. Надо постараться придать взгляду по возможности нееврейское выражение. Что-нибудь языческое, диковатое, как у вышедшего из

лесов человека.

Лева долго обдумывает этот вопрос. Каким сделать его, этот новый взгляд, в какую оболочку завернуть затаившуюся душу? Должен ли это быть бездумный смех? Или наглая ухмылка? Или, напротив, тупое покорное терпение? А может, постараться представить глаза пустыми, начисто лишенными мысли и чувства? Мельцер словно сидит перед экраном, на котором сменяют одна другую разные кинопробы. То одна, то другая пара глаз поочередно загорается перед его мысленным взором. На чем остановить выбор? После долгих колебаний Лева решает действовать методом исключения.

Прежде всего он откидывает все варианты, содержащие боль, грусть, терпение, а также выражение просьбы и унижения. Причина ясна: эти качества прочно ассоциируются именно с еврейскими глазами. Нахальная ухмылка или бездумный смех подошли бы лучше всего, но Лева не настолько талантливый актер, чтобы сыграть сейчас наглеца или бесшабашного весельчака. Ведь и его собственное настроение, и общее состояние дел вряд ли располагают к веселью. Что же остается? Пожалуй, только злоба. С воображаемого экрана смотрят на Леву хмурые,

неприветливые, почти волчьи глаза. Под этим тяжелым взглядом какая-то часть Левиной души отзывается плачем, тихим, как дальняя скрипичная мелодия.

«Неужели это я? — ужасается Мельцер, но тут же одергивает себя: — Хочешь выжить — надевай маску!»

Да-да, все правильно. Если глаза — зеркало души, то придется поглубже упрятать этот предательский скрипичный плач. Человеку с экрана чужды и скрипки, и слезы, и милосердие…

И вообще, нечего тут рассусоливать, надо двигаться дальше. Что на очереди? Затылок. Только что выбранному взгляду хорошо подошел бы мощный затылок, плоский и крепкий, как кирпичная стена. Такой затылок прекрасно сидит на шее, практически сливаясь с нею, что создает нужное впечатление надежной мужественности. Жаль, что у евреев почти не встретишь подобных голов, и Лева Мельцер в этом плане не исключение. Его выпуклый затылок кажется хрупким и, что хуже всего, не обладает необходимой гладкостью волосяного покрова. Курчавы волосы на Левиной голове. Не подчиняясь строгому единообразию прямых затылков, они торчат во все стороны отдельными спутанными кустиками,

растут как бог на душу положит. На душу? На чью душу, Лева? Возможно, твоей прежней душе такой затылок и подходил, но с новым обликом он не согласуется даже в минимальной степени. Вот ведь чертовы кудряшки! Вдобавок спереди уже наметились небольшие залысины, и это тоже плохо, ибо соответствует весьма нежелательному образу. Кто это там, такой высокий и курчавый, с круглым выдающимся затылком и залысинами над высоким лбом? Конечно, еврей. Еврей Лева Мельцер.

Что ж, форму черепа не изменишь, но с кудряшками можно бороться. Их придется сбрить, чтобы не мозолили ничей взгляд. Да, это будет нелегко: у Левы жесткие упрямые волосы, они будут сопротивляться бритве, а затем снова и снова вылезать на свет в виде колючей щетины. Но делать нечего: новый облик требует еще и этого ежедневного усилия.

Идем дальше. Манера смеяться, манера зевать. Лева вызывает в памяти образ старшего брата Соломона, инженера одного из свердловских заводов. Все говорят, что они очень похожи, так что, взглянув на брата, он может сделать вывод и о себе. Какие моменты ярче всего выдают еврейскую сущность Соломона? В этом нет и тени сомнения:

когда старший брат смеется или зевает, всякий без труда признает в нем типичнейшего еврея. Его щеки по-еврейски округляются, сеть еврейских морщинок собирается вокруг еврейских глаз, а рядом с ноздрями залегают глубокие еврейские борозды.

Если то же самое происходит и с Левой, то необходимо отнестись к делу с максимальной серьезностью. Иными словами, он должен принести на алтарь нового облика еще и эти жертвы. Не смеяться, даже когда очень смешно. Научиться подавлять зевки, даже когда очень хочется зевнуть. Раньше он уже приговорил к неподвижности руки, теперь нужно сделать то же самое с лицом.

Беда может настичь его и во время сна, когда человек лишен возможности контролировать себя. Поди знай, какие слова могут сорваться с языка в этот момент… Не менее опасно и состояние болезни, бессознательного бреда. В этом случае пойдет насмарку даже самая безупречная маскировка. Ясно, что нельзя лишить себя сна. Но никто не мешает ему принять доступные меры предосторожности. Например, не ложиться спать рядом с другими. Всегда ведь можно забиться в какой-нибудь дальний угол или просто лечь с

краю, отвернуться, поплотнее прикрыть лицо.

Так же следует вести себя и там, где мужчины обнажают свою наготу: в туалетах, в бане, во время купания. Нужно избегать обнажения всеми силами, иначе — смерть. Ведь восстановить то, что отрезают новорожденному еврейскому мальчику, так же невозможно, как и изменить форму черепа. Ах, ну почему Лева не родился девочкой или, еще того лучше, гоем? Впору сейчас менять древнюю иудейскую молитву-благодарность «Спасибо, что не сотворил меня женщиной… Спасибо, что не сотворил меня гоем…» на прямо противоположную. Отныне Лева Мельцер обречен мыться в одиночку, в максимальном удалении от прочих земных существ, дабы не узрели знак Каина на теле его. Всегда в одежде, всегда в сторонке, всегда один…

И уж конечно, ему категорически запрещено спиртное. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Ни капли вина! Он обязан все время быть начеку, постоянно следить за руками, за речью, за лицом, за выражением глаз…

Контроль, непрерывный контроль над собой. Нужно избегать всего того, что выводит из состояния равновесия. Исключить приступы гнева, раздражительности, неудовольствия. Нель-

зя сердиться, любить, ненавидеть, ревновать, выражать симпатию, проявлять милосердие. Превратить сердце в камень, соблюдать полнейшую бесстрастность — так будет надежней всего.

Он удовлетворенно вздыхает: работа по созданию нового облика почти закончена. Так кто ты теперь, Лев Зиновьевич Мельцер? Попавший в окружение солдат, уроженец одной из центральных областей России. Высокий, наголо обритый мужчина с неестественно выпяченной грудью, который не задает вопросов, не смеется и не зевает. Руки его застыли в напряженной неподвижности. Он не пьет спиртного, не сходится с другими людьми, предпочитает компании одиночество, спать ложится в сторонке, а моется или справляет нужду в стыдливом отдалении. Всегда хмур и на первый взгляд сердит, но при этом ни с кем не ссорится, ни на кого не сердится, никого не любит. Такое впечатление, что этот человек вообще не испытывает никаких чувств. Примерно так.

Лева пристально вглядывается в хмурое лицо, которое светится перед ним на воображаемом киноэкране. Так смотрит на свое творение скульптор или художник, ища мелкие недостатки, которые нужно устранить, неприметные недо-

четы, которые необходимо подправить. Теперь ему не мешают никакие дальние скрипки, лишь посвист холодного ветра слышится в промозглой осенней тьме. На небе ни звездочки. Черный и чуждый мир объял Мельцера до души его. Мир, сочащийся смертью и ненавистью.

Ничего, не беда. Что есть, то есть. Если нет выбора, то надо жить с тем, что тебе предлагают. Уж он-то постарается приучить себя и к смерти, и к ненависти. Холодно. Лева поднимается на ноги и топчется, чтобы согреться. В его обновленной душе нет места прежнему слезливому отчаянию, прежнему чувству отверженности. Новый Лева Мельцер готов к сражению, и он даже слегка недоумевает, зачем ему тот пузырек в потайном кармашке. Впрочем, ладно, пусть остается, вдруг еще пригодится, своя ноша не тянет…

5

Мельцер просыпается разом, как от толчка, весь в холодной испарине. В просвете зарослей сереет предрассветное небо, мало-помалу рассеивается ночной сумрак, поблизости уже можно различить редкие стебли травы и покров прелой листвы. Гуляет меж кустов пронизывающий осенний ветер, проверяет листья на ветках —

авось что оторвется. Темнота еще цепляется за мир, но с каждой минутой все легче, все прозрачней становится ее туман. Еще немного, и станут видны стволы тополей — прямые и скорбные, они похожи на часовых, охраняющих поле смерти. С максимальной осторожностью, где ползком, а где на четвереньках, Мельцер выбирается из своего укрытия. Громкое карканье пирующих ворон указывает ему дорогу. На поляне — множество мертвых тел, и стервятники рады обильной тризне.

Мельцер переползает от трупа к трупу, мародерствует, роется в карманах, проверяет содержимое вещмешков, пытается разобрать в скупом утреннем свете документы убитых. Он последовательно бракует несколько удостоверений, пока не натыкается на подходящее. Петр Сергеевич Михайлов, 1910 года рождения, житель Саратова. Русский.

С едой тоже получается удачно. Лева набирает в рюкзак сухарей, несколько кусков сахара и три брикета перлового концентрата. Затем он возвращается в заросли. Что ж, начало положено. Мельцер достает свое еврейское удостоверение и рвет его на мелкие клочки. Нет, этого недостаточно. Пальцами и обломком ветки он выкапывает

ямку. Хватит или надо еще глубже, чтобы уже наверняка? Лева аккуратно складывает на дно ямки обрывки своего еврейства и присыпает их землей. Украденное у мертвеца удостоверение ложится в нагрудный карман. Пуговка застегнута. Готово. В заросли вползал еврей Лев Зиновьевич Мельцер, а выползет Петр Сергеевич Михайлов, саратовский русак.

Он устраивается поудобней, кладет голову на локтевой сгиб. Мятой длиннополой шинели хватает на то, чтобы укрыть ноги в грубых армейских сапогах. Ветер теребит верхушки кустов, холодна мать сыра земля, но мягок матрас палой листвы. Прохладно. Влажно. Он подтягивает колени к животу, сворачивается калачиком, как в утробе матери. Глаза слипаются. Теперь он Михайлов. Русский.

Если бы еще совладать с обрывками мыслей, которые, подобно вольным птицам, не спрашивают, как и в каком направлении лететь. Где-то далеко на юге шумит голубое теплое море и сияют яркие островки зелени, залитые ласковым светом. Высоко вверх вознеслись белые купола минаретов. Едут на смирных осликах спокойные, уверенные в себе люди, не знающие страха смерти. Полны купальщиков песчаные пляжи.

Где-то там смотрит на все это красивая еврейская девушка, добавляя миру радости своей светлой улыбкой. Есть, есть где-то и чистота, и свобода… Но все это очень далеко, слишком далеко, чтобы казаться реальным. Реальность — вот она: сырое, усыпанное мертвецами поле, и карканье пирующего воронья, и заросли кустов вдоль тихо журчащего ручья, и загнанный человек, свернувшийся калачиком под кустами. Новый человек по фамилии Михайлов. Гой.

Не скоро получается у него согреться и уснуть.

Проходит несколько часов, прежде чем пробуждается гой от своего тяжкого сна. День в самом разгаре. Стало заметно теплей, но проснувшегося отчего-то бьет крупная дрожь, так что зубы стучат. Он очень давно не мылся, даже рук не споласкивал. Не исключено, что в складках белья завелись мерзкие вши. Есть. Хочется есть. Он достает из рюкзака сухарь и грызет его, тщательно работая челюстями. Черт с ней, с гигиеной! С восточной стороны доносится несмолкающий грохот войны. За прошедшие сутки он вроде бы стал глуше. Но это не так важно — тут, в зарослях, можно чувствовать себя в относительной безопасности.

Пить. Хочется пить. Он достает котелок и, со-

блюдая максимальную осторожность, ползет в сторону ручья. Вот и берег. Прозрачна и чиста холодная вода. По дну над фиолетовыми камешками-голышами стелется речная трава. Бывший Мельцер склоняется над потоком и долго всматривается в свое отражение. Странное незнакомое лицо глядит на него из ручья, подрагивая от легкой ряби. Глубоко запавшие глаза, нечистая, поблескивающая капельками пота кожа. На лбу, вокруг глаз и рта — множество морщинок. Жалкая маска горькой-прегорькой горечи застыла на этом лице. Он пробует улыбнуться. Боже, какой убогой и вымученной получается эта улыбка! Щеки и подбородок покрыты жесткой рыжей щетиной. Нужно поскорей заняться бритьем — это ведь важная часть плана, часть нового облика.

Сверху слышен гул самолетного мотора. Мельцер-Михайлов поспешно зачерпывает полный котелок воды и возвращается в свое укрытие. Из мешка извлекаются бритва и обмылок. Так, сначала подбородок… Он натягивает кожаный солдатский ремень и доводит бритву до нужной остроты. Ключевая вода холодна как лед. Вдобавок ко всем неудобствам у него нет зеркальца, и приходится работать на ощупь, как будто в темноте. Брить голову вдесятеро труднее, но в

конце концов он справится и с этим. Мельцер-Михайлов тщательно намыливает темя и виски. Торопиться ему некуда, весь день впереди.

Самолетик по-прежнему жужжит где-то в вышине, но заросли представляют собой надежное укрытие. Тем не менее следует проявлять осторожность и остерегаться резких движений. Если летчик заметит его в этих кустах, то, конечно, тут же сообщит об этом на землю, и тогда… Рука с бритвой замирает: а вдруг это уже произошло? Что, если немцы уже знают и вот-вот отправят сюда команду по его душу? Не зря ведь самолет так долго кружит над одним и тем же местом… Нужно поскорей заканчивать бритье и уходить. Никак нельзя попадаться немцам в окрестности этого мертвого поля: тогда он сразу окажется в плену вместе с однополчанами, которые знают его как облупленного. И всё: прощай, новый облик, прощай, легенда, прощай, жизнь.

По всем расчетам, он находится сейчас километрах в пятидесяти к северо-западу от Смоленска. Найти бы дорогу — шоссейную или железную, которая идет в том направлении. Хотя нет, шагать по шпалам опасно: можно наткнуться на немецкий патруль. А если Смоленск уже в руках врага, он обойдет город и продолжит дальше на восток.

Как знать, может, и получится выйти к своим…

Погруженный в эти размышления, он вдруг опускает бритву и зевает — сильно, широко, во весь рот, демонстрируя миру и язык, и зубы, и нёбо — всё, вплоть до гортани. И тут же спохватывается: нельзя! Запрещено! Этот позорный случай должен стать последним в жизни гоя Михайлова! Отныне он никогда и нигде не разрешит себе разевать пасть столь непозволительным образом. Теперь, если придет охота зевнуть, он должен произвести это действие скромненько, тихо, не разжимая челюстей. В крайнем случае допускается слегка расширить ноздри, как это принято в обществе истинных лордов. Главное — не забывать об этом нигде, никогда, ни под каким видом…

6

Он снова ползет к ручью, чтобы умыть лицо и голову после бритья. Удивительно, но царапин не так уж и много. Со временем придет и привычка. Мельцер-Михайлов придирчиво разглядывает свое отражение и отмечает явные перемены к лучшему. Да будут благословенны отец Залман Бенционович и мать Шифра Львовна за то, что одарили сына таким замечательным

носом-картошкой, носом потомственного алкоголика. Спасибо родителям и за эти серые глаза. За остальное следует благодарить бритву: теперь на голове уже не кустятся предательские кудряшки. А вот брови… гм, брови подкачали: Мельцеру-Михайлову мнится, что есть в них что-то еврейское. Не теряя времени, он наводит порядок и здесь: четверть часа спустя смертельно опасные кустики выкорчеваны с корнем.

Готово. Теперь нужно примерить правильное выражение лица. Он хмурит то, что осталось от бровей, крепко сжимает губы и придает сердитости глазам. Отражение возвращает ему злобный взгляд. То что надо. Именно так и должен выглядеть Петр Сергеевич Михайлов. Он возвращается в укрытие, увязывает вещмешок и прилаживает его на спину. Ну вот. С Божьей помощью можно и отправляться. Помолись за меня, мама, где бы ты сейчас ни была… Секунду-другую он неподвижно стоит среди кустов, готовясь сделать решающий шаг. Всё, вперед! Михайлов выходит из кустов — рюкзак на спине, удостоверение в кармане, хмурые глаза мрачно шарят по мертвому полю, а душа… душа готова к любой неожиданности, к любой опасности, какая только может встретиться на пути.

Дойдя до края поля, он сворачивает на юго-восток. С обеих сторон дороги растет редкий смешанный лес. По этому редколесью можно относительно безопасно добраться до какого-нибудь жилья. Здесь почти не слышен шум удаляющегося фронта. Быстрая ходьба бодрит и согревает Михайлова. В сером небе носятся вороны, их громкое карканье прорезает лесную тишину. Их множество, они летят стая за стаей, и от их крыльев мир кажется еще черней.

В глубине леса Михайлов замечает несколько деревянных строений и сворачивает туда. Судя по всему, здесь был когда-то лесхоз. Михайлов минует два пустых барака и подходит к третьему дому, который кажется обитаемым — возможно, тут еще проживает лесник. Он открывает дверь.

— Эй, есть тут кто-нибудь?

Этот вопрос срывается с его языка — громкий, слышный на весь лес вопрос с типично еврейской интонацией на конце. Мельцера-Михайлова бросает в жар. Это ж надо так оступиться, причем на первом же шаге! Неужели это так трудно — соблюдать столь простое правило?! Ни в коем случае нельзя задавать вопросов! Ни в коем случае!

Но ответа нет, и Мельцер-Михайлов понемногу

успокаивается. Как видно, здесь никто не живет. Он направляется к следующему дому. О! Навстречу путнику поднимается с завалинки хлипкий старик. Похоже, только его и оставили охранять заброшенное лесное хозяйство от полного разорения.

— Здорово, отец! — приветствует его Михайлов. — Мне надо бы в Смоленск. А дороги не знаю.

— Пойдем, покажу… — охотно отзывается лесник.

Он долго и во всех подробностях рассказывает, в какую сторону нужно отсюда идти, а также где и куда сворачивать.

Затем оба усаживаются на стволе поваленного дерева, сворачивают по цигарке, и старик принимается рассказывать о том, как ему живется в военное время. У него общительный нрав — с таким характером трудно переносить одиночество. Мельцер-Михайлов — не первый солдат, который стучится в его дверь. Многие сейчас попали в окружение и теперь бродят по лесам и дорогам в надежде дойти до своих. И каждый такой гость не прочь передохнуть, покурить махорки, перекинуться словцом. Но этот высокий человек в мятой шинели явно не из говорунов. В

напряженной позе сидит он на древесном стволе, сидит и молчит, и хмурое неприветливое выражение застыло на его мрачном лице.

Впрочем, леснику и дела мало — главное, что в кои-то веки зашел к нему живой человек, что есть рядом какая-никакая живая душа, что есть кому выслушать его стариковские байки. И он говорит, говорит, говорит без передышки. Рассказывает о довоенном житье-бытье, затем переходит на тему немецкого нашествия. «Слышь-ты» — это не требующее ответа присловье он вставляет едва ли не в каждую фразу.

— На прошлой неделе, слышь-ты, бомбили где-то неподалеку, — сообщает старик, выпуская изо рта густые клубы махорочного дыма. — Слышь-ты?

Мельцер-Михайлов хмурится еще больше. Надо бы что-то ответить, не сидеть же так пень-пнем. Голос должен быть под стать общему облику — грубым, низким, монотонным. Чтобы никто ненароком не услыхал в нем следы сердечной веселости прежнего дружелюбного человека.

Он бросает окурок на землю, наступает на него каблуком, сплевывает и встает.

— Ладно. Пора двигать. К послезавтрему хочу быть в Смоленске.

Голос получается неестественно низким, утробным, глухим. Лесник тоже вскакивает с места, ему жаль так быстро расставаться с гостем.

— Все запомнил? — скороговоркой повторяет он свои наставления. — Через три километра будет перекресток, там, слышь-ты, нужно взять направо. Боже упаси, ежели по ошибке свернешь налево: налево дорога в Родню, а в Смоленск, слышь-ты, направо.

— Бывай, дед! — утробно отзывается Михайлов.

Он подхватывает вещмешок и, не оборачиваясь, идет к дороге, чуть сутулящийся сероглазый человек в солдатской шинели, с дочерна загорелым лицом, иссиня-белой свежевыбритой головой и лиловым носом потомственного алкоголика. «Что ж, — думает он, — пока все в порядке. Я ничем не выдал себя — ни вопросом, ни смехом, ни зевком, ни жестами. Пока что это дается нелегко, но со временем войдет в привычку. Время есть…»

Времени впереди и в самом деле много — месяцы, годы. Годы жизни в новом облике, жизни без души, без сердца, без чувства, жизни тупой, нелепой и никчемной. Годы жизни в аду.

Мыслимо ли человеку пройти через такое ис-

пытание — простому человеку из плоти и крови? И не оставит ли на нем ад свой неизгладимый отпечаток, не высохнет ли криница души, не превратится ли в камень забытое, лишнее, мешающее сердце?

7

Двенадцать детей было у Шифры Мельцер: семеро сыновей, пять дочек, а внуков и правнуков без числа. До войны почти все они жили в столице. Лишь старший Соломон еще в двадцатые годы женился и уехал на Урал, в Свердловск. Пятеро других сыновей ушли в Красную армию: Исаак, Давидка, Борис, Семен и Лева. Давид погиб в большом сталинградском сражении, Семена убили под Днепропетровском. На обоих пришли похоронки, а на Семена еще и письмо от его батальонного командира.

«Пал смертью храбрых, — было написано в этом письме, — пролил свою кровь в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и память о верном сыне нашей Родины навсегда сохранится в наших сердцах!»

И хотя никакие слова не могут унять материнской скорби по погибшему сыну, была в этом письме малая толика утешения.

Исаак и Борис регулярно писали домой с фронта, и лишь от младшенького, от Левы, писем не было с самого августа сорок первого.

Два года Шифра провела в эвакуации: три месяца спустя после начала войны Мельцеры уехали к Соломону в Свердловск. Старший сын принял родных с распростертыми объятиями — в этой большой семье всегда было заведено помогать друг другу во всем, а уж в такие тяжелые времена и подавно. Однако Свердловск не понравился Шифре. Вдобавок ко всем несчастьям она овдовела: весной сорок третьего умер от воспаления легких Залман Бенционович. И хотя покойный никогда не был главой семьи, хотя все решения — и важные, и незначительные — принимала, как правило, сама Шифра — невзирая на это, смерть мужа стала для нее тяжелым ударом. Тихий беззлобный человек, Залман не претендовал на многое, но всем сердцем любил жену и детей, заботился о семье, жил ради ее блага.

По окончании траура Шифра решила вернуться домой, в Москву. К тому времени в столице жили три ее дочери и сын — остальные были кто на фронте, кто в эвакуации. Рассеянная по всей стране от полей фронтовых сражений до тылового Новосибирска, эта большая семья все-

гда ощущала себя одним целым, нерушимым утесом над морем жизненных невзгод. А старая Шифра была центром, ядром этого клана — к ней стекались все семейные новости, ей присылали письма со всех концов страны, у нее просили совета или помощи, с нею делились радостью или горем. И лишь от Левы, любимого сыночка, не получала мать ни весточки, ни письмеца.

Где же он, где, ее поздний ребенок, свет ее старости? Где он, веселый неунывающий красавец, никогда не упускающий возможности пошутить? Где он, неумолкающая душа любой компании, центр любого застолья, любимец девушек, завсегдатай столичных театров и кинозалов? Где он — легкий, но не легкомысленный, точно знающий, когда проходит время шуток и наступает пора серьезности, надежный сын и товарищ, ценимый братьями и друзьями, уважаемый на работе? Где?

Многие наши солдаты пропали без вести в первые месяцы войны. Как правило, это не оставляло надежд. Но Шифра хорошо знала своего Леву: этот парень не сдастся, не опустит рук в трудную минуту. Он слишком похож на свою мать — Шифра тоже никогда не уступала ни смерти, ни беде, тоже всем сердцем любила жизнь с ее немалыми

горестями и редкими радостями.

В сентябре сорок третьего старая Шифра вернулась в свою арбатскую квартиру, где проживала тогда лишь ее невестка Роза, жена Бориса. Борис писал часто, хвастался полученными наградами, орденом Красной Звезды. Исаак тоже не отставал от брата. А в сорок пятом наградили и саму Шифру как мать-героиню. Этот орден вручал в Кремле сам Михаил Иванович Калинин, Председатель Верховного Совета.

Нечего и говорить, это был большой почет для всей семьи Мельцеров, и дети решили достойно отметить такое важное событие. Тем более что настал конец и проклятой войне. Нацистская Германия и ее столица Берлин лежали в руинах. Первого мая над Рейхстагом взвился красный флаг, а девятого числа в Москве праздновали Победу. В ее честь тысяча орудий прогремели тридцатью артиллерийскими залпами. Сотни мощных прожекторов прорезали своими лучами ночное небо столицы. Самолеты рассыпали праздничные листовки и цветные конфетти над ликующим городом. Среди десятков тысяч радостных людей, танцующих и обнимающих друг друга на улицах и площадях, праздновал Победу и я, автор этого рассказа.

А назавтра меня пригласили в арбатскую квартиру Мельцеров на торжественный ужин в честь Шифры, орденоносной матери-героини. Случайный гость, я получил это приглашение исключительно благодаря тому, что ухаживал той весной за одной из взрослых внучек виновницы торжества и Мельцеры видели во мне потенциального члена семьи. Забегая вперед, скажу, что в итоге из этого ухаживания ничего не получилось: некоторое время спустя я пал жертвой пары других, не менее прекрасных глаз. Но в то время я еще считался закоренелым холостяком.

В празднестве у Мельцеров принимали участие примерно пятьдесят человек, среди них семеро детей Шифры. Присутствовал даже майор Исаак Зиновьевич Мельцер, получивший по такому случаю двухнедельный отпуск из своей армейской части. За большущим столом сидели зятья и невестки, внуки и внучки. Не подкачало и угощение, в основном стараниями майора: вино белое, вино красное, рыба, мясо и, конечно, традиционный винегрет. Шифра Львовна сидела во главе стола на высоком кресле, как настоящая императрица. Лицо ее сияло, а на груди блестел орден матери-героини.

Первым сказал приветственное слово майор,

за ним выступали другие. То и дело слышалось «лехаим!», кто-то напевал, кто-то вспоминал отсутствующих родных. Все глаза были устремлены на сияющую Шифру. Не отставал от соседей и ваш рассказчик. Вместе со всеми кричал «лехаим, евреи!» и «радуйся, мать сыновей, аллилуйя!»

В общем шуме и гаме никто не расслышал звука входного звонка. Но потом кто-то все-таки разобрал, что звонят, и пошел открывать. Так или иначе, но на пороге комнаты вдруг возник незнакомый русский солдат в мятой шинели — высокий, мрачный, неприветливый человек. Он стоял и молчал, и с хмурой враждебностью взирал на наше застолье. Мало-помалу все лица повернулись к нему, шум утих, и в комнате воцарилась мертвая тишина. И тогда со своего кресла медленно-медленно поднялась старая Шифра. Мелкими шажками она обошла стол, приблизилась к солдату и очень тихо проговорила:

— Лева…

— Мама! — грубым утробным басом отозвался солдат.

Тут поднялась настоящая суматоха — все повскакали с мест, все разом запричитали, заговорили, забормотали.

— Ой, Лева, Господь милосердный…

— Лева!

— Лева! А мы уж и не чаяли…

— Лева, откуда ты?!

А одна из внучек вдруг закричала, радостно и пронзительно, перекрывая все голоса:

— Дядя Лева вернулся! Дядя Лева вернулся!

Лева стоял посреди всей этой суеты и молча хмурился. Затем он несколько раз обвел комнату взглядом из-под насупленных бровей, и снова послышался глухой монотонный бас:

— Я не вижу здесь папы…

Даже в эту минуту он не смог выговорить простого вопроса — облик гоя Михайлова по-прежнему владел Левой Мельцером и диктовал каждое его слово, движение, взгляд.

8

Когда первое потрясение прошло, за Леву дружно взялись женщины. Немедленно была подготовлена горячая ванна, из шкафа извлечена довоенная одежда — белье, рубашка, темно-синий костюм. На столе появились новые бутылки вина, миски наполнились свежим винегретом. Не успели мы оглянуться, как вот он, Лева, сидит у стола по правую руку от матери — чисто умытый, гладко выбритый, в тщательно выгла-

женной рубашке, парадном костюме и полосатом галстуке. Час уже вечерний, за окном темнеет, но почти никто из гостей не выходит из-за стола. Всем не терпится услышать рассказ дорогого, нежданного, долгожданного гостя.

И Лева начинает говорить. Его лицо хмуро, взгляд мрачен, голос низок и невыразителен. В уголках его крепко сжатого рта нет даже намека на улыбку. Он рассказывает об окружении, о том, как решил сотворить себе новый облик, о том, как лежал в кустах на берегу ручья, шаг за шагом, деталь за деталью составляя портрет другого человека. Ему удалось затем добраться до Смоленска, но город уже был в руках немцев. Тогда Мельцер-Михайлов двинулся дальше, к Москве, но где-то в районе Вязьмы попал-таки в плен и был помещен в концентрационный лагерь. Там ему повезло — попал на кухню, чистить картошку. В сорок втором его отправили в Восточную Пруссию, на кирпичный завод в районе Тильзита, а затем на стройку, каменщиком. Ну а два года спустя пришла Красная армия, и с нею — свобода…

И все эти годы он не смеялся, не задавал вопросов, не зевал, не сердился. Большую часть времени молчал, а когда приходилось, говорил

басом. Молчаливый мрачный человек, всегда один, всегда в сторонке, сам по себе.

В замершей комнате звучит низкий монотонный голос. Лева говорит неохотно, будто через силу, его руки неподвижно лежат на столе, как мертвые колоды.

«Боже, да Лева ли это?!» — думает Шифра. Что за странный сломленный человек сидит рядом с нею во главе стола? Незнакомец извлекает из кармана мятое удостоверение, оно переходит из рук в руки. Петр Сергеевич Михайлов, 1910 года рождения, житель Саратова. Члены семьи Мельцер оторопело вглядываются в потрепанную бумажку. Шифра Львовна кусает губы.

«Ничего страшного, — думает она. — Все образуется».

Главное, что милостивый Творец сжалился над материнским сердцем и послал ей этот бесценный подарок — живого сына, живого и здорового… Из темных и страшных мест вернулся домой ее мальчик, ее Левушка. Семь кругов ада прошел он, огонь и воду, страх и ужас. Было бы странно, если бы эти события не оставили на нем никакого отпечатка. Мальчик просто промерз до мозга костей в своем жутком одиночестве. Нужно отогреть его, успокоить, вернуть к прежней жиз-

ни. И нет ничего лучше родных рук для такого тонкого ремесла.

Она говорит:

— Давайте-ка все выпьем. Лехаим! Выпьем за моего младшего сына Леву, который столько всего выстрадал…

Тих и мягок голос матери, слеза появляется в уголке ее глаза и скатывается по щеке. Со всех концов стола тянутся к Леве полные стаканы… — но что это? Лева отказывается пить!

— Я теперь не пью, — говорит он. — Нельзя, совсем нельзя.

— Но на моем-то празднике ты можешь выпить? — возражает Шифра. — Хотя бы малую стопку…

Мельцер-Михайлов колеблется, но тут с другого боку обнимает его за плечи брат — майор Исаак Зиновьевич:

— Брось, Левка! Что нам «можно», что нам «нельзя»? Трын-трава, Левка, трын-трава!

Майор уже навеселе, язык его слегка заплетается. Лева берет из руки брата запретную стопку, с сомнением смотрит на нее и выпивает. Шифра тут же снова наполняет стаканчик.

— Пей! — толкает брата Исаак.

Тот пьет.

— Это стакан? — удивляется майор, разглядывая Левину маленькую стопку с таким выражением, будто перед ним какая-то неведомая зверушка. — Эй, люди, что вы, как неродные? Дайте Леве нормальный стакан!

На помощь к бравому офицеру устремляются две племянницы — румяные веселые девушки-хохотушки:

— Дядя Лева, дядя Лева! Лехаим!

Теперь Лева почти не сомневается. Забытый вкус материнского винегрета греет ему душу наряду с уже выпитыми стаканчиками.

— А нам все трын-трава! — гнет свою пьяную линию майор. — Лехаим, братишка!

Лева кивает и вдруг спрашивает:

— Когда папа умер?

Басовые нотки уже не так слышны в его голосе, зато в самом конце вопроса взмывает типично еврейская интонация, безошибочно указывающая на национальную принадлежность говорящего. Леве подробно рассказывают о болезни и смерти Залмана Бенционовича. Собравшиеся молчанием поминают ушедшего отца, деда и прадеда.

Майор наливает себе и брату новую порцию. Гулять так гулять! Его отпуск кончается через четыре дня. Войны больше нет, и все теперь

трын-трава, но дисциплина есть дисциплина: в часть нужно прибыть вовремя. А пока можно напиться до чертиков.

— Давай, Лева!

— Давай, Исаак!

Они одновременно опрокидывают свои стаканчики. Теперь беседа между братьями течет плавно, почти как до войны. Рядом смеются-заливаются две хохотушки-племянницы. Старая Шифра дирижирует деликатным процессом возвращения Левы в лоно семьи.

Какое-то время я наблюдал за ними, а потом отвлекся в пользу собственного стакана и винегрета. В конце концов, рассказчик тоже имеет право выпить и поесть. Не помню, как долго мое внимание занимали другие дела и разговоры, но когда я снова взглянул на Леву, то поразился происшедшей с ним перемене. Он был заметно пьян и говорил, говорил, говорил без передышки, причем обе его руки принимали самое непосредственное участие в разговоре. Они молчали в течение долгих четырех лет, скованные стальными наручниками чужого облика, и вот теперь наконец вырвались на волю. Лева потрясал кулаком, воздевал вверх указующий перст, крутил ладонями, хитро потирал друг о дружку пальцы

и тут же собирал их щепоткой, чтобы в следующее мгновение распустить веселым веером. Они казались еще пьяней, чем их хозяин, эти две руки — они были пьяны от свободы. Изменился и голос: он уже не басил монотонно и тупо, но играл разными интонациями — от удивленного восклицания до заговорщицкого шепота. Если бы подвыпивший Лева мог слушать самого себя, то наверняка разобрал бы в своей речи знакомые нотки истомившейся в неволе души.

Но он был слишком занят пьяным диалогом со своим геройским старшим братом.

— Выпьем, Лева! — кричит майор, поднимая стакан. — Лехаим!

— Лехаим! — восторженно отзывается Лева.

— Самую капельку! — ухмыляется майор. — Чтобы совсем трын-трава!

— Чтобы совсем… — повторяет Лева.

Он смотрит на «капельку» в своем стакане и вдруг начинает смеяться. Этот смех короток и странен и быстро смолкает, словно убоявшись собственного звука. Первый смех за последние четыре года. Лева откашливается и кладет руку на грудь, как будто хочет нащупать, заново ощутить это удивительное явление — смех. Да, вот он здесь, поблизости, никуда не делся, а, напротив,

рвется наружу. И Лева разражается хохотом. Он смеется во весь рот, всем лицом, всем своим существом, сотрясаясь и утирая выступившие слезы. Смеется без остановки, смеется без причины — во всяком случае, без видимой. Хотя нет, причина налицо: Лева совершенно пьян. С затаенной болью и жалостью глядит на него старая мать. Под громовыми раскатами хохота слышится ей тоненький плач измученной сыновней души.

9

Праздник продолжался, шум то утихал, то нарастал вновь. За окном забрезжил рассвет, затем юное весеннее утро бросило в комнату пригоршню золотых солнечных зайчиков. Многие из гостей уже пали в неравной схватке с хмелем и сном. Кто-то дремал на кровати, кто-то на кушетке, а кто-то заснул сидя, прямо за столом. Со всех сторон доносился храп, посвистывание, посапывание. Были и такие, кто ретировался с поля брани в направлении домашней постели. Но с десяток самых стойких бойцов никак не могут угомониться. Они продолжают мужественно сражаться с бутылками вина и мисками винегрета. Они поют, и радуются, и шумят, и, перекрикивая друг друга, несут пьяную благодушную чепуху.

Шестой час утра. С Арбата слышны щелчки первых троллейбусов и шуршание автомобилей. В центре уцелевшей компании — майор Исаак и его младший братец Лева. Оба пьяны так, что вряд ли что-либо соображают, но и остальные гости ничуть не трезвее. Среди этих остальных затесался в то утро и я, ваш верный рассказчик.

Как приятно сердцу веселое застолье! Как греет душу хорошая, вовремя спетая песня! Заводилами снова выступают два брата. Лева вскакивает с места и, припевая, пускается в пляс. Он хлопает в ладоши и яростно крутит большими пальцами обеих рук.

— Кто же мы такие? Мы евреи, братья! — поет Лева, притопывая нетвердыми ногами.

Старая Шифра тоже хлопает ладонями в такт. Вот это уже более-менее похоже на ее младшенького. Что ни говорите, а есть в этом мире и порядок, и Хранитель порядка. Ошибается тот, кто полагает, будто может по своей воле изменить установленный Творцом естественный ход вещей.

— Воды нас затопят, пламя нас поглотит, кто же мы такие? Мы евреи, братья! — продолжает надрываться хмельной Лева.

Стара эта песня — намного старше она старой

Шифры. Танцуй, Лева, танцуй, Мельцер, танцуй, бывший гой Петр Сергеевич Михайлов, сбивай со своего еврейского сердца остатки чужой скорлупы. Когда объяли тебя воды до души твоей, не сдался ты, не опустил бессильные руки, не пошел на дно, а решил бороться до последнего, и будь что будет. Вода топила тебя, пламя глотало, но ты выжил, выжил и вернулся к матери.

Я беру с этажерки семейный альбом в тяжелом переплете. Сквозь густой винный туман смотрят на меня люди в высоких жестких воротничках. Старики и старухи, парни и девушки, которые тоже давно состарились и ушли той дорогой, по которой уходят все. Дремота одолела меня; я немного поклевал носом, снова проснулся и опять задремал. Когда я в очередной раз продрал глаза, часы показывали восемь. Почти все гости разошлись.

— Ложись, сынок, ложись… — услышал я голос старой Шифры.

Лева лежит на кровати, мать заботливо подтыкает под него одеяло. Лева зевает — зевает от души, с завыванием, во всю пасть, так что видны и зубы, и язык, и нёбо. Как видно, вернулась к нему и эта способность.

Стаканы и тарелки в беспорядке громоздятся

на столе; солнечные лучи играют со стеклом опустевших бутылок. Тихо в комнате. Заснул и Лева Мельцер. Или это не Лева? Да-да, во сне его лицо снова натянуло на себя маску Михайлова: брови нахмурены, челюсти плотно сжаты, в углах рта застыло выражение неприязни ко всему живому. Шифра молча смотрит на спящего сына; ее морщинистое лицо печально, на глазах блестят слезы.

Потихоньку, чтобы никому не помешать, я выбрался из квартиры на улицу, прошел по Арбату до площади и свернул на бульвар. Свежий ветерок шевелил листву, повсюду пахло праздником и весной. На небе застыли два-три белейших, словно накрахмаленных облака. Я сел на скамейку и снова задремал незаметно для себя. Мне привиделись евреи из семейного альбома Мельцеров. Похлопывая себя по бедрам, они кружили вокруг в медленном танце и напевали печальную песню. «Человек боится потери денег…» — пели евреи. Они качали головами, и пейсы тоже раскачивались в такт старому напеву.

Человек боится потери денег
И не боится потери дней.
Деньги его не помогают ему,

Дни его не возвращаются…

Так пели они, а в центре круга спал непробудным сном Лева Мельцер-Михайлов с хмурой маской чужого человека на некогда еврейском лице. Казалось, все поколения семьи собрались вокруг своего раненого, искалеченного бедой отпрыска. Они двигались в медленном танце, пели и улыбались бледной еврейской улыбкой, улыбкой сочувствия и милосердия.

Слезы вскипели в моем сердце. Слезы народа Израиля, на чью долю выпала эта страшная жизнь, эти бесчисленные горести, эта неподъемная тяжесть, которая так давит на наши плечи и которую нам еще долго предстоит нести, едва переставляя подкашивающиеся ноги. Нести бесконечно.

1968

Княжна

В начале лета 1920 года я впервые переступил порог комнаты моего друга Абы. Площадь, где он жил, представляла собой подобие городского пупа, то есть была одним из самых шумных и густонаселенных мест, хотя вообще-то с начала того года по улицам гуляли лишь голод и запустение. В стране нашей вскипала тогда Гражданская война, и все ходили будто на цыпочках — в домах и снаружи.

Я был тогда костлявым парнем в мятом костюме и старомодном галстуке — провинциалом, только-только прибывшим в большой город из местечка. Маршрут мой казался в то время типичным для многих еврейских душ. Из глухих местечек вела нас эта дорога к вершинам образования. Шагал по ней и я, оказавшись для начала в этом красивом доме, боковым фасадом своим выходившим на здание оперы. Здесь проживал мой приятель Аба Берман, покинувший местечко на полгода раньше меня. Прежний жилец, дядя Абы, холостяк солидного возраста, весьма кстати женился и, оставив комнату племяннику, переехал в Нижний Новгород, известный теперь под

новым названием Горький.

Убого одетый, обливающийся потом, стоял я на пороге этой комнаты с облезлым чемоданом в руке. Дорога была долгой и трудной, и все ее тяготы читались на моем лбу, как клеймо. Но Аба принял меня с открытой душой и ласковым сердцем. По обычаю тех дней, укореняясь в новых местах, мы всегда могли рассчитывать на помощь и поддержку земляков.

Вскоре я записался в университет; судьба не щадила нас, сразу навалив на плечи тяжесть изнурительного труда и голода. Что и говорить, в местечке мы знавали более сытные дни. Еда в городе стоила дорого. Но мы твердо помнили, что страдаем не зря. Опыт многих поколений говорил нам, что полнота знаний предпочтительней полноты желудка. Днем и ночью сидели мы с Абой над книгами и, не слушая протестующего бурчания пустых животов, топили в морях учебы постоянную потребность в еде. На очень короткое время голод можно было слегка приглушить водянистой рыбной похлебкой, которую нам наливали в университетской столовой.

Так, за учебой, работой и малосъедобным варевом, проходили дни, недели и месяцы. Рыба, из которой варганили тот омерзительный суп,

была соленой, сухой и без грамма жира. В конце концов суровая эта диета столь дурно повлияла на желудок Абы, что мой друг вынужден был уделить некоторое внимание не только книгам, но и животу. Мы решили, что если не принять неотложных мер, то Аба Берман сам станет жертвой на алтаре знаний, а потому необходимо на недельку-другую отправить взбунтовавшийся организм домой для передышки. В родном местечке Бермана ждали родители, сестра и драгоценная возможность немного отъесться.

Мы отправились на вокзал, и после долгих часов ожидания Абе удалось ввинтиться в один из переполненных вагонов поезда южного направления. Железную дорогу осаждали мешочники; Аба с превеликим трудом вскарабкался на крышу вагона, где ему предстояло теперь провести полторы-две недели тяжелейшей поездки.

Переезды из города в город являлись в те дни нелегким, временами опасным для жизни испытанием.

Паровоз свистнул, загудел, выпустил густые клубы пара и неохотно тронулся, потянув за собой череду вагонов. Истончившаяся рука Абы взметнулась над крышей и прощально махала мне, оставшемуся на перроне, пока поезд не

скрылся в вокзальном мареве. Был конец лета, последние жаркие дни.

Я вернулся домой. Квартира, в которой мы устроились, состояла из двух комнат — нашей и еще одной, вдвое большей, в которой проживала Вера Федоровна, театральная портниха лет пятидесяти. Она вот уже три десятилетия шила костюмы для оперы, знала в лицо Хохлова[60], Шаляпина, Собинова и Комиссаржевскую — свою полную тезку по имени-отчеству.

Мы жили с ней душа в душу. Вера Федоровна звала меня Ваней — по созвучию с моим настоящим именем Вениамин. Я слышал от нее немало забавных анекдотов и сплетен из жизни оперных знаменитостей. Помню, как стрекотала за стеной ее швейная машинка — замолчит на минутку и снова возобновляет свой уютный клекот.

К соседке то и дело забегали молодые женщины — для примерки и просто поболтать. Попадались среди них и истинные красавицы, живо возбуждавшие мое воображение. Сидя в своей комнате, я мог вволю мечтать, рисуя мысленные картины того, что происходит сейчас за стенкой. Наивный юноша, тогда я еще позволял себе тратить

[60] Примечания: 60

Возможно, имеется в виду Павел Акинфиевич Хохлов (1854–1919), оперный певец, солист Большого и Мариинского театров.

на прекрасный пол весь пыл романтических мечтаний.

В ту осень двадцатого года посетила меня первая любовь. Избраннице моего сердца было около тридцати. В глазах этой высокой женщины со светло-каштановыми волосами горел лихорадочный огонек несчастья. Звали ее Амалия Павловна, и происходила она из великокняжеского рода, представляя собой один из немногих уцелевших его обломков, безнадежно обреченных в охваченной революцией стране. Как загнанный заяц, металась Амалия Павловна по огромному городу, от одного знакомого к другому, ночевала где придется, играла в смертельные прятки с ЧК. Время от времени она проводила ночь и у моей добросердечной соседки-портнихи. Так я увидел ее, и душа моя пропала в ту же минуту.

Я влюбился в печаль ее глаз, в тонкий аромат ее духов, в звук глубокого мягкого голоса, в бесшумную элегантность движений. Она разом вошла в мой узкий мир и переполнила его. Днем и ночью разъедали меня тоска и огонь желаний, мучили томные, греховные мысли. Я начисто потерял покой.

Ценой огромных усилий мне удалось запереть эту головокружительную лихорадку внутри, так

что, казалось, Амалия Павловна не подозревала о чувствах, которые обуревали меня. Но когда она изредка обращалась ко мне (тоже называя Ваней), я краснел от пяток до ушей, и сердце обжигала такая горячая волна, что потом долго еще приходилось отлеживаться, приходя в себя после острого приступа болезни, именуемой «любовь».

Дочь соседки находилась в то время на даче с ребенком. В конце августа маленькая Танечка заболела, и обеспокоенная Вера Федоровна тотчас же устремилась за город к любимой внучке. Она уехала на неделю; я остался один во всей квартире.

Однажды, когда поздней ночью сидел я в своей комнате, читая скучный учебник, послышался звонок в дверь. Я открыл и увидел Амалию Павловну.

— Как поживаешь, Ваня? — спросила она на ходу, устремляясь к комнате Веры Федоровны.

Но комната оказалась заперта; до ушей моих донесся вздох — удивленный и разочарованный.

— Вера Федоровна уехала вчера на дачу, — сказал я, и ровно в этот момент затеяли отбивать полночь куранты на башне, отчетливо донося до нас каждый удар сквозь открытое окно.

— Как поздно… — растерянно сказала она. —

Куда же мне теперь?

Я предложил ей переночевать в моей комнате; поколебавшись, женщина согласилась. Мы немного побеседовали — впервые за все время, затем она вышла на кухню. В этот момент мною овладела легкая дрожь; я напряженно вслушивался в каждый звук, угадывая движения моей княжны. Вот она прикрутила кран, остановив воду. Вот вытирает полотенцем лицо. Вот выключает свет. Вот легкими шагами направляется в комнату, и тонкий запах духов следует за ней невидимой тенью.

Окно распахнуто в ночь; Амалия Павловна ложится в постель моего друга Абы Бермана, и вот — я тоже ложусь рядом с нею в ту же постель. Дрожь моя не проходит: эта княжна — моя первая женщина; нелегко юноше осенить себя первым грехом, вдохнуть сладкие запахи взрослой мужественности.

Я слушаю жаркий шепот моей княжны. Я для нее — не первый мужчина, и опытность ее оказывается совсем нелишней. Впервые познаю я щедрую женскую нежность, черпаю ее и пью полными пригоршнями. Окно распахнуто в ночь; напротив сереет здание оперы, а над ним, в немыслимой черной вышине, благословляют

нас звездные небеса. В углу комнаты играют друг с другом тени… — нет, это весь мир играет, весь мир звучит, поет тихо и ласково.

До самого рассвета не можем мы насытиться нежностью и телами друг друга.

— Рассвело… — шепчет княжна.

Нет никого в комнате кроме нас, и все же мы шепчемся, храня свой таинственный секрет. Прохладная тишина струится через окно в нашу постель. Еще не вышли на улицы дворники, не слышно шарканья их длинных метел. Вот я уже ясно могу различить черты женского лица напротив. Только в углу еще жива дымка, еще сплетаются в тихом объятии свет и тень. И снова кружат мне голову ее печальное лицо, запах духов и грустная улыбка глаз.

— Господь с тобой, Ваня! — говорит она. — Надо уже и поспать. Будет у нас еще завтра ночь…

Но снова и снова сплетаются наши тела. Я слышу стук ее сердца и верю ему со всей страстью своих восемнадцати лет: тогда еще не привык я встречать счастье холодным душем насмешливых сомнений. Лишь несколько лет спустя окончательно насело на меня дурное это обыкновение, но в ту ночь… в ту ночь я еще верил, верил всем сердцем.

Потом я вдруг как провалился, а когда открыл глаза, за окном сиял ярчайший полдень, и в моей комнате — тоже. Амалия Павловна ушла, оставив мне лишь запах духов, витающий в воздухе. Снова бьют куранты на башне, и снова — двенадцать! Я чувствую расслабленную усталость, но вскакиваю с постели: сердце мое поет. Сегодня праздник — праздник весны и жизни! Я надеваю свою лучшую украинскую рубашку, расшитую красным, синим и голубым. Я закатываю повыше рукава, чтобы видны были мои сильные загорелые руки. Я иду к парикмахеру, чтобы подстриг чуб на моей буйной шевелюре, а затем провожу еще полчаса перед зеркалом, примеривая на лицо особо мужественную улыбку, — и наверняка выгляжу при этом чрезвычайно глупо. Этот процесс получает достойное завершение в виде бутылки вина, купленной с превеликим трудом.

Закончив приготовления, я сел ждать Амалию. Не скрою, мне было совсем не до учебников. Но она не пришла ко мне той ночью, и это стало моим первым большим разочарованием.

Назавтра в девять часов вечера раздался долгожданный звонок. С сильно бьющимся сердцем я отворил дверь. Да, на пороге стояла Амалия Павловна… но как холодна она была, как сердито

смотрела! Не произнеся ни слова, моя княжна шагнула к комнате Веры Федоровны. В руке она сжимала ключ. Затем послышался звук щелкнувшего замка, и все смолкло. В квартире воцарилась раздраженная тишина.

Чем я заслужил это? Неужели так заведено у прекрасного пола — запятнать каждое чувство, испортить каждый праздник?! Мы затаились — каждый в своей клетушке. Но мой бескомпромиссный возраст не позволил мне тогда отступить. В моих ноздрях еще жил запах женщины — моей первой женщины. Я любил ее. Снедаемый желанием, с разодранной на части душой, томился я в темной комнате.

Вскоре послышался звук открываемой двери, и Амалия Павловна вышла в кухню. Сидя на кровати, я вслушивался в ее шаги сквозь биение собственного сердца. Вот она включила воду. Вот она умывается, трет руки, плещет водой в лицо. Вот кран закручен…

Я вышел в коридор и прокрался в открытую комнату соседки. Через некоторое время вошла туда и Амалия Павловна, держа в руках влажное полотенце.

— Добрый вечер, Амалия Павловна!

В напряженном хмуром молчании она пове-

сила на крючок полотенце и, подойдя к зеркалу, стала причесываться.

— Вы сердитесь на меня, Амалия Павловна?

— Выйди отсюда! — сказала она в зеркало.

— Но почему?

Я поднялся со своего места и тоже встал напротив зеркала. Мы стояли вроде бы рядом, но разговаривали сквозь зазеркалье.

— Ты еврей? — спросила она.

— Какая тебе разница?

— Не изворачивайся. Вера Федоровна сказала мне сегодня, что ты еврей.

Она вдруг повернула ко мне бледное, искаженное яростью лицо и даже не произнесла, а простонала из глубины души, полной горечи, гнева и беспомощности:

— Ох! Как же я вас ненавижу! Всех вас нужно было уничтожить!

Бледные как смерть, стояли мы друг против друга и слушали этот сатанинский стон, это дьявольское шипение, которые доносились, казалось, из глубины зеркала и исходили не от женщины, а от кого-то третьего, незримо присутствующего здесь.

— Ох! Проклятые евреи! — шипело зеркало. — Народ-мерзость, народ-пиявка! Весь мир вы

обрушили, всех погубили!

Она опустилась на скамеечку, прикрыла глаза рукой и всхлипнула. Ясно помню, какая позорная слабость взяла тогда верх надо мной. Я все еще искал примирения.

— Амалия Павловна… — сказал я мягко и протянул руку к ее волосам, едва касаясь их ладонью.

Она подскочила как ужаленная.

— Не прикасайся ко мне! Вон! Не смей трогать меня!

Затем она выкрикнула и несколько раз повторила некое крайне обидное слово — самое оскорбительное для меня. Тогда я запер дверь комнаты и положил ключ в карман. Все существо мое сотрясалось от ярости. После нелегкой борьбы, укусов и царапин я покорил княжну. Она не могла звать на помощь, боясь выдать свое присутствие тем, кто ее разыскивал. Наши прикосновения были отвратительны нам обоим, как прикосновения мокриц. Я осквернил ее и осквернил себя. И, совершая над ней и над собой эту скотскую пакость, я не прекращал говорить. Я говорил, издевался и насмехался. Я мобилизовал для этого весь свой рассудок, весь острый ум, полученный в наследство от отцов и дедов, и не было ей ни убежища, ни укрытия от него.

Она была великой княжной из прославленного рода; она металась по бурлящему миру, разбрызгивая вокруг свой яд и свою любовь. Случилось так, что и я — голодный местечковый юнец — соприкоснулся и с тем и с другим в течение двух ночей, отпущенных мне судьбой.

1968

Клятва
(из лагерных историй)

1

Улица тянется с юга на север, и ее левая сторона в утренние часы щедро залита солнцем. По мостовой прочерчена резкая грань между светом и тенью; случайный автомобиль на секунду-другую сдвигает ее вверх внезапной ступенькой, но затем машина уезжает, и линия тут же восстанавливает свою изначальную прямизну, контрастность и резкость. Зимой солнце в цене, поэтому многие прохожие прокладывают свой маршрут именно по левому тротуару. Ярко сияет снежный наст, скрипят на всю улицу теплые, обутые галошами валенки, вторят им своим скрипом широкие шины грузовиков. Кажется, что во всем мире слышится сейчас этот зимний прозрачный хруст, кажется, что повсюду разлит этот ослепительный свет, сверкающий чистой белизной.

Но нет, это не так — есть и правый тротуар, темная сторона. Осторожным оценивающим взглядом смотрит оттуда Алеша на сияющий

противоположный мир. Он предпочитает оставаться в тени, не выделиться. И есть тому веская причина: шесть дней назад Алеша бежал из исправительного лагеря. С точки зрения властей он теперь беглый заключенный, опасный политический и уголовный преступник. По его следам наверняка пущен весь аппарат правопорядка, включающий милицию, военных и лагерную охрану с собаками. Они сейчас охотники, он — жертва. Для них охота — обычное дело, в меру докучное, в меру занимательное; для него же речь идет о жизни и смерти.

Алеша искоса поглядывает влево. Как сильно, как свободно сияет сегодня солнце на другой стороне улицы! Головы женщин повязаны серыми шерстяными платками, подняты воротники зимних пальто и тулупов. Мужчины в меховых шапках-ушанках; их «уши» опущены по случаю нешуточного мороза. Булочные, бакалейные лавки и общественные столовые уже открылись, промтоварные магазины ждут одиннадцати. Все здесь идет своим чередом, согласно законному расписанию. Кроме него, Алеши, — он вне закона. Не исключено, что откуда-то оттуда, из этой слепящей голубой выси, уставился на землю чей-то прищуренный охотничий взгляд; он шарит

по улицам и переулкам, заглядывает в каждую щель, ищет сбежавшего зека.

Надо бы где-нибудь спрятаться, пересидеть. Но где? В публичное место не сунешься. Вокзалы, столовки, парикмахерские, магазины, общественный транспорт — все это слишком опасно для беглеца. Единственная возможность — забраться под чье-то крыло, в чью-то частную квартиру, комнату, угол, где не встретишь милиционера, не услышишь требовательное: «Ваши документы!» Там, затаившись на несколько дней, можно было бы переждать это опасное время. А потом, когда след остынет и поутихнет пыл погони, Алеша попробует сесть на поезд, который увезет его подальше от этих мест, в родной южный город, где есть у него близкий друг Митя Соколов. Митя поможет с бумагами, подделает паспорт, нарисует нужные печати, с которыми можно будет начать новую свободную жизнь…

Чтобы не привлекать излишнего внимания, Алеша шагает деловитой, целеустремленной походкой занятого человека. У витрины книжного он приостанавливается, разглядывает корешки книг. Зайти, что ли? Нет, опасно. Он с сожалением отворачивается и вдруг слышит короткий вскрик.

Что случилось? Это маленькая девочка лет четырех с санками. Как видно, яркие книжные обложки тоже привлекли ее внимание. А может, малышку ослепило яркое солнце, искры света на снежном насте, разноцветные краски инея… Так или иначе, она зазевалась и даже не заметила, как шагнула с тротуара на мостовую, прямо под колеса проезжающих машин.

Все произошло в одно мгновение. Автомобиль «Победа» промчался мимо, девочка осталась лежать на снегу. Истошно закричала какая-то женщина. Повинуясь инстинктивному желанию помочь и не думая ни о чем другом, Алеша бросился к ребенку.

Девочка без сознания, в ее кулачке еще зажата веревка от санок. Сильно хромая, к ним подбегает перепуганная женщина — наверно, мать:

— Наташа! Наташенька!

Она вытягивает вперед руки, чтобы забрать у Алеши девочку.

— Погодите! — останавливает ее Алеша. — Я врач, я помогу…

В его голове уже успел созреть молниеносный план возможного спасения — не столько девочки, сколько его самого. Девочка-то цела, ее здоровью ничего не угрожает — это Алеша определил сра-

зу. А что касается молниеносных озарений, то беглый заключенный является большим специалистом в этой области.

Он деликатно, но твердо отводит руку женщины.

— Не трогайте девочку, ей необходим полный покой. Вы далеко живете? Я помогу отнести ее домой. Берите санки и мой чемоданчик.

Алеша кивает на небольшой чемодан, где содержится все его нынешнее имущество. Одновременно он тревожно поглядывает по сторонам: промедление смерти подобно! Вокруг уже начали собираться люди. Того гляди, нагрянет милиционер, станет составлять протокол, и тогда уже точно пиши пропало. Хромая женщина стоит в нерешительности.

— Не бойтесь, с девочкой ничего не случилось! — говорит Алеша с самым авторитетным видом. Он ведь и в самом деле врач, он знает. — Она просто сильно напугана. Шок. Где вы живете?

Женщина с сомнением смотрит на него, представительного тридцатилетнего мужчину, и оглядывается по сторонам. Она все еще колеблется — не вызвать ли скорую, а заодно и милицию... К Алешиному счастью, именно в этот решитель-

ный момент девочка приходит в себя.

— Смотрите, она открыла глаза! Так где вы живете?

— В десяти минутах отсюда… — отвечает хромоножка.

У нее красивый грудной голос. Сейчас он звучит испуганно.

— Пойдемте скорее! — решительно командует Алеша. — Я уверен, что девочка вне опасности, но тем не менее нужно срочно осмотреть ее. Ну что же вы стоите? Берите мой чемодан! Идемте! Я занятой человек и не могу стоять тут вечно.

Пауза длится и длится. Десять секунд. Пятнадцать. Полминуты. Минута. Алеше уже начинает казаться, что в глубине улицы появляется фигура милиционера в шинели. «Надо бежать», — думает он, но тут наконец женщина принимает решение, и это решение — в пользу Алеши. Во многом это происходит благодаря его располагающей к себе внешности: он высок ростом и приятен наружностью. От русского отца унаследовал Алеша светлые волосы и мягкие черты лица, от еврейской матери — черные, слегка навыкате глаза. В эту минуту нельзя не заметить в них выражения нарастающей тревоги. К счастью, опасная ситуация разрешается самым благопри-

ятным образом.

— Ладно, пошли… — женщина приглашающе машет рукой.

Она торопится и от этого хромает еще сильнее. К облегчению ее спутника с девочкой на руках, они почти сразу сворачивают в боковую улицу. Вот и дом.

— Это ваш дом?

— Нет, хозяйский. Я у них домработница. Они меня убьют, если с Наташкой что-то случилось…

Алеша исподтишка разглядывает женщину. Первое впечатление: курносая, и уже не девчонка. Глаза? Глаза серо-голубые, серьезные, озабоченные; вокруг них едва намечена сеточка первых морщинок. Возраст? На вид ей лет двадцать пять, плюс-минус два года. Как знать, как знать — возможно, что-нибудь из этого и выйдет…

— Где работает твой хозяин?

— Оба — инженеры-конструкторы в строительном бюро.

Алеша кивает. Сибирь, начало пятидесятых. Вокруг этого города много лагерей — как общего, так и строгого режима. Алеша бежал из строгого, что само по себе чудо. Лагеря усиленно охраняются, сбежать оттуда почти невозможно.

Они поднимаются на второй этаж, женщина открывает дверь и на ходу сбрасывает с плеч зимнее пальто — потрепанное, старое, с лысым цигейковым воротником. Привычным движением разматывает платок, сует его в рукав. В прихожей на стене вешалка; Алеше снять пальто не предлагается. Он вносит девочку в комнату и укладывает ее на кушетку.

— Ну, гражданочка, посмотрим, что тут у вас болит…

Он проверяет тут и там; Наташа вертится и хохочет — ей щекотно, у нее вообще ничего не болит. Алеша распрямляется и объявляет врачебный вердикт: девочка в полном порядке, автомобиль ее даже не коснулся, а падение и обморок произошли от неожиданного испуга. Тем не менее испуг — тоже травма, поэтому Наташе желательно отдохнуть, успокоиться, вздремнуть часок-другой. В чемоданчике у него как раз есть таблетки на такой случай. После недолгих уговоров девочка выпивает лекарство и засыпает.

Алеша неохотно возвращается в прихожую. Домработница провожает его, благодарит снова и снова. На ней старенькое голубое платьице, в серых глазах выражение облегчения и радости. Они останавливаются у входной двери — обыч-

ная неловкая заминка перед уходом гостя. Тихо и тепло в квартире. Алеша вздыхает: на улице, где ему предстоит оказаться через минуту, не тепло и не тихо. Снаружи, за этой дверью, сибирский февраль, чужой город в окружении лагерей, милиция, погоня с собаками. Женщина робко смотрит на него снизу вверх. Для нее этот статный красивый доктор — существо из совсем другой компании, куда нет дороги таким серым мышкам, как она, домашняя прислуга в заношенном платьице. Она и представить себе не может истинного положения вещей.

Неловкость все возрастает. Наконец Алеша смущенно говорит, глядя в сторону:

— Извини, но я спрашиваю как хирург. Твоя хромота… Как видно, это результат какого-то несчастного случая?

Женщина удивленно поднимает брови. Какой-то он странный, этот врач. С какой стати он лезет в ее жизнь? Хотя, с другой стороны, отчего бы не рассказать? Или не рассказывать?

— Я работала в лесу… — отвечает она с сомнением. — На лесоповале.

— В лагере? — догадывается Алеша.

Он произносит это слово шепотом, будто кто-то может подслушать.

— Да, в лагере номер тринадцать.

— Если так, то ты мне сестричка, — улыбается он. — Я ведь тоже сидел.

— Ты что, только освободился?

— Ага. Только что. Даже негде переночевать.

— Негде переночевать… — повторяет женщина. — Неужели у тебя нет ни родственников, ни знакомых?

Алеша отрицательно мотает головой. Домработница задумчиво смотрит на него. Теперь ситуация кажется ей в корне иной. Теперь она уже вовсе не серая мышка, а он — не полубог из недоступных ей сфер. Теперь они птицы одного полета, и если разобраться, то еще неизвестно, кто из них двоих сейчас выше летает. Хотя почему неизвестно? Очень даже известно: у нее дом и работа, а у него ноль без палочки, ничего, кроме справки об освобождении.

С минуту поколебавшись, она кивком приглашает его в свою комнату — крошечную шестиметровую клетушку за кухней. Там едва умещаются кровать, маленький столик и один стул. На него женщина и усаживает гостя, а сама садится напротив, на постель.

— Когда возвращаются родители Наташи?

— В шесть.

— Девочка проснется через три-четыре часа, — говорит Алеша. — Я немного посижу и пойду.

Ее взгляд смягчается. Как-никак, свой брат, бывший зек.

— Ты, верно, голоден? Я тебя покормлю…

Алеша не отказывается. Вдвоем они идут на кухню. Женщина ставит на электроплитку чайник.

— Сними уже пальто! — в ее голосе отчетливо звучит повелительная нотка.

Он с облегчением водружает свой полушубок на вешалку и остается в армейской гимнастерке без погон и знаков отличия. Алеша прекрасно сложен, широкоплеч, статен и красив лицом. Наверняка многие девушки были бы счастливы заполучить такого парня. Но только не в эту минуту — сейчас-то он явно в нужде.

— Где ты сидел?

— В режимном, — отвечает он. — Там, где номера на спине и на рукаве.

— Понятно. А я в общем. Пять лет.

Она ставит на стол чай, хлеб и сосиски. Алеша торопливо ест. Чем дольше он сидит здесь, в тепле и безопасности, тем меньше ему хочется уходить. Но как остаться? За что уцепиться? Не открыться ли этой хромоножке? Авось пожале-

ет… Алеша уже открывает рот, чтобы признаться, но женщина опережает его своим рассказом. Она сломала ногу во время лесоповала, когда работала в бригаде сучкорубов. Огромная сосна упала не в ту сторону, придавила несколько девушек, ее в том числе. Три месяца провалялась в лагерной больничке, но что-то там плохо срослось, с тех пор и хромает.

Выпит чай, съедены сосиски. Неловкое молчание повисает в комнате.

— Как тебя зовут? — спрашивает она.

— Сема, — врет он. — А тебя?

— Надя. Надежда Федоровна.

Алеша возвращается к врачебной теме — там он чувствует себя уверенней. Не исключено, что Надина нога подлежит исправлению: он в своей хирургической практике уже сталкивался с подобными случаями. Главное, чтобы не был задет нерв, а кость можно срастить заново. Если Надя хочет, он прямо сейчас посмотрит и скажет. Она некоторое время размышляет над его предложением. Похоже, эта женщина из тех, которые ничего не делают с бухты-барахты. Впрочем, тут и в самом деле есть над чем подумать.

Всего час-другой тому назад вышла она из дому погулять с ребенком, и вот — на тебе! — распивает

чаи наедине с мужчиной. И с каким мужчиной! Призраки и тени еще не вполне определенных полумыслей, полужеланий ходят-бродят по крошечной комнатушке.

— Я холостой! — вдруг невпопад брякает Алеша. — У меня мать на юге.

— Я не понимаю, к чему ты это сказал, — резко отвечает она.

Ой ли? Нет, Надя прекрасно все понимает. Сгущаются в комнате тени, тени короткого зимнего дня. Что ж, пусть посмотрит — он ведь хирург. Женщина медленно снимает чулок с искалеченной ноги.

— Ну-с, посмотрим! — с фальшивой бодростью говорит Алеша.

В голосе его слышится хрипотца. Пальцы гладят, ощупывают женскую голень, колено, бедро.

— Когда получена травма? — осведомляется он официальным докторским тоном.

— Полтора года назад, — столь же нейтрально отвечает она.

Алеша уже нащупал место перелома, но руки его не хотят остановиться, они ползут выше и выше. Лицо доктора раскраснелось, Надя тоже порядком смущена. В этот-то деликатный момент и вырываются из его сердца самые неподходящие

слова:

— Надя, спрячь меня! Спрячь меня, слышишь? Я бежал из лагеря.

— Что?!

Она резко отстраняется, почти отскакивает в сторону.

— Бе-бе-бежал?!

Вот это история! Так он не просто только что освободившийся зек — он беглец! В жизни не сталкивалась Надя с такими неподъемными проблемами. Никакой перед ней не доктор и не красавец-мужчина, а самое что ни на есть несчастное, запутавшееся, гонимое существо. Существо, общение с которым смертельно опасно для любого нормального человека! Надя прекрасно помнит, как во время ее лагерного срока кто-то попробовал бежать из заключения. Беглеца поймали и убили, а тело привезли обратно в лагерь. Три дня валялся на вахте окровавленный труп, дабы каждый увидел и осознал последствия подобного шага. То же самое ждет и того, кто осмелится помочь беглецу.

— Это невозможно! — выдыхает она. — Как я тебе помогу? Ты в своем уме?

Но Алеша различает в ее голосе легкую тень сомнения. Нет, эта хромоножка отнюдь не черствый

сухарь и не трусиха: многое повидала она в своей недлинной жизни. Ведь не сказала решительно: «Я тебе не помогу!» — нет, она сформулировала свой отказ в виде вопроса: «Как я тебе помогу?»

Что же, он объяснит ей как. Главное — нужно объяснить хозяевам квартиры факт его неожиданного появления. Назваться братом не получится: хозяйка уже знает, что у Нади нет братьев. Не сказать ли, что Алеша — Надин лагерный муж, который вышел на свободу только сегодня? Надя снова не говорит «нет» — она погружается в глубокое раздумье. Тихо в квартире. Красивый мужчина, ученый доктор, беспомощная жертва, лагерный беглец покорно ждет решения своей судьбы — ее, Надиного, решения. Что делать, как поступить?

Еще в лагере она повидала немало одиноких женщин, которые приезжали из центра страны, из больших городов — приезжали в поисках мужа. Приезжали и чуть ли не стояли у ворот, дожидаясь, когда выйдет оттуда только что освободившийся потенциальный жених. Потому что у многих из тех, кто выходит на свободу, не осталось в жизни никого и ничего: ни дома, ни семьи, ни брата, ни спасителя. Бушлат на плечах и тощий вещмешок за плечами — живи как зна-

ешь. Тут-то и брали их тепленькими охотницы за мужьями. Их тоже можно понять: после войны мало осталось в стране холостых мужчин. А у женщины не первой молодости, без денег, без квартиры, да еще и с увечьем, нет, почитай, вовсе ни единого шанса на счастье. Так неужели она, Надя, будет такой дурой, что откажется от этого подарка, который сам идет ей в руки?

Она поднимает глаза на сидящего перед ней мужчину. Взгляд ее серьезен и тверд.

— Хорошо, — говорит она. — Но условие такое: ты должен стать моим. Только моим. Я спасаю тебя от смерти, я покупаю тебя со всеми потрохами.

Ее руки сложены на коленях, одна нога в чулке, другая без, голос звучит ровно и отчетливо, две вертикальные складки прорезали переносицу.

— Ты станешь моим мужем. Навеки, навсегда, до самой смерти. Ты никогда не посмотришь на другую женщину.

Алеша глядит на нее во все глаза: кто перед ним — ангел-спаситель или ангел смерти?

— Решай прямо сейчас, да или нет, — добавляет Надя. — Если да — оставайся, если нет — уходи. Прямо сейчас, я не намерена долго ждать.

Что тут думать? Легко сказать «уходи». Куда

он пойдет? На верную смерть? По сути, у Алеши нет выбора.

— Да, — говорит он. — Да, я согласен.

— Поклянись!

— Клянусь!

Она вскакивает с кровати и приносит карандаш и листок бумаги.

— Пиши!

— Что писать?

— Пиши клятву!

Она диктует, и он послушно пишет, повторяя за ней каждое слово:

— Я клянусь. Клянусь своей жизнью и жизнью своей матери, что гражданка Ракитова Надежда Федоровна будет мне женой до конца моих дней. И что буду я ей верен и никогда не прикоснусь к другой женщине. И если я нарушу эту клятву, то пусть настигнет меня смерть в ту же минуту. Клянусь своей жизнью, и жизнью своей матери, и всем святым и близким клянусь.

— Теперь подпишись! Полным именем!

Доктор подписывается: Семен Сергеевич Травкин. Это имя фальшивое — на самом деле его зовут Алексей Гаврилов.

Что за странный договор, что за странная женитьба! Хромая женщина и ангел смерти

прижали его к стене, всунули в руку карандаш, продиктовали страшную клятву и заставили поставить подпись — хорошо хоть фальшивую.

Надя прячет листок в кармашек и поднимается с постели.

— Все. Теперь мне нужно навести порядок в комнатах…

Она стоит рядом с Алешей, ее грудь в считанных сантиметрах от его лица. Кровь бросается ему лицо. Сколько раз мечтал он о женщине, скорчившись под бушлатом в лагерном бараке, и вот она совсем близко — волосы, плечи, живот, бедра… Надя чувствует его состояние: она и сама напряжена, как струна, неестественный смешок вырывается из ее груди, щеки пылают, взгляд манит и зовет. Алеша притягивает ее к себе, грубовато, по-лагерному. Она слабо вскрикивает, но не сопротивляется.

— Ничего-ничего, — хрипло говорит он. — Должен же я тебя попробовать, правда? Жена мне или нет?

— Жена, жена… — шепчет она горячими губами. — А ты мне муж… муж…

Их объятия полны желания, силы и чувства. Полчаса спустя Алеша уже спит на постели своей нежданной-негаданной супруги, спит крепким

сном человека, двое суток не смыкавшего глаз.

2

Около шести вернулись с работы хозяева Василий Тимофеевич и Татьяна Викторовна. Супруги-ровесники лет тридцати, они поженились еще в бытность студентами строительного института и теперь оба работали в Госстрое. Хозяйка, статная женщина с косами, уложенными корзинкой вокруг головы, казалась на первый взгляд женственной и добросердечной. Но не зря мудрецы советуют не слишком доверять первому взгляду. Мало кто мог сравниться с Татьяной Викторовной в жесткой педантичности. Зато ее муж был натуральным Васей — мягким безвольным человеком с конторскими резинками на рукавах рубашки.

— Что это с тобой такое? — поинтересовалась Татьяна Викторовна, едва войдя в квартиру.

В самом деле, Надя работала у них уже почти полгода, но никогда еще не выглядела такой сияющей красавицей. Девушку словно подменили. Она сменила заношенное повседневное платье на черную юбку и белоснежную блузку, губы накрашены, брови подведены, и завитые волосы выдают совсем недавний визит в парикмахер-

скую. Но главное — каким радостным блеском сияют ее глаза, какой румянец полыхает на щеках, каким счастьем дышит все ее существо!

— Мой муж приехал! — с гордостью возвещает она оторопевшей хозяйке.

— Муж?! Какой муж?

Татьяна Викторовна смотрит и не верит: откуда взяться мужу у этой хромой замарашки? Надя коротко объясняет: они встретились в лагере, потом она вышла на свободу, а вот теперь выпустили и его.

— Ну и где он сейчас? — недовольно спрашивает хозяйка.

Видно, что ей совсем не по нраву эти внезапные осложнения.

— Здесь, у меня в комнате!

Они входят в Надину комнатушку, где сном младенца спит Алеша. После нескольких дней неимоверного напряжения он наконец расслабился, и на его лице разлито выражение безмятежного покоя. Тем не менее слух у беглого заключенного всегда начеку. Заслышав близкий разговор, Алеша открывает глаза и вскакивает с кровати.

— Это твой муж? — в изумлении произносит хозяйка.

— Да! Это мой муж! — гордо подтверждает Надя.

Три пары глаз вперяются в Алешино лицо, в его высокую плечистую фигуру. В этот решительный момент нервы беглеца напряжены до предела, но внешне это почти не сказывается. Он с вежливой улыбкой обращается к хозяину — добродушному толстячку с нелепыми резинками на рукавах:

— Извините, что потревожил вас…

— Ничего страшного! — автоматически отвечает вежливостью на вежливость наивный Василий Тимофеевич.

Но, к несчастью, в этом доме правит бал вовсе не он, и это проясняется уже в следующую секунду, когда Татьяна Викторовна обращается к Алеше с просьбой предъявить паспорт.

Паспорт — слабое место беглеца. У Алеши есть в кармане документ на имя Семена Сергеевича Травкина, 1918 года рождения. Вот только фотография в паспорте совсем не похожа на Алешин портрет. Кроме того, срок действия документа истек два года тому назад, а такая ушлая особа, как эта дама с корзинкой, не может не знать, что после выхода из лагеря бывшие заключенные получают новый паспорт в обмен на справку об освобождении.

Нет-нет, опасно показывать ей столь очевидно фальшивый документ. Поэтому Алеша напускает на себя выражение невинной беспечности и небрежно машет рукой.

— Охотно предъявил бы, — говорит он, — но не могу. Сдал справку из лагеря в милицию. Обещали выправить новый паспорт через пару дней.

Надя смотрит на супруга с оттенком изумления. Она рада, что он так лихо выпутался из непростой ситуации, но в то же время ее беспокоит актерское мастерство, с которым Алеша обвел вокруг пальца бдительную хозяйку. Его ложь звучит совершенно естественно, ни один мускул на лице не выдает обмана. «Э, да с таким мужем придется держать ухо востро!» — думает Надя Ракитова. Тем временем Алеша развивает успех.

— Я уеду, как только получу паспорт, — говорит он. — Устроюсь на новом месте и тогда уже выпишу к себе Надю.

Он поворачивается к Наде, призывая ее в свидетельницы. Глаза беглеца и хромоножки встречаются. «Что же ты молчишь?» — говорит, требует, молит его взгляд. «В самом деле, — думает она. — Я должна исполнять свою часть договора…» И Надя отвечает мужу широкой улыбкой счастливой женщины, женщины, ко-

торая готова на все ради своего суженого. Эта улыбка так светла, так естественна и правдива, что убеждает даже Татьяну Викторовну. Конечно, этот неизвестно откуда свалившийся на голову муж выглядит крайне подозрительно, но уж в женской психологии дама с косами понимает хорошо. Домработница Надя не врет: это и в самом деле ее мужчина.

Маленькая Наташка окончательно склоняет чашу весов в нужную сторону. Она вбегает в комнату и первым делом бросается к Алеше, усаживается к нему на колени и принимается болтать. Родители удивленно переглядываются: их дочь не из тех детей, которые легко идут к чужим людям.

— Хорошо, — сдается Татьяна Викторовна. — Надя, накрывай на стол!

Похоже, опасность миновала. Алеша нашел-таки убежище на ближайшие дни. Близится ночь. Наташка уложена спать, хозяева ушли в кино на поздний сеанс. Надя подает ужин: горячий суп, мясные тефтели в соусе, чай со сгущенкой. Все вкусно, все по-домашнему, все напоминает давние времена родного уюта. Несомненно, хромоножка хорошо разбирается в вопросах домашнего хозяйства. Возвращаются из кино

хозяева. Завтра рабочий день, пора на боковую. В одиннадцать затихают в доме ходьба и приглушенные разговоры. Надя выключает свет и ложится в постель к мужу.

Проходят три дня, четыре. Алеша не выходит на улицу. Он отращивает бороду — так надежней.

— Уф, колючий! — смеется по ночам Надя.

От нее пахнет яблоками, пахнет счастьем. Нет, он не собирается бриться: поменяешь лицо — поменяешь удачу. Да и жалуется Надя больше для проформы. Эта некогда невзрачная калека расцвела, как диковинный бутон. На губах постоянно играет улыбка, глаза сияют, любовная страсть ее не знает насыщения. Счастливица, просто счастливица! Вот уж поистине выиграла в лотерею, отхватила себе такого красавца и умника, всем на загляденье. Теперь он принадлежит ей и только ей, на веки вечные. Это самое главное, а прочие проблемы — ерунда, мелочь, подобная щетине на щеках и на подбородке. Колется — ну и пусть: это колется счастье. И Надя Ракитова твердо намерена всеми силами защищать это счастье. Да-да, она влюблена не на шутку.

Но на пятый день Алеша совершает серьезную промашку. Все начинается с бутылки вина. Он давно уже пристает к Наде, чтобы она купила

хотя бы немного выпивки. Она возражает. Зачем ему спиртное? Хмель туманит сознание и лишает трезвого разумения. В их положении это опасно. Но Алеша настаивает. Скучно сидеть безвылазно дома. Хочется мужчине немного побаловать себя забытым вкусом вина, вкусом прошлых застолий, вкусом свободы. И Надя уступает: долго ли может она сопротивляться уговорам мужа, любимого человека, дарящего ей счастье?

В полдень она выходит в магазин и возвращается с бутылкой водки. Всего пол-литра, но много ли надо простому смертному, начисто отвыкшему от спиртного? Алеша опрокидывает две стопки, Надя тоже выпивает чуть-чуть. Вот и славно! Теперь можно порадоваться, можно спеть. Да и как не запеть: Алеша пьян, Надя влюблена. Наташенька спит, хозяева на работе — никто не помешает их маленькому празднику. И Алеша заводит: «Вниз по матушке, по Волге, на простор речной волны…»

— Тихо! — шикает на него Надя. — Наташенька спит!

Но она тоже захмелела, и не только от вина. Да и устали два лагерника слышать постоянное шиканье и запреты, устали от заткнутого рта, от онемевшего языка. Сейчас им хочется петь. И

Надя присоединяет свой голос к голосу мужа. Это низкий певучий голос, красивый и сильный; он наполняет маленькую комнатку до краев. Вбегает босиком Наташенька — она проснулась и хочет присоединиться к общей радости. Девочку усаживают на кровать. Кончается «Волга-матушка», начинается другая песня. Надин голос набирает еще больше мощи, он льется, как полноводная Волга-река, берет за сердце, достает до глубины души. Алеша умолкает, чтобы не мешать вдохновенной певице. Он обнимает Надю за плечи и привлекает к себе: как не вознаградить такое пение поцелуем?

— Мама! — вдруг вскрикивает Наташка.

Надя и Алеша поднимают глаза — в дверях стоит хозяйка Татьяна Викторовна. Ну надо же такому случиться! До этого она никогда не приходила домой в обеденный перерыв, а тут вдруг ни с того ни с сего… Татьяна Викторовна окидывает возмущенным взглядом бутылку водки, закуску и пьяную компанию на кровати. Вертеп, настоящий вертеп! И ее четырехлетняя дочь в самой сердцевине этого безобразия! Хозяйка хватает девочку и с отвращением сдергивает ее с кровати. Алеша поднимается с места, его слегка пошатывает. В подобной ситуации лучше бы

промолчать, но хмель плохой советчик.

— Хозяйка! — радостно восклицает Алеша. — Садись, посиди с нами!

Предложение выглядит неуместно, хотя и сделано от всего сердца.

— Я не позволю превратить свой дом в кабак! — холодно отвечает Татьяна Викторовна.

Глаза ее мечут молнии.

— Вон! — кричит она, обращаясь к Алеше. — Я требую, чтобы вы немедленно покинули квартиру!

Улыбка сползает с Алешиного лица. Пытаясь поправить положение, он лезет в карман и выуживает оттуда паспорт на имя Травкина.

— Не сердитесь, хозяйка, — говорит он, помахивая документом перед носом Татьяны Викторовны. — Вот, смотрите, я получил паспорт!

— Тем более! Уходите, немедленно!

— Пожалуйста, хозяйка, — умоляюще произносит Алеша. — Мне нужно перекантоваться еще два-три дня, подготовиться к дороге.

— Немедленно! — взвизгивает дама в косах. — Ненавижу пьяных!

— Мама, мама! — это подает голос маленькая Наташа. — Не надо, мама! Пусть дядя Семен остается с нами! Ну, пожалуйста!

Но не помогает и это неожиданное заступничество.

— Наташа, это не твое дело! — отрезает мать.

В этот момент в разговор вступает молчавшая доселе Надя.

— Татьяна Викторовна, — говорит она, — если вы выгоняете моего мужа, то уйду и я.

Но на жестокосердную хозяйку не действуют подобные ультиматумы.

— Что ж, в таком случае выметайся и ты!

Татьяна Викторовна смотрит на часы: до конца обеденного перерыва осталось не так много времени, а ей еще надо успеть пристроить ребенка к соседке. Алеша разочарованно вздыхает: похоже, и в самом деле придется уходить. Ждать от этого места уже нечего, и он отпускает в адрес дамы с косами несколько сочных лагерных выражений. Та вспыхивает и хватается за телефон:

— Ах так?! Я звоню в милицию!

Эта угроза вышибает остатки хмеля из Алешиной головы. Он поспешно поднимает руки в знак полной капитуляции.

— Не надо, Татьяна Викторовна. Мы уходим.

После некоторых колебаний хозяйка возвращает телефонную трубку на рычаг. Она делает это не из жалости к своей домработнице и ее мужу, а по

причине недостатка времени: скоро конец обеду, и она просто не может позволить себе длительную возню с милицейским допросом, протоколом и задержанием. Алеша и Надя поспешно собирают вещи. У него — все тот же небольшой чемоданчик, у нее имущества чуть побольше — на саквояж и рюкзак. Татьяна Викторовна отсчитывает Наде триста рублей — зарплату за отработанные дни.

— Ну, не поминайте лихом, Татьяна Викторовна, — говорит Надя почти дружелюбно.

Она влюблена, и оттого все вокруг вызывает у нее симпатию — даже злобная хозяйка. Зачем ссориться, если можно расстаться по-хорошему? Татьяна Викторовна не отвечает. Алеша прощается только с Наташенькой.

Улица встречает их снежным сиянием и тридцатиградусным морозом. Куда теперь? Со времени Алешиного побега прошло всего десять дней. Вряд ли лагерные власти уже свернули погоню. Для них каждый непойманный беглец — несмываемый позор, чрезвычайное происшествие. За это лишают званий и снимают с работы, поэтому поиски наверняка продолжаются. «Вот ведь чертова поллитровка — все беды из-за нее, проклятой… Это ж надо — по собственной глупости

лишиться такого надежного убежища! — думает Алеша, косясь на поспешающую вслед за ним Надю. — А теперь еще приходится тащить за собой эту хромую дурочку и ее шмотки…»

Но, против всех Алешиных ожиданий, Надя продолжает служить ему опорой и защитой. Коль скоро согревает ее душу спрятанный на груди листочек с клятвой, она не даст суженого в обиду. Надя не боится трудностей — жизнь приучила ее встречать опасности лицом к лицу, выживать в самых неблагоприятных условиях. Она родилась в городе на Днепре; отец был учителем музыки, мать — пианисткой. В сорок втором, в семнадцатилетнем возрасте, немцы отправили ее в числе других девушек на принудительный труд в Германию. С Днепра Надя попала на Рейн, в город Кобленц, работала там прислугой в доме одного из важных нацистских чиновников. А после окончания войны и возвращения на родину девушку арестовали и отдали под суд за сотрудничество с врагом. После пяти лет лагерей ей некуда было идти: отец погиб на фронте, мать вторично вышла замуж. Вот, собственно, и вся биография Надежды Федоровны Ракитовой.

Алеша — ее первая настоящая любовь, самое ценное, самое лучшее из всего, что когда-либо

произошло в Надиной взрослой жизни. И Надя не отдаст его никому — ни милиции, ни лагерным псам, ни, Боже упаси, другой женщине. Ей и в голову не приходит, что в голове любимого роятся совсем другие мысли. Да-да, Алеша далек от того, чтобы всерьез отнестись к этой нелепой связи с хромой домработницей. До войны и ареста он знал немало любовных приключений. Надя для него — всего лишь еще одна женщина в ряду других, куда более красивых и интересных, прошлых и будущих. А что касается клятвы, так это и вовсе ерунда, филькина грамота. Подумаешь, несколько карандашных строчек на рваном клочке бумаги. Там и подпись-то фальшивая: никакой он не Травкин, он Гаврилов. Кто примет это всерьез, какой суд?

За год до войны Алексей Гаврилов окончил медицинский институт. Легкомысленный двадцатитрехлетний парень, он просто жил в свое удовольствие, пока не грянула большая война. Потом была мобилизация, фронт, много крови и смертей, немецкий плен, концлагерь, а по возвращении к своим — суд и другой лагерь, на сей раз сибирский. Но нельзя сказать, что все эти тяготы добавили Алеше серьезности. Вот и историю с Надей он воспринимал в том же духе, что и свои

романы-однодневки десятилетней давности. Алеша видел, что Надя влюбилась не на шутку, но это мало его волновало. Влюбилась и влюбилась — ее проблема; он, Алексей Гаврилов, вовсе тут ни при чем.

— Куда мы идем? — спрашивает он Надю.

Куда-куда… Конечно, к тете Марусе, куда же еще… Маруся — Надина лагерная подруга, а, как известно, нет на земле ничего крепче лагерного братства. После освобождения Маруся работает продавщицей в одном из городских гастрономов. Прежде чем отправиться к ней, Надя заводит Алешу в один из близлежащих подъездов.

— Жди тут, никуда не уходи! — командует она. — Сядь у батареи, тут тепло. Смотри за вещами.

Муж послушно кивает. В магазине, как назло, обеденный перерыв, двери заперты на замок, на витринах морозные узоры. Но Надя не может ждать: мужу грозит опасность везде, даже в теплом подъезде. Кто-нибудь из жильцов может вызвать милицию. Здесь, возле гастронома, тоже не хочется привлекать лишнего внимания, но делать нечего, надо стучать.

— Маруся, открой! Это я, Надя!

К счастью, подруга недалеко, за дверью гремит

замок.

— Надюша! Что случилось?

— Меня уволили! — радостно сообщает Надя.

Маруся смотрит на нее с недоумением: уволили так уволили, невелико несчастье, но и радоваться тут нечему.

— Ничего страшного, — говорит она. — Сейчас работы много, найдешь новую.

— Нет-нет, я уезжаю!

— Уезжаешь? — переспрашивает Маруся. — Тебе разрешили?

— В том-то и дело, что нет… — в голосе Нади не слышится подобающей серьезности.

— Так, — качает головой Маруся. — Объясни мне, что происходит, а то я ничего не понимаю.

— Я вышла замуж, Марусенька!

— Врешь!

— Клянусь тебе! Вот уже четыре дня как замужем!

— Вот это да! И кто он?

У Нади нет тайн от тети Маруси; в течение следующих пяти минут она рассказывает историю своего замужества, умолчав, впрочем, про факт Алешиного побега.

— Нам негде переночевать, — говорит она напоследок. — Не пустишь ли к себе на пару ночей?

Не колеблясь ни секунды, Маруся достает из кармана ключ.

— Вот, Надюша. Веди своего новобрачного. Устраивайтесь пока, я приду вечером.

Подруги обмениваются поцелуями.

И вот Надя с Алешей в комнате Маруси. Счастливая женщина не ходит — летает. Как приятно готовить ужин для любимого человека, для лучшей подруги! У Алеши тоже занятие: он решает побриться. Как выяснилось, борода придает его лицу странный, подозрительный вид. Надя выбегает купить мужу бритву и выбирает, конечно же, самую лучшую. Проходит еще некоторое время — и вот уже щеки Алеши гладки и розовы, как у младенца. Оставлены только усы для маскировки. Он в последний раз обтирает шею полотенцем и подходит к Наде, хлопочущей у плиты.

Высокий красивый мужчина, широкоплечий и черноглазый, берет ее сзади за плечи. Надя оборачивается, поднимает к мужу сияющее лицо. Из ее серых глаз льется столько любви, что ее хватило бы на весь мир. Она крепко-крепко обнимает Алешу, прижимается щекой к его подбородку. Теперь он гладок и совсем не колется. Остались лишь эти едва отросшие усы, но придет время — сбреем и их. И, похоже, хмель еще не выветрился

из его головы. В разгар дня вздумалось ему снова заняться любовью! Но отчего бы и не заняться? Надя подставляет Алеше губы, глаза ее закрываются. Женщина и смеется, и плачет, и вздыхает, и улыбается — широка, глубока любовь, все человеческие чувства вмещает она в себе. Да и Алеше жаловаться не на что: хорошо ему с Надей, так хорошо, как редко бывало раньше. В такие минуты он даже забывает о том, что где-то там, снаружи, в большом и свободном мире ходят, ждут, манят совсем другие женщины.

3

Вот уже несколько дней живут Надя и Алеша в комнате лагерной подруги. Маруся не против, но пора, как говорится, и честь знать. Тем более что оставаться в городе небезопасно: поди знай, не стукнет ли «куда надо» злобная хозяйка Татьяна Викторовна… Да и погоня еще наверняка рыскает в округе, вынюхивает неостывший след беглеца.

Надо уезжать. Поезд в направлении южного города проходит здесь в десять утра, в шесть по Москве. Билет стоит триста рублей. Как ни крути, у Нади и Алеши не хватает денег на двоих.

— Что ж, тогда пока что я поеду один! — не подумав, заявляет Алеша.

Ошибка, ошибка! Что-то гаснет в лице Нади, когда она слышит эти неосмотрительные слова. Губы ее упрямо сжимаются, глаза темнеют, в них появляется угроза.

— Даже не думай сбежать от меня! Ты — мой, помнишь?

Напрасно Алеша пытается исправить положение, напрасно рассыпается в объяснениях:

— Надюша, я ведь ясно сказал: «пока». Пока — это временно. Сначала я, потом ты. Здесь находиться опасно, нужно уезжать как можно скорей!

Но Надя не слушает, смотрит в сторону. Он пробует обнять ее — Надя резким движением высвобождается, отбрасывает руку мужа. Проходит несколько часов, прежде чем Алеше удается кое-как унять ее гнев, загладить обиду. Женщина больна любовью, она думает только о нем, о своем возлюбленном, жить без него не хочет. Как может любящий человек сознательно идти на разлуку — пусть даже и в виду опасности? С точки зрения Нади, это в принципе невозможно. «Нельзя ее сердить, — думает Алеша. — В таком состоянии ей наплевать на все, даже на собственную судьбу. Обидится — пойдет в милицию, сдаст и меня, и себя...» И он удваивает свои усилия по

замирению хромоножки.

Ночь в одной постели — лучшее средство. На следующее утро улыбка возвращается на Надино лицо. Но в устах ее те же слова:

— Мы уедем только вместе! Мы теперь никогда не расстанемся, так и знай!

Но где взять деньги на билеты? Проблема казалась нерешаемой, пока в дело не вступила Маруся: походила по знакомым, заняла тут, одолжила там, остальное добавила сама — вот вам и нужная сумма. Тут даже больше, чем надо — почти тысяча рублей! Алеша на радостях расцеловал ее в обе щеки:

— Маруся, ты золото!

Надя смотрела на это проявление чувств и хмурилась: дружба дружбой, но она не намерена уступать свое сокровище никому, даже самой близкой подруге. Но Алеша-то, Алеша… какая у него, оказывается, легкомысленная натура… Тут и заветная расписка не поможет. Глаз да глаз за этим мужем, глаз да глаз…

В назначенное время они отправились на вокзал. Алеша обвязал лицо шарфом, как будто от зубной боли, низко надвинул на лоб меховую ушанку. Маруся, золотая душа, договорилась с другим бывшим лагерником, чтобы подбросил их

до поезда на машине. Доехали с ветерком, прямо к отходу, чтобы не мозолить глаза железнодорожной милиции. Все прошло как нельзя лучше, и четыре дня спустя они сошли на платформу в южном городе, где проживала Алешина мама, а также Митя Соколов, закадычный друг и мастер по изготовлению нужных документов.

Со своим земляком Митей Алеша познакомился в лагере. Два года они лежали бок о бок на нарах, два года грели друг друга своим теплом, а бывало, ели из одной миски. Такое не забывается — ближе братьев становятся люди, связанные лагерной дружбой. По профессии Митя был художником, специалистом по пейзажам. Но в лагерной КВЧ — культурно-воспитательной части — у него были совсем другие заказы. Помимо плакатов и лозунгов Митя изготавливал копии с репродукций известных русских картин, таких как «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» Репина, «Вечерний звон» Левитана или «Неравный брак» Пукирева. На это уходило все время. Лишь изредка, когда становилось совсем уж невмоготу, Митя садился к мольберту, и из-под его кисти выходил очередной пронзительно грустный пейзаж с одинокой липой на краю размокшего от осенних дождей поля.

Но был у Мити и еще один талант практического назначения: он умел подделывать документы. Собственно говоря, за это он и загремел на нары. Выйдя из лагеря, Соколов держался подальше от изготовления фальшивок, но Алеша не без основания рассчитывал, что Митя не откажется помочь старому другу.

К Митиному дому Алеша и Надя подъехали на троллейбусе. Зима и на юге зима. Над переулком нависло серое небо, стаи ворон носятся по нему из конца в конец. Медленно кружась, падают снежные хлопья. Из соображений безопасности Алеша решает выслать вперед Надю. Сам он подождет в подъезде — все лучше, чем сходу заявляться в чужую квартиру. Неизвестно, действительно ли там проживает Митя, неизвестно также, кто будет в квартире помимо Мити. Надя отправляется на разведку. Не проходит и минуты, как по лестнице сбегает вниз Митя Соколов собственной персоной. Он без шапки и без пальто, зато лицо друга сияет улыбкой:

— Алешка! Дружище!

Они пожимают друг другу руки и обнимаются крепким лагерным объятием.

— Митя, не зови меня Алешей, ладно? Я теперь Сема — для всех, кроме тебя и Нади. Семен Серге-

евич Травкин.

Митя машет рукой и подхватывает чемоданы:

— Нехай будет Сема! Нам все едино! Пошли, браток!

Они поднимаются в Митину комнату. Тут царит живописный беспорядок, как оно и положено в доме художника. У стен стоят подрамники с натянутыми на них холстами, над ними развешены пейзажи, повсюду разбросаны тюбики с краской, кисти и другие инструменты художника. Мебели немного, и по толстому слою пыли видно, что по этой комнате очень давно не прохаживалась влажная тряпка. Алеша с облегчением снимает с головы шарф — теперь уже не нужно представляться человеком, чью щеку раздуло флюсом. Теперь можно помыться с дороги, побриться, прийти в себя.

Надя не тратит времени на отдых: холостяцкое жилье Мити прямо-таки взывает к женской руке. Конечно, никто не просит ее заниматься уборкой, но, похоже, Алешина подруга органически не выносит пыли на столе, на полках и на полу. Надя работает быстро и бесшумно. Проходит час-другой, и вот уже комната чисто выметена, помолодели избавленные от пыльного налета шкафы, вещи разложены по местам в образцовом

порядке. Митя выскакивает в магазин и возвращается с вином и закуской. Троица садится за стол в приподнятом настроении. Они чувствуют себя в своем кругу: бывшим лагерникам всегда есть о чем перекинуться словом. Воспоминания — одно другого тяжелей, одно другого мрачней — громоздятся на Митином столе вперемежку со стаканами, солеными огурцами, краюхами хлеба и ломтями колбасы. Незримыми тенями ходят вокруг них лагерные приятели Пашка, и Филин, и Соломон, а также опер Кириллов, будь он проклят.

Надя тоже не молчит — у нее свои рассказы. Похорошевшая, с красиво уложенными волосами и накрашенными губами, сидит она за столом уважаемого человека и гостеприимного хозяина Дмитрия Максимовича Соколова — сидит, как равная с равными. Не какая-нибудь пустышка она, не безмозглая кукла, не наивная девчонка: кое-что повидала в жизни эта молодая еще женщина.

Митя ставит на стол очередную бутылку: гулять так гулять! Сегодня у него праздник: приехал дорогой друг Алеша… вернее, Сема. Да и жена у него тоже ничего, хотя и хромая. Не зря, наверно, друг выбрал именно ее — должны быть тому

веские причины. Одна из них выясняется, когда захмелевшие друзья запевают застольную песню. Начинает Митя, Алеша подтягивает, но затем вступает Надя, и мелодия тут же подчиняется ей, бежит к ней, как собачка, почуявшая истинную хозяйку.

Сильный, красивый и точный голос заполняет комнату; он то растекается щедрым весенним потоком, то почти затихает, звеня, как тоненький ручеек. Простые песни поются за этим столом: народные напевы, популярные песенки о любви и разлуке, блатные лагерные романсы. Митя слушает затаив дыхание, сердце его трепещет. Сердце настоящего художника понимает красоту в любом ее виде. Наконец чувства переполняют его настолько, что Митя вскакивает и склоняется перед гостьей в низком благодарном поклоне. Истинный рыцарь, он встает на одно колено и церемонно целует руку прекрасной дамы:

— Спасибо, женщина!

А чуть позже в комнате состоялось важное совещание. Наде и Алеше нужны надежные документы — особенно Алеше. И помочь им в этом может только Митя. Необходимо подправить паспорта: сменить фотографию, поставить печати с отметками о прописке. Митя долго не

раздумывает: конечно, он готов помочь, хоть прямо сейчас! Как вам нравится этот неисправимый рецидивист? Не он ли клялся и божился, что больше рука его не прикоснется к фальшивому документу? Он. Он клялся, он и божился. Вот только лагерная дружба сильнее всяких клятв, сильнее страха наказания. Как видно, помимо страдания и мрачных воспоминаний, остается от проклятых лагерей и что-то очень ценное в душе человека.

Наутро Алеша отправляется в фотоателье, а днем позже Митя приступает к работе. Фотография Травкина заменяется Алешиной, нужные печати и подписи ложатся на страницы документа. Это ремесло требует точности, твердой руки и немалых познаний в вопросе советских бюрократических процедур. Митя Соколов — настоящий мастер своего дела. Из-под его кисти и пера выходит настоящий шедевр — такой, что не подкопаешься. Даже опытный милицейский специалист — и тот не определит, что перед ним подделка. Теперь Алеше нечего опасаться проверки документов. Семен Сергеевич Травкин готов выйти на улицу, в большую жизнь. В Надин паспорт тоже вносятся необходимые поправки.

Перед отъездом из родного города Алеше очень

хотелось бы повидать маму, но как это сделать? Дорога в ее квартиру для него закрыта: скорее всего, милиция установила тайное наблюдение за домом матери беглеца. А что, если пригласить ее сюда, к Мите? Вперед, как всегда, высылается Надя. Она отправляется к Саре Михайловне и приводит ее в квартиру Соколова под тем предлогом, что будто бы из лагеря получена весточка от сына.

Сара Михайловна — высокая дама на шестом десятке, с лицом, хранящим отпечаток былой красоты. В молодые годы она была убежденной комсомолкой и страстно верила в партию и ее вождя Владимира Ильича Ленина. Тогда-то, на партийно-комсомольской работе, она и встретила Колю Гаврилова — молодого солдата, еще в армии связавшего свое будущее с большевиками. Поначалу он был рядовым партийцем, затем окончил курсы и продвинулся на руководящие должности. В стране бушевали война и разруха, поэтому у Сары Гельфанд и Коли Гаврилова не было времени официально зарегистрировать свои отношения. Да и вообще, свадьба считалась тогда буржуазным пережитком, не соответствующим революционному духу нового времени. Алеша родился в 1919 году, а его отец был аресто-

ван во время больших чисток тридцать седьмого и сгинул, не оставив следа.

Муж исчез, сын тоже пропал без вести на фронте, а затем оказался в лагере… — нелегкие испытания выпали на долю бывшей пламенной комсомолки. Впрочем, сын еще до войны не оправдывал ее надежд: уж слишком несерьезно, легкомысленно скользил он по волнам жизни, плыл по течению без руля и без ветрил. Способный мальчик, Алеша окончил среднюю школу с медалью, но уже тогда учителя говорили, что парень не прикладывает достаточных усилий к учебе, не хочет работать по-настоящему. Это сказалось и в институте: он получил диплом как бы между делом, без заметных провалов, но и без особого интереса со своей стороны. Связался с компанией бездельников, бегал за юбками, постоянно менял подружек. Девушкам нравился этот рослый общительный красавец, они вертелись вокруг него целыми стайками и вешались на шею при первом же случае. Сара Михайловна поджимала губы: с ее точки зрения, это лишало сына возможности найти себе настоящую пару, построить семью. Воображение матери рисовало красивую скромную девушку, черненькую, умненькую, с чувством юмора и без какого бы то

ни было изъяна в прошлой жизни, в поведении и во внешности. Ах, мечты, мечты… ничего не сбылось: нет с нею ни сына, ни воображаемой черненькой невестки.

Мать и сын встретились в комнате Мити Соколова. Оправившись от первого потрясения, Сара Михайловна немного поплакала, не отрывая взгляда от Алешиного лица. Как изменился мальчик! Сколько лет они не виделись — почти все его взрослые годы прошли вдали от матери… Молчал и Алеша, не в силах выговорить ни слова. Он-то помнил мать властной красавицей-королевой, и кто стоит перед ним сейчас? Увядшая пожилая женщина, сильно помятая жизненными невзгодами…

Раскаяние и чувство вины шевелятся в Алешином сердце. Сколько неприятностей, сколько горя доставил он матери! Да и теперь ему нечем ее порадовать… Конечно, он умалчивает о побеге, объясняя факт своего досрочного освобождения примерным поведением в лагере. При этом Алеша добавляет, что его паспорт не совсем в порядке.

— Что это значит? — с беспокойством спрашивает мать.

— Мне пока запрещено жить в больших горо-

дах, — поясняет сын. — Нужно кое-что подправить в документах…

Радость Сары Михайловны гаснет. Что за беда такая на ее голову — этот непутевый сын! Снова ловчит, снова «кое-что подправляет»! Ну почему, почему он никак не может стать серьезным положительным человеком? Столько лет в разлуке, и на тебе — нельзя даже привести его домой! Подпольный сын — видано ли такое…

Четверо людей сидят вокруг стола и обмениваются редкими фразами, но большей частью молчат. Алеша пытается умничать, но его шутки совсем не звучат в присутствии морщинистой женщины с глазами, полными страдания. Надя подает чай с бисквитами. Сара Михайловна принимает ее за домработницу. Матери и в голову не может прийти, что неприметная хромоножка имеет какое-то отношение к Алеше. Ведь она ничем не напоминает воображаемую черненькую красавицу: гладкие волосы уложены без затей, губы плотно сжаты, светлые глаза смотрят внимательно и серьезно.

Странной была эта компания: три бывших лагерника, как будто свалившиеся с другой планеты, и пожилая еврейская женщина, тоже хлебнувшая немало горя в бурной своей жизни.

4

Заполучив стараниями Мити надежные документы, Алеша и Надя задумались над тем, куда направиться дальше. Обоим было ясно, что оставаться в родном Алешином городе нельзя: тут его в любую минуту могли опознать прежние знакомые. После недолгих колебаний выбор пал на крупный город N — прежде всего потому, что там жили хорошие Митины друзья, к которым можно было обратиться за помощью в случае крайней надобности. И Алеша, и Надя не сомневались, что с легкостью найдут работу: хирурги и домработницы требовались повсюду. Об этом свидетельствовало множество объявлений, расклеенных на уличных газетных стендах.

— Кроме того, — добавляет Алеша, — в дополнение к зарплате домработница получает жилье и питание. Чем плохо?

Надя молча кивает, хотя, похоже, ее не слишком воодушевляет перспектива возвращения в служанки. Одно хорошо: от домработницы не требуют диплома об окончании института. Чего никак нельзя сказать о человеке, который приходит наниматься в хирурги. Если Алеша хочет работать по профессии, ему придется вос-

становить свой врачебный диплом взамен того, который был конфискован вместе с другими документами во время ареста. Друзья отправляют Сару Михайловну в медицинский институт за получением копии сыновнего диплома — в надежде на то, что там не знают об аресте своего бывшего выпускника.

Видали такое? Мало того что на долю этой пожилой женщины выпали нелегкие испытания в прошлом, так теперь еще непутевый сын доставляет ей неприятности и в настоящем… Почему именно ей, такой принципиальной и чувствительной натуре, приходится участвовать в подобной нелегальщине? Но чего не сделаешь ради сына… К счастью, операция проходит без сучка без задоринки. Спустя несколько дней официальная копия диплома оказывается в умелых Митиных руках. Теперь хирурга зовут Семен Травкин, а вовсе не Алексей Гаврилов. Документы в полном порядке, можно отправляться в путь, к новой жизни, новой надежде.

Чтобы не подвергать себя лишней опасности, Алеша распрощался с матерью все там же, в гостеприимной Митиной комнате. К этому моменту Сара Михайловна уже поняла, что сына связывает с Надей нечто большее, чем мимолетное

знакомство. Впрочем, кем именно приходится Алеше эта женщина, так и осталось для матери неясным. Спрашивать она стеснялась, а Алеша ограничивался смутными намеками.

— Заблудшая душа, как и я… — шепнул он както на ухо Саре Михайловне.

Расставаясь, плакали, обнимались. Надя тоже поцеловала Сару Михайловну в морщинистую щеку. Кто знает, свидятся ли в будущем? Верный Митя щедро помог другу деньгами и советами, проводил на вокзал. И вот они уже сидят в поезде, и поезд увозит их в направлении города N.

На новом месте обнаружилось, что Надя неспроста делала скептическую гримасу, когда с ней заговаривали о продолжении карьеры домработницы. Ей хотелось чего-нибудь нового, более интересного, чем детские пеленки, кухонные горшки и половые тряпки. В конце концов, есть у нее настоящая специальность: с детства Надя любила и умела шить, да и в лагере выпало ей некоторое время поработать швеей.

Но и это только начало. Глубоко в душе таит женщина две заветных мечты. Первая — вылечить больную ногу. Говорят, что такая возможность существует. И второе — заняться музыкой, пением. До войны мама успела научить ее азам

игры на фортепьяно. Надя верит, что еще придет ее время. Но это все в будущем, а пока главное — устроиться на работу, найти жилье, закрепиться в новой жизни. И, конечно, позаботиться о любимом Алешеньке.

Сказано — сделано: после недолгих поисков она становится настоящей швеей на настоящей швейной фабрике. Жилье тоже находится, хотя и не ахти какое — в фабричном общежитии, в одной комнате с еще тремя девчонками. А вот фабрика оказалась не простая — известная на всю страну, с шестью тысячами работников. Само собой, у такого большого предприятия было не только общежитие, но и другие полезные учреждения: детские сады, пионерлагерь, клуб с кинозалом и музыкальными кружками и, что особенно заинтересовало Надю, поликлиника.

При первой же возможности она устроила Алеше беседу с главврачом фабричной клиники, и — вот ведь удача! — там как раз нашлась свободная штатная должность хирурга. Вскоре он тоже приступил к работе. Чего у Нади не получилось, так это выбить им обоим совместное жилье: официально они с Алешей не расписаны, и это сильно осложняет дело. В принципе, можно было бы оформить отношения в загсе, но Але-

ша не хотел рисковать: по его словам, опытные служащие конторы могли без труда определить, что перед ними фальшивые паспорта. Поэтому они продолжали жить врозь: Надя — в женском общежитии, Алеша — в мужском. В Алешиной комнате проживал, кроме него, всего один сосед, молодой выпускник текстильного института, и временами Надю посещала неприятная мысль, что при определенном усилии Алеша мог бы настоять на замене этого жильца своей гражданской, хотя и не вполне официальной женой. Увы, все Алешины старания в этом направлении почему-то оказывались недостаточными. Впрочем, оставалась надежда на то, что главврач поликлиники в самом ближайшем будущем сдержит свое обещание выделить хирургу отдельное помещение.

На самом-то деле Алешу вполне устраивало текущее положение дел. Вырвавшись наконец на свободу и в значительной степени избавившись от страха поимки, он тяготился теперь любыми узами, в том числе и семейными. Зато Надино чувство ничуть не ослабело. Напротив, вынужденная разлука лишь усилила ее тягу к любимому человеку.

Наступившая весна манила людей на улицу,

на бульвары и набережные. Когда соседки по комнате уходили, Надя бежала к телефону, чтобы позвонить Алеше в соседнее здание мужского корпуса. Проходило несколько минут, и он потихоньку прокрадывался в комнату, попадая прямиком в Надины пылкие объятия. Они едва успевали запереть дверь, чтобы не быть застигнутыми врасплох строгой комендантшей общежития Софьей Владимировной.

В эти минуты Надя расцветала, лицо ее сияло от счастья. Алеша казался ей главным смыслом и содержанием жизни. Все ее существо стремилось к нему, жило мыслями о нем, все ее действия и расчеты были посвящены ему и только ему. Но раздельное проживание требовало как-то занять и то время, которое проходило вдали от любимого. И Надя скоро нашла занятие, которое могло достойно заполнить эти тягостные свободные часы.

В фабричном клубе действовал весьма неплохой хор в составе сорока девушек. Руководил коллективом профессиональный преподаватель Никитин, педантичный мужчина лет пятидесяти, специалист по народной музыке. Однажды он пришел на прием к Алеше, и тот недолго думая пригласил Никитина к себе — познакомиться с

Надей и послушать ее пение. Доктора часто вызывают в нас ответное желание отблагодарить, и Никитин согласился.

За чаем с печеньем поговорили о том о сем. Ораторствовал в основном Алеша, Никитин больше отмалчивался. Затем Алеша решил взять быка за рога и затянул «Ермака»:

— Ревела буря, гром гремел…

Эту песню принято исполнять на два голоса. Когда Никитин и Надя подхватили, Алеша благоразумно стушевался. И вот одна за другой звучат в комнате общежития песни — народные и современные, из тех, что передают по радио. Голоса Нади и Никитина сплетаются и поддерживают друг друга в удивительной гармонии, как близнецы-двойняшки. Потом умолк и Никитин, а распевшаяся Надя продолжала петь, петь, как умеет, — точно, красиво, задушевно. Кончилась последняя песня, наступила тишина в комнате, но не неловкая, как это бывает, когда нечего сказать, а одухотворенная, полная мысли и чувства, тишина, дышащая памятью о только что звучавшей музыке.

Никитин помолчал минуту-другую. Этот внешне мрачный человек явно не спешит разбрасываться похвалами и раздавать оценки.

— Еще чаю? — робко спрашивает Надя.

Она берет стакан гостя и идет к плитке, к кипящему чайнику. Никитин хмурым взглядом следит за ее хромой походкой.

— В какую смену вы работаете послезавтра?

— Во вторую, — отвечает Надя.

Никитин встает со стула и идет к двери. Уже взявшись за ручку, он оборачивается:

— Приходите в клуб к девяти.

Что ни говорите, а странный человек этот руководитель клубного хора… Тем не менее в назначенный час Надя ждет его в клубе. При всех странностях, есть в этом пожилом мужчине что-то настоящее, серьезное. Никитин усаживает женщину в кресло, сам садится напротив.

— Надежда Федоровна, — говорит он, — у вас есть все данные для того, чтобы превратиться в хорошую солистку. Но одно обстоятельство может помешать вашей певческой карьере.

— Я знаю, — краснеет Надя. — Больная нога.

Она поднимается с места, горечь переполняет ее душу. Вот ведь и в самом деле, размечталась дурочка. Ну куда она лезет, несчастная калека? Певица на сцене не может себе позволить такого изъяна — на нее смотрят сотни людей. Зачем он пригласил ее сюда, этот Никитин, — неужели

для того лишь, чтобы еще раз напомнить об ее уродстве? Надя смотрит на руководителя хора — в глазах Никитина мягкое, отеческое тепло.

— Пойдемте со мной, — вдруг говорит он.

На автобусе они доезжают до улицы Энгельса — одной из самых красивых в городе. На табличке у парадного подъезда — надпись золочеными буквами: «Профессор Евгений Валентинович Никитин».

— Мой близкий родственник, — поясняет Надин спутник. — Травматолог и ортопед. Заходите, не бойтесь, нам назначено.

Евгений Валентинович осматривает ногу и улыбается:

— Вам повезло, девушка. В вашей травме нет ничего такого, чего нельзя было бы исправить… — Он смотрит в блокнот и говорит: — В понедельник приходите ко мне в клинику, сделаем рентген. Думаю, за месяц мы приведем вашу ногу в порядок. Но где вы были прежде? Почему запустили лечение?

Надя молча пожимает плечами: всего не расскажешь… Окрыленная, она выходит вслед за Никитиным на улицу Энгельса. Лицо руководителя хора по-прежнему сохраняет хмурое, почти мрачное выражение, зато Наде хочется петь и

плясать от радости.

— Я просто не знаю, как вас благодарить, Петр Александрович! — восклицает она.

— Глупости! — отрезает Никитин. — Вылечишь ногу, тогда посмотрим. Если есть в тебе настоящий характер и умение работать, то будешь большой певицей. Ну а если нет…

«Как это нет?! — хочется выкрикнуть Наде. — Как это нет?!»

Сбываются ее самые заветные мечты, ни больше ни меньше! Да она в лепешку разобьется, дайте только возможность…

В тот же вечер она бежит к Алеше, чтобы рассказать ему о своей радости. Потому что все эти новости хотя и неимоверно важны, но только в соединении с ним, с любимым. Без Алеши лишается смысла все — и нога, и пение, и сама жизнь. Ради него она хочет добиться успеха, чтобы не стеснялся своей жены-простушки — швеи или, пуще того, домработницы. И тогда уже ничто не помешает их семейному счастью. Вот только нужно все время держать ухо востро. Девушки из цеха порассказали Наде немало грустных историй о мужском характере. Мужчина — слабое существо, всегда найдется молодая хищница, которая может сбить его с панталыку. Глаз да

глаз, Надя, глаз да глаз!

— Алешенька, — объявляет она с порога, — на следующей неделе я ложусь в больницу.

— Что случилось? Ты заболела? — в голосе Алеши слышится искреннее беспокойство.

Он и в самом деле привык к ней, этот легкомысленный повеса. Надя указывает на свою больную ногу.

— Нога! О ноге ты, я вижу, забыл… привык, да? Придется отвыкать: профессор Никитин сказал, что это займет примерно месяц.

— Профессор Никитин? — повторяет Алеша. — Евгений Валентинович? Ты не шутишь?

Имя профессора Никитина, одного из виднейших специалистов-ортопедов, известно Алеше еще со студенческой скамьи. Наде определенно повезло.

Она смеется:

— Через месяц твоя жена уже не будет хромоножкой! Но только попробуй мне связаться за это время с какой-нибудь девчонкой! — Лицо Нади приобретает угрожающее выражение. — Тогда тебе никто не позавидует, имей в виду!

— Ну что ты, Надюша, — Алеша привлекает ее к себе, только чтобы не видеть этого настойчивого внимательного взгляда. — Кроме тебя мне никто

не нужен…

Трудно, очень трудно ему с этой Надей: уж больно серьезный у нее характер, совсем не по Алешиному легкому нраву.

5

Надя волновалась не зря. Повышенное внимание к женщинам было неотъемлемой частью Алешиного характера. Война, плен и лагерь, на многие годы лишившие его возможности волочиться за представительницами прекрасного пола, лишь усилили тягу к этому занятию. А тут еще на работу в поликлинику поступила юная медсестра Ирина Пескова, статная восемнадцатилетняя брюнетка со свежим личиком и шаловливыми глазками. С Алешей она обычно разговаривала, стыдливо потупившись — в точности как желанная невестка из фантазий Сары Михайловны, — но имела при этом коварное обыкновение внезапно поднимать глаза и выстреливать в лицо собеседника смеющимся и отчасти даже вызывающим взглядом. Девчоночий смех новой медсестры всегда звучал беззаботно и искренне, и в нем принимали самое активное участие два ряда безупречных зубов, прелестная ямочка на левой щеке и все ее юное

красивое лицо.

Пескову назначили к Алеше помощницей. Поначалу он не придавал ее присутствию особого значения, относясь к Ирине как старший коллега — старший и по возрасту, и по положению. Она реагировала соответственно, то есть с должным почтением и скромностью. Не слишком инициативная, даже несколько сонная в работе, она тем не менее всегда была готова ответить смехом на любую шутку.

Но после двух недель совместной работы в поведении Ирины произошли заметные изменения. Она посерьезнела, постоянно опускала глаза, и во время приема Алеша все чаще чувствовал установившуюся между ними атмосферу неловкости. А когда Ирина в очередной раз выстреливала глазами, в них было уже существенно меньше смеха и больше чего-то другого — сосредоточенности?.. вопроса?.. Закончив осмотр очередного больного, Алеша шел к раковине сполоснуть руки и всякий раз, проходя мимо медсестры, видел, как она вся сжимается и втягивает голову в плечи, как почуявшая опасность черепаха.

Большинство травм, с которыми приходилось иметь дело в фабричной поликлинике, были связаны с особенностями производства: царапины,

ожоги, ушибы и прочие мелочи. Тяжелобольных сразу увозили в крупную больницу, так что чаще всего прием ограничивался обычной перевязкой. Эта обязанность была возложена на Ирину, в то время как Алеша заполнял медицинскую карту и больничный лист. Очередь никогда не иссякала, поэтому на досужие разговоры между врачом и медсестрой времени не было. Алеше оставалось лишь гадать, почему все реже и реже слышится в кабинете прежний беззаботный смех Ирины, почему так печально ее бледное личико и куда подевалась милая ямочка на левой щеке. В одном он не сомневался: когда-нибудь это нарастающее внутреннее напряжение прорвется наружу и все прояснится. Так оно и случилось вскоре после того, как Надя легла в клинику профессора Никитина.

В то время Алеша часто ходил в кино — не меньше двух-трех раз в неделю. Возможно, эта тяга объяснялась лагерным опытом: в заключении кино представляло собой единственное культурное развлечение, а потому ценилось очень высоко. Фильмы привозились в лагерь нерегулярно, куда реже, чем хотелось бы, а потому в зал всегда набивалось огромное количество зеков. В этой неимоверной тесноте Алеше часто не

удавалось протиснуться в лагерный клуб. А если и удавалось, то, как правило, он мало что видел и слышал. Зато теперь он вволю наслаждался тем, о чем в лагере мог лишь мечтать: богатым выбором фильмов, хорошими местами, высоким качеством изображения. Но не идти же в кино одному! Надя лежала в больнице… — отчего бы не пригласить Ирину?

Алеша позвал ее без всякой задней мысли — или почти без задней мысли. Он без труда убедил себя в том, что по-прежнему относится к девушке по-отечески, как старший коллега. Зато Ирина только что не дрожала от волнения. И вот хирург и медсестра сидят рядышком в темном кинозале. Глаза их честно устремлены на экран, вот только видят ли они кадры этого фильма? Алешина рука тихонько, словно сама по себе, независимо от воли хозяина, обнимает Иру за талию, ползет выше. Он слышит, как колотится сердце девушки, ощущает ее нарастающее смущение, волны томительного чувства прокатываются между ними, затопляют души.

Но вот гаснет экран, в зале вспыхивает свет, зрители шумной толпой идут к выходу. Среди них и Алеша с Ирой. Толпа вертит их, сдавливает, притискивает друг к дружке. Как сладки и

волнующи эти прикосновения груди и бедер… Они оба упорно смотрят в сторону — каждый в свою, смотрят и не видят ничего, кроме темного теплого тумана. Больше всего им хочется, чтобы он никогда не кончался, этот людской водоворот. Голова у Ирины кружится, дыхание прерывисто, губы приоткрыты…

После одного из таких необычных кинопросмотров Ира проводила Алешу до общежития, и момент их расставания неожиданно завершился поцелуем. Поначалу неловкий, он быстро перешел в довольно страстное объятие — Алеша, надо отметить, был очень хорошо знаком с этой частью любовного ремесла, да и опыт молодой медсестры в этой области оказался отнюдь не нулевым. Этот первый поцелуй окончательно разрушил плотину. Теперь атмосфера в кабинете хирурга изменилась самым кардинальным образом. Ямочка вернулась на свое постоянное место на левой щеке, а в глазах у Ирины загорелся яркий огонек. Они уже не смотрели, как раньше, в пол, а открыто дарили свою улыбку всему окружающему миру. Неудивительно, что «старший коллега» не остался равнодушным к столь искреннему и пылкому проявлению чувств.

Настал день, когда Ирина стала навещать Але-

шу в общежитии, причем именно в тот момент, когда его сосед по комнате отсутствовал. Сначала Алеша, нужно отдать ему должное, удерживал себя от перехода известной границы, из последних сил играя роль «старшего коллеги». Кроме того, ему мешало чувство вины перед Надей — по-видимому, он относился к своей гражданской жене совсем не так легкомысленно, как прежде казалось ему самому. Но на третий вечер, когда Ирина, устав ждать, взяла инициативу в свои руки, Алеша не выдержал. Что и говорить, слаб человек! Так отношения между хирургом и медсестрой окончательно оформились в полноценную любовную связь.

Вот ведь невезение! Поди теперь объясни суду совести, что он, Алеша, сопротивлялся до последнего, что его, по сути, силком затащили в постель. Кто вам поверит, товарищ хирург? Тридцатилетний мужчина с высшим образованием и едва оперившаяся восемнадцатилетняя девчонка — кто тут, спрашивается, кого совратил? Так или иначе, ответственность падала исключительно на Алешины плечи — и по возрасту, и по положению. И все бы ничего, но все чаще и чаще мучили его угрызения совести при мысли о Наде, верной лагерной подруге: ее серьезный

настойчивый взгляд то и дело мерещился ему в темноте комнаты.

Два раза в неделю, не пропуская ни одного разрешенного для визитов дня, Алеша навещал подругу в клинике. Садился возле Надиной постели, брал ее за руку и молчал, поглядывая на серые глаза, на курносый профиль и на сеточку тоненьких, едва наметившихся морщинок у век. Кроме Надиной, в палате еще четыре кровати, и рядом постоянно слышится гул голосов других посетителей и пациентов. Прооперированная нога еще в гипсе и лежит в полной неподвижности, как спеленатое бревно. Нелегок процесс восстановления, но Надя не жалуется — она умеет терпеть.

Алеша приносит сладости и фрукты, наводит порядок в прикроватной тумбочке. Надя тщательно причесана, губы накрашены, на бледном лице приветливая улыбка — видно, что женщина с утра специально готовилась к приходу любимого мужа. Временами Надю саму удивляет сила ее привязанности к Алеше. Что такого из ряда вон выходящего нашла она в этом мужчине с первого же момента их первой встречи? Почему сейчас она готова на все ради него? Почему не мыслит себе жизни в отрыве от Алеши? И то сказать — они оба уже не те, что прежде. Она уже

не хромая домработница в выцветшем платье, он — не умоляющий о спасении беглец. Перед Надиной постелью сидит высокий красивый мужчина, хирург, уважаемый человек. А с ее ноги уже через две недели снимут надоевший гипс; профессор Никитин уверяет, что от хромоты не останется и следа. Она обязательно будет певицей — возможно, знаменитой на всю страну. Разве плохую пару составят они тогда? Кстати, Петр Александрович, руководитель хора, тоже навестил ее здесь. Он твердо намерен сделать из Нади настоящую солистку…

Разговор не клеится, как будто между ними возникла вдруг невидимая перегородка. Молчит обычно словоохотливый и оживленный Алеша. Жаль, что Никитин уже ушел — с ним молчать легче. Неловко обоим — и Наде, и Алеше. Он безуспешно пытается выкинуть из головы мысли о медсестре Песковой. Ему хочется быть с Надей, возникшая отчужденность тяготит Алешу. Все-таки она очень близка ему, эта сероглазая женщина, неподвижно лежащая на больничной койке. Надя смотрит в сторону, принужденно улыбается, ее бледное лицо выражает то слабость, то досаду, то сомнение.

— Как ты себя чувствуешь, Надюша?

— Хорошо. Только соскучилась по тебе.

Последнюю фразу она произносит шепотом, чтобы не услышали соседи. Алеша наклоняется, чтобы поцеловать ей руку. Рука лежит поверх одеяла — белая, слабая, сиротливая, с просвечивающей сквозь кожу сеточкой голубых сосудов. Надя закрывает глаза, вдыхая знакомый запах Алешиных волос. На этот раз они пахнут немного иначе. Какая-то парфюмерия…

— Зачем это ты так надушился? — спрашивает она. — Если ради меня, то зря. Мне не нравится. А если ради кого-то другого, то берегись…

Надя грозит мужу пальцем. На ее губах играет бледная усмешка, но глаза серьезны.

— Смотри у меня! — шепчет Надя. — Только попробуй! Уничтожу…

Алешино сердце вздрагивает. Уж ему-то прекрасно известно происхождение чужого запаха — это духи Ирины Песковой. Нельзя быть таким неосторожным! Надю так просто не обманешь, она видит насквозь. Чтобы укрыться от взгляда жены, он снова наклоняется, целует ее руки, щеки, глаза.

— Что ты, что ты, Надюша… Ты у меня одна-единственная, сама знаешь.

Надя смягчается. Женское сердце не камень.

— Перестань, глупый! — шепчет она. — С ума сошел… так, на виду у всех…

Из коридора доносится звонок: время посещений закончилось.

Тем же вечером Алеша встречается с Ириной возле кинотеатра «Факел».

— Что-то случилось, Семен Сергеевич? — спрашивает она, с тревогой глядя на его мрачное лицо.

— Нет-нет, все в порядке, Ириша.

Они входят в зал, усаживаются в кресла, но на этот раз Алешина рука уже не пускается в свое обычное путешествие вокруг талии девушки. Он глядит на экран и думает о том, как ему повезло, что этим вечером сосед по комнате дома: можно будет легко избавиться от Ирины.

6

Прошли две недели. С Надиной ноги снят гипс, и ей уже дозволено сделать шажок-другой по палате. Нелегко вставать с постели после долгой неподвижности. Нужно заново учиться ходьбе. Надя потихоньку добирается от кровати до окна и отдыхает. Еще несколько шагов — и снова отдых. Но она вовсе не собирается откладывать дело в долгий ящик. День пролетает за днем, Надя

упорно трудится, разрабатывая прооперированную ногу. Контрольный рентген показывает, что кость срослась прекрасно, так, как надо. Конечно, известное время еще нужно остерегаться, не поднимать тяжести, но, в общем и целом, можно выписывать пациентку.

Надя радостными кивками встречает наставления профессора Никитина. Вот она уже в общежитии. Все прошло как нельзя лучше. Первая мечта сбылась — Надя Ракитова больше не хромает! Зато Алеша чувствует, что попал прямиком между молотом и наковальней. Самое странное, что его любвеобильное сердце отдано обеим женщинам одновременно. Никогда не было у него такой пылкой возлюбленной, как Надя. А вот Ира хороша очарованием нетронутой юности… Как разнятся два этих чувства! По отношению к молодой медсестре Алешина любовь горит ровным красивым огоньком, а в случае с Надей вспыхивает лишь время от времени, зато каждый раз — до небес!

Никитин, руководитель хора, снова приглашает Надю зайти в клуб. На сей раз он устраивает ей настоящий экзамен: на чувство ритма, на тонкость музыкального слуха, на чтение нот. С ритмом и слухом все в порядке, а вот нотную

грамоту придется подтянуть: как-никак, Надя уже годы не видела знака скрипичного ключа.

— Ничего, дело поправимое, — говорит Никитин. — Отныне будем заниматься три раза в неделю. Гаммы, арпеджио, сольфеджио, фортепьяно… Это, конечно, помимо участия в репетициях хора.

Надя радостно кивает.

— Знай, Ракитова, — продолжает преподаватель, — природа подарила тебе редкое по красоте контральто. Но это пока еще не более чем полуфабрикат. Если ты действительно намерена превратиться в солистку, придется хорошо поработать. Без ежедневных усилий голос угаснет, завянет. Сможешь заставить себя трудиться — взлетишь высоко.

— Когда начинаем? — спрашивает Надя.

Она не колеблется ни секунды. Конечно, она приложит все усилия, сколько понадобится и даже больше. Алешенька будет доволен.

Одно плохо: раньше в Надиной жизни был только любимый, а теперь она вынуждена уделять много времени пению, упражнениям, нотной грамоте, репетициям. Она проводит в клубе почти каждый вечер; Никитин не перестает загружать ученицу все новыми и новыми заданиями. Почти

тридцать лет занимается он подготовкой хоров и солистов, преподавал в музыкальной школе, а затем посвятил себя работе с певческими коллективами. Надин голос был силен и точен, шлифовки требовали лишь высокие звуки.

Занятия немного отвлекли Надю от постоянных мыслей об Алеше. Это позволило ему два дня в неделю общаться с Ириной. Остальное свободное время он проводил с Надей, деля таким образом жизнь между двумя подругами. Понятно, что Ире не нравились его постоянные отговорки. В восемнадцатилетнем возрасте сердечные раны особенно сильны. Алеша вертелся, как уж на сковородке. Сложности и упреки подкарауливали его всюду — в поликлинике, в общежитии, в клубе. Долго так продолжаться не могло. Он чувствовал, что рано или поздно все выплывет наружу.

На приеме в кабинете хирурга установилась в те дни более деловая атмосфера. Рассеялся туман потаенных чувств, вздохов и взглядов. Лицо Ирины сохраняло теперь задумчивое выражение, в глазах поселилась грусть, ямочка на щеке появлялась нечасто и ненадолго. Большую часть времени хирург и медсестра работали в молчании, лишь изредка обмениваясь короткими

репликами. Но вот настал момент, когда Ирина не выдержала и решила снова взять инициативу в свои руки:

— Сегодня я приду к вам, Семен Сергеевич!

— Этим вечером я занят, Ириша.

Занят! Как вам это нравится! На этот раз Ирина не собиралась отступать. Сколько можно терпеть эти отговорки? Неужели он намеренно уклоняется от встречи?

В тот день Алешин сосед по комнате работал во вторую смену, до полуночи. Алеша предполагал провести вечер с Надей, но, к его несчастью, расписание соседа было хорошо известно обеим женщинам. Первой пришла Надя — веселая, красивая, с ворохом хороших новостей. Сегодня Никитин сказал, что за все тридцать лет занятий музыкой он впервые встретился с таким большим талантом, как у нее. Да и ее саму пение захватило всерьез: теперь Надя видит в музыке свое истинное предназначение. Сколько силы и чувства есть в этих народных мелодиях, в песнях о любви и жизни, о доме и родине! Но не только песни — даже скучные гаммы доставляют ей удовольствие. Никитин — опытный преподаватель. Он утверждает, что не за горами то время, когда она сможет выйти на сцену в качестве солистки

и завоевать сердца публики. Сама Надя тоже чувствует, что ее голос с каждым днем становится все лучше и лучше.

Она летает по комнате, накрывая на стол. Вот и готов немудреный ужин. Алеша и Надя оживленно беседуют, шутят, смеются — у обоих прекрасное настроение. И тут слышится стук в дверь. Входит Ирина. Алеша в смятении, он не знает, куда себя деть. Похоже, Пескова выследила его в самый неподходящий момент! Он не придумывает ничего лучшего, как промямлить:

— Ира, я ведь предупреждал, что занят этим вечером…

Но разве что-нибудь может помочь в такой ситуации? Лицо Нади мрачнеет, глаза загораются недобрым огнем.

— Ну что же ты, Сема? — говорит она с выражением зловещей приветливости. — Пригласи девушку сесть. Познакомь нас…

Ира растерянно молчит. Надя встает, подходит к нежданной гостье и протягивает руку:

— Ракитова.

Девушка по-прежнему не может вымолвить ни слова.

— Присаживайтесь, — приглашает Надя. — Чайку не хотите?

Но Ирина как стояла, так и стоит у порога. Две женщины, две соперницы пристально разглядывают одна другую. Алеша, дурак дураком, сидит за столом в глубине комнаты.

— Что тебе нужно от моего мужа? — спрашивает Надя тоном выше.

Ее переносицу прорезает вертикальная морщина, брови нахмурены, голос не предвещает ничего хорошего. Ирина делает робкую попытку перейти в контрнаступление:

— Разве Семен Сергеевич женат? Я была уверена, что он мой жених…

Слыхали такое? Эта девчонка осмеливается противостоять Наде, бывшей зека, закаленной в лагерных схватках! Предчувствуя недоброе, Алеша вмешивается в разговор в последней попытке предотвратить неизбежное.

— Ира, я никогда не делал тебе предложения… — мягко напоминает он.

Слезы наворачиваются на глаза молодой медсестры, текут по щекам, капают на пол. Она поворачивается уходить.

— Стоять! — командует Надя во всю мощь своего оперного контральто. — Ты что, спала с ним?

Ирочка оборачивается. Ямочка то появляется, то исчезает на мокрой от слез щеке. Бедное,

несчастное создание, невинный ягненок, случайно затесавшийся меж двумя лагерными волками!

— Что вы такое говорите, Надежда Федоровна? — снова встревает Алеша. — Это всего лишь работница поликлиники медсестра Пескова. Моя помощница.

Надя гневно оборачивается. Выходит, теперь она для него Надежда Федоровна? Только что была Надя, Наденька, Надюша — и вот пожалуйста, стоило появиться здесь этой молокососке, как отношения сразу перешли на официальные рельсы! Нет сомнения, он спал с ней, мерзавец!

Она окончательно утрачивает контроль над собой.

— Твоя помощница?! — кричит Надя. — Твоя шлюха — вот она кто!

И переходит на многоэтажный лагерный мат, по сравнению с которым первое ругательство выглядит образцом вежливости. Вряд ли эти, да и любые другие страницы подходят для повторения слов, которые бурным потоком льются из Надиного рта. В ее голосе клокочет ярость. Она заполняет комнату, выплескивается на этажи и лестницы здания. Бедная медсестра Пескова пятится за порог.

Алеша безуспешно пытается утихомирить Надю напоминанием о грозной комендантше Софье Владимировне: подобный скандал может стоить им обоим места в общежитии. Напрасные усилия! Похоже, Надя распалилась настолько, что не успокоится, пока не прокричит на весь мир о своей боли и обиде. Вскоре и впрямь в конце коридора появляется фигура Софьи Владимировны.

— Что тут за вопли? — гневно вопрошает она. — Немедленно прекратить! Здесь вам не кабак!

Комендантша не терпит скандалов. Если бы не уважение, которое она питает к доктору Травкину, Софья Владимировна уже давно вызвала бы милицию. Надя умолкает. Встреча с милицией не входит в ее планы. Она садится к столу и прячет лицо в ладони; время от времени слышно, как Надя всхлипывает — глухо, отчаянно. Ее рыдания поднимаются от самого сердца. Неужели это конец всему? Неужели придется отказаться от мечты, от этого предателя, от этого любимого человека? Алеша сидит рядом. Он знает, что в такой ситуации лучше помалкивать, потому что любое сказанное слово лишь вызовет новый взрыв истерических обвинений.

Мало-помалу Надины рыдания стихают. Она напряженно обдумывает ситуацию. Почему,

собственно, она должна отказываться от своей мечты? Ведь предательство Алеши не освобождает его от торжественной клятвы, написанной карандашом на клочке бумаги. Проступок совершен, проступок будет наказан, но в общем и целом ничего не изменилось. Надя вытаскивает из внутреннего кармашка смятый листок — она не расстается с ним никогда. «Клянусь своей жизнью… гражданка Ракитова… буду ей верен и никогда не прикоснусь к другой женщине. И если я нарушу эту клятву, то пусть настигнет меня смерть в ту же минуту. Клянусь своей жизнью…»

Надя читает клятву несколько раз — сначала про себя, потом вслух. Затем поднимает голову и смотрит на Алешу.

— Ну, Алексей, что будем делать?

— Надюша, — торопливо произносит он. — Ты ведь знаешь, что я люблю тебя. Пескова — не более чем эпизод. Она не значит для меня ничего. А ты… ты навеки!

— Прекрати эту болтовню! — командует она. — На этот раз не выйдет! Не выйдет!

Кажется, что Надин гнев вот-вот снова прорвется наружу, но она вовремя вспоминает о комендантше и берет себя в руки. Надо подойти к делу серьезно, решить, как быть дальше. Ведь

что получается? Мы, женщины, влюбляемся без памяти, всем своим существом отдаемся любимому человеку. Все лучшее, что только есть в нас, всю душу, всю красоту, все будущее кладем к его ногам. И вдруг обнаруживаем, что в ответ получаем не любовь и благодарность, а самое что ни на есть черное предательство! Предательство, которое низвергает нас с седьмого неба в глубину выгребных ям! Она, Надя, много чего повидала в своей жизни. Не раз приходилось ей отвечать ударом на удар, и падать, и вставать, и показывать зубы в ответ на чей-то угрожающий оскал. Но подобного крушения надежд не испытала она еще ни разу.

Кто он, этот Алеша? Слабак, которого тоже потаскала-побила судьба — побила, да так и не научила ничему. Нельзя не учитывать, что за годы лагеря накопилось в нем немало мужского желания. Поэтому он так тянется за любой юбкой. А уж возможностей вокруг хоть отбавляй: проклятая война оставила после себя множество одиноких женщин, жаждущих ласки и любви. Сегодня он запал на эту молоденькую медсестру, завтра попадет в сети какой-нибудь другой хищницы. А коли так, то нужно избавить Алешеньку от этой угрозы, спрятать его подальше, туда, где

нет зовущих, манящих, соблазняющих глаз. Иными словами — вернуть его в лагерь.

У нее, Нади, есть полное право на это. Разве не купила она Алешу целиком со всеми потрохами, со всем его прошлым, настоящим и будущим, разве не получила она все это в обмен на его спасенную жизнь? Теперь он — ее собственность. Ей и решать. Да, вернув Алешу в лагерь, она накажет не только его, но и себя. Придется на время отложить исполнение мечты о счастливой совместной жизни. Зато там, в лагере, он будет в полной безопасности, вдали от женщин. Пусть посидит, подумает, авось поумнеет. Ведь он добрый, хороший парень — но, к несчастью, его портит излишняя легкомысленность. Несколько лет на лагерных нарах выбьют из души этот недостаток, научат искать в жизни не столько внешнюю позолоту, сколько внутреннее содержание. А она пока будет работать, как черт. Она добьется успеха — настоящего, всенародного, станет знаменитой певицей, дарящей себя людям и получающей в ответ сторицей.

Мертвая тишина стоит в комнате, как во время судебного заседания перед объявлением приговора. Тихо так, что, кажется, слышен стук двух сердец — судьи и подсудимого. Наконец Надя

делает глубокий вдох и смотрит на Алешу.

— Сделаем так, Гаврилов, — говорит она жестким, не терпящим возражений тоном. — Ты останешься моим мужем, но должен понести наказание. Оно будет суровым. Завтра ты отправишься в милицию и сдашься властям. Скажешь, что бежал из лагеря, но совесть не позволяет тебе находиться на свободе.

Алеша едва не падает со стула:

— Ты что, с ума сошла?! Что ты несешь?

— Что слышишь. Если ты не сдашься сам, в милицию пойду я. В этом случае получишь «вышку», арестуют и нас с Митей. А если сдашься по своей воле, добавят от трех до пяти, ничего страшного.

— Не делай глупости, Надя!

— Это не глупости, Алеша, — тихо возражает она. — Это приговор. Я отправляю тебя в лагерь на несколько лет. Там не будет для тебя девушек. Я могу делать с тобой все, что захочу, помнишь? Я купила тебя тогда в Сибири. Ты мой, только мой. Мой, мой, мой! — Надя подавляет рыдание и продолжает: — А я останусь здесь и буду ждать тебя. Думаю, настанет день, когда ты не станешь стыдиться такой жены. Мы с тобой повязаны навеки, Гаврилов. Навеки, слышишь?

Алеша молча смотрит на Надю и не верит

своим ушам. До него постепенно доходит вся серьезность ситуации. Что делать? Как выбраться из этой ужасной западни? Может, получится улестить женщину испытанным способом — лаской? Он подходит к Наде, пытается обнять ее, но та резким движением отбрасывает его руку. Звук полновесной пощечины слышится в комнате.

— Не прикасайся ко мне! — с отвращением кричит Надя.

Нет, похоже, ласка тут не поможет… Тогда что? Алешин мозг лихорадочно перебирает варианты, ищет спасения, ищет и не находит. Он опускается на стул, прячет лицо в ладонях. При этом вид у Алеши такой несчастный, что Надино сердце смягчается.

— Пиши мне из лагеря, я отвечу, — говорит она. — И приеду на свидание, как только позволят.

Неужели она всерьез? Неужели взаправду? Надя встает со стула, судейский металл снова звучит в ее голосе:

— Значит, завтра, не позже четырех. Придешь в милицию и сознаешься. А не придешь в четыре часа, приду я в пять. И даже не пробуй сбежать — от меня не сбежишь!

Алеша молча глядит на нее, не зная, что отве-

тить. Надя, его спасительница, его гражданская жена, чудовище Надя уверенным шагом идет к выходу, ступает за порог, твердой рукой затворяет за собой дверь. Щелчок замка — как последняя точка в приговоре.

Проходит еще несколько секунд, и дверь распахивается настежь. Подобно урагану, Надя врывается в комнату, бросается к ошарашенному Алеше, обхватывает его руками за шею, прижимается всем телом, целует в губы, и поцелуй ее пахнет яблоками, страстью, любовью, желанием. Затем она так же резко отрывается от него и снова идет к двери. Прежде чем окончательно исчезнуть, Надя бросает вполоборота:

— Завтра, не позже четырех. Смотри, не опаздывай.

На следующий день Алеша пришел в милицию с повинной. После короткого допроса его переправили в органы госбезопасности. Там, учитывая добровольную явку, ему добавили пять лет за побег и вернули в лагерь особого режима.

8

Эту историю я услышал от самого Алексея Гаврилова в лагере № 5, на севере страны. Оба мы были в ту пору зеками, соседями по бараку и по

нарам, оба работали врачами лагерной санчасти: Алеша — хирургом, я — терапевтом.

Лагерь сдружил нас, и хотя Алешу привечали буквально все, он явно выделял меня среди прочих своих приятелей. Я сидел за еврейский национализм, он — за то, что, по мнению суда, проявлял чрезмерное усердие во время заключения в фашистском лагере для военнопленных. Он был евреем наполовину, я — целиком. Высокий, красивый мужчина, от матери-еврейки Алеша унаследовал глаза, а все остальное — от русского отца.

В лагере человек раскрывается. Он с легкостью рассказывает товарищам по нарам то, чего следователи не могли выколотить из него побоями и многомесячными допросами. Большинство из наших соседей по бараку знали историю Алешиного побега, но в обстоятельства своего возвращения в лагерь Гаврилов посвятил только меня.

В лагере нет женщин, нет любви, нет ревности, нет вина, нет сложных деловых проблем. Работа, еда и сон — эти занятия поглощали практически все наше время. Впрочем, было еще и чтение — при культурно-воспитательной части имелась небольшая библиотека. Чего никак нельзя было отнять — это возможности дружеского общения.

Чем мы и пользовались, развлекая друг друга рассказами о своем житье-бытье в лагере и на воле.

Благодаря героическому ореолу беглеца Гаврилов пользовался в лагере всеобщим уважением и авторитетом. Все мы мечтали о свободе, но поди решись на побег, когда лагерь со всех сторон окружен колючей проволокой в два ряда, а на вышках сидят охранники, готовые в любую минуту открыть огонь из автоматов. Побег, да еще и удачный, может совершить лишь самый отважный человек, обладающий выдающейся дерзостью и силой. В лагере знали, что Алексей Гаврилов не просто сбежал, но еще и полгода гулял на воле! Впрочем, любили его не только за этот необыкновенный поступок, но и просто как человека — дружелюбного, уважительного товарища, всегда готового помочь попавшему в беду заключенному.

У лагерного врача большие полномочия. Он может освободить зека от работы по состоянию здоровья, может отправить его на несколько дней в местный лазарет и даже послать на более детальное обследование в центральную больницу, которая располагается в другом месте. Гаврилов умело пользовался этим арсеналом: почти никто из тех, кто обращался к нему за помощью, не ухо-

дил с пустыми руками. Это не могло нравиться нашему начальнику, бывшему военфельдшеру из вольных. Но Алексей нашел дорогу и к сердцу этого немолодого офицера, чьей слабостью были шахматы.

Среди заключенных можно было в то время отыскать специалиста в любой области, в том числе и шахматных мастеров. Один из них показал Алеше ходы и научил его азам этой игры, так что три месяца спустя Гаврилов уже мог худо-бедно противостоять начальнику санчасти. В итоге тот ценил Алешу еще и как удобного партнера и смотрел сквозь пальцы на необычно большое количество выписываемых им больничных листов.

Жизнь в лагере течет по однообразному унылому руслу. Дни похожи, как близнецы. Здесь ничего не происходит, заключенный полностью отрешен от желаний и жизненных страстей. Люди то молчат неделями, то вдруг становятся не в меру словоохотливыми. Хорошо, когда в такую минуту находится кто-то, кто готов выслушать, проявить сочувствие, выказать понимание. Гаврилов доверял мне, поэтому со временем у него почти не осталось от меня тайн — во всяком случае, в том, что касалось его отношений с Надей

Ракитовой и Ириной Песковой.

Должен сказать, что образ Нади, который вырисовывался из Алешиных рассказов, пришелся мне по нраву. Хотя большинство рассказов Гаврилова так или иначе вертелось вокруг женщин, именно Надя казалась наиболее цельной и значительной натурой из всех его прежних знакомых. Мне нравилась стойкость, с которой она переносила свалившиеся на нее удары судьбы. Нельзя было не оценить и решительность этой женщины, ее непоколебимую целеустремленность. В самом деле, далеко не каждая может по своей воле разлучиться с любимым человеком, да еще и таким необычным способом! Ирина рядом с ней выглядела легкомысленной куклой-хохотушкой, примечательной разве что ямочкой на левой щеке. У нее все еще впереди, у этой молоденькой девушки: найдет и она когда-нибудь настоящую любовь.

От Иры не пришло в лагерь ни одного письма, зато Надя писала постоянно.

> Алешенька! Мой дорогой друг! В первых строках своего письма сообщаю тебе, что Никитин больше не хочет учить меня пению. Он говорит, что настало мне вре-

мя перейти на более высокую ступень. И что ты думаешь, Алешенька? Он заставил меня подать документы в консерваторию! Я ему сказала: Петр Александрович, мне уже двадцать восемь! Это же смешно, какая консерватория? Но какое там! Он просто не захотел ничего слушать. Я люблю его как отца, но он ужасно упрямый, этот Никитин.

В общем, я пошла на экзамены. И представь себе, никто не смеялся. Я спела романс Глинки и арию графини из «Пиковой дамы», и, по-моему, неплохо. Так что теперь я студентка консерватории! Хотя для этого пришлось уволиться с фабрики. Зато мне дали стипендию и место в студенческом общежитии. Что скажешь на это, Алешенька?

Затем Надя обязательно просила Алешу не забывать ее, чтобы помнил, что есть на свете женщина, которой он должен быть верен и которая верна ему и любит его всеми силами своей души. В конце каждого письма Надя сообщала об очередной посылке с продуктами и вещами и задавала один и тот же вопрос: «Как там живется,

в лагере?»

А как в лагере? Сегодня как вчера, и завтра как сегодня. Течет-крутится медленная однообразная жизнь, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом. В начале марта умер Усатый, обожаемый властитель, сгубивший тысячи, десятки тысяч, миллионы людей — многих из них без вины и без причины. Пока его преемники проверяли и решали, что к чему, мало что изменилось в нашей лагерной жизни. В грязных бараках по-прежнему гноили людей, молодость, надежды. Перемены и послабления начинались робко, шажок за шажком. Лишь год спустя режим смягчился настолько, что заключенным разрешили свидания с родными и близкими. В начале мая заключенного Гаврилова вызвали к начальнику лагеря подполковнику Козлову. В приемной начлага сидела женщина.

Да-да, это была Надя Ракитова, приехавшая на свидание к мужу. Красиво одетая дама с тонким лицом, на котором застыла напряженная улыбка — и заключенный Гаврилов в рваном бушлате и стоптанных валенках. Впрочем, лагерная форма была хорошо знакома и Наде.

— Это я, Алешенька! — сказала она, пристально вглядываясь в худое лицо мужа. — Я не написала

тебе, что приеду. Хотела сделать сюрприз…

И вот Алеша стоит, окаменев от неожиданности, а она, плача, обнимает и целует его на глазах у лагерных офицеров.

Помещения для свиданий в нашем лагере были оборудованы по единому образцу. Маленькая комнатка с кроватью, столом, двумя-тремя стульями и минимальным количеством домашней утвари, включая электроплитку, чайник и немного посуды. Но, конечно, по сравнению с условиями барака это казалось настоящим раем на земле.

На время свиданий, которые длились от семи до десяти дней, заключенных освобождали от работы. Алеша исчез из барака; мы знали, что наш товарищ пребывает на седьмом небе, и завидовали ему. Но вечером пятого дня он пришел, чтобы пригласить меня в гости:

— Надя хочет с тобой познакомиться.

Честно говоря, я не узнал своего друга: он весь сиял, выглядел посвежевшим и совершенно счастливым. Там, в комнате для свиданий, я наконец встретился с женщиной, чей образ так долго занимал мое воображение. Она была среднего роста, черты удлиненного лица тонки и выразительны, серые глаза смотрели внимательно

и цепко.

— Знаете, — сказала она низким, грудным голосом, — в лагере я чувствую себя как дома.

Мы мгновенно почувствовали взаимную симпатию. Стол многообещающе встретил меня сладостями, а на плитке булькал закипающий чайник.

— Не чаем единым жив человек! — провозгласил Алеша, запирая дверь на ключ.

Надя извлекла из чемодана две бутылки вина и заговорщицки подмигнула:

— Думаю, ваш Козлов не лопнет, если мы выпьем стаканчик-другой…

Никогда не забыть мне тот замечательный вечер! Надя пригубила совсем чуть-чуть — алкогольные напитки противопоказаны профессиональной певице. Зато мы с Алешей расслабились от души. Годы воздержания не прошли даром: мы довольно быстро захмелели, и языки развязались.

— Смотри, — сказал мне Алеша, указывая на Надю. — Вот та женщина, которая упрятала меня в лагерь!

Едва вымолвив эти слова, он разразился хохотом. Не знаю, что было такого смешного в этой фразе, но в тот момент не смог удержаться от

смеха и я. Мы оба просто покатывались со смеху, а Надя молча смотрела на нас через стол. В глазах у нее плескалась бесконечная жалость.

— Что ж, — отозвалась она через минуту-другую. — Теперь будешь знать, как волочиться за девушками.

Интонация ее голоса мягка, но глаза по-прежнему серьезны. На Наде — голубое шелковое платье с кружевным воротником. Алеша не может похвастаться изысканной одеждой, но зато чисто выбрит, на тяжеловатом лице блестят хмелем еврейские глаза. Это мужчина во цвете лет, хотя и повязанный по рукам и ногам тяжкими лагерными цепями. Вот он поднимается со стула, лагерный хирург Гаврилов — высокий, плотный. Красавец, как ни посмотри. Он высоко поднимает стакан — мол, слушайте все!

— Я пью за здоровье моей тюремщицы, — говорит он. — За здоровье той, которая упекла меня в эту адскую дыру. Она сделала это из любви и из ревности. Если такая женщина, как Надюша, обрекает мужа на пять долгих лет лагеря, то ее ревность действительно велика. Когда мне плохо здесь, когда сердце болит и рвется на волю, я вспоминаю свою губительницу и ненавижу ее смертной ненавистью. Так выпьем же за посты-

лую мучительницу, за ее успехи в музыке, за ее карьеру. Пусть душа ее всегда будет открыта для меня, пусть не забывает она своего Алексея, а уж Алексей, будьте уверены, не забудет ее во веки вечные!

Нетвердой походкой он приближается к Наде и целует в обе щеки.

— Горько! — восклицаю я, и их губы с готовностью тянутся навстречу друг другу.

— Надя! — кричит Алеша чуть громче, чем следовало бы, учитывая, что дело как-никак происходит в лагере. — Надя! Договор у тебя?

Надя нащупывает висящий на груди медальон. В нем два дорогих предмета: маленькая фотография Алеши и клочок бумаги с полустертым текстом клятвы. Алеша вертит его туда и сюда, потом протягивает мне, призывая в свидетели. Бумажка почти истлела, буквы едва различимы, хотя кое-что все-таки можно разобрать. «Клянусь своей жизнью…» — Надин брачный договор, страховая гарантия счастья.

— Этот документ — фальшивка! — вдруг возглашает Алеша. — Моя фамилия не Травкин, а Гаврилов!

Он поднимает бумажку над головой и рвет ее на мелкие части. Надя вскрикивает и бледнеет.

— Я напишу тебе новую, — торжественно говорит Гаврилов. — Не под диктовку, а сам, своей волей. И подпишу своим настоящим именем. И писать буду чернилами, а не карандашом, глупышка ты этакая…

По его требованию Надя достает из сумочки авторучку, и Алеша, скрипя пером, тщательно выводит на чистом листке бумаги свою новую клятву: «Я, Алексей Николаевич Гаврилов, клянусь…»

Мы с Надей затаив дыхание следим за хмельными каракулями, которые выписывает авторучка. Но вот клятва готова и подписана. Подписываю ее и я, случайный свидетель этого эпохального события. Есть еще на столе вино, и мы скрепляем договор еще одной доброй порцией. Надя не пьет, хотя ее легкомысленный муж и дает ей на то свое высочайшее дозволение от имени медицины.

— Давайте лучше я вам спою, — улыбается она.

Так выпало мне в тот вечер услышать знаменитую Надежду Ракитову. Она пела негромко, низким грудным голосом. Впервые в жизни слышал я пение такой чудесной красоты. Песни народные, песни лирические, жалобы несчастной любви, радости и надежды. И каждый звук их был обращен к Алеше, к неблагодарному счаст-

ливчику Алексею Гаврилову. Я был потрясен.

— Надя, ты должна спеть для заключенных, — только и смог вымолвить я, когда она замолчала.

Алеша поддержал меня со всем своим пьяным пылом, и Надя согласилась. Мы обсудили практическую сторону вопроса. Главное — получить разрешение от начальника лагеря. Затем — пианино, пианист, две-три репетиции…

Козлов разрешил, пианино в клубе имелось, а пианиста нашли среди заключенных. Зал клуба культурно-воспитательной части, где состоялся концерт, вмещал всего четыреста мест, но, как обычно, туда набились минимум шестьсот человек. Слушали в гробовом молчании, боясь упустить самый малый звук, самый незаметный оттенок. Первое отделение было составлено из народных напевов, второе — из песен советских композиторов. Мощный голос певицы то заполнял весь зал, то уменьшался до размеров тоненького лучика, пронзавшего души слушателей своей горячей сердечностью. Аплодисменты, поначалу сдержанные, нарастали с каждой мелодией и под конец переросли в настоящую овацию. Публика в бушлатах не жалела ладоней, кричала «браво!», оглушительно топала ногами в раздолбанных ботинках, дырявых валенках,

рваных сапогах. Между певицей и залом, как натянутая струна, трепетала та редкая невидимая связь, которая не оставляет места недоверию, равнодушию, критике.

Особый успех выпал на долю лирических песен. Как видно, Надя хорошо знала секрет дальних уголков человеческой души, где мы обычно храним свои потаенные чувства и мечты. Как зачарованные, забыв про тесноту и духоту, забыв про лагерные невзгоды и лишения, слушали мы этот голос, каждый звук которого стучал в заветные двери наших сердец. От этих звуков замирала душа, перехватывало дыхание и даже кровь, казалось, застывала в жилах. Когда прозвучала последняя песня, в зале какое-то время стояла полнейшая тишина, сменившаяся громовой овацией, обвалом, бурей аплодисментов…

Не так уж много в лагере развлечений, но одно из них, несомненно, пение, печальное и негромкое. Оно вело нас сквозь лагерный ад, помогало сохранить душу и человеческий облик. Сердечная мелодия — лучший друг заключенного. Это трудно оценить на свободе, по ту сторону колючей проволоки, где песня не имеет такого важного, критического значения. В лагере делают все, чтобы превратить тебя в рабочего

вола, покорно тянущего свою лямку, лишенного чувств, памяти, устремлений. Проклятые лагеря! И вот откуда-то доносит ветром простой мотив, звуки далекой песни, а с ними летит в твою душу надежда: еще не сказано последнее слово, будет еще жизнь, и счастье, и любовь, всё это еще ждет тебя где-то там, за горными хребтами тьмы.

Прошли годы с тех пор, как мы вышли на свободу. Певица Надежда Ракитова известна сейчас во всех концах страны, ее муж Алексей Гаврилов — главврач хирургического отделения Четвертой больницы. У них двое детей. Надя часто уезжает из дома на гастроли, и тогда внуки остаются на попечении бабушки Сары Михайловны.

А я по-прежнему работаю терапевтом. Есть в этом мире и другие дела, требующие моего участия, — как, например, отдать дань верности печальным ивритским буквам. И вот выпало мне записать этими буквами странную историю наших дней, рассказ о Наде Ракитовой и Алеше Гаврилове.

1968

Об авторе

Цви-Ґирш (Григорий Израилевич) Прейгерзон (1900–1969) родился в городке Шепетовка, на Волыни. Ровесник века, он на себе испытал все его тяготы и немыслимые катаклизмы. По хасидским местечкам Польши, Украины и Белоруссии прокатились фронты Первой мировой войны; ужасающие погромы гражданской смуты раз за разом несли их жителям разрушение, насилие, смерть. Цви видел это своими глазами, прятался от погромщиков в ямах и на чердаках, воевал с бандитами в составе Красной армии, а с установлением советской власти, как и многие другие молодые люди из обугленных, едва живых, истекающих кровью местечек, уехал учиться в столицу.

Окончив Горный институт, он стал виднейшим специалистом в области обогащения угля, автором учебников, обожаемым преподавателем нескольких поколений советских горняков. Но никто из его учеников понятия не имел, что при этом Прейгерзон еще и писал замечательные рассказы на иврите — языке, который любил с

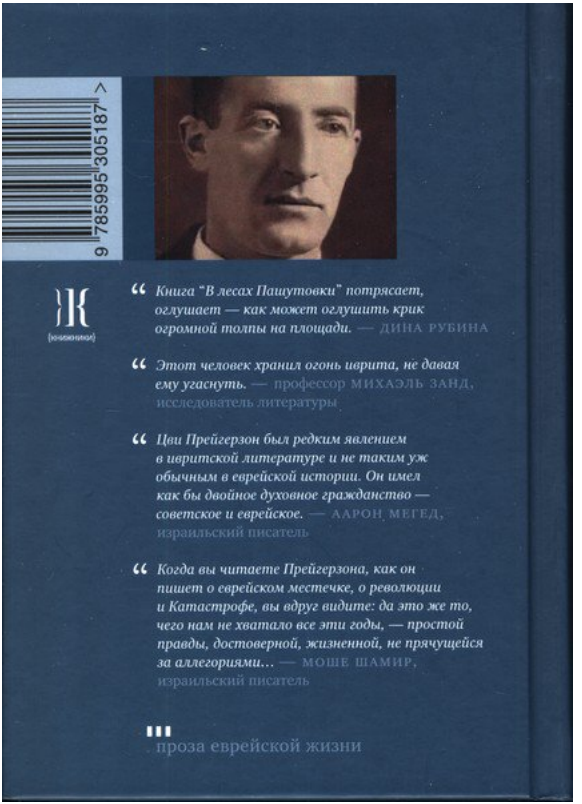
раннего детства. Писал втайне, в стол, прячась даже от домашних — ведь в Стране Советов иврит был запрещен как язык раввинов и лавочников. В Земле Израиля, куда писателю удавалось пересылать свои произведения, его печатали под псевдонимом А. Цфони.

Во время войны с фашизмом, налаживая для страны производство угля в Караганде, он начал роман «Когда погаснет лампада», вписывая ивритские слова между строчками тома «Капитала». Увлечение ивритом не прошло безнаказанным: в 1949 году Прейгерзон был арестован в рамках кампании борьбы с космополитами. Сидел в Воркуте, вышел шесть лет спустя и вернулся к преподаванию и, конечно, к писательству на иврите, главному делу своей жизни, — снова в стол, снова тайком от всех, даже от детей.

Этот подвиг верности языку кажется непредставимым. В самом деле, разве может писатель обойтись без своей языковой среды — без книг, газет, радиопередач, концертов, театральных спектаклей, живой дискуссии, уличного жаргона, элементарных бытовых разговоров? Как может он творить в полной глухоте, словно в барокамере, лишенный обратной связи, собеседника, возможности просто перекинуться словом на

запретном, забытом, задавленном языке?

Прейгерзон смог. В одиночку он представлял собой почти все некогда роскошное древо российского иврита. Оторванный от стихии живого языка, он был сам себе и академией, и школой, и «Габимой», и Еврейским университетом. Он писал об исчезнувшем мире еврейских местечек на переломе эпох, в огне погромов, революций и войн. Именно ему суждено было запечатлеть три последних десятилетия этого мира, окончательно ушедшего, вернее, зарытого в расстрельные рвы, вылетевшего пеплом из труб крематориев в первой половине 40-х годов XX века. Именно Цви Прейгерзон поставил последнюю точку в летописи, начатой И.-Л. Перецом, Шолом-Алейхемом и другими певцами хасидских местечек. В этом и заключается его важнейшее значение для мировой литературы и мировой истории.



Книга «В лесахПашутовки» потрясает, оглушает — как может оглушить крик огромной толпы на площади. — Дина Рубина

Этот человек хранил огонь иврита, не давая ему угаснуть. — профессор Михаэль Занд, исследователь литературы

Цви Прейгерзон был редким явлением в иврит-ской литературе и не таким уж обычным в еврей-ской истории. Он имел как бы двойное духовное гражданство — советское и еврейское. — Аарон Мегед, израильский писатель

Когда вы читаете Прейгерзона, как он пишет о еврейском местечке, о революции и Катастрофе, вы вдруг видите: да это же то, чего нам не хватало все эти годы, — простой правды, достоверной, жизненной, не прячущейся за аллегориями… — Моше Шамир, израильский писатель